

Н О В Ы Й
М И Р

1

МОСКВА 1940

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

★ ★ ★

СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину звания Героя Социалистического Труда	3
Великому продолжателю дела Ленина — товарищу Сталину	4
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР об учреждении премий и стипендий имени Сталина	6
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР об учреждении премий имени Сталина по литературе	7
Слово о великом, родном Сталине, поэма, перевод с украинского	8
М. Эгарт — Талисман, повесть	14
Василий Казин — Лирические стихи	108
Степан Щипачев — Четыре стихотворения	112
Вас. Кудашев — На поле Куликовом, повесть	114
Ник. Асеев — Разговор с другом, стихотворение	170
И. А. Куратов — Стихотворения, в переводах Ивана Молчанова	172

Проф. Н. Зубов — Дрейф ледокола «Георгий Седов» и Северный морской путь 174

Эль-Регистан — Воды Сыр-Дарьи пришли из Москвы 194

Проф. А. А. Багдасаров — Переливание крови 201

ОТДЕЛ КРИТИКИ

Федор Гладков — Из дневника писателя	209
Иван Молчанов — Иван Алексеевич Куратов — поэт народа Коми	221
Из переписки А. П. Чехова с Н. А. Лейкиным (неопубликованные письма)	229
Борис Гроссман — Заметки о Валерии Брюсове	242

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Соболев — Л. Вайсенберг — «Семь рассказов»	253
А. Титова — М. Зощенко. Рассказы	255

★

У К А З

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

о присвоении товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину звания ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.

За исключительные заслуги в деле организации Больше-
шевистской партии, создания Советского государства,
построения социалистического общества в СССР и укреп-
ления дружбы между народами Советского Союза — при-
своить товарищу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ,
в день его шестидесятилетия, — звание ГЕРОЯ СОЦИА-
ЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА со вручением высшей награды
СССР — ОРДЕНА ЛЕНИНА.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
20 декабря 1939 г.

ВЕЛИКОМУ ПРОДОЛЖАТЕЛЮ ДЕЛА ЛЕНИНА — товарищу СТАЛИНУ

Дорогой друг и боевой товарищ!

Центральный Комитет большевистской партии горячо приветствует тебя, друга Ленина и великого продолжателя его дела, вождя партии и советского народа — в день твоего шестидесятилетия.

Более сорока лет ты служишь делу пролетарской революции, делу рабочего класса и всего трудового народа. Ты был вернейшим соратником Ленина в его борьбе за партию, за диктатуру пролетариата. Вместе с Лениным многие годы ты строил и выковывал могучую большевистскую партию. Вместе с Лениным ты вел партию и рабочий класс на вооруженное восстание в Октябре 1917 года. Как ближайший помощник Ленина, ты непосредственно руководил всем делом подготовки Октябрьского восстания и успешным завоеванием власти рабочим классом.

В годы отечественной гражданской войны против иностранных захватчиков и буржуазно-помещичьей белогвардейщины ты, товарищ Сталин, под руководством Ленина был непосредственным вдохновителем и организатором побед Красной армии на всех фронтах, где решалась судьба революции.

После смерти Ленина партия большевиков под твоим мудрым руководством, преодолев огромные трудности на своем пути, привела нашу страну к победе социализма.

Презренные враги народа троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы хотели отнять у рабочего класса, у советского народа веру в возможность победы социализма в нашей стране, неоднократно пытались подорвать партию изнутри, разбить единство большевистской партии, погубить советскую власть и социалистическую революцию. В упорной принципиальной борьбе с врагами социализма, врагами партии, под твоим руководством в борьбе за ленинизм сплотился Центральный Комитет и вся наша партия. Ты отстаивал ленинскую теорию возможности победы социализма в одной стране, развил эту великую теорию дальше, вооружил ею партию и миллионные массы трудящихся Советского Союза — это обеспечило разоблачение и разгром врагов революции.

Под твоим руководством партия большевиков осуществила социалистическую индустриализацию страны, создала новые индустриальные очаги и районы, первоклассные заводы тяжелой и легкой индустрии, мощные заводы машиностроения, что обеспечило техническую реконструкцию всего народного хозяйства и вооружение новейшими средствами обороны СССР. Под твоим руководством партия совершила такой глубочайший революционный переворот в деревне, как сплошная коллективизация и ликвидация кулачества как класса, обеспечив на основе победы колхозного строя культурную и зажиточную жизнь многомил-

лионного крестьянства. Наша страна стала могучей индустриальной державой, страной крупного коллективного земледелия, страной победившего социализма.

На основе этих успехов идет быстрый подъем культуры народов Советского Союза. Создана советская интеллигенция, преданная Советской власти, делу социализма.

Партия и Советская власть под твоим руководством создали вооруженную первоклассной техникой могучую и непобедимую Красную Армию, являющуюся надежной защитой нашей родины от всех внешних врагов.

Рабочий класс в союзе с крестьянством, под руководством большевистской партии, уничтожил навсегда эксплуатацию человека человеком и утвердил новый, социалистический строй в СССР, не знающий ни кризисов, ни безработицы, обеспечивающий неуклонный подъем материального благосостояния и культурного уровня трудящихся. Этот главный итог нашей борьбы имеет всемирно-историческое значение, он укрепляет у трудящихся всего мира веру в торжество социализма.

Наша партия под твоим исключительно активным и непосредственным руководством создала могучее многонациональное советское государство, укрепила великую и нерушимую дружбу народов СССР — залог их процветания и непобедимости. Новая Конституция СССР, Конституция победившего социализма и развернутой социалистической демократии, по справедливости, названа народом Сталинской Конституцией.

Также, как и Ленин, ты, товарищ Сталин, всегда придавал и придаешь величайшее значение развитию и пропаганде революционной теории. Твои классические теоретические работы, ставшие достоянием миллионов людей в нашей стране и во всем мире, являются дальнейшим развитием марксизма-ленинизма в новых условиях эпохи империализма и пролетарской революции, эпохи победы социализма на одной шестой части земли. Ты развил марксистско-ленинскую теорию государства, разработав учение о социалистическом государстве в условиях капиталистического окружения. Вооружая партию марксизмом-ленинизмом, ты неустанно спланивал ее организационно. На этой основе осуществлено сталинское единство нашей партии.

Одним из замечательных успехов большевистской партии, достигнутых благодаря твоей заботе и руководству, является быстрый рост кадров, выдвижение многих тысяч новых работников социалистического строительства и обороны страны социализма.

Отдавая все свои силы великому служению народу, — ты, товарищ Сталин, также как и Ленин, любишь свой народ и неотделим от народа. Также как Ленин, ты окружен горячей любовью трудящихся Советского Союза и всего мира.

Сегодня наша партия и народы Советского Союза, приветствуя тебя в день шестидесятилетия, сплочены как никогда вокруг своего Центрального Комитета под знаменем Ленина — Сталина и готовы к дальнейшей борьбе за полную победу коммунизма.

Да здравствует непобедимая партия большевиков, партия Ленина — Сталина!

Живи долгие годы, наш родной Сталин, на радость партии, рабочего класса, народов советской земли и всего мира!

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков).**

20 декабря 1939 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИЙ И СТИПЕНДИЙ

ИМЕНИ СТАЛИНА

В ознаменование шестидесятилетия товарища Иосифа Виссарионовича Сталина Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

I.

Учредить 16 премий имени Сталина (в размере 100 тысяч рублей каждая), присуждаемых ежегодно деятелям науки и искусства за выдающиеся работы в области:

1. физико-математических наук,
2. технических наук,
3. химических наук,
4. биологических наук,
5. сельскохозяйственных наук,
6. медицинских наук,
7. философских наук,
8. экономических наук,
9. историко-филологических наук,
10. юридических наук,
11. музыки,
12. живописи,
13. скульптуры,
14. архитектуры,
15. театрального искусства,
16. кинематографии.

II.

Учредить Сталинскую премию, присуждаемую ежегодно за лучшее изобретение, —

десять *первых* премий в размере 100 тысяч рублей каждая,
двадцать *вторых* премий в размере по 50 тысяч рублей каждая,
тридцать *третьих* премий в размере по 25 тысяч рублей каждая.

III.

Учредить Сталинскую премию, присуждаемую ежегодно за выдающиеся достижения в области военных знаний, —

три *первых* премии в размере 100 тысяч рублей каждая,
пять *вторых* премий в размере 50 тысяч рублей каждая,
десять *третьих* премий в размере 25 тысяч рублей каждая.

IV.

Учредить стипендии имени Сталина для наиболее выдающихся учащихся в высших учебных заведениях:

в Артиллерийской ордена Ленина Академии РККА имени Дзержинского — сто стипендий по 1.000 рублей в месяц каждая,

в Военно-Политической Академии имени Ленина — сто стипендий по 1.000 рублей в месяц каждая,

в Военно-Воздушной Академии имени Жуковского — сто стипендий по 1.000 рублей в месяц каждая,

в Военной Академии механизации и моторизации РККА им. Сталина — сто стипендий по 1.000 рублей в месяц каждая,

в Военно-Морской Академии имени Ворошилова — сто стипендий по 1.000 рублей в месяц каждая,

в Военно-Медицинской Академии имени Кирова — сто стипендий по 1.000 рублей в месяц каждая,

в Московском Краснознаменном Механико-Машиностроительном Институте

имени Н. Э. Баумана — сто стипендий по 500 рублей в месяц каждая,

в Московском Государственном Университете — сто стипендий по 500 рублей в месяц каждая,

в Ленинградском Индустриальном Институте — сто стипендий по 500 рублей в месяц каждая,

в Московской Государственной Консерватории — пятьдесят стипендий по 500 рублей в месяц каждая,

в Ленинградской ордена Ленина Государственной Консерватории — пятьдесят стипендий по 500 рублей в месяц каждая,

в Академии Художеств в г. Ленинграде — пятьдесят стипендий по 500 рублей в месяц каждая,

в Московском Государственном Институте Театрального Искусства имени А. В. Луначарского — пятьдесят стипендий по 500 рублей в месяц каждая,

для остальных высших военных и военно-морских учебных заведений — че-

тыреста стипендий по 1.000 рублей в месяц каждая,

для студентов высших учебных заведений, находящихся в ведении Народных Комиссариатов СССР и приравненных к ним центральных учреждений при СНК СССР — тысячу стипендий по 500 рублей в месяц каждая,

для студентов высших учебных заведений, находящихся в ведении союзных республик — тысячу пятьсот стипендий по 500 рублей в месяц каждая.

V.

Для лиц, подготавливаемых в ВУЗ'ах и научно-исследовательских институтах к научной деятельности и защите диссертации на степень кандидата наук — учредить сто стипендий по 1.000 рублей в месяц каждая.

Для лиц, подготавливаемых к защите диссертации на степень доктора наук — учредить в Академии Наук СССР пятьдесят стипендий по 1.500 рублей в месяц каждая.

Председатель СНК Союза ССР В. МОЛОТОВ.

Управляющий делами СНК Союза ССР М. ХЛОМОВ.

20 декабря 1939 года. Москва, Кремль.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ИМЕНИ СТАЛИНА ПО ЛИТЕРАТУРЕ.

В дополнение к постановлению СНК Союза ССР от 20 декабря 1939 года «Об учреждении премий и стипендий имени Сталина» СНК Союза ССР постановляет:

Учредить 4 премии имени Сталина, по 100 тысяч рублей каждая, присуждаемые ежегодно за выдающиеся произведения в области литературы, из них:

- одну — по поэзии,
- одну — по прозе,
- одну — по драматургии,
- одну — по литературной критике.

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР В. МОЛОТОВ.

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР М. ХЛОМОВ.

1 февраля 1940 года. Москва, Кремль.

С л о в о

о великом, родном Сталине

★

З А П Е В

Не пора ли вспомнить ныне, братья, день счастливый,
День, когда блеснуло солнце и над нашей нивой!
Всё припомнить и прославить песнею могучей,
Чтобы слышали нас Киев, Львов и Днепр ревучий.
Песню новую мы сложим, не песню печали,
Чтоб слова о нашем друге, о вожде звучали.
Он избавил Галичину от черной недоли,
Он взрастил цветок желанный — и счастья, и воли.

Слышите, как Збруч волнами в берег ударяет,
Как над Стрыпой, как над Липой отзвук пролетает;
Как Днестра седые воды отозвались зычно,
Как Черемош и Быстрица песней необычной
Отвечают издалёка Пруту, Бугу, Сану,
Нам на радость и на горе лиходею-пану...

Откликаются Говёрля, Парашка, Макивка,
И трембита — у гуцулов, у бойков — сопилка.
Тарнополь и Коломыя, Бучач, Бережаны,
Древний Галич, и Дрогобыч, и Перемышляны;
Луцк, Владимир и Берестов, Дубно, Пинск и Ровно
Так поют, как не певали, — тепло и любовно;
Наши галицкие села так вовек не пели
Даже в дни побед великих, в дни походов Хмеля!
А той песни, что по Львову звенит новым словом, —
Не слышал он с того часа, как зовется Львовом.

Запоем же дружно, братья, правнуки Бояна,
О великом счастье нашем, о жизни без пана!
Сложим песни золотые, сказки-огнецветы,
Заплетем венки из песен, понесем по свету.
И венок любви сыновней, верности народа,
Принесем тому, кто дал нам счастье и свободу!

ОТ КАРПАТ ДО ЗБРУЧА

Черная ночь легла на галицкие поля. Стонали люди в горах, погибали в долинах от голода и нужды. Плакали дети. Печальная песня звучала на Бойковщине. Польский пан заковывал людей в железо, ставил виселицы по украинским селам.

Проходили дни и ночи, пролетали годы,
Поднялись на горных склонах печальные всходы.

Вырастая буйным цветом на народном горе,
Шла неволя по Бескидам и по Черногорью.

Чаша горя, чаша муки, полная до края!
Жил в неволе украинец, радости не зная.

Гнулась верба над водою головою русой, —
Не было тут счастья-доли и для белоруса.

Скрылось солнце над землею, сквозь тучи не грея, —
Не бывало счастья-доли тут и для еврея.

И вовеки нам, казалось, не выйти из мрака, —
Не легка была и доля бедняка-поляка.

Мы в борьбе росли и крепили, голодны и босы.
Рушить черную твердыню шли каменотесы.

ИВАН ФРАНКО

*«Ходить, люди, спорану,
Вибивайтесь в туману...».*

И. Франко

Был певец, плоть от плоти народа родного,
Свет и голос, и честь украинской земли,
Чья могучая песня и ясное слово
К непокорности звали, и к счастью вели.

Был велик наш Франко своей песенной силой,
А когда он в труде неустанном угас, —
Трепетали враги перед гордой могилой,
И друзья перед нею склонялись не раз.

Бориславский шахтер, хлебопашец убогий,
Солевар и кузнец приходили сюда:
Той суровой, тяжелой, кремнистой дорогой
Их вели вековечная боль и нужда.

В старом Львовѣ, в глухой Лычаковской долине,
Горный камень травой и мохом оброс.
Здесь могила Франко, и над нею доныне
Возвышается с молотом каменотес.

Но паны обсадить его тёрном решили,
Чтоб певца заслонить от мужицких сердец,
Чтобы к этой живой и немеркнувшей силе
Приобщиться не мог ни шахтер, ни кузнец,

Чтоб колючие тернии резали руки,
Чтобы ветви впивались в глаза бедняка,
Чтоб влачил он безропотно горе и муки
По полям, по лесам, на года и века,

Чтоб из нищей земли, из разорванной груди
Капли крови народной бежали, горя, —
И цепями гремели голодные люди,
Ожидая, когда засияет заря!..

ЗЕМЛЯ ПРИКАРПАТЬЯ

Земля Прикарпатья, от века политая кровью!
Как хищные вороны, шли над тобой облака.
Пригожей дивчиной была ты и немощной стала.
С полей Приднепровья ждала ты в тоске казака.

И видели мертвые нивы и нищие хаты
Шляхетскую саблю, татарский изогнутый лук...
Ждала ты великого, грозного часа расплаты
И вся содрогалась, стеная и корчась от мук.

И горе народа стояло над полем и лугом,
Пустые жилища чернели у мертвой воды,
И рыскала хищная шляхта по нашим округам,
Свирепее зверя, страшнее татарской орды.

Земля Прикарпатья, от века покрытая кровью!
Под крик воронья лютовал и безумствовал кат

Гремели орудия, в черной свинцовой метели
Рыданья и стоны неслись из разрушенных хат.
Из дыма пожарищ к угрюмому небу летели
Проклятья неправде и злобе господских палат.

Шляхетские своры над нами глумились без меры.
Мы жили, как в черном, жестоком, горячечном сне.
На наших сестер налетали лихие жолнеры,
Деревни пылали, и дети горели в огне.

Ксендзы и монахи жандармов вели на облавы,
Чтоб кожу сдирали с людей, учиняя допрос,
Чтоб резали чрево и плод вырывали кровавый
И мужа душили петлею из жениных кос.

СЛОВО О ВЕЛИКОМ, РОДНОМ СТАЛИНЕ

Земля Прикарпатья, от века политая кровью!
Вилось воронье и кружилось у наших ворот.

Но Сталин, отец угнетенных и слабых народов,
Червонное войско направил в далекий поход.
То был справедливейший из справедливых походов,
Который избавил страну от жестоких невзгод.

Крепи же, народ, свое право на землю и волю,
Что тяжкой ценою навеки достались тебе.
Безродный Иван, позабыв про счастливую долю,
Боролся и падал, и вновь подымался в борьбе.

Родная земля изнывала в неволе у пана,
Над нами глумились, душили и грабили нас,
Но Сталин дал новую долю, — ее у Ивана
Уже не отнимут ни пуля, ни бомба, ни газ!..

Земля Прикарпатья, согретая нашей любовью!..

КРАСНАЯ АРМИЯ ПЕРЕШЛА ЗБРУЧ

Из лесов, с гор, от узких полосок нищего поля,
с нефтяных промыслов Дрогобыча и Борислава
звал трудовой люд:
— Видите ли наши муки, советские братья?
И советские братья откликнулись:
— Слышим ваши стоны, видим ваши муки!

... Лавина танков гать прорвала,
Перешагнула через Збруч,
Ударила девятым валом,
Сверкнула молнией из туч.

«Идут, идут!» — шумело море
Счастливых голосов. Пришли
Встречать бойцов и те, кто в горе
Давно согнулся до земли.

Гремит проселочной дорогой
Тяжелый гусеничный ход.
Любуясь выправкою строгой,
Танкистов обступил народ.

На громыхающие танки
Глядят с улыбкой старики,
Дивчата в быстрые тачанки
Бросают пестрые венки.

Забьгты панские угрозы,
Родные встретились. Вдова
Стоит, потупившись, у тына

И шепчет, утирая слезы,
Ребенку нежные слова:

«Дивись, дивися добре, сину!
Твій батько цього не дждав...»
И плачут здесь не от кручины,
Ничком к родной земле припав;

И снова распрямляют спины,
И гимн поют, борьбой рожденный,
И внятен смысл суровых слов:
«Вставай, проклятем заклеяменный,
Весь мир голодных и рабов...».

ВЗОШЛО СТАЛИНСКОЕ СОЛНЦЕ

Выше леса стоячего,
Выше облака ходячего
Самолет пролетает, —
Это батько сыну из Кремля во Львов
Привет посылает:

«Братя-украинцы, славные орлята,
Не страдать вам под панами,
За постылыми межами,
За тюремными замками,
За могильными холмами,
Как было когда-то!

Межи запашите — урожай сберите,
Тюрьмы отоприте — школы возведите,
Старое сметите — заводы крепите!».

Ой, на дальних землях, на Днестровских водах,
Сталинское солнце жарко расцвело, —
Горит светом ясным, золотом червонным,
Ожили Карпаты, что писанка село!

Ой, над вольным лугом,
Над широким плёсом,
Под высоким небом
Кобзари идут.
Тихими руками струны золотые в лад перебирают,
Сталина родного, мудреца великого, славят-поздравляют:

«Ой, батько наш рódный, учитель наш мудрый,
Своим сердцем ты нас согреваешь,
Про земью нашу, про долю нашу,
Ты не забываешь.

Мы в ладони твои
Наше сердце кладем,
Наших помыслов лёт соколиный,
Вместе с нами народ
Шлет спасибо тебе,
Ты — отец наш и друг наш единый!..».

НАШЕ ЗНАМЯ

Наш общий труд и наша воля
Смели былые рубежи.
В народе нашем, в нашем поле
Не будет ни одной межи.

И над просторами родными,
Как солнце, восходя в зенит,
Родное Сталинское имя
Сверкает ярко и звенит!

Шесть букв единственного слова,
Как шесть немеркнущих лучей,
Сияют для всего живого
Все пламенней и горячей.

И слово Сталин — стало долей,
И слово Сталин — стало днем,
И слово Сталин — стало волей,
И сила нашей песни — в нем.

И эту песню вместе с нами
Псет советская земля,
И миру светит наше знамя
Над башней древнего Кремля.

Поэты освобожденного народа бывшей Западной Украины:
Андрей Волощак, Александр Гаврилюк, Петро Карманский, Ярослав
Кондра, Теодор Курпята, Микола Мельник, Василь Пачовский, Остап
Тарнавский, Степан Тудор, Ярослав Цурковский, Володимир Шаян,
Юра Шкрумеляк, академик Василь Щурат.

*Перевели с украинского
Лев Длмач и Борис Туранов.*

г. Львов, декабрь 1939 года.

Талисман

ПОВЕСТЬ

М. ЭГАРТ

★

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Под вечер во двор забрели китайцы. Их было двое. Один высокий длинноногий, другой — поменьше. Оба — в синих кофтах и того же цвета штанах, завязанных у щиколоток тесемками, а из-под круглых плоских шапочек виднелись свернутые тугими жгутами черные, будто просмоленные, косы.

День был воскресный. За рекой, в городе, звонили к вечерне. У крылечка на столе попыхивал самовар. Крестный сидел за столом и обмахивался фуражкой. Фуражка у него была бархатная, с высокой тульей, какие носили франты. Вид у крестного был значительный. Он вел с матерью вполголоса разговор. А Савку прогнажи: секреты.

Китайцы подошли, сняли с плеч большие аккуратные тюки, железные аршины и сказали — почти разом — тонкими певучими голосами:

— Це-сун- ца-а-а!

— Чего? — переспросила мать.

— Чесуча, самая нынче мода, — объяснил крестный и кивнул китайцам.

Те живо развернули тюки. Желтая шелковистая ткань зашелестела в их руках. «Халасо! Де-се-во!» — пели они тонко, ласково. Их голоса, косы, безбородые лица делали их похожими на женщин. Только руки были мужские — большие, жилистые.

Савка стоял поодаль, пока мать и крестный разглядывали чесучу. Мать

была скуповата и разборчива. Она перерыла оба тюка, мяла, щупала, смотрела на свет, вздыхала, выискивая что-то такое, чего нигде, ни в одной лавке не найти. «Разве это товар? А ведь деньги какие!..» — говорили ее быстрые недовольные глаза. Лицо ее при этом морщилось, делалось старым, злым.

Крестный выбирал недолго, но давал полцены. Китайцы качали головами.

— Бери, дурной! — совал крестный деньги высокому, которого принимал за хозяина. — Дают — бери, а бьют — беги!..

Китайцы переглянулись грустно, пропели что-то своими тонкими голосами и начали укладывать товар.

Вокруг китайцев уже собралась толпа. Бабы щупали диковинную материю, спрашивали о цене, теребили продавцов. Мальчишки — те глазели на косы. Ванька Савчук, сын соседа-сапожника, не побоялся, подпрыгнул и дернул одного за косу. Китайцы не успевали отвечать, только посматривали тревожно на свое добро.

— Ну, бери деньги, ходя! — покрикивал весело крестный. Его пухлые губы капризно улыбались. Кудрявая голова жеманно склонялась набок.

Высокий китаец достал кисет, в котором держал деньги. Савка заметил, как что-то блеснуло, упало китайцу под ноги. Савка придвинулся к нему и, вода босой ступней по мягкой пыли, нащупал монету.

В горле сразу пересохло. Савка быстро оглянулся — не видел ли кто? — и, поджав пальцы ноги, осторожно начал подгребать пыль вместе с добычей. Раза два его толкнули, кто-то наступил на ногу, но Савка успел все-таки схватить добычу.

Теперь китайцы перестали его интересовать. Он прыгнул в сени, запер дверь на крючок, перевел дыхание и только тогда разжал ладонь. На ладони поблескивал рубль. Настоящий серебряный. Савка взял его на зуб — настоящий, швырнул о порог — зазвенел, как настоящий, вот ловко! Он протанцовал на одной ноге, присвистнул: «Дают бери, а бьют — беги!..».

Китайцы вскоре ушли. Двор опустел. Мать с завистью разглядывала покупку крестного. «Иди чай пить!» — крикнула она Савке.

Савка осторожно приоткрыл дверь, высунул нос. Прошелся со значительным видом и вдруг зашикнул:

— Загадай, чего я найшов? — Он не выдержал, подпрыгнул на одной ноге: — Я найшов, рубль найшов! А де ж вин? Ото ж вин. Бачь! — Он показал находку.

Мать и крестный оставили чай и принялись разглядывать монету.

— Чисто! — Крестный подмигнул матери и зажмурился, склонив голову набок: — Ты вот, Маша, в приметы веришь. А чем не примета? Вроде неразменный рублик. Получай на счастье!

Он вернул Савке находку, передразнил шутливо:

— Дай тебе боже, хлопче!

Когда крестный был в хорошем настроении, он передразнивал говор слобжан. Сам он старался говорить чисто, по-городски.

Мать подумала: «Может и правда, примета... Станет человеком, — не то, что слобода немытая. Дай бог, дай бог...». Она быстро закрестилась. Потом обернулась к Савке:

— А ты нашел, спрячь. Кабы у своих, православных, а то — нехристи косяглазые. То не грех — И, успокоив себя этим рассуждением, мать налила Савке чаю.

Но пить ему не пришлось.

Губы его еще растягивала счастливая улыбка, а зоркие глаза уже увидели сквозь частокол забора высокую фигуру китайца.

— Бачь! — ахнул Савка и шмыгнул в дверь.

Минуту было тихо. Потом раздались быстрые шаги, и тонкий певучий голос спросил:

— Лу-бель... зидеся?.. Моя лу-бель...

— Чего? — перебила сердито мать. — Чего тебе?

— Лу-бель зидеся... моя... — Слышно было, как часто дышал китаец. Должно быть, бежал. Савка приник к дверной скважине. — Не-хо-ло-со... сузой деньги... — пел огорченно китаец.

— Деньги? сузой?.. — засмеялся крестный. — Ах ты, чорт косой! — В дверной скважине мелькнула его фуражка. Он помахал ею перед носом китайца. — Друг любезный, иди, откуда пришел. Пока в шею не надавали. Соображаешь?

— Сузой деньги не-хо-ло-со... — повторил тихо и упрямо китаец: — Моя — один, васа — ми-но-га... Не-хо-ло-со... О-сень! — Он говорил все тише, но не двигался с места.

— Гони его! — рассердилась мать.

— Ну, иди, друг, — сказал крестный лениво. — Иди, иди...

Он подталкивал китайца к калитке и с грохотом опустил щеколду.

— Не будь раззявой! — Он вернулся к столу допивать чай. — Выходи, Савка! Не бойся! Нынче, если хочешь знать, это первое дело: дают — бери, а бьют — беги!

Но пить чай Савке снова не пришлось. В калитку громко постучали. Это был отец, его сопровождали китайцы.

Отец захлопнул калитку перед носом следовавших за китайцами ребят и направился к дому. Он опустился тяжело на завалинку, молча оглядел всех маленькими сердитыми глазками из-под мохнатых бровей, тряхнул круглой бородкой:

— Савка!

Савка подошел, испытывая привычное чувство робости и неприязни.

— Ну, — сказал батька, растопырявая короткие сильные ноги и упираясь

в колени жилистыми волосатыми руками. (Он делал вид, что не замечает гостя крестного.) — Воны туточки булы?
— Булы.

— А що воны туточки загубилы?

— Та ничего. — Савка изобразил на лице искреннее удивление.

— Брешешь! — Отец угрожающе поднялся: — Де гроши?

— Не кричи, — сказала тихо и строго мать. Она всегда так разговаривала с отцом, — тихо, отчетливо выговаривая русские слова. Терпеть не могла этого «де», «що» — слободского, мужицкого говора. — Воров здесь нет. Пусть идут с богом...

Савка оглянулся на нее.

Он привык к тому, что мальчишки лгут, что и сам он может солгать. Но чтобы взрослые, чтобы мать, не моргнув глазом... Поверит ей батька или не поверит?

Мать прикрикнула:

— Ступай в дом!

Савка успел заметить, как малиновая краска начала заливать лицо и шею матери. Словно обварили ее кипятком. А у отца — лицо хмурое. Савке захотелось вдруг показать рублик. Что бы они сказали?

— Соседей бы постыдился, — говорила мать отцу, — крик поднял, косоглазых привел... — Голос ее, такой спокойный обычно, еще больше озадачил Савку. Кажется, с этого дня он догадался, что верить людям не следует, а самому лгать можно.

Батька молчал. Он всегда при матери больше помалкивал. Посмотрел на китайцев виновато и, бормоча что-то в утешение, пошел проводить их до калитки.

Крестный, усмехаясь пухлыми губами, посмотрел им вслед и подмигнул Савке: «Дают—бери, а бьют—беги...».

Глава вторая

Батька был мужик, кузнец: варил железо, подковывал коней, с утра до нчи стучал молотом по наковальне.

Кузница выходила к самому спуску у речки. Перед кузницей — коновязь, каменное корыто с водой, наковальня.

Батька в фартуке похаживал и покрикивал на «подпихача». Раскаленная полоса ложилась на наковальню, помощник хватался за молот, а батька постукивал маленьким молоточком. Большой молот бил тяжело, гулко, молоточек — легко, звонко: раз-так-так... нет, не-так... а вот-так...

Красная окалина разлеталась брызгами. Полоса тускнела, из багровой становилась лиловой, синей, вытягивалась, сплющивалась под ударами, принимая нужную форму, и вот уже готовая шина набивается на колесо или подкова летит, шипя, в корыто с водой.

Но особенно ловко управлялся батька с лошадьми.

Бывало, приведут жеребца — земля дрожит под ним. Грива дикая, шея крутая, глаза — огонь, и все приседает, приседает, лягнуть норовит, чорт! К такому и подступиться страшно. А батька обойдет вокруг, поворчит, поругается, но не было еще случая, чтобы выпустил копыто, пока не вгонит последний гвоздь.

Раз швырнул его такой ярмарочный жеребчик оземь. Хорошо еще, что копыто некованное. Отлежался батька, встал.

Батька был силач. В слободе все его боялись. Одна мать не боялась. Она была красивая, бровастая, сероглазая и звания не мужицкого — из городских. Отец ее всю жизнь протрубил в приказчиках. В приказчиках и помер. Дети — кто куда: один в приказчики, на место отца, другого в солдаты забрали, а дядя Костя, грамотный, пошел по письменной части. Этому везло: стал помощником письмоводителя в полиции. Одна мать — бесприданница, сирота. И так прикидывала, и этак, но что будешь делать? Пришлось итти за простого кузнеца из заречной слободы.

В хате мать завела городские порядки: на окнах — занавески, цветы, по полу — дорожки, на стене — картинки. Мечтала жить по-городски. Но пошли дети, заботы, расходы. Пошли долгие зимы, когда хату по самую крышу снегом завалит, — не то что в город, а и к речке за водой еле проберешься.

Трудно жилось. Иной раз и всплакнет с тоски. А тут случилась беда, — холера. Двух девочек-погодков и мальчика трех лет в одну неделю прибрал бог. Полслободы перемерло. Не управлялись хоронить. Земский фельдшер ходил по дворам, уговаривал сыпать известью в отхожие места. Но никто его не слушал. Да и сам он помер скоро. Вот и доходился!

С того страшного лета всю любовь и ласку отдавала мать Савке. Голубей захотел — достала ему голубей, рубашку с вышивкой — сидела ночами, вышивала. Обмывала, одевала сыночка, чтоб рос на радость. Но Савка тотчас все изорвет, перемажется, придет с улицы в синяках, исцарапанный.

Лицом и ростом пошел Савка в мать: высокий, красивый, глазастый. А повадками — в отца: драчун, озорник.

Не раз мать ссорилась с мужем из-за Савки. Тайком бегала в город, к брату Косте, письмоводителю, — за советом. Он поможет, Савка его крестник. Но то, о чем она просила брата, было почти несбыточно. Потому и плакала ночами часто.

Но что муки и слезы материнские, когда кругом нужда, люди с утра до ночи спины гнут из-за куска хлеба, света божьего не видят. Быть бы и Савке сапожником, плотником или кузнецом, как батька. Да помог случай: умерла материна тетка, жившая в дальнем уезде, и оставила дом.

Мать мигом собралась, съездила, продала дом, а деньги положила в банк на имя сына. Из-за денег, как водится, начались свары. Старший брат, приказчик, требовал себе доли. Костя, брат, тоже требовал. Муж молчал, сердился, что, не спросясь, распорядилась. Но мать за деньги держалась крепко. Не пожалела только четвертной брату Косте. Всем рассказывала, какой у нее замечательный мальчик, умный, прилежный мальчик, а сама она тоже не какая-нибудь — барышней была... Она надеяла всем, прожужжала всем уши, унижалась, плакала и — добилась, что Савку допустили к экзаменам. Он выдержал и был принят в первый класс извольской гимназии.

Жизнь савкина с этого дня переломилась.

Прежде бегал он босиком, лазил по бахчам, гонял голубей, а зимой в ватном пиджаке и шапке ходил в земскую школу. Прежде был он — Савка, сын кузнеца, слободской мужицкий хлопчик. Теперь на нем красовались длинные штаны, фуражка с гербом и фирменная шинель. «Хиба», «що», «нехай» говорить не полагалось, свистеть, заложив в рот два пальца, не полагалось, сморкаться в руку тоже не полагалось: гимназия!

Первое время Савка дичился. На уроках отвечал невпопад, осипшим от волнения голосом. Потом привык. Он был смысленный мальчик. Он понял, что учиться в гимназии легче, чем раздувать горн в отцовской кузнице, как его прежний дружок Ванька Савчук, которого отец взял недавно в «подпихачи».

Темной, тесной казалась теперь отцовская хата. Отец — всегда в кузнечной саже, лохматый, с нечесаной бородой, мать возится у печи с ухватом, всюду грязь, теснота... Скоро все это начало вызывать в Савке чувство стыда, скуки.

Но мать не замечала, радовалась. Смотрела, как важно шагает — в шинели, в фуражке, — ни дать, ни взять, городской, настоящий «паньч»! Будто и не жил никогда в слободе.

Осенний холодный ветер прохватывал ее, срывал с головы платок. А она стояла, улыбалась поблекшими губами. Сбылось ее желание. Может, и вправду на счастье поднял тогда Савка серебряный рубль: «Дай бог, дай бог!».

И Савка этот рубль берег. То, что мать легко и просто обманула тогда отца, утаив находку, тоже связывалось у него с переменой в жизни, с удачей.

Мать любила его еще больше, чем прежде. Зато отец переменялся.

Упорство, с каким добивалась мать другой жизни для сына, и то, что на удивление и зависть всей слободе устроила его в гимназию, не очень радовало отца. Он понял, что не примирилась она с его жизнью, помнила другое и

не хотела, чтобы сын стал кузнецом, как он. Он понял, что никогда не любила и не ценила она ни его труд, ни умение, ни его самого.

Было горько узнать это на десятом году совместной жизни.

В воскресный или праздничный день можно было его видеть теперь возле монополюки или на завалинке кузни с бутылкой в руке. В слободе думали, что пьет он с удачей: работы прибавилось (от станции к городу тянули железнодорожную ветку). Одна жена знала, в чем причина. И Савка знал. Он был догадливый мальчишка.

Мать и сын были теперь заодно. Когда приходил крестный, дядя Костя, их становилось трое. Крестный раздобыл, отрастил длинные, как у пристава, усы, но жениться еще не женился, все выбирал, медлил, боялся продешевить. Он пил подолгу чай с вареньем, которое мать берегла специально для него, и говорил племяннику:

— Ты, Савочка, выходишь в люди, держи себя достойно.

Отец приходил из кузницы грязный, усталый и кричал сыну:

— Иды, зарабатяй, як Ванька! Чи я нанявся на тэбэ?

Мать с трудом успокаивала его. Не раз тяжелая рука кузнеца поднималась на сына и... опускалась. Он не решался ударить. Это был уже не его сын, а кто-то другой, красивый барчук, похожий на шурина-франта.

В классе Савку дразнили «мазницей», «цыбулей», потому что на вопрос, какие он знает овощи, Савка ответил неосмотрительно: «Капусту, моркву и цыбулю». В классе уже знали, что он живет в слободе, что в футбол играть не умеет, а в конце-концов дознались, как тщательно он ни скрывал, что отец его простой кузнец, мазница.

Все усилия его — чистый мундирчик, степенный вид — оказывались напрасными: его не признавали. Он был чужой, мужик, как его отец... Но все-таки он тянулся к городским неудержимо, слепо, с упорством и страстью, которые унаследовал от матери, мечтавшей вывести сына «в люди».

Но и дома, в родной слободе, Савка

стал теперь чужаком. На своих прежних товарищей он смотрел свысока, как городские гимназисты на него, — и слободские ребята сторонились его. По-немногу он стал как бы в войне со всеми. И ему нравилось быть в войне со всеми, быть одному против всех. Это как бы возвышало его.

Иногда он встречал Ваньку, своего бывшего товарища. В дырявом холщевом фартуке, весь черный, как негр, Ванька кланялся, насмешливо уступая дорогу: «Гимназия... Ну и гимназия!..». Он оглядывал Савку желтыми смешливыми глазами и фыркал.

Савка чувствовал, как закипает в нем злость. Чего он хочет? Зачем пристаёт к нему? Ему хотелось заставить Ваньку признать свое превосходство, унижить его.

Вскоре он был отомщен.

К середине лета на широком выгоне возле реки открывалась ярмарка — с каруселями, цыганами, конскими барышниками, шулерами, играющими в «три листика», пьяными босьяками, драками... На ярмарку вынес свой стулец и ванькин отец, сапожник Савчук. Городовой, по прозвищу «Бублик», расхаживал по рядам, надзирая за порядком. Сапожник Савчук нарушил порядок. Во-первых, не снял шапки перед начальством, во-вторых, не пожелал отвечать на вопрос, кто разрешил тачать на ярмарке сапоги.

«Бублик» пнул ногой сапожничий стулец и велел Савчуку убираться. Сапожник сгоряча обругал его. Засвистел полицейский свисток. Жадные базарные бабы ринулись к месту происшествия. Но прежде чем явилась подмога «Бублику», прибежал из кузницы Ванька. Кто-то успел ему сообщить. «Бублику» расквасили нос, на Ваньке изодрали рубаху. В конце-концов сапожника и сына его связали и повели.

Савка увидел их, когда проходили они мимо кузницы. Он выдвинулся вперед, чтобы Ванька его заметил, но Ванька смотрел мимо. Он обернулся поглядеть, куда смотрит Ванька, и увидел отца, одобрительно кивавшего своему помощнику.

Глава третья

Революция пришла для Савелия неожиданно.

Его звали уже не Савкой, а Савелием. Ему шел семнадцатый год. Длинноногий, худощавый, лицом красивый — в мать — и с такими же, как у матери, серыми глазами. Глаза у него были ясней, чем у матери, холодней, спокойней. Блестящие маленькие зрачки смотрели дерзко. Румяные, как у девушки, губы улыбались ласково. Эта смесь ласковости и дерзости, скромности и тщеславия — во взгляде, в улыбке, в голосе — сообщали его лицу какое-то неуловимое выражение. В гимназии прозвали его «Савелий-Наполеон» за манеру прогуливаться в одиночку, заложив руку за борт шинели.

Вначале казалось, что все идет хорошо.

По случаю событий в гимназии был торжественный вечер, на котором директор, с красным бантом в петлице, говорил о «заре свободы» и поздравлял всех. В художественном отделении выступали хор, струнный оркестр. Савелий-Наполеон тоже захотел выступить. Но с чем?

Года два назад он поместил в школьном рукописном журнале стишок о войне. Стишок начинался так:

О ты, в шинели защитник наш,
О ты, двуглавый орел над нами, —
Тебе вся слава,
Моя держава... И т. д.

Что, если прочитать эти стихи? Переделать немного и прочитать. Читает он хорошо, голос у него звонкий, лицо симпатичное. Савелий не раз слышал, что лицо у него «симпатичное». Пока оркестр играл «Марсельезу», Савелий готовил стишок. Теперь он начинался так:

О ты, свободы защитник наш,
О ты, заря, что вззошла над нами,
Тебе вся слава,
Моя держава... И т. д.

Читал он, действительно, хорошо — легко, свободно, хотя и волновался немного. Ему аплодировали, вызывали на бис. Жена директора объявила, что у него «талант». Гимназистки окружили его тесной толпой. Соученики, прежде

относившиеся свысока, тоже смягчились. Даже Сашка Рудыка, дворянчик, тот самый, что прозвал когда-то Савку «мазницей», сказал, кривя рот: «Да!». А Жора Валк, сын инженера-путейца, милостиво улыбаясь, взял под руку и сообщил, что сестра его Полина хочет познакомиться с Савелием: «Компренэву?».

Это была слава, признание, неожиданные и тем более радостные.

Но, увы, «заря, что вззошла над нами», начала быстро тускнеть. Все начало меняться. В городском клубе уже заседал рабочий Совет. Гимназию каждый день занимали под митинги. Крестный, дядя Костя, сбрил со страха свои франтоватые усы и начал ходить в козоротке. Ваньку Савчука — соседа — избрали в слободской Совет. А инженера Валка вывезли с линии на тачке...

Все смешалось, спуталось, ничего нельзя было понять. Одно становилось ясно: Савелию ото всего этого будет мало проку.

Особенно ясно стало это, когда объявилась советская власть. Теперь все могли сравняться с Савелием. Любый неграмотный парень из слободы мог догнать, даже обогнать его. У всех стали равные права и возможности. А где его права? Для чего он трудился столько лет, терпел насмешки, из кожи лез, чтобы выйти в люди? Савелий почувствовал себя обманутым, чуть не ограбленным. Да, эта революция обманула его. Это была не та революция.

Каждый день Савелий убеждался в этом. Ванька Савчук стал слободским комиссаром. Фронтвик Горбань, бывший грабаль, которого инженер Валк прогнал когда-то с работы, назначен был начальником милиции. Лучший дом в городе — дворянина Рудыки — заселили вдовами-солдатками. А самих Рудыку и Валка послали выгружать дрова на станцию. Чего мог ждать от всего этого он, Савелий-Наполеон?

Он сидел дома и занимался, готовился на всякий случай.

«Случай» вскоре представился. Както пришли к Савелию Сашка Рудыка и Жора Валк. Взяв с него честное слово благородного человека, они сообщили,

что скоро большевикам «каюк». Идут «наши», и все порядочные люди должны быть наготове.

— Компренэ-ву? — подмигнул Жора Валк. А Сашка добавил:

— Ясно?

— Конечно, — ответил Савелий, хотя ничего ему не было «ясно» и вовсе он не хотел впутываться в чужие дела. Все же посещение Рудыки и Валка ему польстило. Это был первый случай, когда они пришли к нему и советовались так дружески.

Сообщение вскоре подтвердилось. Кто именно собирался освобождать славный город Извольск, Савелий так и не узнал. Знал только, что местные удалцы — прапоры, юнкера и великовозрастные гимназисты, вроде Сашки Рудыки и Жорки Валка. — с помощью торговцев и набравшей толпы базарных баб-спекулянтток окружили внезапно Совет, разоружили милицию, Горбаня и других избили и провели с ликованьем по городу, посадили за решетку. Один Ванька Савчук, предупрежденный вовремя слободскими, ускакал на станцию.

А в городе служили благодарственный молебен. Директор гимназии — уже без банта — снова говорил речь. Сашка Рудыка в полной юнкерской форме надзирал за порядком. А вечером в актовом зале гимназии устроили бал в честь «защитников отечества», на котором Савелий приглашен был читать стихи.

Он, собственно, не прочь был посидеть скромно дома, но за ним пришли Жора Валк вместе с сестрой Полиной, поклонницей его таланта. Отказаться было неудобно.

— Что же читать? — пытался возражать Савелий. — У меня ведь одно стихотворение.

— Ничего, у тебя голос сильный, — отвечал Жора Валк.

А Полина добавила застенчиво:

— У вас ведь два стиха...

В самом деле, у него было два «стиха», два варианта. Который читать? Савелий подумал и решил читать первый — «военный». Он больше подойдет.

Но и в «военном» варианте пришлось

кое-что изменить. «О ты, в шинели защитник наш...». «Почему в шинели? — спросил Сашка Рудыка. — Что-то не по сезону. Давай лучше «в погонах»: «О ты, в погонах защитник наш...». Вот я — в погонах, он — в погонах (Сашка ткнул пальцем в Жору Валка), ты тоже скоро будешь в погонах. Все мы защитники. Ясно?».

Пришлось вставить «погоны».

Аплодировали бурно. Полина Валк дарила Савелия счастливыми улыбками. Сашка знакомил с юнкерами и пил с ними на брудершафт. Домой «защитники отечества» его не пустили. Всю ночь пили, пели, веселились. Это был мир, к которому Савелий всегда стремился, которому завидовал, — «порядочные люди», как выражался Сашка Рудыка. Но Савелий не очень радовался. Похоже было, что с него потребуют плату за все это компанейство. И точно, утром ему вручили винтовку, сказали пароль и велели охранять тюрьму.

Дернул его чорт пойти на этот дурацкий бал! Это совсем его не касалось: ни юнкера, ни нахал Сашка, ни тюрьма, где сидели большевики... Ему было наплевать на все это.

Тем временем Ванька Савчук прискакал на станцию, в депо, и поднял тревогу. Дёповские взялись за оружие. Тут еще полк какой-то, возвращаясь с фронта, решил по такому случаю завернуть в Извольск. В один день все было кончено.

Савелий не стал дожидаться развязки и убрался во-свояси. Так случилось, что в родной слободе, в опостылевшей старой хате, пришлось ему искать защиты.

Освобожденные большевики вместе с дёповскими красногвардейцами и слобожанами принимали меры: по городу шли обыски. Заглянули и в хату кузнеца.

— Здоровы булы! — сказал громко Ванька Савчук, протягивая дружески руку старому кузнецу. Он стукнул прикладом об пол и огляделся: — А где ваш генерал?

Пришлось Савелию перед лицом хмурых железнодорожников и соседских парней, знавших его сызмальства, перед

лицом всей слободы держать ответ. Трудная минута!

Но он объяснил горячо и искренно, глядя прямо своими красивыми серыми глазами, что он ничего не знал, что караулить его заставили силой, что гусь свинье не товарищ, а он юнкерам — и подавно.

Желтые глазки Савчука смеялись. Он ткнул Савелия небожно в грудь.

— Ну, гимназия... достукался? Ты все тулился до них, до панской ручки... — Он помолчал и добавил строже: — Тебя бы посадить следовало. Но заради батька, что до седого волоса спину гнул, на первый раз спускаем. Но только смотри, Савка!.. А ведь наш, слободской хлопеч! — обернулся он к товарищам, словно приглашая разделить его удивление.

На том и кончилось. Поверили Савелию, отпустили. И то, что ему поверили, впервые показало Савелию, что значит во-время и горячо сказанное слово!

Мать радовалась, ходила к соседям благодарить, а отец молчал. Он постарел, ослабел, работать становилось трудно. Да и угля нет, железа нет, кузня стоит холодная. Изредка прибредет мужичок, попросит перековать коника на те же старые подковы. Наскребет отец заржавленных кузнечных гвоздей по углам, раздует с трудом горн обрезками дров, щепьем и перекует коняку. Вот и вся работа. А жить чем?

В один из вечеров прибред крестный, дядя Костя. Небритый, в заплатанном зипуне и облезлой шапке. Ему тоже попало. Не помогла косоворотка. Советская власть была памятлива. Теперь крестный спекулировал подсолнечным потихоньку.

Под зипуном у него оказалась жестяная штука — бидон не бидон, а похоже на швейную машинку с крышкой, — невинная уловка спекулянта. Он предложил Савелию вступить с ним в долю: «Твои руки, мой товар». И правда, таскать двухпудовый «товар» требовались молодые руки.

Савелий подумал и согласился. Ему было все равно. Про себя он решил больше не возвращаться домой. Выручат за подсолнечное, заберет он свою

долю и — айда. А может, и дядькину долю заберет. Теперь нечего церемониться.

Дело обсудили, попили чайку и, чуть забрезжило, отправились пешечком на станцию.

Тяжелые тучи висели низко над спавшей слободой. Дождик то припускал, то унимался. У станции на круглой тумбе ветер трепал обрывок старой мокрой афиши. Сторож сидел на ступеньках перрона, завернувшись с головой в тулуп, и спал.

Быстро перемахнули через пути и между товарными вагонами пробрались к тупичку, где, по сведениям крестного, должен был формироваться состав. Издали послышались шаги. Шел заградительный отряд. Крестный огляделся и юркнул в вагон. Савелий-Наполеон — с бидоном — за ним.

Сидели в темноте, затаившись, стараясь не дышать. Прошел час, другой. Вдруг что-то звякнуло, со скрипом и звоном ударились буфера. Вагон тронулся. «Ну, в добрый час!» — прошептал крестный.

Глава четвертая

Порядок занятий был следующий: утром сотрудники расписывались в явке и отправлялись за пайком. Начальнику канцелярии паек приносил сторож. Потом сотрудники разворачивали свои входящие-исходящие, и начинался день.

Савелий, начальник канцелярии, получал все, что ему положено. Все же он считал, что его недооценивают.

Через его руки проходили анкеты и личные дела всех сотрудников. От него зависело затормозить, ускорить, возразить, ссылаясь на приказ такой-то, отношение за номером таким-то. Опродком был учреждением полувоенным, и по штатам начканц приравнивался к званию комбата. «Комбат Савелий Овсяков» — это звучало!

А все остальное, вне службы, было оскорбительно-мизерно, тускло.

То, что совершалось теперь в стране, на ее огромных голых пространствах, в ее мертвеющих городах, — все, за что боролись и гибли люди, было ему без-

различно. Он думал о себе, о своей дороге. Но почему-то не давалась ему эта своя дорога. Он мечтал выйти в люди, стать таким, например, как директор гимназии или инженер Валк, но пришла революция и помешала. Пришла гражданская война и еще больше помешала, напугала. Он хотел переждать беспокоеное время, но почему-то впутался в дурацкий мятеж. Он хотел чувствовать свое превосходство над людьми, но превосходства никакого не было...

Потом он поехал спекулировать с дядькой. Но и тут ему не повезло. На первой же станции их высадили и препроводили вежливоенько в ревком. Хорошо еще, что поверили в ревком, будто ехал Савелий в город подавать бумаги, учиться. Он, и правда, хотел учиться. А крестного задержали, от него Савелий отрекся.

Проел Савелий на базаре последние деньги, и, только собрался пешком идти, пришли гетманцы...

Что будешь делать? Пошел Савелий наниматься в «Державную варту», к гетманцам. Так и сказал себе немного заносчиво: «Иду наниматься за харчи и одежду. Один чорт!».

Снова показал свои документы, свидетельство за семь классов, получил погоны («Ты тоже будешь в погонах», как сказал Сашка Рудыкка), саблю, наган, мог дать в зубы любому... Что ж, неплохо, не так плохо, как можно было ждать. А там видно будет...

«Видно» стало скоро, скорей, чем хотелось. Гетманцы, синежупанники, черношлычники и чорт их побирай со всеми их дурацкими прозвищами — зажились недолго, покатались. Опять он остался ни с чем, голяк-голяком, опять впутался не в свое дело, только знай спасай шкуру.

Он отстал на какой-то станции, переделся в свою старую гимназическую шинельку и пошел мерять версты, куда глаза глядят. Добрел почти до знакомых мест, до хутора Черный Брод. Нанялся в учителя, опять за «харчи и квартиру», — прилепилось к нему это словечко. Только устроился, думал переждать трудное время, глядь — катят

из лесу чубатые молодцы. Мужиков на митинг, а его к допросу: кто? откуда? зачем? — отвечай, сучий сын, кадетское семья... Еле уцелел.

И так всякий раз.

Теперь он был снова в родной слободе, в этой грязной дыре, на маленьком полустанке жизни.

Отец умер. Кузница развалилась. Мать продавала оставшийся в кузнице ржавый хлам. Вздохи матери, пожелтевшие гимназические тетради, сохраняемые ею бережно в сундуке, застарелый, ввевшийся запах кузнечной копоти, переживший и кузницу, и отца,—все это сливалось в ощущение тоски, неудачливости. Как было это далеко от того, чего хотел, о чем мечтал бывший Савелий-Наполеон!

Однажды, роясь в сундуке, Савелий обнаружил сверток, обвязанный аккуратно тесемочкой. Он развернул его. А! Знакомый мешочек-ладанка, неразменный рублик с курносым царем. Савелий разглядывал его с кривой усмешкой: талисман! удача в жизни! краденый рублик...

Красивое исхудалое лицо его потускнело. Сжатые губы по-детски вдруг приоткрылись... Что ж, может, это и есть его удача, его талисман жизни, — кто знает?

Он долго держал стертую монету, машинально поглаживая. Потом сунул снова в холщевый мешочек, завязал аккуратно тесемочкой и положил на прежнее место, в сундук.

В отделе работали пять человек. Все они должны были подчиняться Савелию. Выше его был только начальник, Савчук. Да, Ванька Савчук, бывший кузнец. Вот как все обернулось!

Но Савелий не сердился на Савчука. Напротив! Он считал нужным даже помогать ему. Все-таки соседи, из одной слободы, бывшие, можно сказать, товарищи!

Столы их стояли друг против друга. Когда Савчук писал, Савелий видел его крепкое курносое лицо с ребячливым задорным вихорком, веселые желтые глазки и большую жилистую руку, похожую на руку отца, с трудом выводившую негнушимами пальцами: «И. Сав-

чук». Он делал маленькую закорючку и, облегченно вздохнув, хозяйственно-аккуратно клал ручку на место.

Отношения Савелия к Савчуку и отношение к своим обязанностям определились скоро. Время было хлопотливое. Война кончилась, работы не было, и Савелий считал своим долгом преградить доступ в опродком охотникам до военного пайка. На это имели право только фронтовики, бойцы, как Савчук, как он (получив чин начканца, Савелий считал себя тоже «бойцом»), а не тыловые шкурники. Таков был его нынешний взгляд на вещи.

Поэтому он советовал Савчуку строже проверять принимаемых на работу. Вот, например, Соломко, Андрей Васильевич. Пишет: «Прошу провести приказом в качестве помощника завбавой № 3. Анкету при сем прилагаю...». А на что нам его анкета, когда я его живого знаю: старший приказчик у «Дубового и С-ья», холуй хозяйский, церковный певчий, при Керенском записался в «каде». Или скажем: «Хазанов, Герш Биякович, трудовой житель...». Не тот ли, что на базаре селедкой торговал?

— Ну, тот по мелочи: всей селедки на рупь двадцать, — возражал Савчук.

— Товарищ Савчук, — говорил Савелий официально: — Вы начальник, ваше право. Но считаю необходимым указать, что от таких вся спекуляция. Я их знаю.

От его уверенного, спокойного тона рука Савчука, готовившаяся уже поставить знакомую закорючку, останавливалась, дело откладывалось для наведения справок. И хотя Соломко Андрей Васильевич протрубил в приказчиках двадцать лет, а в «каде» записался совсем другой Соломко, хотя Герш Хазанов действительно торговал на «рупь двадцать», дело знал и нуждался в работе, — ни тот, ни другой работы не получали.

Люди жаловались, хлопотали, приходили обясняться. Иногда обнаруживалась неосновательность обвинений, иногда выяснить это не удавалось. В обоих случаях начканц Савелий Овсяков ока-

зывался на высоте задач и обнаруживал достойное рвение. Савчук начинал с ним считаться.

Савелий не льстил, не заискивал. Наоборот, он сразу взял верный тон: возражал, спорил, при случае даже повышал голос. Сотрудники с удивлением прислушивались к сердитому голосу начканца, доносившемуся из кабинета Савчука. Но Савчук был доволен: парень Савка стоящий, хоть и лез в барчуки. Все-таки — слободской, Петро-кузнеца сын.

Жили они попрежнему в слободе, рядом. Матери их и теперь переговаривались через забор, а они работали вместе, на субботники ходили вместе, вместе пилили дрова, потом возвращались в первой шеренге и пели... Одно только удивляло Савчука — нелюдимость и суховатость Савелия. Ни погулять, ни с девушками посмеяться, а ведь красивый парень. С добродушной откровенностью Савчук как-то спросил его об этом. Но Савелий отрезал сухо:

— Не такой момент, чтобы о глупостях думать.

— А какой? — улыбнулся Савчук немного сконфуженно. Он любил погулять с девушками.

Вскоре командировали Савчука в уезд. Савчук взял с собой Савелия. Они побывали в Саксагани, в Каменке, на хуторе Черный Брод, где года полтора назад Савелий прожил недолго. Здесь помещалась теперь райбаза.

На виду у сотрудников райбазы Савелий первым делом обрезал чистый край исходящей: «Бумагу беречь надо!». Затем попросил личные дела. Они засели вместе с Савчуком и заведующим райбазой, и в полчаса Савелий рассортировал дела на три части: первая — «терпимо», вторая — «выяснить», третья — «гнать немедленно». В последней группе обнаружился совершенно неожиданно Сашка Рудыка. Как попал он сюда? Может, тоже отсиживался, дожидался лучших времен? Но то, что дозволено сыну кузнеца, вовсе не полагается дворянскому последышу.

Дворянчика Рудыку Савчук тоже помнил. Он нахмурился и позторил вслед за Савелием:

— Духом чтоб не пахло!

Когда они остались вдвоем, Савелий заметил, что и самого заведующего райбазой не мешало бы пощупать. Савчук сердито промолчал.

Из поездки они вернулись усталые, и Савчук прямо со станции отправился в уком. Вскоре в уезд выехала комиссия для обследования всех райбаз. И вскоре же после этого завел Савчук с Савелием долгожданный разговор.

— Слухай, Савка, — сказал он своим молодым сиповатым баском (он давно не называл Савелия Савкой). — Слухай, сосиду, що скажу. Треба тобі у партію. И работать не с руки, — заговорил он уже по-русски: — То то, то это в партийном порядке, а тебе — нельзя. — Он улыбнулся и добавил уже дружески-бесцеремонно: — Ну, давай, давай, хлопче...

Но «хлопче» впервые неприятно удивил Савчука.

О партии Савелий думал давно. Потому так упорно, день за днем, собирал он свою разбитую и выброшенную на мель посудину — со всем терпением и осторожностью, которым научило его суровое время. И вот настал долгожданный час.

Но тут снова обнаружился в нем новый человек. Это была особая, опасная дверь. Здесь могли вывернуть всего наизнанку, ткнуть бесцеремонной рукой, как когда-то этот самый Ванька Савчук, и вышвырнуть вон. Лучше выждать, закрепиться на достигнутом, чем... снова сорваться.

Он посмотрел на Савчука своими ясными красивыми глазами с тем выражением искренней готовности, которая появлялась у него всегда в такие минуты, и сказал, что как там ни верти, а факт: он, сын кузнеца, слободского мужика (Савелий произнес эти ненавистные, преследовавшие его всегда слова почти с самоотвержением), оказался замешан в грязной истории. Его подозревали, допрашивали, и не кто иной, как он же, сосед, Савчук. Поэтому Савелий, честный советский работник, не считает себя вправе, пока не докажет работой, и думать о такой чести, как вступление в ряды РКП.

Савчук начал было возражать. Но Савелий со всей возможной мягкостью ответил, что совесть ему не позволяет, правда не позволяет, он твердо решил. На том разговор и кончился.

Глава пятая

Все пошло прежним порядком. Но в отношениях Савчука появился холодок. Не так уж он откровенничал, реже шутил. Похоже — обиделся.

Савелий решил сходить к секретарю опродкомовской партячейки. Секретарь был здесь человек новый, военный. Он выслушал Савелия, не перебивая.

— Ну, что ж, — сказал он, оглядывая Савелия быстрыми внимательными глазами, — твоя правда, спешить нечего, дело серьезное. А Савчуку я скажу.

Когда Савелий собрался уходить, секретарь остановил его:

— Стой, дело есть. Ты парень грамотный, говорить умеешь, мы тебя по другой линии приспособим. Заходи денька через два.

Секретарь, оказывается, имел в виду местную газету. Он уже переговорил с редактором и напутствовал Савелия своим громким рокошущим голосом: «Попробуй, Овсюков, узнаем, каков на деле. Пиши так, чтоб горело!».

Савелий решил «попробовать». Ведь он и прежде не чужд был перу. Он начал писать небольшие занозистые фельетоны о ленивом коммунхозе, базарных спекулянтах, бабах-самогонщиках. Первый его фельетон назывался «Чья рука?». Заканчивался фельетон следующими словами: «...И вы вспоминаете те мрачные времена, когда вас душили лабазы, склады: «Терехов и Компания», «Дубовой и сыновья». Да мало ли еще «сыновей» и «компаний» разметала мозолистая рабочая рука. Добейте же их!».

Так писал неведомый еще никому «Егор Рядовой», подборник правды.

Скромный псевдоним Савелия Овсюкова все чаще мелькал в газете. Его начинали бояться. А Савелий просматривал анкеты, справки, запрашивал через газету материалы с мест, прислушивался к разговорам на службе, в

столовой, на улице. Он повеселел, стал общительнее, обрел наконец свое призвание. Чем были по сравнению с этим его жалкие гимназические стишки!

Одного только Савелий не делал: сам не расспрашивал и никуда сам не ходил. Это был его принцип. Псевдоним охранялся тщательно. Даже Савчук не знал. Один опродкомовский секретарь догадывался, кажется.

— Как твой сосед? — спросил он, встретив однажды Савчука (он знал уже, что они соседи, оба из слободы). — Работает?

— Работает. Да вот... — Савчук поморщился: — Как бы тебе сказать, замкнулся парень на три замка.

— Ничего, отомкнется, — засмеялся секретарь. А сам подумал: «Правду говорит Савчук — на замке парень... Ну, пиши, пиши, Рядовой Егор, авось, распишешься, другим станешь...». И, разворачивая ежедневную газету, невольно искал очередной фельетон.

Было удивительно и неприятно почему-то встречать после этого на собраниях, на субботниках, от которых Савелий не отлынивал, аккуратно одетого молодого человека, видеть его красивое открытое лицо. Казалось, что это совсем другой, ничуть не похожий на того, пишущего хлесткие фельетоны.

Однажды застал секретарь Савелия в читальне за чтением свежеприбывших газет. Сам секретарь просмотрел их еще утром и тогда же обратил внимание на одну заметку.

В заметке сообщалось о суде над группой гетманцев, разоблаченных недавно. Упоминалось и о каком-то Овсюкове. А на-днях к секретарю приходил некий Рудыка с жалобой и доносом. Жалоба его уже разбиралась. Савчук разъяснил, кто такой Рудыка, за что уволен и почему злобится на Овсюкова. Секретарь не стал затевать истории. Но сегодняшняя заметка снова неприятно напомнила: вст уже какой-то Овсюков служил у гетманцев. Какой Овсюков?

— Здоров, здоров! — кивнул секретарь Савелию. — Читал, как тебя написали?

— Меня? — поднял голову Саве-

лий. Он ничего не знал о доносе Рудыки, но уже раз пять прочитал злополучную заметку. Теперь под внимательным взглядом секретаря он неспеша развернул газету и снова, уже вслух (что-то подсказало ему, что лучше вслух), начал читать. Говор вокруг стих. Когда он прочитал свою фамилию, кто-то ахнул. Чувствуя, как неприятно тяжелеет затылок, Савелий все же дочитал заметку до конца и обернул к секретарю свое в меру удивленное лицо: — Ловко! Теперь хоть фамилию меняй!

Он сказал это так весело, и удивление его было так естественно, что все рассмеялись. И он рассмеялся.

Но, выйдя из читальни и оставшись один, Савелий помрачнел.

Как мало нужно, друг Савелий, чтобы погубить тебя! Ты работаешь, стараешься, пробуешь быть, как все. Все твои помыслы в том лишь и состоят: быть, как все. И все у тебя как будто в порядке. Но вот — одна случайная строчка в газете, как шальная пуля... Пошли вопросы, допросы, начнут копаться и... ты готов. Спокойно, друг Савелий, спокойно, Егор Рядовой... Все мы теперь рядовые. О, трудное время!

А наутро он был снова строгий начканц, сотрудник газеты, кропотливый и осторожный труженик на своей полоске.

Прошел месяц, другой, прошло полгода. Его приняли наконец кандидатом в партию.

Рекомендацию ему дали Савчук и редактор газеты, очень ценивший своего сотрудника. Расспрашивали недолго. Голосовали дружно. Теперь все его знали с отличной стороны.

Так закончилось беспокоеное и трудное время. Савелий причаливал к пристани. Теперь он был укрыт от всех ветров и бурь. Крепкая стена охраняла его. Великая сила окружала заботой. Теперь, считал Савелий, ему некого и нечего бояться.

В конце ноября он простился с городом. В кармане его лежала путевка на учебу в Москву, лестный отзыв с места службы и новенький партийный документ.

Может быть, это и есть подлинный талисман? Не тот глупенький, детский, зашитый в грязный холщевый мешочек, а документ, открывающий перед ним все дороги.

Странная мысль пришла ему в голову. В сущности, это был тоже обман, кража — этот билет. Почти кража — как тогда у китайца обронившего серебряный рубль... Ну, и что ж? Для Савелия это была — и тогда, и теперь — только находка, награда, заработанная, так сказать, трудом.

Глава шестая

Жилось ему в Москве по началу скверно. В общежитиях полно, стипендии не давали. Даже партбилет — здесь, в Москве, — не всегда помогал. Декан факультета, которому он заявил о своем желании перевестись, начал возражать, уговаривать, а под конец заявил, что, если Савелий коммунист, он обязан помогать партии на трудном участке.

Вот как все оборачивалось: он коммунист, он обязан, с него уже требуют, ничего пока не давая ему. Минутами Савелию казалось, что труды его пошли прахом. Опять начинай сначала..

В один из этих дней Савелий встретился с Катей.

Катя была комсомолка, рабфаковка и жила неподалеку. Познакомились они на студенческой вечеринке. Катя обратила внимание на красивого худого студента в военной шинели и спросила, откуда он. Узнав, что недавно приехал и еще не устроен, пожалела простодушно: «Бедненький...».

Так они разговорились и вместе отправились пешечком домой. Катя смеялась и ахала, слушая рассказ Савелия о том, как он ехал в Москву. А о себе сказала только, что «учится — и все».

— Учиться необходимо, — согласился Савелий.

— Ну, кланяйтесь ребятам, — кивнула Катя, прощаясь, и пригласила заходить.

Дня через три Савелий пришел к ней. Жила Катя с родителями при фабрике. Отец ее еще в пятом году дрался на Пресне, чем Катя немало горди-

лась, мать — ткачиха, брат — подмастер ткацкий, недавно выдвинутый в фабком комсомолец. Даже дед-пенсионер тоже прежде был ткачом на этой самой фабрике. Настоящая потомственная рабочая семья — большевики!

Савелий входил в их чистую низенькую квартирку, как в неведомый суровый, немного опасный мир, в котором приходилось теперь жить. Может, этим привлекала его Катя?

А Катя была миловидная черноглазая-смешливая дивчина, с кудряшками коротко стриженных волос, которые она поминутно взбрасывала, — очень простая. И в семье его принимали радушно, откровенно и просто, как Катя. Савелий долго не мог привыкнуть, попасть в нужный тон: все казалось, что к нему приглядываются, оценивают, выведывают... Потом он догадался, что ничего этого нет. Просто в нем видели молодого красивого парня, студента, коммуниста к тому же. Что ж, Кате приглянулся и — в добрый час! А то, что жилья не имеет, весь недостаток в чемоданишке старом, — неважно. Лишь бы человек хороший.

Впервые видел Савелий интерес к самому себе. Не к работнику, не к «активисту», способному или не способному принести пользу (так, он считал, оценивали его Савчук, опродкомовский секретарь, редактор), не подозрительно и расчетливо (как привык он сам относиться к людям), а просто так, по-хорошему просто: «Здравствуй, Савелий Петрович, садись, будь гостем!».

Давно неизведанное чувство охватывало его. После долгих опасных странствий он обретал здесь покой, дружбу.

И точно — этот год был для него самым спокойным.

Спокойно он вошел в семью Кати, стал ее мужем, спокойно продолжал учиться, по вечерам играл с тестем в шашки, посещал фабричный клуб. Это была та самая спокойная, мирная жизнь, о которой он мечтал прежде не раз. Но смутное чувство досады, неудовлетворенности охватывало его иногда. И становились скучными, неприятными эти люди, особенно брат жены — выдвигенец, говоривший так уверенно, по-

хозяйски, словно в самом деле считал себя здесь хозяином. К Савелию он обращался, как ровня, за панибрата:

— Ну, брат, как дела? Скоро учишься? — Как будто он послал Савелия учиться.

Но, в общем, Савелий осваивался, привыкал. Он легко привыкал.

Катя очень любила Савелия. С простодушной откровенностью хвастала, что подружки ей завидуют: «Ты, Савушка, правда, красавец!». Савелий снисходительно улыбался.

Вскоре Катя родила девочку и должна была временно оставить рабфак. В доме стало тесней, шумнее. Савелий уходил заниматься в библиотеку.

Глядя на Катю красивыми ясными глазами, Савелий объяснял ей, что надо потерпеть, все терпят.

— Да, да, — кивала головой Катя и шла греть воду для ребенка. Семья не должна мешать Савелию. Он прав, она вполне понимает его. Все-таки иногда ей становилось грустно.

Она пожелтела, подурнела после родов. Глядя на себя в зеркало, она встряхивала беспечно, как прежде, кудряшками, улыбалась. Но улыбка получалась не та. Иногда, выкупав, накормив и уложив маленькую Наташу спать, Катя бралась за учебники. Но ей казалось, что все она забыла, ничего не может понять, совсем бестолковая...

Савелий приходил усталый, голодный. К нему Катя обращалась не решалась. Вообще, чем дальше, она начинала ощущать робость в его присутствии, хотя Савелий никогда ее не бранил, не сердился. Чем больше занята была Катя ребенком и по хозяйству (мать прихварывала, надо было и ей помочь), тем заметнее собственная ее жизнь тускнела. Рабфак она оставила, работу оставила, мужа видела редко. Обедал теперь Савелий в студенческой столовке, чтобы не делать лишних концов. А Кате казалось — чтобы не быть с нею, в этой тесноте, среди пеленок... Он удалялся от нее, видела Катя. Может быть, она уже ему надоела?

Было страшно так думать. Лежа ночами рядом с мужем, она вглядывалась в его красивое лицо, которое во сне ка-

залось равнодушным, чужим, вздыхала. Однажды Савелий проснулся и увидел, что она не спит, удивился. Катя сказала, что у нее голова болит. «Спи, спи, ночью надо спать» — ответил он и перевернулся на другой бок. Катя полежала немного и заплакала тихонько.

Прошел еще год. Савелий начал хлопотать о комнате. Ему обещали из 10-процентного жилфонда. Наконец уже в январе он получил ордер и явился радостный домой.

Возле Каменного моста он увидел, как начали вывешивать траурные флаги. «Кто бы это?». Он шел, а флаги уже опоясывали улицу. На перекрестке сгрудилась толпа, какой-то старичок медленно снял шапку, перекрестился. Головы обнажались. Трамваи останавливались. Стихала, останавливалась жизнь города.

Савелий уже знал, кто умер.

Возле дома он вспомнил, что хотел купить бумаги, и вернулся. Продавцы толпились у входа в магазин, посмотрели на него неодобрительно. Так же неприятно удивился лотошник, у которого он спросил моченых яблок. «Странные люди, что же — поесть нельзя?».

Дома никого, кроме Кати, не было. Он прошелся по комнате, потирая озябшие руки, сказал: «Беда какая! Слышала?».

Катя молча кивнула.

Савелий искоса посмотрел на нее и наведаясь к дочке. Девочка спала.

— Катя! — позвал Савелий. Катя медленно, словно нехотя, подошла и наклонилась над кроватью.

— А у меня новости, — сказал Савелий, заранее предвкушая впечатление, и протянул ей ордер.

Катя посмотрела на мужа так же неприятно-удивленно, как те продавцы. «Да что они, в самом деле?» — Савелий начал раздражаться.

— Надо укладываться, — сказал он недовольно, — ордер срочный.

— Куда? — не поняла Катя. Ее равнодушие выводило его из себя.

— Кажется, ясно сказано: ордер срочный, если не передем завтра, можем потерять комнату.

— Что? — переспросила Катя и вдруг крикнула: — Срочно? Завтра? Ты камень, вот ты кто... Уйди от меня!

Она так кричала, что девочка проснулась и заплакала. Но Катя продолжала кричать: «Уйди, уйди! Ты камень!...». Собственное горе, чувство одиночества, гаснущей любви, оскорбленной гордости словно прорвались в ней в этот сумрачный день.

За перегородкой раздался голос отца. Слышно было, как тяжело он опустился на стул. Сейчас придут мать, брат... Катя закусил губы и молча укачивала ребенка.

А Савелий сел ужинать.

Утром, когда он проснулся, никого дома не было. Даже ребенка. Неужели и его потащила с собой эта дуреха? Печь не топлена, стол не прибран со вчера... Ну, и народ!

Савелий согрел себе чаю, позавтракал и начал укладываться. «Вы, как хотите, а комнату терять не резон. Не имею права. У меня семья...».

Он словно уговаривал себя, оправдывался перед кем-то. Свернул тюфяк, кровать сложил и накрепко увязал бечевкой. Запер дверь и, вскинув кровать на плечо, вышел.

Мороз был такой, что захватывало дыханье. Мороз и ветер. Пригнувшись под ветром, Савелий подвигался со своей ношей. Редкие прохожие оглядывались на него. У Каменного моста его остановила толпа. Она заполнила мост, улицу за мостом и дальше, насколько хватал взгляд. Печальная песня доносилась издали. Конные милиционеры наблюдали за порядком. Но порядок и так соблюдался. Один Савелий тыкался со своей кроватью, лез упрямо вперед. Милиционер посмотрел на него и, махнув пренебрежительно рукой, пропустил.

Красный, злой, Савелий миновал мост и тотчас свернул в сторону. Он долго кружил переулками, выбирая места безлюдней. Иззяб весь, пока добрался до места, а, когда добрался, оказалось, что все на запоре.

— Ты, миляг, постой, остынь, — посоветовал дворник, сидевший в тулу-

пе у ворот. Он посмотрел на Савелия важно и в то же время насмешливо. — Приспичило, значит? — Помолчал, подумал. — А дозвошь спросить, каким ты наукам обучаешься? А?.. Злыдень ты, вот ты кто! — Он плюнул, запахнул тулуп, отвернулся.

Все-таки Савелий был вознагражден за свои труды. Комендант дома явился и беспрекословно вручил ему ключ. Он водворился наконец на завоеванном месте.

С Катей они вскоре примирились. Вернее, помирилась Катя. Ведь она была виновата и должна это признать. Савелий ждал спокойно, пока она признает.

Его спокойствие всего больше испугало Катю. Таким ужасным представилось ей то, что могло произойти: она одна с ребенком, учење бросила, от работы отстала... А то, что Савелий неласков, холоден, порой даже равнодушен, — на это не следует обижаться. Просто он устал. Подумать только, — сколько он работает!

Так уговаривала, упрекала себя Катя, и эти упреки, собственная выдуманная вина успокаивали ее. В самом деле, если она начнет работать, им всем станет легче. А когда Савелий окончит, сможет и она, Катя, возобновить прежнее учение...

Выбрав свободный вечер, Катя изложила Савелию свой план. Савелий сидел за столом и ужинал. Он ел медленно, тщательно прожевывая. Никогда, как бы он ни был занят, Савелий не позволял себе торопливости в еде. Еда, сон, работа — все должно быть подчинено порядку, целесообразности.

Он допил чай, обернулся. Губы его улыбались, на щеках появились ямочки. Такую нежность, доброту, искренность выражало его лицо, что сердце Кати сладко сжалось. Да, да, он добрый, хороший, он любит ее...

Предложение Кати поступить на работу Савелий понял, как признание Катей своей вины, желание искупить ее. Все же он счел нужным возразить, сослаться на ребенка, на долг матери. Притом, говорил Савелий, глядя на Катю ясными, чистыми глазами, ему не-

ловко жить на заработок жены, он коммунист и всегда жил своим трудом.

В конце-концов решено было, что Катя поступит на работу, а Натку отдаст в ясли. В яслях ей даже лучше будет, — сказала самоотверженно Катя. Она хотела вернуться работать на фабрику. Но тут уж Савелий настоял на своем: он устроит ее в канцелярии института. «Мыслимо ли в такую даль ездить на фабрику!» — заявил он возмущенно. (Возмущение его имело более прозаическую причину. Он, студент-третьекурсник, в скором будущем квалифицированный специалист, уже не хотел иметь женой работницу.)

Они просидели допоздна вместе, — чего давно не бывало, — обсуждая свои дела, дружно, обнявшись, как в первые счастливые дни.

А назавтра началась для Кати прежняя трудная одинокая жизнь. Она вставала рано, кормила мужа, относила Натку в ясли — и совсем не радовало ее теперь, что там чистота, уход, доктор, — и спешила в канцелярию института. После работы снова спешила в ясли за дочкой и с ней — домой, укладывала ее спать, прибирала, готовила к приходу Савелия ужин. А когда он приходил, смотрела, как он медленно, методично ест и пьет и так же, неспеша, садится за учебники — к ней спиной.

Впрочем, иногда он расспрашивал: как идет работа? что говорят о том-то и том-то? А декан нынче не заглядывал? Он знает, чья она жена? и что комсомолка?

Нет, он разговаривал теперь чаще, чем прежде, требовал, чтобы она была одета прилично, — ведь она работает, это ее деньги, — заботился о ней... Но почему так тоскливо, одиноко чувствовала она себя?

Глава седьмая

На работу Савелий Петрович опоздал. Последние дни, особенно по утрам, стояла жара, и в трамвае ехать не было мочи. Он шел пешком.

На Савелии Петровиче были легкие белые брюки, рубашка с мягким воротником и свободно повязанный дорогой

синий галстук. Это была его давняя слабость — хорошо одеваться. Теперь он был уже не студент, а специалист, человек с положением, и мог себе кое-что позволить.

К подъезду ВСНХ одна за другой подкатывали машины. Савелий Петрович вспомнил, что нынче доклад Куйбышева о снижении себестоимости, и поморщился: «Снижение... накопление... режим экономии...».

Эта тесная жизнь, в которой так трудно было развернуться, омрачала его, напоминала о прошлом, когда было еще труднее. А недавно само прошлое напомнило о себе.

Он шел по улице, когда вдруг почувствовал, что кто-то крепко взял его сзади за плечи:

— Не спеши, земляк... — Он обернулся. Перед ним стоял Савчук собственной персоной и щурил свои желтые веселые глазки: — Что же ты, своих не признаешь? Забывчивый...

Савелий Петрович смотрел, удивленно морща лоб, словно никак не мог вспомнить. Наконец изобразил на лице радостную улыбку:

— Савчук? Вот так так... Как ты здесь? Вот здорово!

Приехал Савчук, оказывается, из родных мест. Возле слободы нашли железную руду, закладывали первые шахты. «А оборудование не шлют, людей не дают — одни бумажки... Бумажками, сам знаешь, сыт не будешь». Вот и пришлось самому.

Савчук постарел, стал будто ниже, — может быть, штатский костюм делал его таким, — завел небольшие усики. Но курносое лицо его было попрежнему круглым, крепким, небольшие желтые глазки смотрели весело, задорно, и весь он, небольшой, плотный, крепко сбитый, выглядел задорно и весело, как прежде.

Он разгладил усики, оглядел земляка:

— Ну, а ты как? Учишься? Ого, уже кончил? А работать где думаешь? В Москве? то не дело... — Савчук снова взял Савелия Петровича за плечо, — видимо, это была его новая привычка: — Айда до нас! Ты же земляк, нашей кости!..

«Земляк» смотрел на него, улыбаясь. Его сместила эта горячность и особенно наивная уверенность Савчука в том, что ему действительно незачем оставаться в Москве. Вот чудак!

Все предъявляли к нему требования: институт, ячейка, жена, надоедавшая своими вздохами... Всем он был почему-то обязан. Вот и Савчук считает его земляком, а Извольск — родным ему городом, которому он тоже чем-то обязан... Что за нелепость!

Он начинал раздражаться, но, не подавая вида, шутливо отвечал на упреки «земляка» и избавился от него, только пообещав приехать при первой возможности.

В подъезде главка Савелий Петрович увидел Ендражиевского, старшего консультанта, и поздоровался.

Ендражиевский, высокий, лысый, с огромным животом и вислыми казацкими усами, посмотрел на него бесцеремонно, с высоты своего роста. Ендражиевский на всех так смотрел, словно не понимал, какое могут иметь отношение к нему, крупнейшему специалисту, учившемуся за границей, все эти практиканты, новоиспеченные невежды, которых он бы и на порог к себе не пустил. Но именно это высокомерие, небрежная, почти оскорбительная манера, с какой Ендражиевский относился к людям, и привлекали Савелия Петровича.

Уже через две недели (Савелий Петрович поступил вскоре после шахтинского дела) ему стало ясно, как ведется работа в главке. Директор, немолодой уже человек с желтым мятым лицом и усталыми невыспавшимися глазами, проводил на работе весь день. Иногда даже спал на диване в своем кабинете.

Работа велась так. Директор давал задание, направлял какой-нибудь запрос, проект на экспертизу. Секретарь Танюша Цыганкова аккуратно представляла дату, срок исполнения дела и вручала Ендражиевскому, Жадзилке или хотя бы Перчихину, одуловатому, одышливому субъекту с утиным носом и влажными светлыми глазами алкоголи-

ка. Приходил срок. Танюша вежливо напоминала. Перчихин отдувался и заявлял, что этак нельзя: «тяп да ляп». А Ендражиевский раскуривал свою прекрасную пенковую трубку, вывезенную из-за границы, спрашивал: «Сколько вам лет, Танюша... виноват, Татьяна Алексеевна?».

Танюша краснела, злилась и уходила ни с чем.

В первый же день, сидя у директора, Савелий Петрович слышал, как она жаловалась на Ендражиевского. Директор вздыхал недовольно. Помолчав, директор сказал:

— Сколько раз говорено: это тебе не в комсомольской ячейке. Здесь народ особый, трудный, подход нужен (кажется, он говорил не только для Танюши). Нам без них нельзя, и они знают, что нам без них нельзя, пользуются... Но пусть пользуются, лишь бы дело делали. Такая наша установка. Подготовим своих людей, — будет другая установка.

Выпроводив Танюшу, он обернулся к Савелию Петровичу:

— Ну, нашего полку как-никак с тобой прибыло, а там, гляди, еще подкинут... — Он хотел обратить все в шутку, чтобы не испугать, чего доброго, нового работника.

Директор напрасно беспокоился. «Новый работник» не думал пугаться. Напротив! Ему очень понравилась открытость насчет специалистов, в которых нужда и которые этим пользуются. Он ведь тоже был специалист.

Итак, он поздоровался с Ендражиевским и начал подниматься вместе с ним по лестнице. Толстяк извлек из кармана газету и больше не обращал на него внимания.

— Нынче доклад Куйбышева, — попытался Савелий Петрович завязать разговор.

— М... м... угу... — мычал Ендражиевский, — забавно... Хо-хо... на быках... цоб-цобэ... — Он захохотал, обнажая из-под вислых усов широкий рот.

Савелий Петрович развернул свою газету и на последней странице нашел то, что, очевидно, рассмешило толстяка:

плохо отгиснутую фотографию с подписью: «Перевозка на быках парохода из города Фрунзе на реку Или».

— Н-да, — сказал он значительно.

Он не знал еще, как держаться с Ендражиевским. Хотелось показать, что он не какой-нибудь выскочка-неуч. Но толстяк все еще издавал булькающие звуки.

— Никодим Сергеич, — сказал с настойчивостью Савелий Петрович: — Я уже говорил начальству насчет В...ского дела (это было то самое дело, которое третий месяц мариновал Ендражиевский и по поводу которого Танюша Цыганкова жаловалась недавно директору). Мы ведь не только оперативный, но и научный центр. Поэтому вполне законно ваше право на обработку, которая представляет с а м о с т о я т е л ь н у ю ценность... — Он сделал ударение на слове «самостоятельную». На языке Ендражиевского это означало дополнительную оплату, которую и требовал старший консультант.

— Угу... м-м-да... — промычал толстяк, искоса и недоверчиво поглядывая на нового и такого вдруг любезного сослуживца.

— Надо учесть и то, — продолжал еще настойчивей любезный сослуживец, — что научная работа, самостоятельная научная работа (снова подчеркнуто) имеет огромное значение для молодых специалистов, которые должны учиться на опыте старших товарищей. Для меня, например, Никодим Сергеич, ваша работа, ваш опыт имеют исключительное значение. — Он приостановился, чувствуя, что начинает завираться, и зашпешил конфузливо: — Откровенно говоря, я... я не преувеличиваю тех знаний, которые нам дал институт, и... прошу вашего содействия и... шефства, так сказать...

Ендражиевский даже приостановился, заслышав такие речи: уж не смеется ли шельмец? И оглядел речистого молодого человека.

Они уже поднялись на третий этаж, и, берясь за ручку двери, Ендражиевский милостиво разрешил: «Работайте... да... интересно...». Он показал молодому человеку свою широкую жирную спину.

Конечно, это было не так много, но Савелий Петрович остался доволен.

Он прошел к своему столу, здороваясь с сотрудниками, осведомился у Эразма Сигизмундовича Жадзилко, желчного, чахоточного вида человека, как здоровье его жены, пожал влажную руку Перчихина, кивнул Танюше Цыганковой и, улыбнувшись благожелательно всем, сел и достал папку с делами.

Глава восьмая

Дело, которым он теперь занимался, имело почти двухлетнюю историю. Некто, по фамилии Демушкин, сибиряк, десятник с торфоразработок под Бийском, предлагал новую организацию труда, при которой производительность значительно увеличивалась. Несмотря на простоту проекта и пользу, которую он мог принести, проект лежал без движения.

Из Бийска он попал в Новосибирск, из Новосибирска в Москву и здесь начал обрывать «входящими», «исходящими», отзывами, резолюциями, вроде: «срочно», «весьма срочно», «в кратчайший срок»... Судя по этим резолюциям, все старались ускорить дело. Но дело лежало. Потом проект вернули обратно в Бийск за дополнительными сведениями. Потом, на обратном пути в Москву, он застрял в Новосибирске, где тоже запрашивали кого-то о чем-то, и вернулся, наконец, в Москву нынешней весной, уже раздобревший, так что еле влезал в объемистую папку.

Автор проекта Демушкин слал между тем письма. Каждое первое число с настойчивостью он добивался ответа: в чем задержка? расчеты неправильны? может быть, он ошибся? но в чем? может быть, трудно перестроить работу? но почему?.. Но возможно (запрашивал Демушкин в следующем письме), требуется опытная проверка? Пожалуйста. Они уже договорились с управляющим, и ребята согласны в любое время... Он прилагал резолюцию молодежной бригады.

Проходили месяцы. Десятник Демушкин сообщал, что опытные работы проведены. И снова прилагались постанов-

ления и резолюции торфяников, местных специалистов, райземотдела, неизвестно зачем впутовавшегося в это дело...

Так велика была сила бумаги — за подписями и печатями, — что автор сам постепенно перестал ссылаться на существо дела, а тоже посылал бумажки, бумажки, бумажки, брел и брел, все больше увязая в этом бумажном болоте. А может быть, то была робость? усталость? отчаяние изнемогавшего в неравной борьбе человека? Кто знает.

Дело росло. Когда оно поступило к Савелию Петровичу, секретарь Танюша Цыганкова с трудом притащила его. Дело уже побывало у Ендражиевского, у Жадзилки, Перчихина, и директор обратился к Савелию Петровичу, скорее как к коммунисту: кто виноват в канители и как быть?

Коммунист-то коммунист, но и специалист — не забывайте, а ссориться специалисту с опытными людьми тоже не резон. Сами говорили, что нужен подход. Савелий Петрович решил взяться за дело с «подходом». Но, как назло, прибыл запрос из РКИ с требованием срочного ответа. Вот и выбирай «подход»!

Савелий Петрович просидел над делом целую неделю, прочитал добросовестно все отзывы, решения, резолюции и даже сделал себе выписку, чтобы не запутаться, как Демушкин. Самое удивительное и непонятное оказалось в том, что возражений по существу проекта не было.

Он снова пересмотрел всю папку, перечитал письма Демушкина, из которых узнал, что Демушкин беспартийный, образование имеет «домашнее», семейное положение — холост, и первым делом ответил в РКИ (копия Демушкину, копия в дело), что меры принимаются. Это давало передышку и ни к чему пока не обязывало. Но Демушкин опять все испортил. Он ответил длинным благодарственным письмом, в котором извещал, что его премировали месячным окладом и, конечно, он хотел бы... Савелий Петрович не успел задержать его, когда прибыла телеграмма об его вы-

езде. Сегодня Демушкина следовало ждать.

С директором Савелий Петрович уже говорил (как коммунист), консультировался с референтом НИИ (как специалист). Но ему хотелось еще знать мнение Ендражиевского (как шефа). После утреннего разговора на лестнице это было вполне уместно.

Часы показывали половину двенадцатого. В это время разносили завтрак. Сквозь открывавшуюся изредка дверь виден был коридор, по которому снова ли посетители, слышались голоса, телефонные звонки. Танюша Цыганкова выбегала поминутно на вызовы директора. Все огромное здание было полно движения. А здесь — тихо.

Безмятежно почитывал газету одутловатый Перчихин, Жадзилко Эрзам Сигизмундович неспеша листал иностранный журнал и делал выписки (он вел по совместительству иностранный обзор для НИИ). А Елкин, консультант по гидроторфу, стоял у окна и развлекался видом улицы. Потом все они с аппетитом принялись за бутерброды и чай.

Савелий Петрович улучил минуту, когда Ендражиевский, прикончив три огромных бутерброда, дожидаясь второго стакана чая, и, разомлев, ковырял спичкой в зубах, — подошел и заговорил о деле Демушкина. Это было бестактно — он тотчас понял по гримасе Ендражиевского — во время завтрака обращаться по делу. Но, всем видом своим показывая, что он сознает это и даже сожалеет, Савелий Петрович спросил все же, не находит ли уважаемый Никодим Сергеич, что история несколько затянулась.

— А-а?.. Что? Демихин? Демушкин?... Угу... — Ендражиевский потянулся к подносу с чаем, который в эту минуту принесли. — И вам досталось? Повозитесь, повозитесь. — Он осклабился и шумно потянул в себя чай, обжигаясь и чмокая: — Угу... И зачем это? а?.. Не Европа, людей много... парходы на быках... — Он кончил чай, высосал лимон и посмотрел на Савелия Петровича замаслившимися глазами. — Спешить не надо. Учиться на-

до, молодой человек. Да! — Вот какой совет преподал юному специалисту его маститый «шеф»!

Танюша Цыганкова посмотрела на Савелия Петровича и пожала незаметно плечами. Но Савелий Петрович не стал обращать внимания на Танюшу. Он достал кисет, трубку, спички и закурил. Курить трубку он начал недавно, когда поступил сюда. Насчет трубки Ендражиевский дал ему свой первый совет. Теперь следовало обдумать второй совет, что было значительно труднее.

Он курил медленно, пуская дым колечками, думал.

Получив телеграмму от Демушкина, Савелий Петрович рассердился. Но он умел и любил находить в дурном и хорошее. И он нашел это хорошее — после разговора с Ендражиевским. В сущности, это было в интересах дела, если смотреть трезво. Звание коммуниста ведь не запрещает применять свои знания с пользой для дела и для себя? Коммунист и специалист не противоречат ведь друг другу? Надо только подойти как следует.

Прежде всего он заглянул в кодификационный отдел — за справкой об авторском праве. Затем направился к директору.

Директор слушал устало. Но по мере того, как Савелий Петрович говорил, глаза его веселели, добрели, он уже покрикивал от удовлетворения.

— Да ведь это наше, кровное! — возмущался Савелий Петрович, потрясая папкой с делом Демушкина: — За такую волокиту под суд отдают! — Красивое лицо его горело, глаза сверкали. Удивительно легко давалась ему эта горячность.

Хотя Савелий Петрович кричал и возмущался почти так, как Таня Цыганкова (может быть, даже подражал ей), директор слушал его с удовольствием. Это была не девчонка-попрыгуша, а человек дела, специалист. С завистью человека, всегда мечтавшего, но не имевшего возможности учиться, директор питал ничем не преодолимое уважение к словам: специалист, инженер, консультант.

Когда Савелий Петрович вернулся к себе, в комнате было пусто. Ендражиевский с Перчихиным ушли на заседание в НТС (они получали там оробо и посещали НТС аккуратно). Едва он уселся, дверь раскрылась и вошел невысокий паренек в сапогах и линялой кепке, с деревянным чемоданчиком в руке.

— Мне бы товарища Овсюкова, — сказал паренек, оглядываясь, хотя никого в комнате, кроме товарища Овсюкова, не было.

— А вам по какому делу?

— Я по делу... здесь мое дело... Я телеграмму давал...

— Так вы Демушкин? — очень удивился Савелий Петрович. Он почему-то представлял себе Демушкина совсем другим. Чувство досады и не совсем осознанной зависти шевельнулось в нем к этому молоденькому и такому неказистому на вид пареньку. (Сидит такой парень в своей сибирской дыре, выдумывает что-то, и вот — им занимается Москва, о нем запрашивает РКИ и, кто знает, может, он прославится...)

Лицо у Демушкина было загорелое, с живыми глазами, с вздернутым по-ребячьи носом и такими же ребячьими веснушками. Только губы были не ребячьи — тонкие, сухие, усталые... Что-то напоминало в нем Ваньку Савчука, когда работал он в отцовской кузнице. И это тоже было неприятно.

— Ну, присаживайтесь, садитесь... Очень рад, — говорил любезно Савелий Петрович.

Приезжий поставил чемоданчик, на него положил кепку, сел и облокотился рукой на спинку стула. Но, видимо, решил, что сидит слишком вольно, переменял позу, все время шевеля от смущения обожженной загаром шеей.

В дурном можно найти и хорошее. Савелий Петрович тотчас нашел это хорошее: представил себе, с какими чувствами должен смотреть на него этот неуклюжий парень, истративший, быть может, все деньги на дорогу и ожидающий решения своей судьбы. В его, Савелия Петровича, власти было помочь и помешать, двинуть дело и затормозить. И это было то хорошее, приятное, что он нашел в Демушкине.

Неприятно было другое — то, что он собирался предложить Демушкину. Красивое румяное лицо его потускнело, улыбка стала кислой, глаза даже начали косить как будто. Он поерзал на стуле.

Наконец он выбил трубку, придвинул к себе папку с делом и приступил. Цыганкова ушла в райком. В его распоряжении был по крайней мере час.

Итак, Савелий Петрович перечислил все отзывы, объяснения, дополнения, справки и расчеты и сообщил, что вопрос еще не доработан. Например (он полистал папку), вот. Или вот.. (Он снова полистал.) Или, скажем, ваша схемка.. (Он достал схемку.) Таким образом, сами видите...

Он придвинулся вплотную к Демушкину, положив дружески руку ему на плечо.

— Но все это можно уладить. Я уже говорил в НИИ и с нашим консультантом. От них, в сущности, зависит... И мне кажется... вот-вот...

Но дальше «вот-вот» дело не двигалось. Нужное слово ему не давалось. Взглянул мельком на сибиряка. Тот мсчал, слушал.

— ... Да... так вот, видите ли... Скажу вам прямо. По-дружески. Честно. Нужна квалифицированная помощь. А это дефицитный продукт.. (Легкий смешок.) Я так же начинал, как вы, тоже воевал... Понимаю, сочувствую, хотел бы помочь, если.. вы захотите?

— Уж, конечно, хочу, ясное дело, — обрадовался Демушкин, — ведь два года...

— Ну, вот и договорились. Вместе живо одолеем.

— Как это вместе?

— А так, вдвоем, значит...

Наступила неприятная пауза.

— Ага, так... — Демушкин быстро зашевелил выцветшими бровями и даже прикусил губу, усиленно размышляя: — Ага... вон как!.. — Он pokrutil головой, ухмыльнулся, делая вид, что понял, стесняясь своей бестолковости перед этим московским образованным и таким внимательным человеком. — Как же, конечно, одно слово — ясно... — бормотал он, смущаясь все

больше и уже ничего не соображая под внимательным взглядом Савелия Петровича. Испарина выступила на его загорелом до черноты лбу. Столько времени мытарился, ждал, добрый человек помочь хочет, а он, как воз в грязи: ни тпру, ни ну.

— Благодарствуем, — сказал Демушкин с усилием, — за доброту вашу.

Было видно, что он ничего не понял, даже не подозревал. Что будешь с такой дубиной делать?

Уже начиная раздражаться, но внешне невозмутимо и вежливо, Савелий Петрович сызнова объяснил, что предстоит трудная, утомительная работа — проталкивание проекта в различных инстанциях, а так как Демушкин живет за три тысячи верст, а без толкача дело может опять увязнуть, то хорошо, если бы кто-нибудь здесь, в Москве, взялся...

— Мы бы живо... Ваш опыт, мои знания, на равных правах... Понятно?

— Чего? — переспросил вдруг хриплым, неприятно громким голосом сибиряк, впервые остро шурясь на «добротного человека». — Чего понять-то? — Глаза его стали ярко желтыми, зубы оскалились, как у волчонка. Даже волосы на макушке словно шевельнулись.

«Этот может в морду дать» — подумал вдруг Савелий Петрович.

А «этот» уже стоял перед ним, нелепо избоченясь:

— Вот оно что, гражданин хороший... А я и не смекнул... Важно!.. Не выйдет ваша задачка. Первое действие решили, второе — решили, а третье — не выйдет... Советская власть не даст. (Ему, видимо, понравились слова насчет «задачки» и «советской власти», он их дважды повторил.) А дело мое верное, сам дойду, хоть год просижу. С тем и до свиданья.

Он повернулся и пошел.

— Пойдите! — кинулся за ним Савелий Петрович: — Вы не так поняли. Соавторство очень распространенное дело. Это коллективный труд... А вы — кричать! — Он потянул Демушкина примирительно за руку: — И потом, посудите: я коммунист, труженик, сам

выбился из низов, и мне вы грозите советской властью? Беспартийный грозит коммунисту советской властью!.. А ведь я партизанил, когда вы под стол еще пешком хаживали.

Сибиряк глянул хмуро на его улыбающееся добродушно лицо и начал понемногу остывать. Ему стало даже совестно при виде вошедшей Цыганковой. Он захотел уйти, но «добрый» человек не отпустил его, представил радушно Цыганковой.

— Вот наш самородок! Он самый, Демушкин.. Помочь хочу...

И Цыганкова тоже с дружелюбной улыбкой посмотрела на него. «Самородок» стоял совсем сбитый с толку. Может, и в самом деле ничего нет зазорного, если об этом так просто и открыто говорят?

Но, как ни боялся он за свое детище, как ни хотелось поскорее добиться результата и как ни улыбался ему «добрый человек», одно решил Демушкин твердо: не отступать. «Хоть год просижу. Раз в Москве — добьюсь!».

С тем и ушел.

Глава девятая

Ранней весной Савелий Петрович возвращался из командировки.

Все эти годы ему жилось неплохо, разнообразно. С первой своей службы он вскоре ушел. Дело Демушкина причинило ему все же кое-какие неудобства. У Савелия Петровича вышел не совсем приятный разговор с директором и в ячейке, где ему прочитали нотацию (как-раз насчет «звания коммуниста» и «личной пользы»).

Но Савелий Петрович нотации слушать не желал. И вообще здесь роль коммуниста-специалиста, видимо, недооценивали. Он перекочевал в некое тихое учреждение, ведавшее снабжением, — сектор учета. Здесь он был на месте: учет, обследование, контроль. Притом это соответствовало его склонностям: не задерживаться долго на одном месте, расширять кругозор. И он расширял свой кругозор.

Система его состояла в следующем. Он давал людям возможность все пока-

зать, объяснить, высказаться. Потом начинал спрашивать: «Трудно? Лимитов нет? Снабжают плохо? Так-так... Вот как? Объективные, так сказать, причины?—Голос его начинал повышаться незаметно: — Кто мешает? Конкретно? Наркомфин? поставщики? Госплан? Ага, так-так... Может быть, вам и советская власть мешает? Нет? Вы не стесняйтесь, говорите прямо. — Здесь он вставал, и голос его приобретал грозный тембр: — А позвольте спросить, милые люди, на кого вы работаете? На частного? На Савву Морозова? Что? Не перебивайте, пожалуйста. Я вас не перебивал...».

Собственное мнение Савелия Петровича сложилось давно и раз навсегда: надо находить недостатки. И он их находил.

Иногда он оказывался прав — не столько потому, что недостатки на самом деле имелись, сколько потому, что люди не умели или не решались возражать, защищаться. Иногда он сбавлял тон. Но опять не потому, что недостатки отсутствовали, — просто попадались люди твердые, знающие дело и готовые дать отпор.

— Поверьте мне, свежему человеку (это Савелий Петрович говорил решительно всем: и тем, кто его побаивался, и тем, кого он побаивался). Свежий глаз — острый глаз!

Примечательно, что в своих отчетах, докладах «острый глаз»—Савелий Петрович—предлагал всегда одно средство: реорганизацию. Во-первых, это была радикальная мера, которую мог предлагать только тот, кто хорошо ознакомился с делом. Во-вторых, реорганизованный объект, естественно, требовал нового обследования для проверки результатов этой реорганизации. Наконец при реорганизации неизбежно вставал вопрос о кадрах, о сокращениях, перемещениях, оценках тех или иных работников. И хотя к Савелию Петровичу этот вопрос имел отношение косвенное, он интересовался им чрезвычайно.

У него был вкус к такого рода делам. Проверить, выяснить, сопоставить данные анкет, справок, отметить неточ-

ность, несовпадение дат, уличить, изобличить...

Деятельность его была полезна, считал Савелий Петрович. Он был на виду. С ним считались. Никто нотаций больше не читал. В прошлом году он получил поощрение и бесплатную путевку в Крым. В нынешнем обещали квартиру. В личной жизни тоже намечались перемены к лучшему.

Что ж... Он трудился и получал за свои труды. Это была его позиция в жизни. Смотреть, как работают другие, и говорить: плохо, не так, надо лучше, а в душе считать, что для него, Савелия Петровича Овсюкова, и так неплохо.

В сущности, только в этом одном он и был твердо убежден: что для него неплохо, то неплохо и вообще. Ко всему, что не имело отношения к его персоне, он был вполне и окончательно равнодушен. Если так можно выразиться, — п р и н ц и п и а л ь н о равнодушен.

Так шли годы. Страна крепла. А Савелий Петрович наслаждался умело плодами ее трудов.

Все, считал он, входило мало-помалу в норму. Промышленность поднималась, рабочие, как им положено, работали, крестьяне крестьянствовали, магазины торговали... Во всем чувствовалась умеренность, сдержанность, порядок. В общем — в о с с т а н о в л е н и е. Само слово показывало, что возвращается, восстанавливается что-то знакомое, прежнее, близится н о р м а л ь н а я, спокойная жизнь.

Каковы же были удивление, страх и даже негодование Савелия Петровича, когда дан был лозунг о пятилетке и ликвидации кулака.

Революция, которую он считал законченной, оживала, гремела. Давно забытые дела и дни возвращались. Беспощадный девятнадцатый год опять смотрел со страниц газет. Или это была ошибка? Но с чьей стороны? С его?

Но он хотел одного: выйти в люди, возвыситься над людьми, жить хорошо и спокойно. «Не мешайте мне жить хорошо и спокойно. Это мое право коммуниста, специалиста, гражданина и просто человека».

Глава десятая

День нынче выдался удачный. В два часа состоялось совещание, на котором должен был выступить сварливый оппонент. Но оппонент не явился, и совещание прошло гладко. Потом Савелий Петрович писал докладную, просматривал почту, обедал. А в половине пятого, закончив дела, вышел на улицу и с удовлетворением отметил: часы на улице показывали ровно половину пятого. Савелий Петрович любил точность во всем и ставил себе в заслугу, что всегда начинает и кончает работу вовремя. В работе, как и в жизни, считал он, нужны точность, дисциплина, порядок. Нужна система.

Он вышел, покуривая трубочку, сдвинув шляпу слегка набекрень. Шляпы начали входить в моду. А моду Савелий Петрович считал тоже элементом системы, своего рода нормой, а норма дисциплинирует.

По норме и порядку Савелию Петровичу, отцу семейства, следовало направиться теперь домой, тем более, что дома он бывал редко. Но вместо этого он позвонил Марье Павловне.

— Добрый вечер! Да, это он. Хотел бы повидать... Удивительно? Ничуть. Напротив, он человек, и ничто человеческое... Вот и чудесно. Нынче кино — премьеры «Земля». Он ждет через час. Полтора? Ладно — через полтора.

Он вышел из телефонной будки и поспешил в центр, потому что билетов у него еще не было. Должно же было так случиться, что встретился ему шурин — вот уж не ко времени! Он недолюбливал шурина за его панибратство, хозяйственный тон, за его успехи: шурин учился и, по словам Кати, успешно. К этому прибавлялось то, что шурин не одобрял поведения Кати, ее канцелярской службы и вообще ее теперешней жизни и винил, вероятно, во всем его, Савелия Петровича. Ну, и чорт с ним!

Савелий Петрович поздоровался вежливо, извинился, что давно не был («работа, сам знаешь, иной раз в газету некогда заглянуть...»). Шурин смотрел в лицо, молчал, что было неприятно и невежливо. А потом, так же

молча, кивнул, прервав на полуслове: «Да, некогда, будь здоров». И ушел. Каков нахал!

Савелий Петрович достал билеты и в без пяти минут семь стоял у входа в кино.

Еще издали он увидел высокую тонкую фигуру Марьи Павловны и, подняв шляпу, с улыбкой пошел ей навстречу. Минуту они смотрели друг на друга, улыбаясь и как бы ожидая взаимных признаний, и, словно поняв, что они все же не дети, не вузовцы, спешащие на первое свидание, — почти одновременно рассмеялись.

— Здравствуйте, нетерпеливый американец! (Марья Павловна прозвала его «американцем» за его бородку, подстриженную на особый манер, которую он недавно завел и над которой она подтрунивала.) Почему так срочно?

Она посмотрела на него продолговатыми изжелта-серо-зелеными глазами. (Савелий Петрович никак не мог определить, какого цвета ее глаза. Сейчас — в свете уличных фонарей — они казались серыми, холодными, непроницаемыми.) Что она думает? Как сказать ей, что просто хотел повидать?

— Да, — вздохнул он, — представьте, есть у меня мать, милая старенькая мама. Получил от нее письмо: «Берегись, Сава, одевайся потеплее, скоро зима, не переутомляйся...». — Он помолчал: — Вот и грустно мне...

Марья Павловна оглядела его, удивленно подняв брови:

— Не думала, что вы такой... — Она не договорила.

Кажется, рассказ о «старой маме» не произвел на нее впечатления. Она легко угадывала, когда Савелий Петрович начинал «фантазировать» — так называла она его выдумки. Его злило это и в то же время нравилось. Все в этой женщине ему нравилось.

Они вошли в фойе. Марья Павловна остановилась у зеркала. Волосы у нее были пепельные, длинные, свернутые небрежно-красивым узлом на затылке. Лицо овальное, тонкое, пушистые удивленно приподнятые брови, маленький с горбинкой нос, маленький с узкими чуть подкрашенными губами рот. Ма-

нера небрежно вскидывать голову и поднимать удивленно брови придавала ей выражение надменности, высокомерия, что очень нравилось Савелию Петровичу. Этакая, знаете ли, княжна Мэри! Он так и звал ее про себя: «Княжна Мэри, недотрога Мэри...».

В зале во время сеанса он часто оборачивался к ней. Марья Павловна чуть улыбалась, не отводя глаз от экрана, и только раз погрозила пальцем.

— Хорошо... ах, как хорошо!.. — говорил он, тоже начиная смотреть на экран, но желая, чтобы она поняла, к кому относятся его слова. А на экране в лунном свете серебрилась теплая украинская ночь; деревенский парубок брел, пьяный от любви и счастья, и вдруг среди ночной пустынной улицы пускался в пляс; столетний дед умирал с блаженной улыбкой среди отягченных плодов яблонь; нагая девушка металась, обезумев от горя по убитом возлюбленном...

Это была выдумка, красивая ложь, в жизни так не бывает, считал Савелий Петрович. В жизни совсем другое: надо подумать, куда пригласить Марью Павловну после кино, и помнить, что она не его жена, а жена другого, надо гладить нежно ручку, осторожничать... Вот как в жизни. А, может быть, он не хочет осторожничать, а хочет иметь ее... Сегодня!

Когда зажгли свет, он подал Марью Павловне руку и, ведя к выходу, говорил:

— Изумительно, не правда ли? И эта девушка, ее страсть... Как смело!

Марья Павловна не отвечала, но он продолжал говорить о том, к чему был равнодушен, но о чем считал нужным теперь говорить: об искусстве, которое возвышает и облагораживает, и что без искусства...

— Милый Савелий Петрович, — перебила спокойно Марья Павловна, приподнимая насмешливо уголки губ. — Не надо притворяться. В кино и театры ходим для развлечения, а «Землю» я хотела посмотреть из-за... (Она назвала фамилию актрисы, игравшей роль девушки.) Вот и все. А вы, — она повила головой, высоко поднимая пуши-

стые брови, отчего красивое лицо ее стало еще высокомерней, — вы думали о том, куда бы пригласить милую Марию Павловну после сеанса. Правда?

— Правда, — ответил Савелий Петрович, немного сконфуженно и в то же время с новой силой ощущая чувство радости, восхищения, робости перед этой необыкновенной женщиной. — Вы... чудесная, — сказал он тихо и так, что на этот раз она, кажется, поверила. Она рассмеялась.

Из кино они поехали в ресторан, потом Савелий Петрович отвез Марию Павловну домой и, прощаясь, долго целовал ее узкую теплую руку: «Милая Мэри... славная Мэри...». Забывшись, он обнял ее. Стоял с обнаженной головой, пока не захлопнулась за ней дверь.

Это был другой, неизведанный, соблазнительный мир, к которому он всегда, еще в детстве, стремился. Дворянка, внучка ученого генерала... Ее красота, утонченность, блеск, сознание своего превосходства над людьми, которым он не обладал и которому завидовал, — все говорило об этом мире. Отношения с Мэри как бы поднимали его в собственных глазах, подтверждали, что и он не простой человек, а выше других.

Савелию Петровичу захотелось вспомнить, когда и с чего все это началось. Но вспоминалась только неуклюжая фигура мужа Мэри, его курчавые волосы и такие же курчавые толстые брови... Зачем он ей? Дворянка, красавица, вышла замуж за еврея. Правда, он видный работник (муж Мэри был начальником Савелия Петровича), имеет боевой орден, он дал ей положение, любит ее. Но все-таки..

Однажды Давид Самойлыч попросил Савелия Петровича заехать к нему. Вернее, напросился Савелий Петрович. Дверь открыла Мэри. Она посмотрела на Савелия Петровича продолговатыми внимательными глазами и позвала:

— Додя!.. к тебе..

Сначала они сидели в кабинете «Додя», занимались делами, потом пили все вместе чай. Внимание Савелия Петровича привлекла маленькая статуэтка

на туалетном столике Мэри. Он попросил разрешения взглянуть.

— А-а, — засмеялся Давид Самойлыч, — это марусино приданое: талисман!

Фигурка изображала папуаса с бумерангом. Удивительно точно было передано стремительное движение, воинственно откиннутая курчавая плосконосая голова, хищное выражение прищеливающих глаз. Оказывается, это была семейная реликвия. Дед Мэри, ученый генерал, вывез папуаса из южных морей. Ему подарил его моряк, утверждавший, что это талисман, который спасал его не раз от смерти.

Заговорили о суевериях, приметах, которые казались теперь смешными. Давид Самойлыч спросил, правда ли, что бумеранг, умело пущенный, возвращается назад. «Да, говорят» — отвечал Савелий Петрович и рассказал о своей матери: старушка прислала ему недавно старенькую ладанку, в которую тоже верит, как в талисман.

Мэри молчала. (Может быть, она верила в свой талисман?) Вдруг пушистые брови ее поднялись холодно, она улыбнулась. Это была ей одной свойственная манера: поднятые холодно брови и улыбающиеся губы. Смесь строгости и ласковости, сдержанности и нежность. К кому только относились они сейчас? К мужу? К гостю? Странная манера.

Сели играть в шахматы с Мэри — Давид Самойлыч предложил. Он знал, что Савелий Петрович играет хорошо, и побаивался, как бы не оскандалилась и не огорчилась Мэри. В то же время хотелось доставить ей удовольствие. Все это Савелий Петрович мигом сообразил и играл тактично — свел партию к ничьей.

— Видал? — засмеялся Давид Самойлыч, глядя на него почти с откровенной благодарностью, и — к жене: — Да он, Маруся, если хочешь знать, наш Капабланка, не меньше. Я с ним уже не тягаюсь. Выиграть не могу, а проиграть амбиция не позволяет: все-таки начальство... — Он захохотал, довольной шуткой и тем, что все так удачно кончилось.

«Вот и кончилось! — усмехнулся, вспомнив об этой встрече, Савелий Петрович. — Вот и попался милейший Самойлыч со своей дворяночкой...».

Но когда все-таки это началось? Кажется, с того первомайского вечера, на который Давид Самойлыч пришел с женой. Да, они стояли вместе у буфета и вспоминали, смеясь, свою шахматную партию. Давиду Самойлычу предстояло сидеть в президиуме. Он попросил Савелия Петровича составить компанию жене.

— Только, чур, не ревновать! — предупредил шутливо Савелий Петрович.

— А ваша жена где? — спросила Мэри, разглядывая чуть подведенными теперь и оттого еще более красивыми, блестящими глазами костюм Савелия Петровича, тщательно повязанный галстук, гладко зачесанные назад волосы и бородку-америкэн, оттенявшую здоровый матовый цвет кожи и юношески свежий рот.

— Хворает, — ответил Савелий Петрович, хотя Катя вовсе не хворала.

Они сели в задних рядах, разговаривая тем полшутливым безразличным тоном, каким говорят малознакомые, случайно встретившиеся люди. Мэри отвечала односложно, больше глядя по сторонам, ничуть, кажется, не интересуясь собеседником. А в перерыве встала и ушла, сославшись на головную боль. Даже не извинилась...

Значит, не тогда. А когда? Ведь ничего больше не было. Ровным счетом ничего. Какая непонятная женщина!

Вскоре после первомайского вечера раздается телефонный звонок. Спрашивают Давида Самойлыча. Хотя у Давида Самойлыча совсем другой телефон. «Но она думала... у себя его нет и дома нет... Ах, это вы, Савелий Петрович! Добрый день. Как праздновали? (Ему послышался тихий смех.) Скучали? По мне? Вот как! Однако вам не следует доверять чужих жен».

Поговорили. Пошутили. Пригласила заходить.

— Когда прикажете?

— Когда угодно.

— И сейчас?

Снова тихий смех:

— И... сейчас.

Он одевается, берет портфель, выходит и садится в трамвай. Он знает, что Давида Самойлыча нет дома, он — в ВСНХ. Есть подозрение, что и Мэри об этом знает. Приятное подозрение.

Полный приятных подозрений, он звонит у двери и узнает, что Марьи Павловны нет. «Как нет? Вышла?». Нет, говорят ему, ушла давно. «Примерно когда: с четверть часа?». Нет, говорят ему, верных два часа, если не больше. И дверь захлопывается. Он стоит, как дурак. С коробкой шоколада в кармане. Шоколад совсем уж ни к чему. Однако ловко поддела. Тонкая штучка!

Вечером он выходит из дому купить табак и звонит из телефона-автомата. В телефонной трубке недовольный голос Давида Самойлыча: «Да, слушаю...». Он вешает трубку, прогуливается с полчаса и снова звонит. Опять Давид Самойлыч. Его берет зло. «Добрый вечер, — говорит он, — это я; Савелий Петрович. Простите, что так поздно. Забыл напомнить... — Он сообщает о каком-то служебном пустяке, о котором спокойно мог бы сообщить завтра на работе. — Что? Откуда звоню? Со службы. Да, да, заработался. Но у меня, знаете ли, одна комната. кубатура, так сказать... Ну, всего. Привет Марье Павловне».

Проходит день, другой. На третий — телефонный звонок и тоже — на службу.

— Очень рассердились? — спрашивают его весело.

— Я? Ах, это вы... (Взгляд на дверь, за которой сидит Давид Самойлыч.) Нет, зачем же? Я не мог быть, задержался.

В трубку смех:

— Значит, не были? И не спрашивали, когда ушла? И не стояли на улице, ошупывая карман? Что у вас там было? Шоколад или конфеты? Держу пари, что шоколад «Золотый ярлык». Правда?

Несколько мгновений он молчит.

— Правда. Все правда. — И тише: — Вы изумительная женщина. Я ничуть не сержусь.

Так началось. А сегодня он целовал ее. Строгую Мэри. Недотрогу Мэри. Внучку ученого генерала. Изумительную, тонкую, обаятельную. Умницу. Его талисман. Его счастье. О, талисман, приносящий счастье!

Глава одиннадцатая

Конец «бархатного» сезона Савелий Петрович провел на кавказском побережье. Дом отдыха находился на обрывистом берегу у самого моря. Савелию Петровичу здесь не нравилось.

Он любил природу спокойную, размеренную: в свое время солнце, купанье, тень. А здесь все отличалось беспорядком: внезапно налетали ветры, дожди, так же внезапно наступали сумерки; море шумело слишком громко и не давало спать. Это раздражало Савелия Петровича. Он хотел отдохнуть, собраться с мыслями, обдумать свое положение.

Положение его было неопределенно. Отношения с Мэри укреплялись, но еще не определились. Партийная чистка, которой он побавался, приближалась. Служебные дела тоже надо было как-то решать: если выяснится вопрос с Мэри, он не может работать вместе с ее мужем. Наконец события в стране — чувство ошибки, просчета, которое он испытывал, та опасная стремительность, которой все теперь подчинялось, будто сдвинулось все снова с места, будто и его самого вот-вот сдвинет с места и понесет, — где здесь было все учесть, предвидеть?

Он много гулял по дороге, густо заросшей с обеих сторон зеленью. В тюбетейке и сандалиях, в легком белом костюме, Савелий Петрович выглядел таким молодым и красивым, что женщины на него оглядывались. Но сердце его было занято Мэри.

От нее давно не было писем. Она вообще не любила писать, не любила длинных разговоров, споров. Все в ней было непривычно, и никогда нельзя было предвидеть ни ее мыслей, ни поступков.

Так и теперь: нежданно-негаданно, утром, когда все были в саду, к даче

подкатывает шикарная машина. Два молодых человека выносят чемоданы, машут приветственно руками, машина укатывает, а возле чемоданов стоит высокая тонкая женщина в сером дорожном костюме — Мэри, Милая Мэри!

Он идет ей навстречу, под взглядами отдыхающих, и тут она снова его огорашивает:

— Bonjour, bonjour! — И тихонько: — Посмотрите на путевку.

Он берет путевку и читает: «Мария Павловна Розен» и тире: «Овсюкова».

— Что же вы стоите? — спрашивает Мария Павловна Розен, она же Овсюкова, и смотрит с удовольствием, как заливает румянец его красивое чисто выбритое лицо. — Можно подумать, вы недовольны? Берите же чемоданы. На нас смотрят... муж! — Она смеется своим тихим изумительным смехом, поправляет шапочку и идет с ним рядом по дорожке сада. — А здесь недурно, право, недурно. — И тем же безмятежным тоном: — Давид Самойлыч достал путевку с трудом, все сроки прошли. Но он умеет. А фамилию вашу я вписала после. Думаю, так удобнее. Не правда ли?

Снова он чувствует себя круглым дураком, простофилей и не знает, что сказать, как держать себя с этой невероятной, изумительной и, в сущности, опасной женщиной.

— Милая Мэри... О, Мэри! — только и умеет он сказать.

Время, проведенное здесь вместе с Мэри, Савелий Петрович называл впоследствии счастливейшим в своей жизни. То ощущение полноты и, если так можно выразиться, безнаказанности счастья, которое принесла с собой эта женщина, уверенность, что все, что бы она ни делала, — хорошо и будет хорошо, — уже не повторялось. Ее красота, изящество, насмешливая пронизательность, ее находчивость и невозмутимость, — все это сливалось в одно: полную обнаженность отношений к жизни и людям, какое-то ослепительное бесстыдство.

Любила ли Мэри его?

Однажды ночью, лежа рядом с Савелием Петровичем, усталым, благо-

дарным, предавшимся почти поэтическим мечтам, Мэри сказала:

— Милый мой Сава, Савелий Петрович, поговорим о делах.

От ее спокойного голоса вся поэзия слетела с «милого Савы». Он возмущался:

— Как ты можешь?.. в такие минуты...

Все же пришлось выслушать то, что Мэри называла «делами». Спокойно, рассудительно и чуть шутливо, как всегда, она заговорила о муже, о Савелии Петровиче, о себе: Давид Самойлыч умный, честный, немного наивный человек. Взять хотя бы случай с путевкой: он ведь знал, что Савелий Петрович здесь... Правда, — забавно?

— Ну, зачем так... — поморщился добродетельно Савелий Петрович.

— Не финти, Сава, не люблю. Нет, очень забавно, — повторила настойчиво Мэри и, помолчав, добавила: — Я, Сава, человек прямой. Что думаю, то говорю. А ты не финти, пожалуйста.

Заговорили о планах на будущее, о семейных делах, о служебных. Савелию Петровичу обещали квартиру в строящемся для сотрудников доме. Обещал Давид Самойлыч, от него многое зависело, и Мэри считала, что лучше не трогать его раньше, чем будет утвержден список на вселение. Правда, он честный, очень честный, но все-таки... А семейные дела каждому следовало, конечно, лично улаживать. И прямо:

— Ты, Сава, не финти, — повторила Мэри в третий раз и довольно бесцеремонно, словно догадывалась, что как-раз в семейных делах он склонен «финтить».

Положение Савелия Петровича на службе, его партийные дела тоже были всесторонне и заботливо обсуждены. Он должен был признать, что Мэри заботилась о нем и хорошо разбиралась в делах. Биографию Савелия Петровича Мэри знала с его слов. Это был новый вариант, применительно к ней, женщине, которой он хотел понравиться. Здесь уже не было ни «сына кузнеца», ни «сирого детства» (они фигурировали при партийной чистке 1925 года, которую

он благополучно прошел). А появился красавец-дядька, весельчак и «жуир» (подразумевался, очевидно, крестный) и «милая старенькая мама, очень религиозная...».

— Помнишь ладанку-талисман? — улыбнулся Савелий Петрович.

— А ты не смейся, — остановила его Мэри. — У каждого есть свой талисман!

Она сказала это так убежденно, что Савелий Петрович удивился. Неужели верила она в своего черного человечка? Странная женщина! Сам Савелий Петрович давно уже перестал верить подобной чепухе и холщевый мешочек с зашитым в него рублем, который действительно переслала ему мать, сунул куда-то.

Помолчав, Мэри сказала:

— А чистить тебя, Сава, будут с пещочком...

Савелий Петрович поерзал, чувствуя, как неприятно засосало подложечкой. Всегда в трудные минуты (чистка, дискуссии, оппозиционные дела) Савелий Петрович держался на-чеку. Но теперь — понимал он — времена иные, в сторонке стоять не годится. Все-таки он ответил, что бояться ему нечего.

— Ну, как сказать, — возразила Мэри, — бояться всегда есть чего.

Это были его собственные, точно подслушанные ею мысли. Именно так говорил он сам себе: бояться есть чего.

— Но ты не расстраивайся, — продолжала Мэри, — знаешь что?—И она предложила ему то, о чем он сам подумывал: ну, скажем, поездка на село. Нынче все едут... Показать, что он не из тех, кто любит отсиживаться в тепленьком местечке, когда вся страна... И так далее. А тем временем Мэри уладит свои семейные дела, он — свои... Да, да, это мысль!

На том закончился их первый семейный совет, которым оба остались довольны. Мэри оказалась хорошим советником, умницей, другом. Везет тебе, Савелий Петрович!

Из дома отдыха он уехал раньше Мэри, с тем чтобы закончить семейные

дела, уладить квартирные и закрепить партийные. Квартирные он уладил: список на вселение в новый дом был утвержден, и как-раз Давид Самойлыч помог ему. Затем Савелий Петрович изъявил настойчивое желание ехать на село, чем приятно изумил всех. (Тогда уже начинали посылать бригады в помощь первому колхозному севу.) А партчистка у них запаздывала, ожидали, что начнется не раньше февраля. Это было весьма кстати.

Таким образом, решения «семейного совета» неукоснительно проводились в жизнь. Кроме одного. Здесь Мэри правильно угадала: Савелий Петрович «сфинтил», — от личного объяснения с Катей уклонился, отправил ей с дороги письмо.

Три месяца провел он с бригадой в разъездах. Агроном, врач, слесаря-ремонтёры и он, Савелий Петрович, — связующее, так сказать, звено. Три месяца, изо дня в день, из села в село, в снег, в метель, холодище... А приедешь — сразу в сельсовет на собрание. Сумрачные бородатые лица, бабий визг, тусклый свет керосиновой лампы, едкий махорочный дым... И вопросы. Сколько, чорт их возьми, вопросов!

Савелий Петрович начинал сердиться, кричать. То было его старое испытанное средство ревизора-обследователя. Здесь он тоже считал себя чем-то вроде ревизора-обследователя крестьянской жизни и потрясал кулаками. «Коллективизируйтесь!.. В сплошную!». Он сорвал голос, отморозил ухо, начал пить водку. Сумасшедшая зима! Сумасшедшая работа!

Но, как говорит умница Мэри: «Не будем притворяться и беспокоиться о других. Будем беспокоиться о себе». Нагрузку он выполнил? Выполнил. Объездил положенное число сел и деревень, провел соответствующее количество собраний, бесед, совещаний, процент «сплошной» у него достаточно высок. И все это подтверждено резолюциями, выписками из протоколов, за надлежащими подписями и печатями. Теперь он может со спокойной совестью держать партийный экзамен — явиться на чистку.

Глава двенадцатая

...Поезд подходил к Москве. Уже гремя мимо окон дачные платформы с молочницами, встречные составы с лесом, тракторами, цистерны с горючим, — все на юг, на юг, на посевную. И — вдруг—прошелестит голыми ветвями березовая рощица, перелесок, мелькнет узкая полоска тощей желтой подмосковной земли, — застроенной, задавленной камнем, кирпичом, железом, — мелькнет и скроется. И снова все гуще платформы, бараки, красные товарные составы, белые, желтые, серые дома в один этаж, в два, в три... И вот уже улица, над которой, гремя, проносится поезд. А по улице беспечно бежит знакомый московский трамвайчик, забрызганный грязью грузовичок тормозит у перекрестка, милиционер хозяйственно-строго поднимает руку.. Москва, Москва, приехали!

— Приехали, — сказал сосед по купе, натягивая пальто. — С дождичком вас...

Действительно, моросил первый мартовский дождик. На вокзале трудно было протолкаться. Савелий Петрович расплатился с носильщиком и остановился, оглядываясь. Он известил Мэри телеграммой до востребования, как было условлено. Но Мэри не видно было.

Редкие извозчики стояли вдоль голого сквера. Савелий Петрович прошелся, вздыхая, поглядывая на часы.

В поезде он отоспался, побрился, переделся, сменил валенки, тулуп, шапку-ушанку на синий костюм, шляпу, башмаки и почувствовал себя снова культурным человеком. Последний извозчик, сутулый, с тощей сивой бороденкой попытался лихо «подать» к вокзальному подъезду, на ходу откидывая мокрую полость. Савелий Петрович собрался садиться, когда увидел Мэри в машине, которую тотчас узнал: машина была служебная, в ней ездил Давид Самойлыч.

— Сюда, сюда! — говорила Мэри шоферу, распахивая дверцу. Она шла навстречу, красивая, свежая, улыбаю-

шаяся, с милыми пушистыми бровями. Взяла в обе ладони его лицо и поцеловала, ничуть не смущаясь шофера, — который, конечно, знал ее, — с той непринужденностью и уверенностью, которые всегда восхищали, изумляли Савелия Петровича. И словно желая изумить его еще больше, усаживаясь рядом с ним на заднем сиденье, Мэри сказала:

— А машину мне Додя уступил на часок! Правда, мило с его стороны?

Савелию Петровичу показалось, что не только у него, у шофера зарделись уши от смущения. Что за женщина!

— Куда же мы едем? — спросил Савелий Петрович немного растерянно.

Мэри пожала плечами.

— Конечно, ко мне. Я уже все устроила. Тесновато, правда, но очень мило. Посмотришь.

Она начала спрашивать о поездке, рассказывать московские новости, сообщила, что чистка уже началась, и последняя новость: вселение в новый дом начнется на-днях.

Досада и смущение Савелия Петровича начали проходить. Уже с нежностью, благодарностью смотрел он на свою подругу. «Милая Мэри... бесстыдница, умница моя!..». Он с удовольствием откинулся на спинку сиденья и смотрел по сторонам.

Вот Тверская, Садовое кольцо, Страстная. Вот Моссовет... Часы показывали десять без четверти. Давид Самойлыч мог еще быть дома... Савелий Петрович снова собрался отговорить Мэри от ее затеи, но было поздно.

Приехали.

Он помог Мэри выйти, сунул шоферу пятерку, на что тот кивнул преувеличенно любезно и, кажется, даже подмигнул: с новосельем, дескать! Взял чемодан и, глядя под ноги, испытывая все большую неловкость, вошел в подъезд.

Только захлопнулась дверь за ними, Мэри расхохоталась:

— Бедный мальчик-пай... совестливая душа! Что подумает обманутый муж! — Ее бесстыдство переходило все границы.

Давида Самойлыча, к счастью, не оказалось дома. Мэри велела работнице тотчас приготовить для Савелия Петровича ванну и, снимая пальто, шурша юбкой, разговаривая, смеясь, наполняя квартиру веселым шумом, прошла к себе.

Было действительно «мило», как говорила Мэри. Все оставалось на месте, в знакомом порядке, который помнил Савелий Петрович. И туалетный столик здесь же, на нем знакомый черный человек, метатель бумеранга. А у окна — диван в чехле, на нем они с Мэри играли когда-то в шахматы. Все попрежнему. Даже платье на Мэри как будто то же, что в тот первый вечер. Может быть, ей хотелось напомнить ему?

Савелий Петрович стоял посреди комнаты с чемоданом в руке, испытывая неловкость. Может, и Мэри это чувствовала, потому держала себя так вызывающе-весело и беспечно?

Зазвонил телефон (его еще не успели перенести в коридор), спрашивали Давида Самойлыча.

— Его нет дома, — ответила Мэри: — Когда будет? Не знаю... Что? Нет, соседка говорит. — Она повесила трубку и засмеялась тихонько, показывая небольшие блестящие зубки.

Страх, мысль об ошибке мелькнули на мгновение в голове Савелия Петровича. Но Мэри смотрела на него так дружелюбно, так смеялись ее серо-зеленые глаза, так улыбались губы, что страх его так же мгновенно исчез, как и появился.

— В добрый час! С новым счастьем! — сказал Савелий Петрович немного торжественно и церемненно поклонился. В ответ Мэри сделала глубокий реверанс. Потом оба, смеясь и болтая, принялись разбирать его вещи, подарки, которые он привез ей: резную шкапулку и пудреницу из прозрачного уральского камня.

Телефон звонил еще несколько раз, все спрашивали Давида Самойлыча. Теперь это уже не корбило Савелия Петровича. Ему тоже становилось смешно, и раза два он сам снимал трубку, от-

вечал деланно-сердито, что «нет, нет, это не Давид Самойлыч, совсем наоборот...». Впрочем, второй раз промолчал, передал трубку Мэри: звонил секретарь партийной ячейки, который мог его узнать по голосу.

— Да, слушаю. Нет. Да, это я. Добрый день, Федор Андреич... (Мэри сделала гримаску и показала язык Савелию Петровичу.) Как поживаете? Я? Спасибо. Какие могут быть новости у женщины, которая не работает? Нет, все в порядке. Всего наилучшего.

Мэри вешает трубку и повторяет, разводя руками:

— Всего наилучшего, прелюбопытнейший Федор Андреич!

Теперь и Савелий Петрович рассмеялся, хотя это был секретарь ячейки, перед которым ему предстояло отчитываться.

Выждав паузу, он снял трубку и, улыбаясь Мэри, позвонил этому самому Федору Андреичу, сообщил о своем приезде:

— Здоров, здоров. Что — не узнаешь? Он самый. Вот только полчаса назад, даже не вымылся. Как же, нужно доложить. Что? Э-э, браток, столько было, что не перескажешь, три дня рассказывать. Зарос, как поп, забыл, когда мылся... Фронт форменный, как в 19-м году. Скажу прямо: кто не был нынче в деревне, тот ничего не знает. А у вас что? Как (он хотел спросить насчет чистки, но не решился)... как... твоя нога? (Секретарь страдал ревматизмом.) Ничего? Правильно, нынче хворать некогда. Что? Уезжает Самойлыч, придется заменить? Что ж, надо, так надо...

Савелий Петрович повесил трубку и посмотрел на часы, чтобы не видеть лица Мэри, которая с усмешкой слушала его разговор. А когда зашла речь о замещении уезжающего Давида Самойлыча и он сказал свое бодрое: «надо, так надо», Мэри уже открыто смеялась. Савелий Петрович поморщился.

Тем временем ванна была готова. Савелий Петрович отправился мыться. Чистый, в свежем белье и рубашке с мягким воротом, с влажными гладко за-

чесанными назад волосами, разруганный, помолодевший, он явился к завтраку во всем своем великолепии. Душа его, казалось, тоже очистилась в ванне и исполнена была благодати.

После завтрака Савелий Петрович собрался на службу. Он колебался: ехать так или снова облачаться в колхозные валенки и тулупчик? Ему хотелось показаться в своем трудовом обличье. Он зашел за ширму и начал рыться в чемодане. Из-за ширмы спросил, не собирается ли Мэри в город, пусть не ждет его. Но Мэри не уходила. Он вздохнул и начал нехотя натягивать толстовку и стертые, пузырившиеся на коленях штаны.

— Здравствуй, хозяйшюк! — сказал он шутливо, выходя из-за ширмы и притопнул: — мы это, значаца, из колхозу...

Он хотел обратить все в шутку, но чувствовал себя неловко под внимательным взглядом Мэри. Впрочем, она тутчас сделала вид, что приняла шутку, включила радио и, подхватив «колхозника», сделала с ним тур вальса.

Когда Савелий Петрович выходил, в дверях он столкнулся с Давидом Самойлычем. Он поклонился, что-то бормоча и пятясь. Но успел заметить, как с любопытством оглядел его начальник и недавний муж Мэри.

— Здравствуйте, — сказал Давид Самойлыч, обманутый муж, и посмотрел, как торопливо спускается Савелий Петрович по лестнице.

Глава тринадцатая

Не раздеваясь, сдав только калоши гардеробщице, — теперь ему уже не хотелось расставаться с колхозным тулупчиком, — Савелий Петрович вошел в общий отдел. Он пожимал руки направо-налево, отвечал на приветствия, смеялся нарочито грубоватым голосом, какой усвоил во время поездки, и все слушали его с улыбкой, покачивая головами, удивляясь тому, как изменился этот корректнейший щеголь Савелий Петрович.

Он постучал в кабинет начальника, хотя знал, что Давид Самойлыч не здесь, а дома, миновал узкий коридорчик и раскрыв дверь в комнату ячейки.

— А вот и я! С колхозным вас... — Он чуть не перешел на тот тон, каким недавно шутил с Мэри, но тут же сдержался и добавил обычным своим голосом. — Здравствуй, Федор Андреич, как живешь?

— Здравствуй, здравствуй! — Секретарь посмотрел на него озорновато. Секретарь был весельчак, балагур, с густым румянцем во всю щеку, с широкой выпуклой грудью, с мускулистыми руками — крепыш.

Савелий Петрович никак не мог привыкнуть к нему. Здоровье и веселье секретаря не вязались с его представлением о партийном работнике, не разгибающем спины труженике, умеющем только требовать, давать нагрузки...

А секретарь уже кричал со своей озорноватой ухмылкой:

— В самый раз прикатил, в самое место. Вот мы тебя на лопату — и в печь!

Он потрогал овчинный тулупчик Савелия Петровича, почесал подбородок:

— Где ты так вырядился?

— С дороги, прямо с поезда, только побрился и — сюда...

— Ну, ладно. Садись, будь гостем.

Савелий Петрович сбросил тулупчик, сел, начал рассказывать. Но секретарь слушал, казалось, не очень внимательно. Все посматривал на него, почесывал подбородок, кивал коротко стриженной головой: «Так-так... занятно... А статья как? (Он спрашивал о статье «Головокружение от успехов», появившейся несколько дней назад. Савелий Петрович прочитал ее уже в дороге, очень довольный, что она не застала его на месте, врасплох.) Еще не дошла? Не застал? Жаль. А бригада тоже вернулась? Нет? Так-так, занятно».

Что было здесь «занятного», Савелий Петрович не понимал, да и весь разговор ему начинал не нравиться. Уж не случилось ли что?

— А вы как? как дела? — спросил он, доставая кисет. — Махорки хочешь?

— Скрипим понемногу. Начальство вызывают в Ленинград, Иванников — на посевной, Губин — в «двадцатипятидесятыхниках»... Весь народ в разгоне... Входи, входи! — крикнул он заглянувшей в дверь комсомолке Гавриковой из общего отдела.

Гаврикова поздоровалась и тоже удивленно оглядела костюм Савелия Петровича. («Дернуло же» — выругал он себя.) Когда Гаврикова вышла, секретарь сказал:

— Ну, принимай дела. А мы тебя на лопату — и в печь. Не возражаешь?

— Что ты? Сам хочу.

— Ладно. Отчет твой на-днях поставим.

Савелий Петрович собрался уходить. Секретарь спросил:

— Ты, говорят, снова женился?

Савелий Петрович слегка покраснел:

— Женюсь.

Секретарь помолчал:

— А та... Екатерина Тимофеевна, кажется? (Он был осенью у Савелия Петровича в гостях, Савелий Петрович назвал его.) Помнится, ты говорил — она хворает?

— Да, слабая она... — Лицо Савелия Петровича пошло пятнами: — Жалко... И дочурку жалко... одна у меня... Но что поделаешь...

— Да, да, — закивал секретарь: — ничего не поделаешь.

В глазах его вдруг погасло веселье. Он остро, пристально оглядел Савелия Петровича:

— Ну, будь здоров!

Савелий Петрович вышел красный, какхмуренный и долго сидел у себя в кабинете, размышляя, что бы все это могло значить? Он совсем не так представлял себе свой приезд, встречу в ячейке. Ведь он три месяца трудился ради этой встречи. А выходит на поверку, что, может быть, зря!

Зря надел этот дурацкий тулупчик, зря поспешил вернуться, оставил бригаду, зря не может доложить о значении столь важной статьи и особенно зря было торопиться с семейными делами. Но кто доложился секретарю о его семейных делах? Уж, конечно, этот хваленый Давид Самойлыч, честнейший, благород-

нейший Давид Самойлыч! Копеечный Отелло!

Савелий Петрович с негодованием вспомнил, как оглядел его там, на площадке лестницы, этот длинноносый Отелло. «Все вы такие, только затронь. Авангард! Философы!».

Он вдруг остановился: «А может... Катя? Нет, не она. Все-таки она меня любит. (Он так и сказал себе: «она меня любит»). Ах, зачем я сам не объяснился с ней! Мэри совершенно права: такие дела надо улаживать обязательно лично».

Он продолжал размышлять: а может, брат ее? Вполне возможно. Ужасно неприятный тип. Чего доброго, еще пойдет в райком... Хорошенькое дело!

Он почувствовал приступ страха. Приятная способность находить в дурном и хорошее не помогала теперь. Что могло быть хорошего, когда и начальство, и Катя, и катин брат, а, возможно, и секретарь партячейки... Все сошло вместе и как-раз перед самой чисткой. Попробуй, найди здесь хорошее!

Савелий Петрович решил нынче же съездить к Кате, выяснить все, уладить. Он так и сделал, после того как принял дела. Он переговорил с Ендражиевским, который тоже работал здесь, узнал, что программа первого квартала выполнена едва на 70 проц., что в зарплате перерасход, лимиты урезаны против плана почти наполовину и что, вообще, «бабенка мой, не работа — слезы», как сказал Ендражиевский. Ну, Ендражиевский, тот в последнее время только ныл. Спесь с него посбили. Еще в торфяном директорате, после ревизии РКИ, когда обнаружились всякие художества, Жадзилку тогда попросили вон, Перчихина — вон, а Ендражиевский сам ретировался. Так он говорил. Некоторое время пробавлялся сдельщиной и, наконец, появился здесь, уже без пышных титулов — обычным консультантом, наравне с Савелием Петровичем. Вот как все переменялось за три года!

Но сейчас нытье Ендражиевского, его сочувственные расспросы (он полагал, что с Савелием Петровичем тоже стряслось что-то, раз его посылали в

деревню), его одышка (жирен, как бор, каналья, несмотря ни на что!), только раздражали Савелия Петровича.

Покончив со служебными делами, он отправился улаживать дела семейные.

Уезжая в командировку, Савелий Петрович отправил Кате письмо, в котором писал, что им лучше разойтись. Они разные люди. Он растет, она топчется на месте, с каждым годом это становится заметнее. Теперь он встретил женщину, вполне соответствующую его характеру. Она любит его и сможет дать то, что Катя никогда не могла и не давала ему. Он ни в чем не винит Катю. Но и себя винить не видит причин. Просто они оказались разные. Жизнь идет, люди меняются, и потому он надеется, что Катя поймет его.

Катя, повидимому, поняла его и ничего не ответила. Но теперь, подходя к дому, Савелий Петрович не верил Кате, ждал длинных бесполезных и потому неприятных разговоров.

Вид у него был кислый, взгляд обиженный. Все его нынче обижали: Давид Самойлыч, секретарь парткома, теперь — Катя...

Квартира помещалась в глубине грязного двора. Савелий Петрович пересек его, брезгливо морщась, и с силой дернул дверь. Он дернул еще и еще раз, пока дверь не подалась с грохотом, который отдался во всем доме, как выстрел. Так было всегда, сколько ни бился с этой дверью.

Савелий Петрович поднялся по деревянной облезлой лестнице на второй этаж (входная дверь была всегда открыта) и вошел в темный коридор, заставленный корзинами, складными кроватями и прочими принадлежностями коммунальной квартиры. Он остановился, прислушался. Тоненький детский голосок напевал, то приближаясь, то удаляясь от двери. Кажется, Натка... Потом пенье смолкло. Голос Натки спросил:

— Значит, папка насовсем уехал?

— Совсем, доченька, — ответила Катя.

— А... зачем? — допытывалась Натка. — Разве мы плохие? Ему будет скучно без нас. А, мамка? — Слышно

было, как она притопнула нетерпеливо ножкой: — Я тебя спрашиваю. Разве мы плохие?

— У меня голова болит, зачем ты кричишь? — отвечал голос Кати.

— Ну, а где папка будет жить? — допытывалась Натка.

Внизу раздался грохот. Кто-то вошел. Стоять в коридоре было неудобно. Савелий Петрович постучал в дверь.

Катя шила что-то, согнувшись над швейной машинкой. Она казалась такой постаревшей, неинтересной. Савелий Петрович почти с удовлетворением обнаруживал сейчас ее недостатки: блеклый вид, первые морщинки у глаз, слабый голос. Как быстро она изменилась! Была комсомолкой, активисткой, и вот — домашнее создание...

— Ай, пап!.. — вскрикнула радостно Натка, кидаясь ему навстречу, на бегу остановилась, оглянулась на мать. Исподлобья блеснула на отца глазами и покраснела так сильно, что выступили слезы, задрожали губки.

— Здравствуйте, — сказал Савелий Петрович, — здравствуй, Наточка!

Он протянул к ней руки. Но она стояла, потупясь, боясь взглянуть на него. Он нагнулся, поднял, поцеловал ее, слыша, как прерывисто она дышит. Она пыталась что-то сказать и не решалась.

— Ты что, нездорова? — обернулся Савелий Петрович к Кате и опустил девочку на пол.

— Нет, ничего. Я сейчас. Ната, сбегай на кухню, посмотри, как чай.

— Мне очень жаль, — начал Савелий Петрович, едва Натка вышла, и замолчал, видя, как болезненно поморщилась Катя. — Но, Катя, — продолжал он со всей необходимой в его положении мягкостью и в то же время настойчиво: — Я должен тебе объяснить. — И он начал подробно объяснять то, о чем писал в письме и что, в сущности, уже не нуждалось в пояснениях.

Странная непоследовательность! Сам он еще несколько минут назад хотел избежать этого разговора, боялся, что именно Катя начнет его, и только затем и явился, чтобы успокоить ее, смягчить, а теперь сам начал. Кажется,

он не ожидал, что Катя так просто, без упреков и сцен встретит его... Ага, она хочет выказать ему свое равнодушие, отплатить ему? Этого он не может допустить. Он человек порядка, правил и всегда был человеком порядка, правил. Ничего дурного в его поведении нет. Он заставит ее это признать.

Савелий Петрович настолько был преисполнен сознанием своей правоты и стремлением доказать Кате ее неправоту, что совсем упустил из виду цель своего прихода — случай для него редкий — и даже не заметил возвращения Натки. Он только видел исхудалое, болезненное, но все еще миловидное катино лицо, ее глаза, которые упорно не смотрели на него. А он хотел заставить ее смотреть на него, потому что он прямой, честный человек и, если угодно...

Савелий Петрович спохватился, заметив на себе внимательный взгляд дочери.

— А-а... маленькая моя... — Он присел перед ней на корточки, сразу переходя на другой тон: — Маленькая моя, будешь ко мне приходить в гости? Натка к папке... Правда?

Лицо его находилось на уровне ее лица. Она смотрела на его квадратную бородку, на щеки, губы, глаза — на своего бородатого красивого папку и не знала, что сказать, искала глазами — поверх его головы — маму.

— Будешь приходить ко мне?.. Да?

— Бу... — кивнула Натка стриженной головой. — Нет, не бу... Не буду... — добавила она тише и попятилась, потупилась, покраснела, как в первый раз.

Его ждало множество дел. Он должен был отобрать свои вещи, отметить себя в домоуправлении, договориться о деньгах, о снабжении дочки (может, прикрепить ее к своему ЗРК?). Наконец, самое главное, ради чего он явился и о чем так непростительно забыл в пылу спора: успокоить, уговорить Катю, дать ей понять, какое трудное, опасное наступает для него время. Она поймет, она всегда его понимала (он уже забыл, что совсем не то писал ей в письме). Но он продолжал сидеть на кор-

точках перед дочкой, которая прятала от него, как и мать, глаза.

— А к нам бабушка переедет! — заявила Натка неожиданно, когда Савелий Петрович, устав, поднялся. — Правда, мама? — она подбежала к матери, заглядывая ей в лицо.

Катя не отвечала. Молча заваривала чай. Потом начала доставать из буфета чайную посуду. Она двигалась по комнате с трудом, едва превозмогая кашель. Но она не кашляла, нагибалась, тяжело дыша, улыбалась Натке, все время что-то делая, из последних сил выжидая, когда он уйдет. И Савелий Петрович понял это.

На минуту что-то похожее на страх, жалость и стыд (хотя вряд ли это были подлинные жалость и стыд — один разве страх) шевельнулись в нем. Может быть, он вспомнил тот далекий день, когда чужой, одинокий в этом городе он пришел в ее дом, в ее семью, как в свою, или — ее безответную любовь, ведь безответно любила его она все эти годы, любила, работала, жила для него одного, ему отдавала свою молодость, здоровье... Но, боже мой, что же делать? Так было всегда: одним — одно, а другим — другое...

— Катя, — сказал Савелий Петрович, — милая Катя... — Он шагнул к ней, прижимая руки к груди. — Я тебя понимаю... Если бы я мог, то поверь...

Слова эти ничего не значили. Но он продолжал говорить, стараясь во взгляде, невольном жесте Кати узнать то, что единственно его сейчас занимало, то, ради чего он пришел: жаловалась она на него или не жаловалась?

При первом звуке слов «милая Катя» дрожь прошла по ее телу, словно душили ее беззвучные рыдания. Но она оправилась, отбросила давно забытым молодым, почти девическим движением волосы со лба и даже улыбнулась.

— Я привык прямо смотреть в глаза людям, — продолжал уже немного затрудненно Савелий Петрович (его смутила эта улыбка), — мне нечего скрывать от людей, от партии... — Он помедлил ничтожную долю секунды. Но

одной этой ничтожной доли времени достаточно было, чтобы в блеснувшем внезапно, так долго ожидаемом им взгляде Кати увидеть все. То, что она поняла его — только сейчас, вполне и окончательно: цель его прихода, его ласковую речь, его страх, его трусость и полное равнодушие к ней, «милой Кате», и даже к ребенку...

Он замолчал, потоптался немного и взялся за шапку.

— Ты не бойся, — сказал он смиренно: — я буду вам помогать.

Катя усмехнулась слабо:

— Нет, ты не бойся. Ты ведь этого... из-за этого... — Она не договорила.

Плечи ее вздрагивали. Может быть, она плакала?

Снова ему стало не по себе. Почему так случилось, что все, с кем он имел дело, с кем работал, жил, дружил, всем приходилось потом худо? Мать умерла в нужде, в слободской старой хате, так и не увидела счастья сына, которого хотела вывести «в люди»: он даже не приехал похоронить ее; крестного засудили; Давид Самойлыч, доверявший ему и двигавший его по службе, обманут им; теперь — Катя... Почему так случается? Не ведется ли всему этому где-то строгий счет, который в конце-концов предъявят?

Но он не хотел, не умел думать об этом.

Он стоял у двери, собираясь уйти. Но не уходил. Хотя это было единственное хорошее, что он мог сделать, единственное, чего от него ждали, просили — безмолвно, без слез, без упреков: — уйди, уйди... порядочный человек!

— Уйди! — закричала вдруг Натка, о которой он снова забыл, красная, злая, со злыми блестящими от слез глазами. — Не трогай маму, уйди!..

Она кричала так громко, так отчаянно, что кто-то ахнул за стеной. И когда Савелий Петрович вышел, две двери сразу, словно по команде, чуть открылись и закрылись. Его выпроваживали молча, без слов.

Почему все-таки?! Почему?! Почему?!

Глава четырнадцатая

Председатель-женщина устало повела шеей, посмотрела на него, протянула руку за билетом:

— Ну, давайте.

Все было, как полагается: крытый кумачом стол, графин с водой, лампа с зеленым абажуром, взятая из партячейки. А сам секретарь партячейки сидит здесь же, спокойно постукивает пальцами по столу.

В комнате было полно. Савелий Петрович слышал шорох, скрип скамей, чей-то кашель в дальнем углу. Кто-то шопотом, отчетливо слышным в наступившей тишине, сказал: «Ну-ка, ну-ка... интересно...». Может быть, ему и было интересно видеть, что взрослый уважаемый человек держит перед всеми экзамен, как мальчишка. Срежется или не срежется? С выговором или без?

— Ну,— сказала председательница,— давайте. Только не стойте спиной к залу. — Савелий Петрович все оборачивался к комиссии.

Он рассказал о детстве, о гражданской войне, о работе в опродкоме, о вступлении в партию, о чистке, которую уже проходил. Называл даты (которые никто не мог оспорить), места событий (свидетелей которых здесь не было), имена людей (которые здесь не присутствовали). Поэтому он говорил спокойно, уверенно, с тем выражением откровенности и полной искренности, которое легко появлялось на его красивом лице.

Его не перебивали. Только снова председательница попросила его говорить в зал и быть покороче, коснуться последних лет.

Он «коснулся». Рассказал о торфяном директорате, о саботаже; о громоздкой структуре, о бумажном руководстве; о бюрократизме; об антимеханизаторских тенденциях; о неверии в людей; о зажиме самокритики; о разбухании штатов; о рабочем изобретательстве (дело Демушкина); о партийном руководстве; о планировании; о двойном планировании...

Снова его попросили говорить коротче, сказать о своей работе.

Но о его работе пусть скажут другие, возразил скромно Савелий Петрович, — работал, как умел. Примыкал ли к оппозиции? Нет. Имел ли взыскания? Нет. Поощрения? Да, премирован в прошлом году путевкой.

— Есть вопросы?

— Есть. Был ли в боях против белых?

— Как же... У Черного Брода, под Каховкой... Под Каховкой комиссаром у нас был Савчук, земляк, одной со мной слободы. Он и дал мне рекомендацию в партию, — сказал, сам не зная зачем, Савелий Петрович и впервые за все время посмотрел на сидевших перед ним людей. Все слушали внимательно. Во втором ряду толстяк Ендражиевский сочувственно кивал ему. На подоконнике рядышком сидели курьерша и уборщица: Таня и Маня. Их и прозвали так: «Таня-Маня». Кто-то сказал: «Форточку откройте, накурили...». И «Таня-Маня» начали открывать форточку.

...Зачем он сказал о Каховке, о Савчуке? И вообще он слишком много и подробно говорит. Будто оправдывается. Не следует...

Он снова заставил себя посмотреть прямо. В дальнем углу, возле двери, он различил курчавую шевелюру Давида Самойлыча и забеспокоился. Давид Самойлыч должен был уехать еще вчера, но почему-то остался. Почему? Ждал его чистки? Хочет свести счеты? Неужели он такой мелочный человек?

Но первый удар был совсем не с этой стороны.

Невзрачный человек, которого он и не заметил, хотя тот сидел в переднем ряду, поднялся и певучим голосом спросил:

— Товарищ председатель, дозволи-те высказаться, хотя я вроде как бы посторонний?

— Пожалуйста. — улыбнулась председательница, — здесь нет посторонних.

— Я так и располагал. Так вот, значит, по какому случаю. Прозываюсь я Демушкин Севастьян Иванович, а племянник мой тоже Демушкин, но по имени Федя. Очень характерный, до-

ложу вам, парень. Да... Придумал Федя одно такое предложение, очень замечательное. Но тут и вышла запятая... Ваша фамилия Овсюков, значит, будет? — обратился он неожиданно к Савелию Петровичу. Помолчал и невозможна вжливей и певучей спросил: — Это вы хотели попользоваться от фединого дела?

Савелий Петрович уже догадался, куда гнет этот кляузный старичок. Пришлось объясняться, вступать с кляузником в спор, пока председательница не сказала:

— Хорошо, мы это выясним. Кто еще желает?

«Желал», как ни странно, Ендражиевский. Может быть, он обиделся на то, что говорил Савелий Петрович о Главторфе? Или тоже хотел взернуть на счет Демушкина? Савелий Петрович посмотрел с беспокойством.

Огромный, с голой дынеобразной, лишенной шеи головой, Ендражиевский поднялся, шумно отдуваясь. Он разглядел вислые казацкие усы, придававшие ему простоватый вид, и заявил, что, как беспартийный специалист, работник старой школы, он тем не менее хочет выступить в защиту молодежи. Тем более... Он снова засопел, как закипающий самовар, огляделся маленькими смышленными глазками... Тем более, что полагает... да, таково его мнение, если угодно знать: молодых специалистов надо ценить, их не так еще много. «Мы — старики, они — смена». Надо растить смену, если позволят так выразиться. Со своей стороны он не может сказать ничего дурного о товарище Овсюкове, о Савелии Петровиче. Напротив, Савелий Петрович сумел усвоить лучшее из нашего опыта, сохранив пыл нового века, большевизма то-есть... А это ценнейший сплав, залог успеха. Таково его мнение, человека, не искушенного в политике, специалиста, практика, рядовика.

Вот он какой оказался, Ендражиевский: речи говорит... «рядовик неискушенный»... Савелий Петрович оглядывался осторожно: кажется, произвело впечатление. Не ожидал. Очень кстати.

После Ендражиевского выступил ста-

рик-экономист, упрекавший Савелия Петровича в склонности командовать.

— Извините, но если — смена, «ценнейший сплав», как здесь выражались, то, будьте добреньки, покажите пример нам, старикам. А мы поверим доброму примеру, — мы то...

Савелий Петрович пожал плечами и ответил, что на работе он, точно, строг. С себя требует и с других. Это его свойство. Может быть, он слишком строг? Пусть скажут. Тогда он готов признать...

Слова эти ничего не значили. Но с тем большей искренностью и готовностью он их произносил. И лицо его, красивые ясные глаза говорили: «Вы видите — я стою перед вами с открытой душой». Но внутренний голос предупреждал: «Приготовиться.. приготовиться». Савелий Петрович чувствовал это по тишине, которая, казалось, все усиливалась, по тому, как внимательно и настойчиво, не поднимая головы, барабанил по столу секретарь ячейки, по тому, как вздыхал кто-то осторожно в углу.

— Кто еще? — спросила председательница.

— Я, — сказала комсомолка Гаврикова и отложила, нахмурясь, перо. (Она вела протокол.) Ремни на ее юнштурме воинственно скрипнули, румянец ударил в щеки.

— Да, товарищи, скажу прямо, — начала она неестественно высоким голосом и ни на кого не глядя: — Наряжаться в полшубки и сапоги, которые обычно не носишь, маскарад «под рабочего» — не достойное коммуниста дело. — Она, Гаврикова, так, во всяком случае, на это смотрит. — А на работе товарищ Овсюков, правда, очень сух, заносчив, и, правда, чуть что — кричит, никогда не объяснит толком и не поможет по-товарищески. — Это тоже не по-комсомо... не по-большевистски. — Красная, как кумач, Гаврикова снова уселась за протокол.

Атмосфера сгущалась. (Почему поторопился Ендражиевский? Ему бы теперь выступить.) Савелий Петрович начал ощущать пустоту вокруг себя, одиночество среди этих строгих, требо-

вательных, памятливых людей. А ведь впереди были еще Давид Самойлыч, секретарь ячейки...

И только Савелий Петрович подумал, — секретарь ткнул окуроч в пепельницу, встал.

— Да, — сказал секретарь, — неприятный случай. (Он имел в виду выступление сибиряка Демушкина.) Но не в том суть. Товарища Овсюкова мы знаем: образованный, толковый человек, умный человек, дисциплинированный. Партийных и служебных взысканий не имеет. В уклонах не замечен. Порученное выполняет. Собrania посещает, нагрузку несет, не ссорится, не затевает склок...

Секретарь на минуту остановился, словно припоминая: в чем еще нельзя упрекнуть товарища Овсюкова.

— А нехорошо ты поступил с женой-то... — Лицо секретаря стало сухим, враждебным. — Больную бросил, с ребенком... Была комсомолкой, общественной, а кем ты ее сделал? Разве это по-нашему?

«Так и есть, — успел подумать Савелий Петрович, — пожаловалась...».

После секретаря выступил Давид Самойлыч. «Сговорились, что ли?». Савелий Петрович втянул даже голову в плечи, ожидая удара. Но удара не последовало. Давид Самойлыч аттестовал его с деловой стороны, личных дел не касался. Он перечислял его достоинства: трудолюбие, усердие, накопленный опыт, знание людей, умение ориентироваться... И при каждом пункте загибал палец. Для «уменья ориентироваться» он загнул большой палец, как бы выделяя это достоинство.

Может быть, он смеялся? Напуганному Савелию Петровичу так показалось. И еще ему показалось, что Давид Самойлыч и румяный секретарь словно перечисляли здесь его приметы, как перечисляют их для приимки преступника: преступник Овсюков, вот ваши приметы! Вы еще не пойманы, но будете пойманы...

Лицо его потускнело, глаза начали косить, затылок отяжелел. Может, лучше было, ему уехать отсюда — в дальний маленький городок, щелкать мир-

но на счетах, по вечерам играть в шахматы и пить чай — стать маленьким человеком, каким он и был, но не хотел быть... Ах, зачем он не захотел быть маленьким человеком?..

Но разве об этом скажешь вслух? Об этом и себе не всегда скажешь.

Он с трудом перевел дыхание. Еще кто-то говорил о нем. Потом председательница делала заключение. Она упомянула о выступлении Ендражиевского, которое, видимо, произвело на нее впечатление. Все же, отметила она, факты есть факты. Все обвинения против члена партии Овсюкова будут рассмотрены, комиссия учтет и вынесет свое решение.

— Всё, — сказала председательница.

Савелий Петрович шел торопливо, не глядя ни на кого, чувствуя, как горят его уши, словно высекли его только-что публично. Он испытывал одно желание: поскорей уйти, отдохнуть от этих людей, от жизни, которая встряхивала его так грубо.

У самой двери он споткнулся и — лицом к лицу — встретился с Давидом Самойлычем. Тот оглядел его с любопытством, — как тогда, на лестнице. И как тогда, Савелий Петрович поклонился растерянно, прошел в дверь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава пятнадцатая

Приятно душным, пыльным московским летом провести день на даче. Отдохнуть от городской суеты, служебных дел, выспаться, встать поутру и выйти на веранду, еще мокрую от росы. Вдыхать свежий воздух, слушать ничем не тревожимую тишину.

Именно это ощущал высокий красивый, заметно полнеющий человек, с коротко подстриженной бородкой, без усов. Он стоял в шелковой полосатой пижаме, в сандалиях на босу ногу, заложив руки за спину, и смотрел, улыбаясь, в сад и на лес, начинавшийся тотчас за садом, и от полноты душевного удовольствия насвистывал.

Потом он спустился в сад и с полотенцем через плечо направился к ку-

пальне. Он разделся, постоял минуту, с удовольствием разглядывая свое крупное белое тело, похлопал себя одобрительно по бокам, пригнулся и, зажмурясь, прыгнул. Ухая, отплевываясь шумно, он пошел короткими саженками, чувствуя, как быстро и сильно бьется сердце.

Со стороны дачи слышались голоса. Он увидел Мэри в нарядном бухарском халате, который он подарил ей недавно, и Наташу, жившую с ним после смерти первой жены.

— Почему ты молчишь? — спрашивала Мэри Наташу. — Нехорошо молчать.

— А мне хорошо! — буркнула Наташа, глядя себе под ноги.

— На-та-ша-а! — закричал строго Савелий Петрович, забыв, что он в воде.

Наташа и Мэри оглянулись. Лицо Наташи было испуганно. Но вот она разглядела голову отца, мокрую и блестящую, как у моржа, которого она видела недавно в зоопарке. Она прыснула.

Солнце поднималось. Горячие пятна лежали на траве, на розовом платице девочки, на ее смеющемся личике. Она зажмурилась и побежала.

Через полчаса вся семья сидела на веранде и завтракала. Пятна света лежали и здесь: на белой скатерти, на электрическом чайнике, на чашках синего фарфора с золотыми разводами — предмете гордости Мэри, на пышных пепельных волосах Мэри, которые она попрежнему укладывала тяжелым узлом на затылке.

Лицо Мэри почти не изменилось. Те же изжелта-серые, временами вспыхивавшие зеленоватым светом глаза, пушистые приподнятые удивленно брови, узкий рот. То же выражение надменности, высокомерия, которое так нравилось Савелию Петровичу прежде. Но теперь все это нравилось ему значительно меньше.

Не то, что он разлюбил Мэри, нет, — он любил и ценил ее красоту, ум, ее умение держать себя, блеск и изящество, которые она сообщала его жизни. Все это было так. Вместе с тем было

что-то новое, неприятное в его теперешних мыслях о Мэри. Ему казалось, что Мэри сильнее, умней, чем он, в своих отношениях к жизни и людям, хитрей, коварней. Было смешно — он сам признавал — побаиваться собственной жены. Но все-таки он не мог побороть этого чувства.

Савелий Петрович вспомнил черного человечка, которого Мэри попрежнему берегла и таскала с собой повсюду. Папуас и сейчас стоял на ее ночном столике. Савелий Петрович усмехнулся.

Он закурил и встал. Уже становилось жарко. В шелковой светлой пижаме с отворотами цвета беж, с газетой в руках, Савелий Петрович пошел в сад и лег в гамак.

Сегодня должен был состояться матч, на который стремился попасть весь город. Мэри еще за две недели начала хлопотать о билетах. Вчера вернулась очень довольная: друзья достали ей лучшие места, середина, у самого барьера. Друзей Мэри имела всюду. Это было как-раз то, что в последнее время все меньше нравилось Савелию Петровичу. Но сейчас ему не хотелось думать.

Он развернул лениво газету, ища, что идет в театрах.

— «Дочь Рафке», «Предательство Марвина Блэйка», возобновленные «Дни Турбиных»... А погода как? «К вечеру ожидается меняющаяся облачность, возможны дожди...». — Он задрал голову к небу: — Ну, это едва ли. Еще что? «Продажа сахара по июньским карточкам», «Выставка проектов Дворца Советов». Д-да... — Он пожал плечами.

В том, что эти две заметки помещены почти рядом и набраны одним шрифтом, было, казалось ему, что-то нарочитое, вызывающее. Он почувствовал себя чуть ли не лично задетым.

На прошлой неделе, в такой же выходной погожий день, Ендражиевский, который часто бывал теперь у Савелия Петровича, затеял политический разговор. Обычно о политике он говорил редко, и Савелий Петрович удивился.

— Русский человек по природе своей натура широкая, но... не очень устой-

чивая, — говорил усмешливо Ендражиевский по поводу доклада о реконструкции Москвы, который был только-что опубликован. — И революция наша, если хотите знать, тоже очень русская. Вы не находите?

— Нет, — отвечал Савелий Петрович, никогда не задумывавшийся над такими вопросами. В душе он считал их лишними, ненужными — той самой «интеллигентщиной», которую — и прежде, и теперь — с чистой совестью презирал. Савелий Петрович давно, еще в вузовские времена, заметил, что, обозвав человека, особенно коммуниста, «интеллигентом», выбравив его за «интеллигентшину», легко смутить, сбить его. Это сходило тогда за признак выдержанности, хорошего тона.

К Ендражиевскому Савелий Петрович относился хорошо. Он помнил, что Ендражиевский вступился за него во время последней партийной чистки. Конечно, он понимал, что Ендражиевский сам искал поддержки в то смутное, неопределенное время и считал, вероятно, что если помочь Савелию Петровичу, то и он при случае поможет. Что ж... Савелий Петрович смотрел трезво на такие вещи.

Он ценил опыт Ендражиевского, его умение держать себя и ладить с людьми — свойства, незаменимые при всех обстоятельствах, — его уверенность в себе. Все эти годы они работали вместе. Правда, теперь начальником был Савелий Петрович, и уже Ендражиевский состоял, так сказать, в «подшефных». Но и то сказать — теперь был не двадцать седьмой, а тридцать четвертый год. Кое-что должно ведь было перемениться.

Что особенно нравилось Савелию Петровичу, — Ендражиевский понимал и принимал эту перемену положения. Они работали дружно. Но вот последнее время Ендражиевский начал сбиваться с нужного тона. Его разговоры, бесцеремонные, временами назойливое откровенничанье и желание втравить в спор вызывали в Савелии Петровиче досаду.

Правда, позубоскалить, рассказать двусмысленный анекдот он был мастер

и прежде и, в сущности, нравился этим Савелию Петровичу. Но то было прежде. Теперь Ендражиевский не должен был забываться. Теперь Савелий Петрович имел право говорить, а он должен был слушать и слушаться — почтительно, как в свое время Савелий Петрович. Иначе в чем бы заключалась перемена положения? В упорной назойливости Ендражиевского Савелий Петрович начинал подозревать какую-то неясную цель. Когда он пытался разобраться, он неизменно наталкивался на то, о чем по многим причинам не хотел думать.

Он завозился в своем гамаке, встал. Навстречу ему по солнечной дорожке бежала Наташа.

— Ты куда? — спросил Савелий Петрович, загораживая ей дорогу. — А с папкой играть не хочешь?

Наташа остановилась, потупилась. Она всегда так держала себя с отцом. Савелий Петрович считал ее трудным ребенком. Но он не любил, когда Мэри указывала ему на ее недостатки. На это мог указывать только он, отец.

— Хочешь на лодке покататься? — спросил Савелий Петрович. — Папка с дочкой, славно покатаемся... — Он приподнял ее, покружил. Наташа была легкая. Платице на ней раздулось розовым парашютиком. Она видела, что ему хочется поиграть с ней, и старалась показать, что и ей приятно поиграть с папкой. «Ой-ой» — выкрикивала она старательно, оправляя платице.

К веранде они подошли вместе. Наташа взяла весло, стоявшее за углом. Савелий Петрович — другое, но, вспомнив, что у него кончился табак, пошел в комнату.

Открыв дверь, он увидел, что Мэри переодевается. Когда-то он очень любил присутствовать при ее туалете. И сейчас он с удовольствием окинул высокую девически-тонкую фигуру жены в черном купальном костюме, подчеркивавшем статность ее смуглых ног и узкой талии. Небрежно полуоборотясь к нему, со спущенным с плеч трико, державшимся теперь только на выпуклостях груди, она спросила, глядя через плечо:

— Чего тебе?

Внезапное желание ожгло его. Он сказал просительно:

— Мэри...

Она снова глянула на него, еще небрежней, и, поняв, насмешливо подняла пушистые брови. Она была очень насмешлива. Савелий Петрович вздохнул, взял табак и вышел, прикрыв осторожно дверь.

Наташу он нашел у причала занятой вычерпыванием воды из лодки. Он вдел весла в уключины, усадил дочку на корму и оттолкнул лодку.

Уже припекало. Скамья была теплой. В воде отражались зелень деревьев и блики солнца. Река была узкой, изгибистой. Ветви с берега свисали так низко, что часто приходилось наклонять голову. Скоро деревья с обоих берегов сошлись густым зеленым сводом. Пахнуло прохладой.

На лице Наташи лежал голубоватый отсвет. Лицо у нее было продолговатое, скуластое. Серые отцовские глаза смотрели неулыбчиво. Глаза, брови, цвет волос, форма рта — все было от него, отца. Но что-то неуловимое сообщало этим чертам совсем другое выражение.

С неудовольствием обнаруживал Савелий Петрович в выражении наташиного лица доверчивость, прямоту, нежность и ту искреннюю простоту, которые были в покойной Кате. Только резвости, жизнерадостности катинной не было.

— Знаешь, Ната, я думаю перевести тебя в другую школу, — сказал Савелий Петрович.

Наташа удивилась.

— ...Это новая школа, лучшая в Москве.

— Мне и здесь хорошо.

Помолчали.

— А на состязание поехать хочешь?

Девочка оживилась, украдкой посмотрела на него. Но Савелий Петрович неверно понял ее взгляд:

— Пожалуйста, билеты есть. Мама достала... (Согласно раз заведенному правилу он называл Мэри «мамой». Сама Наташа упорно звала ее по имени-отчеству.) Поезжай с мамой.

Наташа не отвечала. Перегнулась че-

рез борт лодки и принялась ловить плывущие мимо листья.

— Нехорошо, Наташа, нельзя быть такой, — сказал назидательно Савелий Петрович. — Она тебе мама...

— Нет! — крикнула Наташа, вскакивая, так что лодка закачалась. — Нет! Нет! Нет! — выкрикивала она, вся красная, с горящими глазами, и вдруг уткнулась лицом в колени, заплакала.

— Что ты?.. что ты?.. Наташа... — Савелий Петрович растерялся. Он не знал, что делают в таких случаях. Он попробовал взять ее за руку. Она оттолкнула его. Тогда Савелий Петрович сказал, что это не по-пионерски с ее стороны. Это был его последний козырь. Но Наташа продолжала плакать.

Лодку сносило. Савелий Петрович решил наконец посадить Наташу к себе на колени и взялся за весла.

Удивительно, что это неудобное для него и для нее положение привело к желаемым результатам: Наташа начала успокаиваться. Она повздыхала, вытерла кулачком глаза, перестала прятать лицо. Савелий Петрович предложил ей весло. Наташа согласилась, — дело пошло еще лучше. И что удивительно — без слов утешения, назидания, поучения. Савелий Петрович решил, что открыл новую систему воспитания. Он отдал ей и второе весло и пересел на корму.

Весла были тяжелы для слабых ручек Наташи. Она старалась их удерживать, но то одно, то другое срывалось, обдавая лодку брызгами. Она ахала тихонько, испуганно вскидывая заплаканные глаза на отца. Но уже не плакала, даже улыбалась иногда. Савелий Петрович был доволен ею, собой и своей новой «системой».

Когда они возвращались к даче, Наташа дернула отца неожиданно за рукав, спросила тихонько:

— Можно мне к бабушке?

Савелий Петрович замолчал. Кажется, дело было не в «системе», а в чем-то другом... Он ответил:

— Можно, конечно.

Наташа подумала немного:

— А ты не будешь сердиться?

— Отчего же? Если тебе так хочется...

— Ты не бойся, папочка, мы с Фросей поедим, — заговорила оживленно Наташа. Видно было, что она давно готовилась к этому.

«Как все это глупо! — думал обидчиво Савелий Петрович. — Зачем ей старики? Только расстраивать. Может быть, они хотят сманить ее, как уже пытались однажды? В сущности, он должен был бы ей запретить поездку...».

Он шагал быстро, сердито, не замечая, что Наташа с трудом поспекает за ним.

Глава шестнадцатая

На веранде слышались голоса. Ендражиевский — его громкий жирный голос Савелий Петрович сразу узнал — похозяйски распоряжался, заводил патефон. Савелий Петрович и Наташа волокли весла по дорожке, а навстречу чей-то высокий женственно-нежный голос устало выговаривал: «...тихо вылез карлик маленький и часы остановил...».

На веранде было людно. Ендражиевский разглаживал молодецки усы. Но усы уже были не молодецкие, не густые, а редкие. Мэри покачивалась в кресле-качалке. А за ее спиной, с двух сторон на перилах веранды, восседали два молодых человека в ослепительных галстуках и новеньких полуботинках на толстой подошве.

— Уверю вас, — говорил один молодой человек, наклоняясь к Мэри: — Полузащита слабее. Леута, Старостин Андрюшка просвистят игру.

Мэри пожала плечами:

— А тычки, подножки для чего?

Она увидела мужа. В продолговатых глазах мелькнула усмешка. Кажется, она вспомнила его нежный порыв. Она кивнула:

— Знакомьтесь.

Мужчины обменялись рукопожатиями, и разговор возобновился. Тут только Савелий Петрович заметил маленького взъерошенного, похожего на дикобраза, человечка в парусиновой разлеталке,

которого скрывала высокая фигура Ендражиевского.

— Ах, батюшки! — замахал Ендражиевский руками: — Да ведь это мина под вас, дорогой мой, форменная мина. Я совсем забыл... Фрося! — заорал он своим неистовым голосом с той бесцеремонностью, которую недавно здесь усвоил. — Тащи шахматы! — И без передышки, не снижая голоса, пояснил Савелию Петровичу: — Сейчас он вас зарежет, дорогой мой.

Савелий Петрович, морщась от крика, но стараясь изобразить на лице улыбку, поздоровался с взъерошенным шахматистом и пошел переодеться.

Бесцеремонность Ендражиевского, его панибратство, которое на людях он любил подчеркивать, раздражали Савелия Петровича. Но особенно раздражала его манера, не спросясь, таскать к нему разных людей. Каждый выходной Ендражиевский являлся в обществе какой-нибудь знаменитости. То это был заезжий специалист, светило агрономической, стекольной или, скажем, текстильной науки, желавший устроиться в Москве, то консультант Экспортлеса из Архангельска или Ленинграда, то просто изумительный человек, как выражался тут же при нем Ендражиевский. И Савелий Петрович должен был принимать, угощать всех этих изумительных субъектов. А потом они надоедали ему звонками, напоминаниями, ссылались на общих знакомых. А «общими знакомыми» был все тот же неутомимый Ендражиевский.

Возмутительней всего было то, что сам Ендражиевский о них тотчас как бы забывал. Если Савелий Петрович спрашивал, он искренно недоумевал: «А-а, этот ваш... Ну, как с ним?». И смотрел своими нахальными глазками, словно это были не его, а Савелия Петровича знакомые.

Эти знакомые и знакомые Мэри молодые люди, вроде тех двух, что спорили сейчас на веранде, и молодые дамы, имевшие всегда досуг, представляли в доме Савелия Петровича общество, столичный «свет». Так, по крайней мере, считали Ендражиевский и Мэри. Они, как ни странно, быстро сошлись и, если бы не смешная наружность и

возраст Ендражиевского, следовало бы, пожалуй, приревновать.

Здесь мало говорили о политике и много о спорте. Здесь в газетах читали только отдел происшествий и зрелищ; помнили наперечет все заграничные кинобоевики и закулисные скандалы. О театре знали только то, что такой-то народный играет на бильярде и пьет, а такая-то заслуженная очень молодится; что маститая имя-рек завидует своей молодой сопернице имя-рек; что знаменитый режиссер под башмаком у своей актрисы-жены и прочее в этом духе.

Закулисная осведомленность здесь ценилась больше, чем действительная. Для Мэри и ее друзей было унижительно знать только то, что все знают. Они претендовали на большее.

Здесь совсем не интересовались жизнью в стране, но очень — слухами о заграниче. Что будут носить нынешний сезон? Правда ли, что Уэллс, писатель, имеет собственный самолет? Что известный дипломат женился на русской, бывшей княжне?.. «А вот еще новость: в Дании придумали установку, перерабатывающую мясные туши в удобрение. Мясо все равно девать некуда, без пайков живут...». Но это уже была политика, об этом не принято было говорить.

В промежутках между партией в теннис и новостями о модах болтали иногда о литературе, особенно Мэри. Называли имена писателей, которых почему-то не удосуживались у нас перевести. И хотя знали о них тоже только понаслышке, было естественно восхищаться тем, что не знаешь, и презирать то, что должен знать, но не хочешь, только потому, что оно — свое. В сущности, это и отличало здесь всех, все разговоры, споры: равнодушие к своему, полная глухота к окружающей жизни и зависть, жадность, сжигающая нетерпеливая жадность и зависть к чужому, соблазнительному уж тем, что оно — чужое.

Странно, что Савелию Петровичу эти молодые люди и дамы не очень нравились. В душе он, правда, завидовал не-

много их остроумию, находчивости, пренебрежительной самоуверенности, с какой они говорили обо всем. Савелий Петрович всегда завидовал самоуверенным людям. И ему было досадно за себя: его признавали здесь в качестве мужа Мэри, не больше.

В конце-концов он примирился с тем, что это другой, не совсем понятный и доступный ему мир, мир Мэри. Что ж, можно жить и так. Так и жили.

Один Ендражиевский, с несвойственной его возрасту и комплекции живостью, умел всюду чувствовать себя своим и тянул Савелия Петровича. А Савелий Петрович не любил, чтобы его тянули.

Итак, он переоделся, причесал волосы и вышел на веранду.

На веранде его уже дожидался взъерошенный человек у шахматной доски. Едва Савелий Петрович уселся против него, он сказал умоляюще:

— Прошу вас...

Играл он, поминутно встряхиваясь и ежась, словно что-то ползало у него по спине. Играл он каверзно. Пока Ендражиевский успел поставить новую патефонную пластинку, прокричать несколько слов молодым людям и обратить свой лик к доске, человек съел у Савелия Петровича две пешки и грозил блокировать ладью. Ендражиевский издал предостерегающий вопль и ринулся на помощь.

— Без сигналов, — поморщился Савелий Петрович. Но вскоре он догадался, что сигнализирует Ендражиевский не ему, а его противнику, чтобы не нажимал слишком, — и рассердился.

Партия закончилась вничью. Далось это человеку не легко — слишком увлекся он вначале. Теперь приходилось затевать нелепые комбинации, так что Савелий Петрович даже спросил:

— Вы что, в поддавки играете?

На что человек только покрутил отчаянно головой. Ендражиевский следил за ним неусыпным оком.

С неудовольствием припомнил Савелий Петрович партию, которую играл когда-то с Мэри и тоже свел к ничьей. Но там это было деликатно, дружелюбно, а не так назойливо-откровенно, почти нагло, как здесь. И чего хотят они

от него? чего хочет этот лизоблюд и втируша Ендражиевский? Пристроить с его помощью этого субъекта? Разглагольствовать на всякие темы?

Савелий Петрович посмотрел косо на молодых людей, обступивших Мэри. Выходной день, а отдохнуть негде. Не дача — балаган. Интересно знать, кому это нужно?

Глава семнадцатая

В три часа пришла машина Савелия Петровича. Шоферу дали закусить. Мэри пошла одеваться. Мэри предполагала, что с ней поедут Ендражиевский и молодые люди. Но оказалось, что едет еще Савелий Петрович с Наташей.

— Как же быть? — спрашивала она мужа, разглядывая на свет черные ажурные чулки так озабоченно, что трудно было понять: беспокоит ли ее качество чулок или невозможность пригласить в машину своих приятелей.

— Зачем Наташе в город?

— Наташа хочет повидать бабушку, — отвечал Савелий Петрович. — Я подвезу Наташу, а Никодим Сергеич имеет, так сказать, возрастной стаж... «А твои хлюсты могут проваливать к чертям собачьим» — хотелось ему добавить. Он только сказал: — У стадиона «Динамо» все и встретитесь.

— Не финти, Сава, — возразила Мэри, натягивая прозрачный чулок и шевеля ступней, чтобы разгладить складки. — Просто ты злишься из-за... по пустякам. Кажется, она намекала на его утренний конфуз. — Или ты буль-буль? — посмотрела она снова небрежно через плечо. (На их супружеском языке «буль-буль» означало ревность.)

— Ну, конечно же, — выпятил Савелий Петрович насмешливо губу. — Этот в малиновом галстуке так неэтразим, его лошадиные зубы...

— Не финти, Сава, просто ты злишься. Вот и выдумал какую-то бабушку, тащишь ребенка в пыльный город...

Она вытянула ногу, разглядывая ее, любуясь, поймала конец подвязки и пристегнула чулок.

Савелий Петрович не верил ее веселому тону. Он знал, что именно она-

то и злится. Этот, с лошадиными зубами, — какая-то важная персонà из ВОКСа или Интуриста. Мэри давно хотелось заполучить его к себе. И вот такая неприятность...

Все это Савелий Петрович учитывал и отнюдь не собирался ревновать. Просто ему хотелось взять небольшой реванш за утреннее. Это верно угадала Мэри.

Он постоял, глядя, как ловко и быстро скручивает Мэри волосы тяжелым узлом на затылке, и попытался увидеть в зеркале выражение ее лица. На мгновение оттуда на него глянули прекрасные бешеные глаза. Он знал, что больше она не скажет ни слова, хотя бы ей пришлось пешком итти в Москву. Пора было кончать шутку.

Когда она оделась и, шурша шелком узкого зеленого платья, хотела выйти, Савелий Петрович, торжествуя, сказал:

— Ладно, так и быть. Ради этого платья. Езжайте всей шлеп-компанией... А мы, люди маленькие, поедем электричкой. — И с удовольствием увидел, как зажглись гневным румянцем бледные щеки этой гордячки Мэри. «Вот тебе!».

Он проводил гостей и сел обедать в обществе Наташи и Ендражиевского, который сослался на боль в ноге и вдруг отказался ехать. Его не очень упрашивали — Мэри и ее приятели. Они помахали приветственно «благородному папаше», прокричали что-то вроде: «хип-хип-ура!» — и укатили. А «благородный папаша» Ендражиевский остался. Остался и взъерошенный шахматист. Вот как все тонко обернулось!

Савелий Петрович не сомневался, что номер с Ендражиевским подстроила ему Мэри в отместку.

Сели обедать. Наташа, умытая, принаряженная, в шелковом выутюженном галстучке поверх белого с прошивкой платьица, выполняла роль хозяйки. Она была счастлива — видел Савелий Петрович — и тем, что она хозяйка, и тем, что мачехи нет, и тем, что сейчас они поедут в город, а в городе пересядут в машину, и на машине она подкатит к бабушкиному дому. То-то ахнут все!

Она строго оглядывала стол — у всех ли есть приборы, достаточно ли хлеба в хлебнице, заглянула в солонку и испуганным шопотом сказала Фросе: «А горчица?». Следила, чтобы первому подавала папе, затем «дяде Никодиму», затем этому волосатому голодному (она заметила, как неприлично быстро тот ест) и уже потом — ей. От волнения предстоящей поездки и важности своей миссии за столом Наташа совсем почти не ела, грызла корочку и бросала нетерпеливые взгляды на палины часы-браслет.

Потом подали чай. Наташу, несмотря на умоляющие взгляды, Савелий Петрович усла погулять. Он закурил, встал из-за стола и потянулся весьма откровенно, надеясь, что гости уберутся наконец во-свояси. Но гости уходить не собирались.

Едва Наташа ушла, Ендражиевский осклабился во весь свой огромный жабий рот и подмигнул хозяину:

— А ведь у нас для вас сюрприз, дорогой мой, бесценный!

— Вот именно — сюрприз, — поддакнул взъерошенный шахматист. Он так и сказал: «сюрприз, приятный случай...».

— Изумительный случай! — возгласил Ендражиевский своим неистовым голосом и сделал жест, как конференсье: — Объявляйтесь, почтеннейший!

Оказалось, что этот плюгавый коротышка, сморчок во образе человеческом, есть не кто иной, как Сашка Рудыка, «защитник отечества», без пяти минут юнкер, бывший соученик и однокашник Савелия Овсюкова. Не более, не менее. Что зовется он теперь уже не Рудыка, потомственный дворянин, а благозвучнее: Рудыкин, Александр Петрович, трудовой житель, в настоящее время без определенных занятий. Но желает иметь таковые.

— Мы уже служили с вами единожды... Если изволите вспомнить... — облизнулся новоявленный земляк. (Он удивительно противно облизывался). — В опродкоме, райбазе Черный Брод. Вы меня выгнать изволили, хе-хе, простите на слове... — Он заюлил, захихикал, заерзал на стуле, словно это было самое

задушевное воспоминание в его жизни. — Но за дело, за дело! — пищал он тоненьким птичьим голоском. — За дело, дорогой ты мой Савушка! (Он уже звал его на ты и «Савушкой», словно их не разделяла целая жизнь, вечность.)

Савелий Петрович курил трубку, молчал. «Форменный балаган! Бред собачий! Так вот чем вздумал заниматься Ендражиевский...».

— ...Но за дело! — возгласил четвертый раз «трудовой земляк»: — Время какбе было. Времечко! Кем я был? На кого уповал — белая косточка? И это был урок. Спасибо тебе, родной мой, чистое русское спасибо. Дал в шею и — спас. Понял я тогда, какое время, и — перековался. Стал другим, простым, рядовым, как ты, как Егор Рядовой. Помнишь, Савушка (снова «Савушка!»), нашего Егора Рядового? Как он громил, изобличал расчудесно, а?..

Он снова заюлил, заерзал, препротивно хихикая и заглядывая в глаза. Он, видимо, смущался безмолвием слушателей и торопился все излить прежде, чем снова дадут в шею. Савелию Петровичу так и казалось — сейчас он скажет: не прогоняйте меня...

— ...И отчество у нас одно: Петровичи, и росли, учились вместе. Помнишь ли стихи вдохновенные? Твои, Петрович, твои:

О ты, в погонах защитник наш,
О ты, двуглавый орел над нами,
Тебе вся слава,
Моя держава...

— «Орел» — это иносказательно, — подал голос Ендражиевский, молчавший все время, как пень.

— Как? — Рудыка словно споткнулся на бегу и даже втянул голову в плечи, будто ждал тычка: — «Тебе вся слава, моя держа...». — Он чуть не всхлипнул, затряс взъерошенной головой: — Молодость-то, Савушка, прошла?.. — И сник, замолк, видимо, окончательно.

Где и зачем выудил Ендражиевский этого «землячка»? Какова, вообще, роль Ендражиевского во всем этом? Савелию Петровичу пришло в голову, — неожиданно, как все, что происходило сейчас, — что, может быть, защищая его

на партчистке, Ендражиевский имел особую цель. Но какую?

Савелий Петрович выбил осторожно трубку и начал снова набивать. Посмотрел на часы. Почти так же нетерпеливо, как Наташа недавно. Теперь ему тоже хотелось убраться отсюда поскорей. Он пересилил себя и взглянул на Ендражиевского.

Желтое дынеобразное скопческое лицо Ендражиевского обвисало складками. Их было так много, что глаза, рот, щеки почти пропадали в них. Один нос, сизый, ноздреватый, как губка, с кривыми черными ноздрями, торчал, как клюв, и тонкие длинные уши висели, как лопухи, просвечивая синевато на солнце.

Минуту все трое молчали. Савелию Петровичу даже показалось, что никакого разговора не было. Просто сидят они после обеда, отдыхают, и сейчас Ендражиевский прорычит своим неистовым голосищем, что «пора, дорогой мой, пора...», и все разведутся с миром.

Но только он это подумал, как складка, изображавшая рот Ендражиевского, раздвинулась, и кто-то, будто не Ендражиевский, а другой, громко, внятно сказал:

— Все люди, люди. Вы как смотрите на это, Савелий Петрович?

— На что? — не понял Савелий Петрович.

— На то, что все, говорю, — люди. И я, и вы, и он, скажем, тоже... немного человек. — Ендражиевский кивнул в сторону Рудыки, как бы приглашая убедиться, что эта мразь точно «немного» человек.

— Что ж, спорить насчет этого трудно, — ответил осторожно Савелий Петрович.

— Спорить нечего. Делать надо! — прикрикнул Ендражиевский и так грубо, что Рудыка снова ворохнулся.

— Что вам угодно? — Савелий Петрович встал и отошел к барьеру веранды: — К чему весь этот разговор, какие-то воспоминания, намеки, нелепые стишки... Почему вы полагаете, что меня все это должно интересовать?

— Должно! — подтвердил Ендра-

жиевский. — И очень. Как же, земляк ваш, вместе учились, стихи слагали... — Он посмотрел на Савелия Петровича. Складки, закрывавшие его глаза, раздвинулись. Глазки у него были маленькие, наглые. Он раздул усы: — Стихи слагали... А у белых вы не служили? — спросил он непринужденным, «домашним» тоном: — Сдается мне, что служили. Могли служить? А?

— Служил-с. Служил-с! — ожил вдруг Рудыка на своем стульце: — Вместе большевичков под арест сажали... Помните, Савелий Петрович? (Уже снова «Савелий Петрович», а не «Савушка» и на вы, а не на ты). А гетманская «вартта»? Я там не был, не хотел мараться, а Жорка Валк был и... вы были... Прошу, конечно, прощения, но не могу не напомнить-с...

У Савелия Петровича стучало в висках. В ногах ощущалась неприятная слабость: «Жорка Валк... гетманцы... под арест сажал...». Но он еще не растерялся. Он сказал:

— Если вы хотите меня шантажировать, это не выйдет. Если вы позволите себе продолжать в том же духе, я пошлю за милицией. Не советую вам, Ендражиевский, меня пугать. Я давно пуганный. Еще под пулями гражданской войны. Я большевик, к вашему сведению.

Вот как он выразился.

— Что вы? — удивился Ендражиевский. — Никто вас и не помышлял пугать. Я ваш друг, искренний друг. И земляка привел к вам, а не к кому и будь, заметьте это. — Он тоже встал и прошелся тяжело: — Речь идет совсем о другом. О простом деле. Ваш земляк, связанный с вами, так сказать, узами воспоминаний, нуждается в работе. Нужно ему помочь. Вот и все.

Ендражиевский раздувал по-кошачьи свои редкие, общипанные усы. Во взгляде, в походке его появилось тоже что-то кошачье, вкрадчивое. Впрочем, нажимал он на половицы веранды так, что они пищали, как мышь под лапой кота. Он остановился перед Савелием Петровичем и поднял значительно руку:

— Заметьте себе — я не пугаю, не

принуждаю, не уговариваю. Даже не советую. Только излагаю суть обстоятельств. Ничего больше. Как друг. Прошу ясно и точно понять... А за-сим разрешите пожелать всего наилучшего.

Он пригнул свою дынеобразную голову и начал искать картуз.

— Александр Петрович, вы остае-тесь? — обратился он к Рудыке.

— Что вы? — вскочил Рудыка, ероша свои и без того взлохмаченные волосы: — Помилосердствуйте! — Кажется, он действительно просил милосердия: не оставлять его глаз-на-глаз с «земляком».

Савелий Петрович, между тем, соображал, как быть. Все это могло оказа-ться уловкой, только для отвода глаз. Правило, усвоенное им давно, — не гов-срить без нужды правду и никогда не верить, если правду говорили другие, — требовало осторожности. Он и теперь, укрепившись в жизни, предпочитал не доверять людям. Тем более таким, как Ендражиевский. Ендражиевский был человеком его сорта. Это он знал те-перь твердо. В этом была опасность, но и своего рода удобство: можно сго-вориться. Нужно сговориться. Попы-таемся сговориться. А там видно бу-дет. Два раза одна и та же карта не играет.

И, успокоив себя рассуждением на-счет этой мелкой картишки — Рудыки, Савелий Петрович пояснил, улыбаясь благосклонней, чем обычно, что ничего иного он и не ждал от Никодима Сер-геича (уже не Ендражиевский, а Ни-кодим Сергеич). Не мог же он обма-нуться в человеке, которого знает столько лет и с которым связан тоже, можно сказать, узами воспоми-наний... (Как видите, почтеннейший, вос-поми-наний много, и не толь-ко в провинции, а и в Москве!) А помочь кто откажется? Земляк, не зем-ляк — нуждается человек в работе? Безработицы у нас нет? Нет. Честно-му человеку всегда устроиться мож-но...

На этом он и хотел закончить. Но увидел, что—мало. И добавил скоро-говоркой:

— Отчего ж... Мы с вами подумаем, Никодим Сергеич. Напомните мне зав-тра.

Все-таки он не хотел и не брал на се-бя никаких единоличных обязательств. Пусть уж вдвоем, если на то пошло.

На этом разговор (теперь это уже был вполне благопристойный разговор, никаких угроз и намеков) закончился. Ендражиевский и Рудыка, найдя свои картузы и пожав руку хозяину, удали-лись. Савелий Петрович имел счастье убедиться, что нога Ендражиевского, на которую он жаловался недавно, исцели-лась столь же чудесно, как и разболе-лась.

Он кликнул истомившуюся ожида-нием и уже всплакнувшую Наташу. Фрося успела досыта насмотреться в зеркало хозяйки и десять раз прики-нуть, сколько времени ей удастся вы-кроить для своих личных дел, пока На-таша будет у бабки, — и все трое с чувством явного удовольствия покину-ли дачу.

Как хорошо, как приятно душным московским летом провести день на да-че!

Глава восемнадцатая

Несмотря на то, что за эти годы Са-велий Петрович переменил несколько мест, все время поднимаясь с одной служебной ступеньки на другую, был те-перь ответственным работником всесоюз-ного главка, и, несмотря на то, что вы-говор, полученный им когда-то на пар-тийной чистке, был давно снят, а сле-дующую чистку он прошел благополуч-но, материально был устроен, имел но-вую квартиру, летом дачу, прекрасный ЗРК, машину для разъездов, — не-смотря на все это, Савелий Петрович не был доволен. Напротив! Претензии его росли по мере роста его удач.

Савелий Петрович замечал со все воз-раставшей досадой, что люди подни-мались, обгоняли его. Сибиряк Демуш-кин, тот, что причинил ему столько не-приятностей когда-то, был теперь аспи-рантом, опубликовал недавно работу, которую перевели за границей. Комсо-молка Гаврикова, которая выступила

против него на партийной чистке, окончила вечерний вуз и уехала в провинцию, где ей бы и прозябать в безвестности, но вот руководит плановым отделом крупного завода и выступила очень нетактично против Савелия Петровича, приехавшего на обследование. Инженером на «Динамо» работала и Таня Цыганкова, бывший технический секретарь. Наконец само нынешнее начальство Савелия Петровича выдвинулось необычайно быстро, в несколько лет проделало головокружительный путь от простого техника до заместителя начальника всесоюзного главка. И умный, опытный, культурнейший Савелий Петрович должен был ему подчиняться. Было от чего впасть в досаду.

Савелий Петрович считал, что его не ценят. Он отказывался признавать какие-либо преимущества у всех этих задорных комсомолок и провинциальных рационализаторов. Как прежде Ендражиевский считал его недоучкой, выскочкой, Савелий Петрович считал всех «нынешних» тоже недоучками, выскочками.

Но круг людей, знающих дело, любящих дело, все расширялся. Теперь он уже не мог кричать, как прежде: «На кого работаете? на частника?», рыться в анкетах и по ним составлять докладные. Работать становилось трудно.

Савелий Петрович винил в этом всех. Нарушался основной, казалось бы, закон жизни: люди трудились уже не из нужды, а добровольно, охотно. Нарушалась система, привычный порядок, норма. Сама жизнь, казалось, хотела стать другой, не такой, какой была. Сами люди становились другими.

Но Савелий Петрович не признавал этого. Напротив! Теперь он окончательно убедился, что люди дурны, глупы, самонадеянны, как Гаврикова, и преисполнены неслыханного чванства, задора, которые почему-то именуются теперь человеческим достоинством.

Все говорят теперь — в газетах, в книгах, в кино, в театре — об этом достоинстве. Но в чем оно состоит? В том, чтобы не признавать авторитетов?

Оспаривать директивы? По каждому вопросу жизни, поведения и работы иметь свое мнение? Но как в таком случае руководить? Это не порядок, а хаос.

Таков был нынешний взгляд на вещи ревизора жизни Савелия Петровича. Ведь он всегда только и делал, что ревизовал, проверял, обследовал, предлагал реорганизовать тот или иной объект. Теперь объектом была вся жизнь, и он находил, что требуется в с о б щ а я к а п и т а л ь н а я р е о р г а н и з а ц и я ж и з н и.

Но вот не давали ему хода, мешали. Особенно мешал новый заместитель начальника главка, этот выскочка Кучеренко. Ему, Кучеренко, не нравился, видите ли, метод Савелия Петровича. Как только Савелий Петрович начинал излагать свои планы, Кучеренко морщился, улыбался:

— Какой вы с п е ц и а л и с т!

Савелий Петрович боялся и презирал его. В лице Кучеренко как бы соединялись и Таня Цыганкова, и комсомолка Гаврикова, и сибиряк Демущин, то-есть все те, кто были ниже Савелия Петровича, а становились выше, кто обгонял его, как он в свое время обогнал Ендражиевского. Теперь они с Ендражиевским будто сравнялись: оба были в хвосте.

Но что — «в хвосте»? Ендражиевский, имевший привычку говорить неприятности, откровенно предупреждал, что «имейте в виду — с Кучеренкой напачетесь! Уж эти мне рабочие от сохи!». В глаза смеялся, скотина!

Савелий Петрович решил принять меры. Он дрался не только за себя. Он дрался за принципы.

Придя к такому заключению, Савелий Петрович решил написать статью. Нынче все писали статьи, научные труды, исследования, заявляли о себе — росли, как о них говорили. Он тоже хстел заявить о себе — расти. В конце-концов он ведь тоже выдвигенец из «низов», если на то пошло. А батька его, если угодно знать, простой слободской кузнец, ничем не хуже Кучеренко...

Теперь он, ответственный работник, кадровик, имеющий взгляды на некоторые вопросы и опыт, подтверждающий эти взгляды, желает о них во всеуслышание заявить.

Может быть, изложить все в виде тезисов? У Савелия Петровича был некоторый опыт по этой части. У него даже разработаны были тезисы, которыми он пользовался в день восьмого марта и в МЮД, и для антирелигиозных докладов, и когда ездил на село. По ним можно было говорить обо всем и ни о чем, утверждать одно, другое, третье и опровергать одно, другое, третье. Это был своего рода передвижной трафарет, какие имеются у маляров и под которые можно малевать любые темы. Теперь Савелий Петрович хотел малевать проект статьи.

Но одно дело — устный доклад, другое дело — статья. Здесь каждое слово на виду. Савелий Петрович решил посоветоваться. С кем? С товарищами по работе? Они сами рутинеры, не умеют за деревьями видеть леса, за простыми фактами — фи-ло-со-фи-и факта. С Ендражиевским? Это человек с головой. Но лиса, нахал и разбойник с большой дороги. Редкое соединение стольких свойств в одном человеке, обнаруженное совсем недавно. Оказывалось, что, кроме Мэри, нет человека.

Мэри выслушала его внимательно, высоко подняв свои пушистые брови. Подумав, сказала:

— Не финти, Сава. Идей идеями, а с Кучеренкой тебе не усидеть. Его надо сплавить.

Она всегда так выражалась — слишком прямо. Савелия Петровича это коробило. Но Мэри стояла на своем: лучше одно скучное, но практическое заявление о Кучеренко, чем десять идейных статей. Обрисовать, кто такой Кучеренко, как справляется с работой, как умеет ценить свои кадры. А с выполнением программы как? Сколько перерасходовано по фонду зарплаты? Много ли прибавилось ударников под его руководством? Цифры, факты. Одни цифры и факты. Ничего более. Этим надо брать.

Таков был проект Мэри, короткий и практичный. Она была практичная женщина. Умница!

Савелий Петрович заколебался. Ему жаль было отказываться от «идей», хотелось заявить о себе. Он заперся в своем кабинете (не поехал на дачу) и три вечера в одиночестве и тиши предавался творчеству. То, что он изобрел, было воистину творчеством, порывом вдохновения. Вдохновение помогло ему совершить невозможное: соединить «идею» с практическими «установками» Мэри. Короче говоря, это было зеркало, в котором Савелий Петрович мог узнать себя. Это был он сам, изображенный во весь рост, без красок и кистей, одним, так сказать, росчерком пера на безгрешной бумаге.

Кажется, об этом подумала Мэри, читая его «труд». Она ведь была умница, бесстыдница. Брови ее поднялись. Тонкие губы улыбались. Потом она окинула мужа взглядом, в котором было почти уважение:

— Знаешь, Сава, у тебя талант! Можно поверить. Я бы сама, пожалуй, поверила.

Савелий Петрович был польщен. Особенно тем, что Мэри советовала статью напечатать.

— Не напечатают, — ответил он заносчиво. Савелий Петрович чувствовал уже сладость непризнанного таланта.

Он прошелся по кабинету с важным видом, раздумывая. Все, как будго, взвешено, учтено. Пошлет он статью, конечно, начальнику главка. У него конфликт с Кучеренко. Это кстати. Кучеренко уезжает в отпуск — это тоже кстати. Кучеренко держит поздно людей на работе — тоже кстати. Нехорошо держать людей поздно. Не по закону. На прошлой неделе грубо прикрикнул на Ендражиевского... Говорят, что выпивает... Но кто свидетели?

Савелий Петрович заглянул: упомянуто ли о пьянстве? Да, упомянуто, «свидетель» — Ендражиевский. Не кричи на старого специалиста, он тебе не мальчик. Еще что? Неприятно смеется. Ужасно неприятно... Ну, этого не впишешь.

Он прошелся еще раз, запер сочинение в стол и с сознанием полезно затраченного времени и труда пошел спать.

Глава девятнадцатая

Все вышло как нельзя лучше. Кучеренко уехал в отпуск, что и предполагалось. Еще приятнее была объявленная реорганизация главка. Изменялись структура, штаты, кадры. Это была настоящая большая реорганизация. Здесь пахло жизнью, возможностями, здесь можно было показать себя.

И вот — будто сам бог удачи вспомнил о нем — Савелия Петровича вызвали к заместителю наркома.

Это был первый случай в его жизни, когда его вызывали к замнаркома. И не в служебном порядке, не в качестве представителя такого-то главка, отдела, сектора, а лично, именно его, Савелия Петровича Овсюкова, просили явиться в таком-то часу: с ним хотя бы поговорить. Член правительства запросто хочет с ним побеседовать. Но о чем? Откуда он его знает? Может быть, он услышал об его методе работы и заинтересовался? Весьма возможно. Ведь он умеет распознавать и ценить людей. Кто знает, может представиться случай изложить ему свои взгляды? Не каждый день удается обмениваться с членом правительства мнениями по государственным вопросам.

Ровно за полчаса до назначенного срока, в новом темносером «деловом» костюме, в модном вязаном галстуке, тщательно выбритый и причесанный, он открыл большую дубовую дверь подъезда. Войдя, он огляделся, припоминая (здесь он бывал редко, главк помещался в другом месте), и начал медленно подниматься по лестнице.

В секретариате сидели две девушки. Одна, рыжеватая, проводила его в следующую комнату. Там сверились по списку и вежливо попросили сесть, подождать. Все здесь говорило о чистоте, слаженности в работе. С удивлением Савелий Петрович подумал, что со всей страны сходятся нити

сюда, к этой двери, в которую он сейчас войдет, к человеку, с которым он будет сейчас разговаривать. И только он подумал, дверь в кабинет распахнулась, оттуда вышли двое или трое (он не успел разглядеть) и вслед за ними — сутуловатый седой человек в защитной куртке и сапогах.

— Будь здоров! Будь здоров! Не сдавай, — сказал он сильным приятным голосом и помахал рукой. Огляделся, весело блестя глазами, спросил тем же сильным приятным басом:

— Ну, кто еще ко мне? Кто? — переспросил он секретаря, оборачиваясь в сторону Савелия Петровича: — А-а... вы?... ты?... Тебя мне и надо!

Он оглядел Савелия Петровича быстро, в упор своими большими блестящими глазами, будто толкнул, и добавил: «Заходи!». Пропустил Савелия Петровича вперед и защелкнул дверь на замок.

Савелий Петрович увидел письменный стол, под ним ковер, налево окно, а справа что-то блестящее под стеклянным колаком. Человек уже стоял за столом и смотрел на него, шевеля в усмешке ртом:

— А ну, покажись. Вот ты, значит, какой... Это ты писал? — Он показал Савелию Петровичу его статью.

Этого Савелий Петрович не ждал. Как попала его статья сюда? Ведь он посылал ее начальнику главка. Значит, тот передал? Савелий Петрович потупился, чувствуя, как радостно екнуло сердце: значит, и здесь прочли, понравилось, потому и вызвали? Вот оно что!..

Человек между тем продолжал разглядывать его:

— А... ничего. И костюмчик красивый, и галстук. По литеру «А», наверно? — говорил он не то одобрительно, не то удивленно и не спускал с Савелия Петровича своих блестящих глаз. — Да, да... все по форме, ответственный работник, коммунист... А ты, между прочим, с какого года в партии? С двадцать второго? Ого! С самого-таки двадцать второго года?!

Он так искренно удивился, что даже закинул голову и развел руками.

Верхняя пуговица его тужурки была отстѣгнута. Он машинально искал ее, но не нашел. Смотрел в упор, словно не верил, что этот красивый и такой приличный на вид человек есть именно тот, которого он хотел видеть.

— Значит, ты и есть Овсюков, сочинитель? — Он все еще стоял у стола, не приглашая садиться. Радость Савелия Петровича начала угасать. Он уже не испытывал желания делиться своими мыслями о государственных делах. «Уж лучше бы говорил скорей...». Он искал глазами стул, но сесть не решился.

— Так как же, — спрашивал его насмешливый голос, — как там у тебя? «Могучей волной ударничества, преданностью тружеников - рядовиков развеем в прах зазнайство...». «Зазнайство» — это Кучеренко, да? А «труженики-рядовики» — это ты? Так, что ли? — Голос все повышался: — И давно ты сочиняешь, труженик?

— Что вы? — попытался вставить слово Савелий Петрович. — Я не в том смысле...

— Не в том смысле? А в каком? Неужто — в партийном? Вот ловкач!

— ... Помилуйте, я искренно хотел... я ведь, как диалектик... — лепетал Савелий Петрович, протягивая просительную руку, как бы заслоняясь ею от этого голоса, от исполненного гневной насмешки лица.

Видно было, как человек пытался сдержаться себя, начинал расхаживать, сутулясь и встряхивая седой головой, брал в руки то один, то другой предмет, но тотчас швырял на стол.

— Соедини меня с главком! — крикнул он отрывисто вошедшему на звонок секретарю: — А вам, «рядовик-труженик», придется отвечать в другом месте!

Это было, как сон, ужасный, невыносимый. Савелию Петровичу хотелось себя ущипнуть, ударить, лишь бы проснуться поскорей и стать прежним удачливым человеком, который так упорно пробивал себе дорогу, столько раз срывался, укрепился наконец и вдруг, в одну минуту, сбит с

ног, уничтожен... Что же это такое? Не может быть? За что?

— Что это? Почему? За что? — бормотал он, проходя торопливой походкой мимо людей, мимо рыжеватой девушки, которая посторонилась поспешно. — Нет, за что? Что он такое сделал? Написал жалобу, может быть, не вполне обоснованную, высказал некоторые мысли, возможно, слишком поспешно... Ну, и что? Разберитесь, объясните, научите, наконец. Где же ваше внимание к человеку?

Он шел, нелепо широко ставя ноги, потирая шею, отряхиваясь, словно его только-что били, не заметил, как вышел из подъезда, и остановился, продолжая повторять:

— Нет, где их хваленое внимание к человеку?! Я десять лет работаю, не щадя сил. Я член партии, чорт возьми! Я им не мальчик... Да!

Но, кроме «чорт возьми» и «я не мальчик», ничего лучшего у него не имелось. А пока ему указали на дверь. И не кто иной, как сам замнаркома, член правительства. Завтра его вызовут в главк и уволят с работы. Вызовут в партком и поставят вопрос об исключении из партии. Позвонят в отдел снабжения и сообщат, чтобы открепили от ЗРК. Из Стройпроекта, где он консультирует по совместительству, известят, что не нуждаются больше в его услугах. Из редакции ведомственной газеты вернут заказанный обзор. Короче говоря, все, кто кормил, поил, снабжал его благами жизни, все откажутся от него. Он останется один. Один, как перст! Один против всех, каким был всегда. За что? За что?

Савелий Петрович чуть не заплакал от ярости — на всех, на себя, от сознания, что он сам собственными руками вырыл себе яму... Но ведь это не он! Он ведь не сюда посылал, а начальнику главка, который сам критиковал выдвиженцев и не в ладах с Кучеренко... Зачем он переслал статью заместителю наркома? Негодяй, зачем ты погубил меня?.. Почему Мэри не отговорила? Даже похвалила: «У тебя, говорит, талант!». Тоже умница. А Ендражиевский нарочно раздул кадило

насчет Кучеренко — втравить хотел. И втравил. Будто сговорились все... О, чорт!

Дети, игравшие в сквере, могли видеть, как красивый, прилично одетый гражданин вдруг швырнул ни с того, ни с сего на скамью шляпу и начал бить о скамью ногой, смешно вскидывая задом, будто лягался.

Ярость ослепила его. Он готов был закричать на весь город, проклясть этот город, в который приехал с одним заплечным мешком, в шинелишке равной, который завоевал с таким трудом, и вот — снова вышиблен из седла. Он готов был проклясть всех этих людей, так беспечно, уверенно шагавших мимо него по своим делам, этих малышей, которые толпились с веселым любопытством вокруг него... О, как он ненавидел их всех в эту минуту!

Глава двадцатая

Вечером Савелий Петрович лежал в своем кабинете, в городской квартире, на пыльном кожаном диване и курил. Пепельница была полна. Он выбивал трубку и закуривал снова. В доме было пусто. Все на даче. В тиши и одиночестве читал и перечитывал Савелий Петрович свою злополучную статью. Глупая статья. Дернуло же соваться с нею. Может быть, ему лучше поскорей отмежеваться? Сказать, что по ошибке, что злые люди натравили его, запутали. «Злыми людьми» мог быть Ендражиевский, например. А кто толковал о «выдвиженцах от сохи»? Конечно, этот хитрый говорун, этот разбойник с большой дороги — Ендражиевский... Зачем же Савелию Петровичу безвинно страдать за него?

Но — увьи! — статья была написана не «говоруном» и «разбойником», а им, Савелием Петровичем, подписана им, и выгонять будут, как ни верти, тоже его. Уж не пойти ли к Кучеренко и покаяться? Так и так, виноват, только не губите. Все-таки я в партии с двадцать второго года, не шкурник какой-нибудь, не примазавшийся, а честный, трудовой человек, сын кузнеца. Имейте снисхождение...

Савелий Петрович заерзал на диване, представив себе, какая будет физиономия у Кучеренко, когда он услышит такие слова, какая физиономия будет у него, Савелия Петровича...

В дверь неожиданно постучали.

— Кто там? — крикнул Савелий Петрович.

— Открой, — сказала за дверью Мэри. (Она приехала, должно быть, с дачи.) — Что за сюрпризы?

Савелий Петрович подумал немного, встал и зашлепал нерешительно к двери:

— Зачем ты приехала? У меня дела. Разве ты не знаешь?

— Я? — пожалла плечами Мэри. — Не знаю, но догадываюсь.

— Ничего ты не догадываешься. — Савелий Петрович прошелся, разглядывая свой измятый от лежания костюм.

— Где Наташа? — спросил он, услышав в коридоре голос Фроси.

— Осталась на даче.

— Одна?

— Одна.

— Все-таки, знаешь... — Савелий Петрович сам не знал, что «все-таки».

— Ну, что у тебя, что за сюрпризы? — спросила Мэри.

Очень кратко, неохотно и по возможности смягчив, Савелий Петрович сообщил о случившемся. Пока он говорил, он не смотрел на Мэри, а, когда кончил, взглянул. Его поразило, возмутило ее спокойствие. Как будто случилось это с кем-то другим, посторонним.

Савелий Петрович взглянул на Мэри еще раз, острее, внимательней. Она повела плечами, охорашиваясь, и уселась поудобней в кресло, положив голову на плечо. Она улыбнулась:

— Попалась ты, Савушка, и преглупо. Зачем было посылать такую чушь?

— Как? — чуть не ахнул Савелий Петрович. — Ведь ты сама советовала?

Мэри пожалла плечами:

— Ну, милый мой... Разве можно на меня полагаться? Я — женщина. Молодая, хорошенькая женщина, как говорят любезно мои друзья. Разве я смыслю что-нибудь в ваших скучных делах? Ты — чудак!..

«Чудак» слушал оторопело, не веря своим ушам. Что она: шутит или издевается? Уж не в том ли секрет ее успеха: лгать, смеяться, быть равнодушной ко всему. Ему вспомнилась поговорка, которую он где-то слышал: «Первая жена — от бога, вторая — по заслугам». Неправда! Вторая — от дьявола. Мэри — уж, наверно, от дьявола.

Серые ясные глаза его потемнели. Он молчал.

— Я-то чудак, — сказал он, — ну, а ты кто?

Мэри не ответила. Постучали, и тотчас, не дожидаясь разрешения, вошел Ендражиевский. Вернее, сначала появилась его голова — где-то вверху, в сумраке падавшей на дверь тени. Она пошевелилась, задрал сизый ноздреватый, как губка, нос, будто приняховалась. Затем протиснулось в дверь огромное туловище Ендражиевского. Откуда узнал он, что он здесь, а не на даче? Не Мэри ли его сюда пригласила?

Ендражиевский осмотрелся, улыбнулся:

— Я не помешал? (Савелий Петрович был уверен, что он подслушивал.)

— А-а, Никодим Сергееч! Какими судьбами?

— А такими судьбами, дорогой мой, дорогая моя... (Ендражиевский склонился к ручке Мэри.) Шел мимо. Вижу, свет горит. Дай, думаю, загляну. А вдруг они дома? Со-ску-чил-ся! — протянул толстяк злорадно и снова разинул в улыбке жабий рот. Видно было, что он вполне доволен собой и обстоятельствами, приведшими его сюда.

— А у нас неприятности, — говорила Мэри, беря папироску и закуривая.

— Да? — удивился ненатурально Ендражиевский, располагаясь преспокойно в кресле напротив Мэри.

— Мэри! — поморщился Савелий Петрович, и — к Ендражиевскому: — Вы не слушайте, пустяки.

— Конечно, пустяки, — с неприятной готовностью согласился Ендражиевский, как будто уже знал, что это за «пу-

стяки». Савелий Петрович покосился на него. Но Ендражиевский глядел с самым невинным видом.

Мягкий свет лампы, затененный абажуром, покойные кресла, тиканье настольных часов — все говорило о довольстве, покое, располагало к мирной, дружественной беседе.

Ендражиевский вздохнул и сказал:

— А вас к началству вызывали нынче... несколько раз. С чего бы это? — Он посмотрел с нагловатой ухмылкой, которая свидетельствовала, что он все знает и, может, даже больше, чем Савелий Петрович.

— Наверно, по поводу Песчанского дела, — ответил небрежно Савелий Петрович, чувствуя, как неприятно слабеют ноги. Но он ни за что не хотел говорить с Ендражиевским об утреннем и очень жалел, что сказал Мэри. Почему-то сейчас, в эту минуту, глядя на них обоих, он понял, что здесь нечего ждать совета, помощи, что и здесь он один.

— Все-таки сходите завтра, — посоветовал Ендражиевский снисходительно и в то же время начальственно строго. Таким тоном он разговаривал когда-то, когда был незаменимым «спецом», а Савелий Петрович — его «подшефным». Что-то сильно переменялось, если он разрешал себе снова этот тон. А Мэри продолжала пускать дым кокетливыми колечками.

— Как «землячок»? — спросила она, пододвигая к себе пепельницу. (Оказывается, она знала и о «земляке» Рудыке! Она все знала.)

— Савелий Петрович настолько добр, что устроил его, — осклабился Ендражиевский. — Не приходил еще благодарить? Придет. Как же... — пообещал он, уже откровенно издеваясь.

Снова, как тогда на даче, Савелию Петровичу показалось, что его разыгрывают. Может быть... и Мэри? Он повернулся к ней. Она безмятежно улыбалась. Зачем притащила она сюда Ендражиевского? Чего хочет от него этот человек? Чего хочет Мэри?

Нет, здесь нечего было ждать помощи, совета.. пощады.

Глава двадцать первая

Он шел на службу с твердым намерением покаяться, повиниться. Он — прямой, честный, искренний человек, сын кузнеца, труженик по характеру и натуре, и готов признать свои ошибки, исправить их. Он согласен на все: лично, публично извиниться перед уважаемым товарищем Кучеренко, перед партией, перед начальником главка, к которому теперь шел (хотя начглавка и накликал на него беду), перед своим помощником, на которого часто кричал, перед сослуживцами, курьером, гардеробщицей — перед всеми, одним словом. Так решительно был он настроен.

Но когда Савелий Петрович вошел в главк и увидел тех самых людей, перед которыми собирался извиняться, решительность его начала заметно слабеть. Сотрудники здоровались с ним, спрашивали о делах. Он отвечал, глядя в их спокойные лица, и уже ненавидел за то, что они могли быть такими спокойными, а он вот не может. А через час эти самые пожимающие ему сейчас дружески руку люди отвернутся от него...

Все-таки Савелий Петрович старался сохранять достойный вид. Поправил перед зеркалом в коридоре галстук, пригладил волосы, бородку, постоял с минуту перед дверью начальника главка, открыл ее.

Здесь Савелий Петрович бывал не раз и всех знал. Секретарь, плешивый молодой человек, сидел за шведским бюро и помахал ему приветственно рукой. У окна отстукивала на машинке хорошенькая машинистка Зиночка, симпатия Савелия Петровича. В двери, обитой черным дермантином, которая вела в кабинет начальника, торчал ключик на цепочке. А справа, вдоль стены, стояли стулья. Здесь дожидались посетители.

Обычно Савелий Петрович просил немедленно доложить о нем. Теперь решил скромно дожидаться. Но секретарь, минуя очередь, проводил его в кабинет.

— Здравствуйте, здравствуйте, философ! — встретил его начальник главка и — к секретарю: — Больше никого ко мне не пускайте. — Савелий

Петрович слышал, как защелкнулся звучно за его спиной замок и, ощутив знакомый приступ слабости во всем теле, не дожидаясь приглашения, сел.

Начальник не спешил разговаривать. Перед ним лежала груда бумаг, которые он, пробегая, подписывал. Потом ему звонили по телефону, он отвечал, снова просматривал бумаги, не обращая решительно никакого внимания на Савелия Петровича.

Это был дурной знак. Но Савелий Петрович был уже и тому рад, что его не трогают. Сам он охотно и легко кричал, угрожал, но органически не выносил, когда кричали на него.

Кабинет начальника был великолепен. Такой мечтал иметь Савелий Петрович. Резной старинный красного дерева стол. Массивный мраморный, похожий на саркофаг, письменный прибор. Высокая, как монумент, лампа. Огромный, во всю комнату, ковер. Все здесь было огромно, монументально, говорило о силе, власти. Здесь была власть, которая могла стереть Савелия Петровича в порошок. Он чувствовал это всем своим существом и мысленно простирался ниц, моля о пощаде.

Человек, олицетворявший собой власть над Савелием Петровичем, был тощ, узкогруд, долговяз. Лицо длинное, шея тонкая, как у жираффы. Щеки впалые, губы блеклые, волосы жидкие, разделенные на английский пробор. Толстые стекла очков без оправы. Глаз не видно — они смотрят вниз, на бумаги. Человек вздохнул и откинулся на спинку кресла. Теперь Савелий Петрович увидел его глаза. Они были блеклоголубые, вялые, как все в его лице. Только в глубине их тлели острые зрачки. Только они придавали лицу выражение: умное, недоброе, равнодушное.

— Ну-с, философ, — улыбнулось вяло начальство, — рассказывайте, что вы там натворили? Вчера мне чуть телефон не оборвали из-за вас. Статейки сочиняете?.. — Он поискал в ящике стола, извлек злополучный экземпляр заявления-статьи.

— Виноват, Александр Георгиевич, сам виноват, поверьте... — начал Саве-

лий Петрович тоном, каким просят провинившиеся дети.

Александр Георгиевич, начальник, вытянул шею и потрогал длинными пальцами острый кадык:

— А почему вы ко мне не обратились? Кучеренко, кажется, мой заместитель? Или вы думаете, что заместитель наркома не имеет других дел?

— Что вы? — Савелий Петрович опешил. — Ведь я вам... только вам... Как понять? — Он действительно ничего не понимал, ужасался: — Вам ведь послано, проверьте.

— Я проверял.

— Как же, помилуйте...

— И миловать не желаю.

Зрочки Александра Георгиевича стали вдруг острыми, пронзительными.

— В сущности, я должен передать дело по партийной линии, как требовали от меня. А там вам крышка! Люди и покрепче вашего слетали. Не правда ли? — Он помолчал, посмотрел на бледного Савелия Петровича. — Но вы человек, как никак, хоть... и болтливый не в меру... Болтливый не в меру, не к месту, — повторил он назидательно. Достал из кармана шоколадку и с удовольствием съел. (Савелий Петрович знал, как и все в главке, его слабость: таскать с собой в карманах шоколадки.) — Я вас защищал, как умел, хотя, может, и не стоило. Вы как думаете: стоило или не стоило?

— Помилуйте... — только и пролепетал Савелий Петрович, порываясь встать.

— Сидите! У нас еще длинный разговор, а времени у меня мало. Не стоит заниматься мелким доносительством. Кучеренко — выдвигенец. Ну, случается, грубоват, простоват, ну, прикрикнет иной раз. Не без того. Все кричат. И вы кричите. Кричите ведь, верно?

— Кричу, — согласился растерянно Савелий Петрович. Он терялся все больше, не знал, как держать себя и к чему ведет весь этот непонятный разговор, что значит эта непостижимая история с засылкой статьи. (Кто напугал? — может, он сам? Кто соврал? — может, он сам соврал?) Изюм всех сил, со всей своей изворотливостью, пронырли-

востью старался он разобраться, понять. — Кричу, — сказал он смиренно.

— Вот, вот, — кивнул начальник и снова потрогал пальцами кадык. — А кричать не надо. Поняли? Ни так, ни этак, ни даже... на бумаге. Бумага — каверзная штукация. Документ! — Он потряс злополучным «документом» перед носом Савелия Петровича. Блеклые, бескровные губы его изобразили улыбку. — Ну-с, что с вами делать? Вы с какого — в партии? С двадцать второго? Вот видите... А за что у вас был выговор?

— Выговор давно снят...

— Но был? Что-то с использованием своего служебного положения?

— Не совсем так.

— Но почти так. А других грешков за вами не водилось? Связи с чуждым элементом, нарушения партийной дисциплины? Нет? А скажите, когда вы уехали из Извольска? Ведь вы, кажется, из Извольска?

Это походило на допрос. Но откуда известно все это: о выговоре, об Извольске?.. Может быть, еще кое-что известно? Хотят припугнуть, как Ендражиевский? Тот тоже пугал на даче. Вероятно, и здесь его работа. Каков негодяй, форменный разбойник с большой дороги!

Страх, злоба готовы были овладеть Савелием Петровичем. Но он сдержался.

— Я — трудовой человек, сын кузнеца, — произнес он смиренно и в то же время не без значительности.

— Вот как: сын кузнеца? — Александр Георгиевич удивился так же откровенно и неприятно, как вчера замнаркома, когда узнал, что Савелий Петрович с 1922 года в партии. Но Савелий Петрович тут же добавил поспешно, что он, «собственно, из городских, учился в гимназии и вообще...».

— Ну-с, что же с вами делать? — возгласил в третий раз начальник, снова извлек из кармана шоколадку и принялся неспеша разворачивать ее, как бы предоставляя Савелию Петровичу самому решать столь приятный вопрос.

Здесь уже Савелий Петрович не усидел, вскочил и, изобразив на своем лице высшую степень усердия, послушания, готовности, начал защищаться. Его не перебивали. Потом сказали: «Ладно. Подумаем». И отпустили с миром.

От радости и усердия Савелий Петрович чуть было снова не дал маху: начал рассказывать, как придирался к нему замнаркома. Но во-время сдержался. Да и начальство не проявляло особого интереса. Только спросило:

— «Волной ударничества разведем зазнайство...» — это вы писали?

— Я, — потупился Савелий Петрович, — но это не в том смысле...

— И я — не в том смысле, — ответствовало, щурясь, начальство. — Вы чудак!

«Чудак» звучало очень похоже на «дурак». «Чудаком» обозвала Савелия Петровича и Мэри. Но он не стал обращать внимания.

В коридоре Савелий Петрович встретил Ендражиевского и едва кивнул ему. С этим субъектом он не желал теперь иметь ничего общего. Но Ендражиевский бесцеремонно загородил дорогу.

— Все в порядке? Уже вижу... молодцом... — брызгал он слюной на Савелия Петровича и не давал пройти. — Душевно рад... искренно... как друг.

Но Савелий Петрович уже обрел прежнюю свою уверенность. Лицо его выразило такое чувство достоинства, что стало ясно: это прежний Савелий Петрович, который не позволит забываться. «А вы забываетесь, Ендражиевский, вас следует осадить».

Дома он держал себя с таким же достоинством и на вопросы Мэри отвечал пожатием плеч. Ему хотелось отплатить ей, как и Ендражиевскому, за вчерашнее. «Вы хорошенькая женщина и только? Так изволят выражаться ваши друзья? Ну, и оставайтесь с вашими хлюстами!..». А когда перед сном Мэри снова спросила, он ответил с холодной усмешкой, как она вчера:

— Ты чудачка, говорят тебе: дело передано в партком для разбора. — И укрылся с головой.

Прошла неделя, другая, третья.

Савелия Петровича вызвали снова к начальству. Разговор шел на этот раз сугубо деловой, будто ничего и не было. Разговор шел об Извольске. (Так вот почему спрашивали его в первый раз об Извольске!) Дело касалось строительства рабочего городка, о котором поступил ряд жалоб, а недавно появилась резкая статья в столичной газете. Надо расследовать жалобы на месте. Савелий Петрович извольчанин, для него задача облегчается. Уже создана комиссия из специалистов. Ему придется только руководить, давать установки. А установка одна: осторожность. Твердость, решительность, осторожность. В строительстве городка уже вложено два миллиона, и перенос на другое место — как того требует печать и местные жалобщики — едва ли возможен. Но это не директива, — дается полная карт-бланш.

Вот каким доверием облекали Савелия Петровича! Теперь не кричали, не допрашивали огнюдь, а советовались, обращались к его опыту и уму. И даже защищали от замнаркома. Значит, недаром перенес он столько унижений, страха, обид, пострадал, так сказать, за свои идеи. Здесь наконец его оценили.

Это было удивительно, поразительно, великолепно. Это было непонятно в конце-концов, если поразмыслить, как следует. Но Савелий Петрович не хотел размышлять, он устал размышлять, никогда он так много не размышлял, как последнее время. Душа его кричала: победа! победа! Ура Савелию Петровичу! Привет Савелию Петровичу! Дорогу человеку опыта и ума!

В таком настроении шел Савелий Петрович, сдвинув шляпу лихо набекрень, насвистывая, по тем самым улицам, где три недели назад проклинал весь мир. Но теперь мир снова нравился ему. И ребяташки, вроде тех, что толпились тогда вокруг, тоже нравились, и мамы их нравились, и няни, и все встречные. Что бы там ни говорили Мэри, Ендражиевский и их друзья, жить еще можно.

А с Мэри и Ендражиевским он еще расплатится. С Мэри — в первую очередь. Не думайте, что Савелий Петро-

вич — наивный мальчик, которым можно играть!

На Петровке, в магазине коммерческих цен, он купил торт, коробку конфет, банку шпротов, балык, икру, две бутылки вина, велел все это запаковать и позвонил из автомата в гараж. Поджидая машину, от нечего делать, он купил два воздушных шара: лиловый и красный. И так, с шарами в одной руке, с покупками в другой, сел в машину.

Ехали славно. Ехали так, что в ухах свистало. Шляпу Савелий Петрович предусмотрительно снял. Волосы его растрепало по ветру. Он жмурился, закрывал глаза, откидывал голову на сиденье и мурлыкал сквозь зубы: «...тихо вылез карлик маленький и часы остановил...». Ах, хорошо, чорт возьми, братец карлик! Ей-богу, славно!

Давно не испытывал он такого довольства собой, людьми, жизнью, такой уверенности в своей удаче, такой почти лихости: хоть бей, хоть жги, а я — вот он я!.. Ему вспомнился глупенький детский украденный рублик, зашитый в холщевую ладанку, талисман, который завещала ему покойница-мать. Савелий Петрович улыбнулся растроганно: да, талисман, детство, чумазый паренек, мечтавший выбиться в люди. Вот как все начиналось...

Он совсем растрогался. Ему захотелось объяснить шоферу — потому что он славный малый, знает свое место — и всем этим встречным славным людям, маленьким ординарным людям, что так уже испокон века заведено: кому быть наверху, кому внизу. Что он вот — наверху и поднимется еще выше. Они не должны иметь на него зла за это. Не приставать, как грубиян Кучеренко, не злорадоваться и подстраивать гадости, как Ендражиевский, не обманывать коварно, как Мэри... «Ведь, ей-богу, я не дурной человек. Я никого не трогаю. И вы меня не трогайте».

Савелий Петрович был вполне счастлив в эту минуту.

Глава двадцать вторая

Спустя пять дней после разговора с начальством Савелий Петрович выехал в Извольск.

За пять дней он успел составить себе представление о деле и понимал: карт-бланш, данная ему начальством, означала только то, что ему предоставляли выпутываться как угодно и пенять на одного себя. Но Савелий Петрович не роптал. Его вытащили из беды и требовали теперь услуги за услугу. Он решил подчиниться благоразумно.

Единственно, что огорчало Савелия Петровича — в помощники ему дали Ендражиевского. Ендражиевскому он не доверял. А то, что ему дали Ендражиевского, указывало, что и ему не доверяли. Это уже было слишком!

Итак, он ехал ревизовать далекую периферию — родной Извольск. Члены комиссии: плотный, круглый, похожий на купчика главбух и унылого вида консультант из Стройснаба по фамилии Крендель знакомы были Савелию Петровичу по прежней работе. Четвертый член комиссии Ендражиевский должен был приехать позже.

Ехать предстояло долго. К вечеру в купе составила пухляка. В преферанс Савелий Петрович играл умело и со вкусом. Кажется, это была единственная вершина культуры, которую он одолел. Главбух говорил, что играть с ним «одно удовольствие». За два дня пути они имели не одно, а пять «удовольствий»: сыграли пять пулек.

Приехали рано утром. Их встретила машина и отвезла в гостиницу. Савелий Петрович протирает сонно глаза. Он не испытывал старомодных чувств, как радость, удивление или грусть, которые охватывают человека, приезжающего в места, где он родился и вырос. Он просто смотрел по сторонам. Только увидев деревянный почернелый от времени мост, он догадался, что где-то здесь должна быть родная слобода. Но слободы не было. Лишь вдали две крытые соломой хатенки говорили о том, что, точно, здесь была слобода. Возле одной хатенки виднелась коновязь, каменное корыто. Неужели отцовская кузница? Савелий Петрович так и не разглядел толком.

Номер ему отвели неприятный, окнами во двор. Но еще неприятнее было узнать, что директором завода был

Савчук. Да, тот самый: сосед, земляк, бывший опродкомовский комиссар, который давал ему рекомендацию в партию, а лет восемь назад звал в Извольск. Почему неприятно встретиться с Савчуком, директором, — Савелий Петрович затруднился бы сказать. Но было неприятно. Впрочем, пока Савчук отсутствовал: уехал по делам.

Завод находился на высоком берегу реки. А за речной излучиной, как раз напротив завода, в низине, строился рабочий городок. Все упования строители городка возлагали на речку Изволчанку: дескать, «воздушный заслон», «озонирующая преграда». И рабочим с руки — близко. В объяснительной записке, которую Савелий Петрович получил в Москве, слово «рабочий» повторялось через каждые две строки: «рабочему удобно», «рабочему полезно», «рабочий имеет право»...

Это были слова, которые Савелий Петрович тоже любил употреблять в своих отчетах. Он называл их «гарниром». За вычетом «гарнира» он успел уразуметь только то, что строить вблизи завода и города было «с руки» самим строителям. Этого мнения держался и главбух, смотревший на все с финансовой точки зрения.

Теперь комиссия имела возможность увидеть этот «воздушный заслон» и «озонирующую преграду» на месте.

К берегу добрались благополучно, но, едва начали приближаться к строительной площадке, желтое облако окутало всех с ног до головы. Пыль, дым заводских труб, сладковатый, тяжелый запах химических отходов, копоть, пар приносились ветром сюда, минуя «озонирующий заслон» узкой речушки, мелевшей к тому же летом.

Едва различая друг друга, кашляя и зажимая носы, пробиралась комиссия к месту событий.

— Как вы... как вы находите? — кричал из облака главбух, разевая рот, словно рыба. Савелий Петрович молчал. Он знал то, что знал каждый мальчишка в Извольске: здесь строить нельзя. Здесь ярмарка не удержалась когда-то — так засыпало ее пылью. Здесь не сеяли ничего и не росло ничего. Даже

хаты в слободе ставили спиной к ветру, а солому на крышах укрепляли с правой стороны камнями.

Неужели не знали об этом строители?

Иногда ветер спадал. Тогда, словно сквозь разрывы туч, сквозь едкое облако дыма виднелось несколько новеньких домов приятной наружности, каналы, прорытые для фундаментов, груды земли, кирпичи, тачки и люди, возившие эти тачки. Люди работали, как это ни удивительно, и даже жили в этом гиблом месте!

Надышавшись и наглотавшись дыма, комиссия отбыла во-свояси. В три часа назначено было первое деловое совещание совместно с представителями завода, горсовета, здравотдела, и комиссия решила передохнуть.

— Так как вы... находите? — задал главбух снова свой вопрос и передернул круглыми плечиками.

— Корней Капитоныч, — укоризненно остановил его Крендель, тощий унылого вида мужчина, имевший неприятную привычку хрустеть пальцами.

— Я ничего... ничего. Мое дело — финансы. — оправдывался главбух, побаивавшийся почему-то консультанта. — Но просто так... как человек... Задали нам задачку.

Савелий Петрович и Крендель молчали. Они и без того знали, какую им задали «задачку». Их раздражал болтливый главбух.

Первое совещание было осведомительным. Местные работники осведомляли комиссию, отвечали на вопросы, задавали в свою очередь вопросы. Вернее, один и тот же вопрос: мыслимо ли продолжать строительство?

— Уважаемые товарищи! — останавливал их Савелий Петрович, председатель. — Мы не решаем, не предрешаем, мы обсуждаем, обследуем. Решать будет Москва. Я попросил бы говорить в спокойном деловом плане.

Но и в «деловом плане» комиссия узнала, что рабочие предпочитают оставаться в старых хибарках, но не переселяться в новый поселок, что количество заболеваний в новом поселке втрое выше, чем в городе, что саженцы не

растут, сохнут из-за дыма и ветра, что прозвали поселок «Горехаткой».

Савелию Петровичу такая информация действовала на нервы. Он не хотел ничего заострять. Он хотел изучать, сопоставлять и группировать факты. А ему мешали. Мешал заводской комитет, горсовет, санинспектор, горластая тетка из охматмлада, несговорчивые каменщики и штукатуры, которые грозили бросить работу на площадке...

«Твердость, решительность, осторожность» — повторял себе Савелий Петрович слова начальства. Но что следовало применить здесь в первую очередь: решительность или осторожность? Ему дали карт-бланш, то-есть свободу действий. Что если он изберет... бездействие? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Значит, лучше ничего не делать.

Первое совещание закончилось. Главбух засел со своими коллегами из управления строительства подчитывать, во сколько обошлась «Горехатка» и сколько требуется на строительство в другом месте. Консультант Крендель проверял качество строительства, лимиты, фонды, а Савелий Петрович возглавлял, уточнял, сопоставлял, обследовал чужие труды и отмечал чужие недостатки. Это была привычная покойная работа, сообщавшая ему сознание своей полезности и важности.

И вдруг идиллия кончилась. Вернулся директор Савчук.

Савчук был такой же курносый, с прокуренными редкими, уже начинавшими седеть усами, мешковатый увалень. В своем важном директорском кабинете он выглядел как-то несолидно. Будто зашел сюда на минуту, а хозяйствует здесь кто-то другой. Но так только казалось. Хозяином на заводе был Савчук. Савелий Петрович это сразу почувствовал.

Его Савчук узнал с трудом:

— Вот ты какой стал... земляк! — Оглядел своими внимательными, живыми глазками и подмигнул: — Хоть за границу посылай. На выставку.

Савчук стал, видимо, раздражителен,

за словом в карман не лез и сразу приступил к делу: поселок надо переносить немедленно, прежнее строительство прекратить немедленно.

— Так я говорю? — посмотрел Савчук на Савелия Петровича. («Ты, земляк, не верти хвостом, не выйдет» — говорили его глаза.)

Савелий Петрович вежливо улыбнулся. Он не уполномочен решать. Ему поручено выяснить, ознакомиться, обследовать...

— Что выяснить? У меня люди бегут. План срывается. Разве там можно жить?

Савчук требовал быстрых, решительных мер. Он тут же вызвал предзавкома, главного инженера, завкадрами, секретаря партийного комитета и предложил завтра же назначить общее собрание, на котором заслушать доклад московской комиссии. Расчет был ясен: поставить комиссию лицом к лицу с рабочими — теми, кому предлагали жить в «Горехатке».

Это была чистой демагогия, грубый нажим, почти неприкрытая угроза, — считал Савелий Петрович. Но он промолчал. Судя по всему, здесь не прочь были подратиться в открытую. А Савелий Петрович был человек другой складки. Поэтому, выйдя от Савчука, он дал телеграмму в Москву следующего содержания: «Вопрос осложняется. Нажимают. Держись твердо. Подтвердите».

Что он подразумевал под словом «подтвердите», неясно было ему самому. Одно было очевидно: «нажимали» на него с двух сторон. Плату за услугу взимали с него в главке крупную и такую, что можно было снова полететь кувырком. С ним не церемонились. Вот что означала на проверку пресловутая карт-бланш!

Оскорбленный в своих лучших чувствах и негодуя на этот корыстный мир, где человеку его складки приходилось все время обороняться, Савелий Петрович направился в гостиницу.

Здесь его ждал гость.

Расположившись с комфортом перед зеркалом, спиной к двери, сидел Ендражиевский и брился. Он доскреб брит-

вой редкие волоски на мягком бабьем подбородке, вытерся одеколоном и только после этого показал Савелию Петровичу свое богомерзкое лицо.

— А вот и мы! — осклабился он с таким видом, словно знал, как обрадует его приезд Савелия Петровича: — Обедали? Нет? Вот и чудесно! Значит, обедаем, и заодно — графинчик.

Он встал, пошлепал себя по обвислому животу и пошел на Савелия Петровича, стуча слоновьими ножищами по непрочным половицам.

— Как дела? Нажимают? Держитесь?

Можно было подумать, что он читал телеграмму Савелия Петровича, посланную всего полчаса назад, и приехал в ответ на нее. Если это был ответ, то неважный, — нашел Савелий Петрович. Но приходилось довольствоваться и этим. Все-таки Ендражиевский — специалист, старый специалист и умеет заговаривать зубы.

За обедом Савелий Петрович молчал, морщился, ссылаясь на головную боль, и на вопросы Ендражиевского отвечал неохотно. Сообщил только о предстоящем завтра собрании.

— Ого! — раздул Ендражиевский усы. — Жарко! А «их» участок вы смотрели? Строить там можно?

Он соображал быстро, эта бестия, кувшинное рыло! Савелию Петровичу такая мысль еще не приходила в голову. Но он не подал вида, морщась, сказал:

— Все равно не собьете...

— Попробуем! — возгласил Ендражиевский, наливая по маленькой и снова самодовольно ухмыляясь (он, кажется, догадался, что с этой стороны вопрос еще не ставился). — Попытаемся! — взревел «старый спец» и опрокинул стопку.

После обеда съездили на «их» участок. Это была ровная ложбинка верстах в трех от завода, тоже на берегу речки, но на стороне, противоположной «Горехатке». Сюда когда-то уходили на гуляние слободские парни и девчата — припоминал Савелий Петрович. Рощица, чистый песок на берегу, грунт прочный. Это и «спец» Ендражиевский

должен был признать. Но не признавал.

Он обошел участок несколько раз, урча и фыркая, взял в руки комок земли и начал разглядывать, даже понюхал. Соображал что-то, но не говорил. Савелий Петрович подумал, что он снова начинает задираить нос.

Вечером устроили «внутреннее» совещание комиссии. Докладывал Ендражиевский. Он считал, что сразу был взят неверный тон. Комиссия позволила сбить себя всем этим жалобщикам, тетям из наробраза, заводским крикунам, упустив одно: интересы государства. Всех жалели: рабочих, служащих, детей, врачей, штукатуров, грудных младенцев, только одного не пожалели: государственных средств, которые готовы спокойно пустить на ветер.

— Одно из двух, — восклицал «старый спец», — или мы служим самоотверженно, или прислуживаемся, попустительствуем, потакаем?

Это была целая программа. Взгляд на мир. Философия! Как будто заглядывал Ендражиевский в статью Савелия Петровича. Ведь это его, Савелия Петровича, философия, его взгляд на мир, провозглашаемые теперь с таким апломбом этой жабой Ендражиевским.

Члены комиссии молчали, сбитые немного с толку. Главбух сказал: «Да-да...». Крендель потрогал нос и добавил: «Ко-нечно...». Начальник главка знал, кого подбирать в комиссию.

Но все-таки это была комиссия, и завтра предстояло держать ответ. А Савелий Петрович не любил отвечать. В его правилах было спрашивать. Теперь все ставилось на голову: отвечать должен он.

Савелий Петрович снова, уже со злобой, подумал, что дорогонько все-таки дерут с него за отпущение грехов.

Глава двадцать третья

На собрание он шел с неопределенными чувствами. Была минута, когда он хотел сказатьсь большим и ретироваться. Была еще одна мысль: переметнуться к «ним», защищать новый участок, возмущаться, громить, взывать

к «голосу народа», пустить при случае слезу и укатить героем. Это была интересная мысль. Ее следовало прибегать. Ну, а начальство? Перед ним ведь тоже придется держать ответ? Что если он возьмет и выдаст его тут же заместителю наркома? Он может...

Все запутывалось. Перед всеми он был в ответе. От всех зависел. Даже от Ендражиевского. Этот уж донесет начальству.

Так, ничего не решив, Савелий Петрович явился на собрание.

Собрание происходило в новом, еще не достроенном цехе. Располагались на двутавровых балках, приготовленных для перекрытий, на досках, на стояках. Для президиума поставили стол и несколько табуреток. «Обстановка не совсем приличная» — находил Савелий Петрович. Но уселся скромненько, подстелив под себя газетку.

Народу набралось полно. Пришли все свободные от смены, пришли жены тех, кто в смене, пришли каменщики и штукатуры с постройки, возчики кирпича, уборщицы, какие-то старики, старухи, шустрые девчонки... Словно не было у них других дел.

Собрание открыл предзавкома, румяный старичок, и постучал карандашом о графин с водой. Над головой синело жаркое июльское небо. Воробьи чирикали и перепархивали со стропил на стропила. Предзавкома погрозил им усмешливо.

Говор стих. Все ждали выступления московской комиссии. Главбух и Крендель сидели за спиной Савелия Петровича, как за прикрытием. Ендражиевский — тут же. Его ведь и послали затем, чтобы подсматривать за Савелием Петровичем. Как сказала бы, вероятно, Мэри: мошенника мошенником проверять и обер-мошеннику докладывать. Савелий Петрович вздохнул.

Доклад свой Савелий Петрович начал издали. Изложил историю строительства, все трудности, споры, жалобы (он посидел-таки над материалами), цитировал заявления в главк, статью в московской газете, доклад начальника строительства, отчеты горсовета, санинспекции, резолюции рабочих, парткома,

завкома. Всего этого хватило на добрый час. Собрание уже начинало уставать от такой обстоятельности.

Но Савелий Петрович был неутомим. Казалось, он хотел взять всех измором. Уже принесли второй графин с водой. Уже перед председателем высилась гряда записок. С мест раздавались недовольные голоса. Все было напрасно. Савелий Петрович говорил медленно, отчетливо, не повышая голоса и не меняя интонации. Никто не сможет его упрекнуть в поспешности, бездоказательности, голословности. Он — сторонник точности, бесспорной документации и аргументации...

Это начинало походить на состязание. Один человек состязался с пятьюстами, ждавшими от него ясного ответа, в том, что он этого ответа не даст. Это была трудная задача, но Савелий Петрович не терял надежды.

Раза два ему удалось взглянуть на Ендражиевского. Рот того кривила одобрительная усмешка.

Но вот все дела, заявления, сообщения, резолюции и обследования извлечены из портфеля, зачтены, отложены в сторону. Портфель пуст. Скоро будет пуст и второй графин с водой. Пора закруглять, как намекали уже трижды ему в записках. Савелий Петрович откашлялся.

— Есть две проблемы, два вопроса, два слагаемых, две стороны медали, две точки зрения, — сказал бодро докладчик и вылил остаток воды в стакан. Пятьсот пар глаз следили с нетерпением за тем, как он пил воду. Ни на мгновение не давали ему теперь передышки. Это было состязание с одним шансом против пятисот, и состязание приближалось к концу.

Что еще сказать? Все проблемы, вопросы, слагаемые, точки зрения и стороны медали он обрисовал, изложил, процитировал. Чего ждут от него эти люди? Чтобы он сказал, что хорошо, что дурно? Что продолжать строить на оравленном участке нельзя, а на здоровом можно? Что два миллиона затрачено впустую? Что новое строительство следует начинать немедленно, как говорил вчера Савчук? Этого они хотят?

Чтобы он стал на их сторону, защищал их, боролся за них?

Но он никогда и ни на чьей стороне не стоял, ни за кого не боролся. Он боролся всегда за себя. И сейчас, здесь, перед толпой, уставшей от жары и еще больше от его доклада, он тоже боролся за себя. Только за себя. Всегда за себя. Он хочет жить хорошо и спокойно. Почему ему не дают жить спокойно?

Вот, собственно, что хотел он сказать своим докладом, напичканным проблемами, слагаемыми и сторонами медали. Он сам был медалью. И здесь демонстрировал одну ее сторону. А это было утомительно даже для него, выпившего два графина воды.

Он посмотрел с тоской на графин. Графин был пуст. Он взглянул на Савчука. Тот кусал зло усы. На председателя — тот подсовывал ему все новые записки. На сидевших в передних рядах — те усмехались неприятно. А Ендражиевский исчез, спрятался. А главбух и Крендель сидели, нахохлившись, как воробушки перед грозой. Гроза шла, сейчас грянет гром... набьют ему морду...

«Ну, была, не была... У тебя, Савушка, талант, легкая рука. Тебе все удается...». Он обвел собрание глазами, как пловец, готовящийся прыгнуть с высоты, и... прыгнул.

— Товарищи! — закричал Савелий Петрович. — Зачем морил я вас целых два часа? А затем, чтобы дать точность, показать цифры, факты. «Москва, — говорит пословица, — слезам не верит». А фактам и цифрам поверит. Так вот, товарищи!.. — Он снова с тоской посмотрел на графин и чуть не застонал от внутренней душевной жажды.

— Так вот, товарищи! — Он ударил кулаком по столу и тем оживил немного собрание. — Правда рабочая есть наша общая правда. За нее мы боролись, боремся и будем бороться. Нельзя рабочему человеку жить в гиблом месте. Это надо кончать, как сказал товарищ Савчук (взгляд в сторону Савчука). Два миллиона погибли, легли заживо в землю — народные кровные денежки.

За это кто-то ответит! А строить надо на новом месте. Наша комиссия обследовала его. Товарищ Ендражиевский (он поискал его глазами и не нашел), старый, опытный специалист, и товарищ Крендель — тоже оба находят, «что место ничего, подходящее». Надо приступить. В добрый час!

На этом Савелий Петрович закончил доклад и полез в карман за платком.

Вечером, когда они с Ендражиевским остались в номере одни, Ендражиевский посмотрел на Савелия Петровича и развел руками:

— Дорогой мой, у вас талант! — Усы его зашевелились, обнажая смеющийся рот: — Вот так и сладимся: вы — речи говорить, за народ и прочее, а мы — не пускать этот самый народ, чинить препоны. Вы — свое, мы — свое. Вы — на-страже, и мы, выходит, — на-страже, блюдем, так сказать, государственную копейку...

Ендражиевский совсем развеселился и добавил, положив бесцеременно свои огромные руки Савелию Петровичу на плечи:

— Признайтесь, дорогуша, сейчас вы меня немножко ненавидите и даже... побаиваетесь немножко. Правда? — И загрохотал своим неистовым голосищем.

Глава двадцать четвертая

По возвращении в Москву Савелий Петрович доложил начальнику главка о всех обстоятельствах дела, о всех трудностях и о том, как выступал он сам на рабочем собрании «в силу сложившейся обстановки».

— Знаем вашу обстановку... красноречие, — перебил Александр Георгиевич, потрогав длинными пальцами свой острый кадык: — Как вы там сказали: «за рабочего боролись и будем бороться»? Это неплохо. Не так плохо, уважаемый борец! За рабочего пора, говорю, бороться...—И, выразившись столь многозначительно, хоть и неопределенно, долговязый начглавк принял за разворачивать шоколадку. — Вы проявили решительность, но недостаточную, осторожность, но чрезмерную, — продолжал он назидатель-

но. — Теперь упирайте на то и другое.

Вскоре Савелий Петрович понял, что значит «упирать на то и другое».

На совещании по итогам поездки выяснилось, что дополнительных средств для Извольска нет и не предвидится.

— Что касается начатого строительства, — разъяснял начглавка, потирая свое длинное лицо, — то, поскольку все сходятся на том, что место вредоносное и рабочие возражают, я бы стоял за прекращение. Надо считаться с мнением рабочих, не правда ли?

Доклад делал Савелий Петрович. Со доклад — Ендражиевский. Потом прения и заключительное слово начальства. Получилось именно так, как шутил недавно Ендражиевский: «Вы — свое, а мы — свое». Савелий Петрович защищал строительство на новом участке. А Ендражиевский возражал против внепланового строительства, оспаривал пригодность нового участка, требовал дополнительной экспертизы.

Тут остальные члены комиссии заявили дружно, что как ни решай, а сезон все равно потерян.

А тем временем в Извольске сезон был в разгаре: начали расчищать новый участок, перебросили туда землекопов и грабарей. Завод дал свои грузовики, железная дорога — экскаваторы, райколхозсоюз — два трактора-тягача. Все на месте старались, как могли, помочь делу. Несколько раз в выходные дни устраивали субботники по прокладке дороги к новому участку. Савчук, директор, работал вместе со всеми. Потом сидел со своим главбухом и начальником строительства, составлял и пересоставлял смету, урезывая, что только можно, лишь бы хоть сколько-нибудь возместить потерю денег, вложенных в «Горехатку», и не по их вине.

Стройматериалов на первое время хватало. Строить можно было ускоренным способом, из блоков, а блоки получать из собственного шлака — отходов литья. Лишь бы средства... Об этом писал Савчук в Москву уже за полночь, когда уходили его помощники, а жена, поворчав, посердившись и махнув рукой, ложилась спать.

А Савчук все писал, отхлебывая чай, кусал зло усы, вымарывал лист за листом, объясняя, доказывая, приводил расчеты, просил, требовал, грозил. И отсылал поутру, придя, не выспавшись, на завод. Он и теперь приходил на службу, как когда-то в опродком, раньше всех.

Бумаги шли в Москву, в главк, к начальнику главка. Тот пересылал их Савелию Петровичу. Тот — Ендражиевскому. Тот — главбуху и Кренделю. Потом все они собирались в кабинете начальства, обсуждали и решали: горопиться нельзя; разрешать новое строительство (без дополнительного обследования) нельзя; денег (без разрешения строить) уж, конечно, давать нельзя.

Время шло. В подмосковных дачах уже рдел, осыпался лист. Савелий Петрович переехал с дачи в город. Ендражиевский сменил светлый костюм на суконную толстовку. Крендель, склонный к простуде, надел теплый жилет. Дважды в месяц они получали аккуратно зарплату. За сверхурочные — особо, за командировки — особо. А Савелий Петрович сверх того был премирован месячным окладом — «за отличную постановку дела». Так значилось в приказе по главку.

А дело стояло. Как сказал этот чорт Ендражиевский: «Вы — свое, а мы — свое».

На языке главбуха это называлось: «сложный казус», на языке Кренделя: «внеплановый казус», на языке Ендражиевского: «любопытный казус», а начальство, Александр Георгиевич, именovalo это «государственным казусом» — недостаточным взаимодействием решительности и осторожности.

Что касается Савелия Петровича, то он начинал подозревать, что все это может закончиться совсем не желательным «казусом». «Не дай бог, — думал опасливо Савелий, Петрович, — очень уже многого хочет начальство...».

Он попытался отчалить потихоньку от опасного дела. Составил план новых обследований и даже выехал на одно такое обследование на Урал. Но и там обнаружился некий «казус».

Строительство, в которое вложены были не два миллиона, как в Извольске, а миллионов десять, останавливалось. Туда ездил в прошлом году Ендражиевский. Это был его проект — назначить экспертизу. Он, видимо, специализировался по этой части. Затем начались оползни.

Поселок был расположен на крутом берегу реки. И вот в третий раз выезжали комиссии для обнаружения оползней. Дома стояли спокойно на месте, дети играли береговым песком, отцы их работали, матери возились по хозяйству. Все, одним словом, было спокойно, на месте. Одни комиссии беспokoились, лазили неутомимо вдоль берега, измеряли откосы, отклонения, спрямления, забирались в подвалы домов, наблюдали, записывали, составляли объемистые доклады, в которых утверждали: поселок сползает, надо принять меры.

Уже дважды принимались «меры»: выселяли людей из нового благоустроенного поселка в бараки за пять километров от завода. А освобожденные дома разбирали на кирпич. Теперь Савелию Петровичу предстояло в третий раз принять «меры». Он повертелся, прикидывая и так, и этак, и послал начальству конфиденциальное письмо. Начальство ответило кратко и внушительно: «Жизнью рабочих нельзя рисковать. Принимайте меры!». Пришлось таки принять «меры»: пустить последние дома на слом.

Савелий Петрович уже не знал, кому докладывать: своему начальству или... повыше? Но выше был заместитель наркома. Тот самый! Не к нему же обращаться. И так, слава богу, что добрые люди замяли дело. А к кому? В Комиссию советского контроля? Но может ли Савелий Петрович брать на себя такую ответственность, не советуясь ни с кем, за спиной сослуживцев...!

Кончилось тем, что он доложил о принятых «мерах» «добрым людям» — начальству, за что и был отмечен. Предвиделось повышение по службе, обещано полное доверие и даже заявлено, что в нем «не обманулись».

Но не обманывался ли он сам? —

спрашивал себя осторожный Савелий Петрович. Ведь это самое любезное начальство не так давно выдало его с головой. Как же быть? Все-таки он выжидал, присматривался, томясь попеременно надеждой и страхом, мечтая о таком счастливом местечке, где можно: 1) ничего не делать, 2) ни за что не отвечать, 3) жить хорошо и спокойно.

Но вот не давали жить спокойно. И не кто иной, как Савчук.

Он приехал в ноябре, когда все сроки прошли, и в главке считали, что с извольским строительством покончено до весны. Опять пришлось заседать, обсуждать, выяснять то, что для комиссии и так было ясно. Но Савчук не отступал.

Вмешалась газета, которая поместила об Извольске летом статью (это Савчук давал материал для статьи). Опять пришлось отвечать, приводить расчеты, выкладки, постановления, соображения... Снова извольская комиссия трудилась сверхурочно (и получала сверхурочно). Снова Савелий Петрович не имел покоя.

Его Савчук донимал особенно. Ссылался на его речь в Извольске, на его знание местных условий («Ведь ты — земляк, понимать должен...»). А подконец, когда все попытки получить поддержку главка кончились ничем, потребовал, чтобы Савелий Петрович перенес вместе с ним разбор дела к заместителю наркома. Не больше, не меньше.

Он явился к Савелию Петровичу домой в десятом часу вечера, небритый, в забрызганных грязью сапогах, когда у Мэри собирались гости. Савелий Петрович в вечернем темном костюме сидел у себя в кабинете вместе с Ендражиевским, который попрежнему был частым посетителем, хотя Савелий Петрович его и не приглашал.

Услышав о приходе «уважаемого оппонента» (так величал Ендражиевский на заседаниях Савчука), Ендражиевский поднял многозначительно палец:

— Какой приятный сюрприз!

Савелий Петрович вздохнул и пошел встречать незваного гостя.

Савчук вошел, поздоровался, сел. Наступило молчание. Слышно было, как за дверью, в столовой, звенели посудой, кто-то заводил патефон, раздавались голоса гостей.

— Все еще воюете? — обратился Ендражиевский любезно к Савчуку. — Полноте, потерпите до весны.

Ноздри Савчука задрожали. Он не ответил.

— Может быть, у вас... конфиданс? Тогда простите, ретируюсь... — Ендражиевский склонил голову набок и вышел.

— Так как, Савелий? — начал Савчук, едва закрылась за ним дверь. — Пойдешь? — Голос у него был сиплый, резкий.

Савелий Петрович поскреб пальцем бородачку, подумал:

— Видишь ли, говоря откровенно, прямо...

— А ты прямо и говори. — Савчук вскинул на него свои желтые небольшие глаза. — В деле прямота требуется.

— Вот именно... — протянул Савелий Петрович, не зная, что сказать этому недогадливому земляку. Не мог же Савчук знать, что Савелий Петрович не то что итти к заместителю наркома, даже напомнить ему о себе боялся. Напротив, он принимал все меры (как, впрочем, и начальство главка), чтобы извольская история не попала к замнаркома. Но разве об этом скажешь? И зачем ссылается Савчук так часто на его, Савелия Петровича, речь? При чем здесь речь?

— Да ты прочитай, — протянул Савчук свое заявление на имя замнаркома, где уже оставлено было место для подписи Савелия Петровича.

Савелий Петрович читал и ужасался. Какой слог! Какая смелость! Ведь, если поверить Савчуку, все руководство главка надо гнать в шею, а то и под суд. И предлагать ему, работнику главка и в некотором роде тоже руководству, поставить под этим свою подпись. Выдать себя на расправу. Что он — с ума сошел?

Савелий Петрович положил заявление

поспешно на стол. Он и минуты не хотел держать в руках такое заявление.

— Ну, как? — спросил Савчук. — Подпишешь?

Савелий Петрович пожал плечами.

— Да ты не жмись! — Ноздри Савчука снова задрожали. Он встал и потянул заявление к себе. — Веревочка тонкая, а по веревочке и весь клубок распутать можно. А? Думаешь, не распутаем? — Он говорил отрывисто, кушая редкий обкуренный ус, и не спускал с Савелия Петровича желтых горевших недобрым огнем глаз. — Уж раз приехал, свое добыюсь... — Он сказал «свое» вместо «своего», заметил, но не поправился, только еще злей посмотрел на Савелия Петровича.

В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошла Мэри, легко и грациозно ступая по ковру:

— Сава, ты скоро? Мы ждем.

— А-а, очень кстати, — сказал Савелий Петрович, надеясь избежать продолжения разговора. — Знакомьтесь: моя жена... Иван Ефимыч Савчук.

Савчук сумрачно поклонился.

— Надеюсь, вы останетесь с нами? — спросила Мэри, высоко поднимая пушистые брови, с той ледяной вежливостью, которая равносильна отказу.

Но Савчук не собирался оставаться. Он повторил:

— Так как? Решай, земляк.

Савелия Петровича покорило от этого «земляка» в присутствии Мэри.

— Значит, мы вас ждем. — Мэри бросила взгляд на мужа и хотела вернуться к гостям. Но Савелий Петрович торопливо добавил:

— Постой, мы уже... Пойдемте, Иван Ефимыч... (Он ни за что не хотел при Мэри говорить с Савчуком на ты и еще менее хотел оставаться с ним с глазу на глаз.) Пойдемте, подзакусим. Не всё дела. — Он похлопал Савчука дружелюбно по плечу.

— Нет, брат, мне ответ нужен. — Савчук отвел руку. Взгляд его снова стал жестким.

Зазвонил телефон. Говорил начальник главка. У него нынче был «этот»

мужлан извольский — Савчук». Нагрубил, наскандалил и заявил, что пойдет к замнаркома.

— Но вот что странно: он ссылается на вас, Савелий Петрович, что, дескать, вы им наобещали что-то и поддерживаете их жалобу перед... — Он назвал фамилию замнаркома. — Или у вас память коротка? Удивляюсь.

Ни разу еще начальник главка не высказывался насчет Савелия Петровича так откровенно. Должно быть, сильно разозлил его Савчук:

— Вы слушаете? Как это понять?

Савелий Петрович сам не знал, как это понять, как выйти из дурацкого положения, в которое поставил его чорт-полоземляк. А «земляк» продолжал смотреть на него своими внимательными недобрыми глазами, словно догадывался, кто с ним говорит и о чем говорит. Шея Савелия Петровича взмокла. Он пошевелил ею, невольно отстраняясь от телефонной мембраны, из которой долбил ему в ухо негромкий настойчивый голос:

— Вы слушаете? Что же вы молчите?..

— Ничего, — отвечал бедный Савелий Петрович. — Чепуха какая-то... Не верьте.

— Так извольте его одернуть!

Савелий Петрович положил трубку и полез в карман за платком. Но не решился вытереть мокрую шею (Савчук продолжал смотреть на него), высморкался.

— Так как? — спросил Савчук своим осипшим резким голосом: — Пойдешь? Мне знать надо.

— К сожалению...

— Вон как... К сожалению? В кусты лезешь?

Голос Савчука повышался. Он темнел в лице и вдруг шагнул так близко, что Савелий Петрович отшатнулся.

— Ты, ты! Знаешь, кто ты после этого?

За дверью в столовой, где начались танцы, слышали. В коридоре раздались торопливые шаги.

— Не кричи, — напомнил Савелий Петрович раздраженно. — Ты не ко-

миссар, и я тебе не совслуж двадцатого года. Не забывайся.

Это вырвалось у него невольно. Он тут же пожалел. Но было поздно.

— Как?.. Как ты сказал? — Савчук стоял ошеломленный: — И я тебя — в партию... Я тебя...

Он размахнулся и хлестнул Савелия Петровича наотмашь по лицу своим заявлением, которое продолжал держать в руке:

— Я тебя... я... — повторял он, комкая заявление и суя в карман.

Щека Савелия Петровича горела, на уши горели еще сильнее: «Что, если за дверью услышали?». Он нагнулся над столом, будто рассматривая что-то, шепча про себя: «Уйди, уйди скорей, чорт... Молчи!..».

Но Савчук сказал-таки напоследок словечко:

— Где же твой рублик, хлопче, что мать на счастье дала? — Усы его поднялись, обнажая кривую усмешку: — Вон оно, твое счастье!.. — Он обвед рукою комнату, ковры, диван, кресла и чуть не задел рукой Мэри, которая в это мгновение вошла, встревоженная. — Дешевое твое счастье... И сам ты дешевый... с рублем своим...

Савчук прошел мимо Мэри, хлопнул дверью. Еще одна дверь хлопнула, еще одна, мгновенье тишины, и приглушенно ударила дверь в передней.

Глава двадцать пятая

Савелий Петрович сидел в кресле в своем кабинете и читал.

Красивая настольная лампа, отделанная майоликой (он купил ее в комиссионном на Арбате), мягко освещала газетный лист. На кожаном подлокотнике кресла лежали трубка и кисет, на другом стояла чашка горячего крепкого чая. Савелий Петрович любил крепкий чай. На нем были теплая бледно-голубая пижама из мягкой бархатистой байки, туфли и шитая тюбетеечка. Он отхлебывал медленно чай и просматривал газету.

В доме стояла тишина. Мэри была у себя и собиралась куда-то. Наташа

ушла на каток. Мелодично тикали настольные часы. Откуда-то транслировался вокальный концерт. Приемник был скрыт портьерой (выдумка Мэри), и казалось, что пели здесь, за дверью. За окном падал снег. В комнате было тепло. Все располагало к покою.

Нынче первое декабря. Через две недели он собирается в дом отдыха с Зиночкой, хорошенькой машинисткой из секретариата, с которой у него небольшой роман... Что ж, ему ведь не сто лет!

Савелий Петрович посмотрел в зеркало. (Он любил глядеться в зеркало.) Здоровое красивое лицо с гладко зачесанными назад волосами, аккуратно подстриженной бородкой, ясными глазами было внушительно и приятно. Он улыбнулся, прошелся по ковру.

Латковый голос, скрытый портьерой, напевал знакомую песенку. Вдруг песенка оборвалась. Холодный, отчетливый голос сказал:

— Все передачи отменяются. Прослушайте экстренное правительственное сообщение...

Савелий Петрович обернулся. Но голос уже смолк. Он подошел и отдернул портьеру, словно хотел увидеть, кто это сказал. Новенький полированного дерева приемник смотрел на него своим светящимся «глазком». Что случилось?

Савелий Петрович собрался уже отойти, когда тот же холодный, отчетливый, властный голос остановил его:

— Прослушайте экстренное правительственное сообщение. Передача ведется по станции имени Коминтерна, по станции имени ВЦСПС, по коротковолновому передатчику... — Некоторое время перечислялись станции, по которым транслируется сообщение. И снова пауза. Должно быть, что-то очень важное. Что бы это? А?

Савелий Петрович уже не отходил, придерживал портьеру рукой, ждал. И в третий раз холодный, отчетливый голос, шедший издали, оттуда, где валил теперь густой декабрьский снег над городом, над необозримыми пространствами страны, где миллионы людей, быть может, тоже слушали его в

эту минуту, сказал, отдельно выговаривая слова:

«Первого декабря в 16 часов 30 минут в городе Ленинграде, в здании Ленсовета (бывший Смольный), от руки убийцы, подосланного врагами рабочего класса, погиб секретарь ЦК и ЛК ВКП(б) и член Президиума ЦИК СССР товарищ Сергей Миронович Киров. Стрелявший задержан. Личность его выясняется».

Минуту Савелий Петрович стоял, по-прежнему держась рукой за портьеру. Потом почувствовал неловкость, тяжесть в затылке. Всегда, когда он пугался, у него было такое ощущение в затылке. Но сейчас он не был испуган. Просто начинало шуметь в голове и становилось жарко. Он расстегнул ворот рубашки и продолжал смотреть на светящийся «глазок» приемника, который словно следил за ним.

...Что-то случилось. Что-то страшное, непредвиденное случилось... Или... предвиденное?.. Кто-то предвидел, ждал, готовился к этому, может быть?.. Но кто?! Скажите: кто?.. Только не он. Ему это не нужно, совсем не нужно. Может быть, ему и не следовало иметь дела с этими пройдохами, — Ендражиевским, начглава, — а бороться против них вместе с Савчуком, не ссориться с Савчуком? Может, и об уральских «оползнях» следовало сообщить куда надо? Да, да, он сообщит и начнет бороться. Он на все согласен и обещает исправиться...

Но все-таки в ушах шумело, что-то мелькало, проносилось мимо глаз, будто тонул он.

Потом он вздохнул шумно, словно вынырнул на поверхность, и пришел в себя, обернулся. В дверях стояла Мэри. Лицо ее было бледно. Или ему показалось? Нет, не показалось. Почему ты побледнела, Мэри? Ты испугалась? Отвечай! Не смотри на меня так... Я знаю, ты испугалась. Я знаю, почему ты испугалась!

Это продолжалось мгновение. Но в эту ничтожную долю времени Савелий Петрович испытал все: страх перед людьми, перед жизнью, страх и предчувствие возмездия. Мгновение прошло.

все забылось. Но темный след страха остался в его душе и уже не покидал ее.

— Какой ужас! — услышал он восклицание Мэри, увидел ее высоко поднятые изумленные брови: — Ты слышал, Сава?

Но это была ложь. И слова — ложь, и изумленно поднятые брови, и яркие губы, произносившие эти слова, и крохотная родинка на щеке — все было ложью. Вся ее красота, ум, изящество, тонкость были лживы, фальшивы, двуличны, опасны. Теперь он понимал это.

Он расхаживал по кабинету, стараясь не смотреть на Мэри. Расхаживая, он задел нечаянно портьеру, та, в свою очередь, — регулятор радиоприемника. Голос, передававший траурные сообщения, вдруг приблизился, стал громче. Казалось, кто-то гневный кричал здесь рядом.

— Закрой, — попросила Мэри и передернула плечами. Он выключил передачу. Но тотчас сквозь стену (там находилась комната Наташи, где имелся обычный репродуктор) донесся тот же кричащий гневный голос.

Минуту они молчали, слушали.

— Может быть, пройдемся? — спросила Мэри, вскидывая на мужа свои прозрачные глаза. — По снежку прогуляемся?

— Не хочу. — Он не смотрел на Мэри, но чувствовал, что она смотрит на него.

— Почему? — спросила снова Мэри и впервые улыбнулась. Кажется, она хотела сказать: «Ты, надеюсь, не испугался?».

Савелий Петрович начал торопливо набивать трубку. Закурил и принялся снова вышагивать.

Мэри с улыбкой смотрела на него:

— Не финти, Сава. Скажи лучше, что испугался... Очень похоже на то, что испугался. Правда? — Она говорила так, как обычно с ним разговаривала: бесстыдно, откровенно, насмешливо, и так же бесстыдно усмехались ее узкие яркие губы.

— Я? Испугался? — Савелий Петрович остановился круто, едва сдерживаясь, чтобы не накричать, не выгнать,

не избить эту ведьму с гадючьими глазами.

— Я не испугался, мне нечего... А вот вы, Марья Павловна, кажется, действительно испугались немножко... там, у двери. Не правда ли? — Он попытался сказать это непринужденно и со смешком, так же как она. Но Мэри тотчас сбила его с тона.

— А может быть... мы оба испугались? — сказала она, смеясь и так спокойно, что он ужаснулся, поняв, что это правда, единственная правда, которую следует им сейчас признать.

Дверь с размаху ударила портьеру. В комнату влетела Наташа. Она была в шапке, в шубке, снег лежал на ее плечах, волосах. Она, должно быть, бежала по лестнице со всех ног и задышалась. Лицо ее горело.

— Папа, ты слышал... слышали? — только и смогла она выговорить, и увидела улыбающееся лицо мачехи. — Что же вы смеетесь? — закричала Наташа, зло блестя глазами, и вдруг заплакала.

Глава двадцать шестая

Утром позвонил Ендражиевский. Он оказывается, находился поблизости и хотел заглянуть. Он всегда находился поблизости, когда случались неприятности.

Савелий Петрович просматривал газеты, заполненные сообщениями о вчерашнем. Уже известна была фамилия убийцы и то, что прежде он служил в ленинградской РКИ, что похороны назначены на шестое... Савелий Петрович вспомнил речь погибшего, направленную против «обозников», и нахмурился. Какая могла быть связь между ней и вчерашним выстрелом? Никакой. Просто маньяк, обозленный неудачник какой-нибудь. Но бывший работник РКИ? В РКИ работают главным образом коммунисты...

За этими размышлениями застал его Ендражиевский.

Он вошел, осторожно ступая по ковру, задрал кверху сизый нос:

— Здравствуйте, дорогой мой. Как спали? — Он увидел в руках Савелия Петровича газету: — Как почивали?

Подобие улыбки озарило его желтое оплывшее складками лицо и исчезло, уступив место приличествующей случаю серьезности: «Какое несчастье! Подумать только!». Ендражиевский сказал это почти так, как вчера Мэри.

Что-то было в нем общее с Мэри, замечал не раз Савелий Петрович. Та же хитрость, правда, неуклюжая, грубая. Те же ложь, лицемерие, уверенность, что всех он может дурачить. Те же бесстыдство и наглость. С тех пор, как дела вынуждали Савелия Петровича встречаться с ним часто, — гораздо чаще, чем хотелось, — нахальство и наглость Ендражиевского все возрастали.

— Не любите вы меня, — говорил он Савелию Петровичу, кривя в усмешке рот. — А напрасно. Я ваш искренний друг и почитатель.

Глядя теперь в его желтое скопечское лицо с большими отвислыми, как лопухи, ушами и прятавшимися в складках век хитрыми глазками, на эту отвратительную тушу стареющего мяса, упрямого под скромную толстовку, Савелий Петрович испытал новый прилив ненависти.

Как мало осталось приличных людей вокруг! Вместо Кати — Мэри, вместо честного работника Савчука — Ендражиевский, вместо доверчивого Давида Самойлыча — Александр Георгиевич, начглавка, человек неясный, опасный; трус Крендель, трус главбух; еще Рудыка — темный человек. Почему лезут они к нему?

— А я с вами чайку напьюсь, — заявил Ендражиевский, — не возражаете? — Он потянул к себе газету и начал неторопливо читать. — Угу... м-да... «следствие продолжается... бывший служащий РКИ...». Вы как на это смотрите? — спросил он и, не дождавсь ответа, заключил: — Прелюбопытный казус!

Эта жаба сразу замечала главное. Удивительная пронырливость!

В столовой никого, кроме них, не было. Наташа ушла уже в школу. Мэри еще не вставала. Фрося подала им чай, масло, ветчину и грибки в маринаде. Савелий Петрович любил ветчину с маринованными грибками. Теперь он мог

видеть, как уничтожает их Ендражиевский.

— Фрося! — позвал Ендражиевский своим оглушительным голосом: — Молоко есть? Ужасно люблю этот гигиенический напиток, — пояснил он Савелию Петровичу. — Советую вам. Очень освежает. — Он запил ветчину молоком, облизал жирные губы.

— Ну-с, — сказал Ендражиевский, переваливая брюхо набок и тяжело поднимаясь: — А земляк ваш в гору пошел, слышали? Рудыка-то ваш?

— Почему мой? — ответил недовольно Савелий Петрович. Он не хотел знать этого прохвоста.

— Ваш! ваш! — замахал руками Ендражиевский. Он вел себя попрежнему. Последние события ничуть его не испугали. Почему? Почему Савелий Петрович должен бояться, тревожиться, почему его били недавно, и он смолчал, а Ендражиевский жрет его ветчину, смеется, издевается? Откуда такая наглость?

Машину Савелий Петрович решил не вызывать.

— Пройдемся, — сказал он Ендражиевскому. — И добавил ехидно: — Очень освежает...

Когда они начали спускаться по лестнице, Ендражиевский сказал:

— Похоже, что вызовут в Совконтроль по этому милому делу. («Милым делом» он называл извольское строительство. Разбор извольского дела у замнаркома так и не состоялся: замнаркома внезапно захворал и хворал до сих пор. Но Савчук подал в Комиссию советского контроля. Вот откуда возникло «милое дело»!) Вы не знаете, когда это кончится? — спросил Ендражиевский таким тоном, словно он и был главным страдальцем в «милом деле».

— А кого вызывают? — поинтересовался Савелий Петрович.

— Да вот нас с вами, должно быть, Александр Георгиевич всегда занят. Крендель — тоже...

— То-есть как? — возразил Савелий Петрович. — Я тоже занят. И меня, собственно, это почти не касается. Да, — сделал он вид, будто только-что вспомнил: — Ведь седьмого я уезжаю, у

меня обследование. — Хотя никакого обследования еще не было, и ехать он решил только сейчас.

Вышли. Улица была свежа и бела от выпавшего ночью снега. У газетного киоска тянулась очередь. Всюду висели траурные флаги, которые от свежего снега казались еще чернее. Люди говорили вполголоса. Милиционер в новеньком шлеме и перчатках стоял сумрачно на перекрестке. Промчался грузовик, обитый в красный и черный цвет.

Толпа становилась гуще. Савелий Петрович уже пожалел, что не вызвал машины. Он не любил толпы. В толпе он терял ощущение своей обособленности, отличности от людей, своего превосходства над ними. Вот и теперь приходилось часто останавливаться: либо затор, либо светофор закрыт, либо какой-нибудь дядя прет перед самым носом, и нельзя его заставить свернуть. Нельзя избавиться от Ендражиевского, занимающего почти весь тротуар и спихивающего Савелия Петровича в снег. Приходилось быть, как все. А Савелий Петрович не любил быть, как все.

Пройдя еще немного, он предложил сесть в трамвай. Ендражиевский посмотрел на него с высоты своего роста и сделал вид, что не слышит.

— Никодим Сергенч! — позвал Савелий Петрович, с трудом разжимая смерзшиеся губы и испытывая желание пнуть Ендражиевского ногой.

— А? — Ендражиевский высунул из воротника свой вороний нос: — Что? Освежает? Вы говорили: освежает? — Он засмеялся, хлопнул рука об руку и милостиво согласился сесть в трамвай.

Они влезли с передней площадки, воспользовавшись тем, что вагоновожатая вышла перевернуть стрелку. Вслед за ними вошел некий румяный гражданин в замечательной меховой куртке и брюках-гольф, по обличью иностранец. Савелию Петровичу показалось, что он его где-то видел.

Иностранец входит и останавливается на площадке. «Ваш билет? — спрашивает вожатая, возвращаясь на свое место. Иностранец бормочет что-то. — Войдите в вагон, — говорит вожатая.

Иностранец продолжает стоять. — Войдите, гражданин, не нарушайте правил! Скажите хоть вы ему» — обращается она к Савелию Петровичу, который топчется протиснуться в вагон.

— Да, таковы правила, — поясняет виновато Савелий Петрович иностранцу, с трудом подбирая слова и злясь на Ендражиевского, который загородил ему дорогу. — Войдите. — Он посылает на дверь.

Человек откидывает воротник своей великолепной куртки и бормочет что-то, глядя сердито на Савелия Петровича. Теперь Савелий Петрович узнает его вполне. Он видел его на стадионе «Динамо» нынешней осенью. Это знакомый Мэри.

— Войдите! Войдите! — уговаривает его Савелий Петрович.

— Нет! — отвечает тот и краснеет, как индюк. (Что нашла в нем Мэри?) — Нет!.. .. Не хочу с этими... со всякими...

Ах, вот что! Он не желает ехать вместе с трамвайными пассажирами. Ишь какой! Савелий Петрович переводит вожатой, смягчая немного его слова: ему трудно со всеми в вагоне, он не может...

Вдруг он ударяется с размаху о дверь и чуть не падает на Ендражиевского. Приятель Мэри тоже чуть не падает. Это вагоновожатая резко затормозила:

— Не хочешь? Брезгуешь нами? — кричит она: — А ну, вылезай!.. — Она встает, с грохотом отодвигая свой железный табурет. Лицо ее пылает от возмущения: — Не ваши ли стреляли вчера? — Кажется, сейчас она его ударит. Но она только повторяет: — Вылезай, я тебя не повезу!..

Вагон останавливается. Вожатая свистит. Милиционер спешит к месту происшествия. Прохожие собираются у вагона. Пассажиры выглядывают сквозь отодвинутую дверь, тесня Савелия Петровича. Он не рад уже, что впутался в историю. Ну и сумасшедшая баба — вожатая! Причем здесь вчерашнее? Как она не боится на улице, при людях, говорить такие слова? Почему все смотрят на него? Он здесь посторонний, как

они, как все. Савелию Петровичу очень захотелось в эту минуту быть, как все, не выделяться.

Но все обошлось. Приятель Мэри, завидев милиционера, проворно слез. Вагон тронулся. Милиционер вернулся на свой пост. Одни мальчишки бежали за брюками-гольф и кричали:

— Безбилетного поймали!.. а еще в чулках!

Когда они вылезли из трамвая и вышли на тротуар, Ендражиевский наклонился к Савелию Петровичу, пуская в лицо клубы пара, как паровоз:

— Любопытный казус! — Он захотел.

Савелий Петрович подумал, что такой человек способен на все: предать, ограбить, убить. Впервые он по-настоящему его испугался.

Глава двадцать седьмая

Летом Савелий Петрович пришел к выводу, что ему следует уехать из Москвы, переменить жизнь.

Мысль эта возникла у него впервые в тревожные декабрьские дни, но только недавно она созрела окончательно.

Савелий Петрович всегда любил знать и знал, в каком положении находятся его дела. Он любил ясность. А дела были запутаны, неясны. Если бы он разбил их по статьям, то в статье «прибылей» за этот год не прибавилось бы ничего, зато статья «убытков» возрастала с каждым днем.

Прежде всего, нехорошо было на службе.

Александр Георгиевич, начглавка, как-то непонятно и неприятно переменялся. Куда девался его ласково-презрительный тон, его медлительность, равнодушие. Александр Георгиевич проявлял теперь неслыханную активность. Не ту показную, бумажную, которой он славился и которой временами завидовал и пытался подражать Савелий Петрович, а всерьез как будто.

Взять хотя бы извольское дело, которое промариновали-таки целый год, несмотря на все усилия Савчука, — не зря хвалился Ендражиевский. Ендражиевскому первому и влетело. Его сня-

ли с работы, как не сумевшего «обеспечить», «возглавить» и т. д., и усадили на Урал, на «низовку». Это был первый удар преобразившегося чудесно начальства. Затем полетел толстенный главбух, так боявшийся влипнуть в историю и все-таки влипший. Консультант Крендель отделался строгим выговором с понижением по должности. Один Савелий Петрович уцелел, что было даже ему самому немного удивительно.

Начальство дневало и ночевало теперь в главке. Лимиты и средства на строительство рабочего городка в Извольске были утверждены сверхсрочно, притом с лихвой, и теперь строительство шло полным ходом. Сам Александр Георгиевич ездил в Извольск, вызывал к себе начальника строительства, ударников стройки и еженедельно требовал сводки, требовал у бухгалтерии средств, у снабженцев — фондов. Он ничего теперь не жалел и заявлял на собраниях, в парткоме, в приказах по главку, что сломит саботаж и малейшее ослабление в темпах будет считать вредительством. Не больше, не меньше.

Савелия Петровича начальство ставило теперь в пример, как человека, который не поддастся саботажникам. (Имелась в виду его прошлогодняя речь в Извольске. Теперь она снова нравилась.) А «саботажник» Ендражиевский слетел.

— Надо растить кадры! — неоднократно говорило начальство Савелию Петровичу. — Кадры нынче решают все. Вы понимаете?

Савелий Петрович «понимал». Он сам растил кадры — самого себя, и знал, какое это хлопотное занятие.

Но даже явное благоволение начальства не могло изменить того печального факта, что два миллиона денег загублены зря, заявлению Савчука в Комиссии советского контроля дан ход и кто-то должен отвечать. Не потому ли так спешило начальство исправить ошибки?

Но как понять тогда уральское дело, значительно более серьезное, где целый поселок разобрали на кирпич и рабочие жили второй год в бараках? А теперь Ендражиевский, знаменитый «почвовед»,

разжалован и послан... туда же, на Урал.

Все это не могло радовать Савелия Петровича. Ветер задувал опасный. Кто-то заметал следы, спасал шкуру и не прочь был спустить шкуру с других, может быть, и с него, Савелия Петровича.

Ко всему этому прибавились новые заботы: начиналась проверка партийных документов. Что следовало под этим подразумевать? Новая чистка или что-то другое? Похуже или получше? Как будут проверять? Что нужно отвечать?

Савелий Петрович приглядывался, прислушивался. Уже наступило лето, время отпусков, дачных отдохновений, а он все еще не мог разобраться.

Трудное положение!

Еще труднее, запутаннее были личные дела. Мэри вела себя совершенно невозможно. Она редко бывала теперь дома, много выезжала, приглашала к себе гостей. У нее составилось наконец нечто вроде светского «салона» — ее давнишняя мечта.

Прежде Савелий Петрович завидовал Мэри и ее друзьям, старался подражать, приблизиться, подняться до них (несмотря на вражду, он признавал почему-то их превосходство над собой). Но время шло, а он так и не приблизился, не вошел в их круг, оставался непризнанным, мужем Мэри — и только. Оскорбленный, он махнул рукой. Они не признают его, и он не будет признавать их.

Не без злорадства замечал теперь Савелий Петрович, что равнодушие и пренебрежительность, с какими здесь говорили обычно об окружающей жизни, сменились последнее время неприятной жадностью, почти страстью ко всякого рода слухам. «А вы знаете, что сказал тот-то по поводу того-то?..». «Вы слышали, что такой-то уже в отпуску?.. Может быть, он увлекается рыбной ловлей, ха-ха...».

Они шутили, смеялись. Но, кажется, им было не до смеха, подозревал Савелий Петрович, которому самому было не до смеха. В словах их, в улыбках он видел хорошо знакомое ему самому же-

вание подбодрить, уверить себя, что все хорошо, отлично. Впрочем, это могло быть наигрышем, позой. Савелий Петрович не верил им. Все они были актеры, позеры, как Мэри, которой он тоже не верил.

Мэри играла великолепно. Она играла жену, друга, светскую женщину, поклонницу муз, заботливую мать сиротки Наташи. Даже мать! Кажется, она совсем была лишена того, что у обыкновенных людей именуется естественностью. Но ведь она и не была обыкновенным человеком, не хотела им быть.

Даже ее романы (а они могли быть, подозревал Савелий Петрович), даже ее роман с самим Савелием Петровичем — был для Мэри, вероятно, только игрой. Она могла забавляться своими любовниками и Савелием Петровичем — обманутым мужем — так же, как когда-то забавлялась наивно-доверчивым и великодушным Давидом Самойлычем. И как тогда, так и теперь наивность и доверчивость людей доставляли ей, вероятно, удовольствие. Но Савелий Петрович не был ни наивен, ни доверчив. Он не хотел быть предметом игры.

У Мэри имелось немало знакомых иностранцев. Ее посещали и некоторые советские работники, захаживал один комсомольский «чин», как шутливо аттестовала его Мэри Савелию Петровичу. «Вот видишь, — как бы говорила она, — я никого не чуждаюсь». Она склоняла красивую голову набок и смотрела на мужа смеющимися узкими глазами.

Она хорошела, молодела. Красота ее словно только теперь, в этой непрерывной смене лиц, подозрительных встреч, двусмысленных развлечений, обрела свою полную силу и блеск. Пышные пепельные волосы ее стали пышней, гуще, губы — алей, талия — гибче, походка — стремительней, легче. Куда девалась ее прежняя сдержанность, тонкость. Как будто испуг, который она испытала в памятный декабрьский вечер и который не сумела тогда скрыть, возбуждал в ней это яростное, безудержное веселье.

Савелий Петрович боялся ее.

Он боялся ее давно. Вся ее жизнь с ним, ее повадки, причуды, ее расчетливая любовь и коварная дружба, ее бесстыдство и та обнаженность в отношениях к жизни и людям, которые прежде восхищали, изумляли его, — теперь пугали.

Савелий Петрович уже не в силах был разбираться, понимать ее. Но понимал ли он ее прежде?

Как-то в театре они встретились случайно с Александром Георгиевичем. Александр Георгиевич начал после этого бывать в доме Савелия Петровича.

Со стороны глядя, было, конечно, лестно видеть у себя начальство «запросто, без чинов», как говорил обычно Савелий Петрович. Но очень уж «запросто» повел себя Александр Георгиевич с Мэри. А Мэри так же запросто принимала его авансы.

Это уже не походило на игру. Во всяком случае становилось дурной игрой. Прежде Савелий Петрович тотчас сказал бы Мэри, но теперь промолчал. Он знал: сказать Мэри значило дать ей лишний повод посмеяться над ним. Она бы ответила, конечно, что делает это ради него, любезного мужа. Может, это и было так? Не оттого ли из всей незадачливой извольской комиссии уцелел он один? Может, и несчастная история со статьей разрешилась так счастливо по той же причине? Какая в самом деле удивительная заботливость и скромность со стороны Мэри: так много сделать для него и ничего не сказать!

Чем больше Савелий Петрович думал, припоминал, сопоставлял, тем становился мрачнее. Похоже было, что его дурачили давно.

Можно было утешаться тем, что сам он поступал точно так же. Взять хотя бы его роман с Зиной... Но, во-первых, он муж, мужчина, и мог разрешать себе кое-что. Во-вторых, он не афишировал своих связей, берег доброе имя жены. А Мэри? Она и здесь вела себя бестактно, бесстыдно, вызывающе — играла. Все для игры, для забавы!

Савелий Петрович негодовал.

Всю жизнь он оберегал себя от опас-

ностей, пока на его пути не встала эта женщина. Теперь он винил ее во всем: в своем одиночестве, в запутанных служебных делах, в опасностях, которые грозили ему или только мерещились. Она могла погубить его. Лучше порвать с ней, попытаться выйти из опасного круга.

Так случилось, что в один прекрасный летний день, лежа в гамаке на даче и являя собой как бы образец человека, вполне довольного жизнью и собой, Савелий Петрович, гражданин тридцати пяти лет, член ВКП(б), семейный, судимости не имел, партийную чистку проходил, увы, трижды, — подвел, так сказать, итог: надо переменить жизнь. Все дела его — служебные, партийные, семейные — говорили: уезжай, друг Савелий, перемени жизнь!

Глава двадцать восьмая

Прежде всего Савелий Петрович устроил Мэри путевку в Сочи. Избавиться на месяц от Мэри значило сделать полдела. На службе ему повезло: начальство тоже отбыло в отпуск и тоже в Сочи. Этого можно было ждать. Но теперь Савелию Петровичу было все равно: он отстранялся, выходил из игры. Он надеялся поквитаться, обмануть их всех.

Итак, два барьера взяты. Теперь следовало действовать решительно и быстро. Савелий Петрович уже присмотрел одно несложное дело, за которое никто не хотел браться по причине отдаленности. Речь шла о строительстве в Восточной Сибири, где требовался консультант, представитель главка. Это было как-раз то, чего искал Савелий Петрович: отдаленность, несложность и возможность пробыть там столько, сколько ему понадобится. Удобство было и в том, что Савелий Петрович как бы давал пример служебного рвения, отправляясь в столь отдаленные палестины. И заместитель начальника (уже не Кучеренко, Кучеренко сплывали-таки) оценил его поступок, похвалил и быстро оформил назначение. Быстрота Савелию Петровичу очень требовалась.

Теперь оставались семейные, квартирные дела.

Здесь Савелий Петрович тоже загодя все обдумал. У него были три комнаты со всеми удобствами в новом доме. Он хотел обменять их на две вместе, одна — врозь, перевезти все ценное к себе в две комнаты, а в одну — вещи Мэри, лично ей принадлежащие. От него она не должна получить ничего, не заслужила.

Савелий Петрович отыскивал нечто подходящее: для себя все удобства, отдельная квартирка, тихий район, а Мэри доставалась бывшая наташина детская.

Но в бюро обмена требовали личного присутствия или письменного согласия Мэри. Савелий Петрович прикидывал и так, и этак — ничего не получалось. Пришлось, сколь ни печально, пойти на небольшой подлог. Он написал от имени Мэри заявление и подписал. Подпись заверили легко и не читая (об этом он позаботился) в канцелярии главка.

Теперь все пошло, как по маслу. Все же Савелий Петрович пережил несколько неприятных минут, пока рассматривали в бюро обмена заявление Мэри. Выйдя оттуда, Савелий Петрович решил, что вывезет все, даже собственный шкаф Мэри. Он должен компенсировать себя за труды, за волнение, за то, что вынужден был замарать себя грубой фальшивкой. Не будь этой женщины, он никогда бы не позволил себе так унизиться.

С ордером бюро обмена и с квитанцией транспортной конторы, которая завтра должна была перевозить его, Савелий Петрович явился домой и тут только вспомнил о Наташе.

Наташа лето провела в пионерском лагере, недавно вернулась. Она вытянулась, загорела, похорошела. Ей шел уже четырнадцатый год — длинноногий, длиннорукий подросток с тонкой шеей и уже обозначившейся грудью. Она теперь еще больше походила на мать — фигурой, походкой, голосом. Только серые отцовские глаза смотрели попрежнему неулыбчиво.

Вот этой Наташе, дочери своей, он

должен был сказать сразу три вещи: что он расходится с Мэри, что уезжает в Сибирь, что завтра они переедут на новую квартиру.

Наташа слушала его потупясь. Это была ее старая манера, — смотреть потупясь. Дурная манера. Конечно, она должна быть довольна. Она ведь не любила Мэри. Теперь у нее с папой будет отдельная квартира, перестанут являться все эти франты, прекратится шум, суета.

— Ну, так как? поедешь с папкой? — спрашивал он тем снисходительно ласковым тоном, каким всегда разговаривал с Наташей: — Тебе ведь будет скучно одной. Ведь для тебя я... — Он начал с жаром объяснять ей, что все это он делает для нее. Он давно видит, что ей трудно... (он не сказал: «с мамой», как настойчиво именовал всегда Мэри в присутствии Наташи) ... Марьей Павловной. — Вот и будем вместе, папка с дочкой. Правда, хорошо? — заглядывал Савелий Петрович Наташе в лицо.

— А ты... надолго? — спросила Наташа.

— Не знаю еще. Едем со мной... А какие там места... горы! — Он не знал, чем прельстить Наташу и, собственно, и не помышлял прежде брать ее с собой. Но теперь ему захотелось показать свою заботливость.

Наташа покачала головой:

— Я... с бабушкой. — И вдруг порывисто сказала: — Можно... к бабушке... бабушку к нам... она ведь старенькая... — И обняла его длинной тонкой рукой.

Савелий Петрович замолчал обиженно. Опять эта бабушка! То, что он ломает свою жизнь, идет на такие жертвы, что он так ласково советуется с ней, как со взрослой, — все это ничего. Неблагодарная девчонка!

Почти с искренней горечью он подумал, что одинок в своей семье, что семья распалась, и даже единственная дочь равнодушна к нему. Он вздохнул. — Я тебе буду писать. Каждый день! — говорила Наташа.

Савелий Петрович кисло посмотрел на нее.

В конце-концов он решил, что, может, и лучше, если бабушка будет жить с Наташей. Мэри не сможет предъявить претензий: у него семья, а она одна. Пусть так. Он представил себе, как прикатит Мэри, веселая, расфуфыренная, войдет в дом и... увидит чужих людей, ее вещи сложены в комнатушке Наташи... И утешился немного.

Все-таки он одурачил ее под конец, оплатил за все.

Переезд совершился благополучно. Савелий Петрович вывез решительно все, вплоть до половика и кухонной посуды. Впопыхах прихватили даже маленького папуаса — талисман Мэри. Савелий Петрович засмеялся, обнаружив его, и подумал: «Вот и твой талисман перекочевал ко мне».

Наташа осталась с бабушкой и домработницей Фросей, которой Савелий Петрович наказал ничего не говорить, если явится Мэри. Получив на всякий случай броню на квартиру, он отбыл в «Добровольное изгнание».

В поезде Савелий Петрович написал Мэри письмо. У него уже был некоторый опыт по этой части.

Начиналось письмо точь-в-точь, как когда-то к Кате. Савелий Петрович даже не стал затруднять себя придумыванием нового варианта, просто списал с сохранившейся копии. (У него сохранились копии всех важных писем, документов, с указанием дат входящих и исходящих, всякие пометки — личная канцелярия, так сказать. На всякий случай...).

«Жизнь меняется, — списывал бодро Савелий Петрович, — и люди меняются. Они разные люди, он и Мэри... (Савелий Петрович чуть не написал вместо Мэри — Катя) ... пора это признать. Вся их жизнь вместе была ошибкой, грубой ошибкой. Он говорит прямо, как честный человек...».

В этом месте «честный человек» перестал списывать с копии и приступил ко второй части письма. Он хотел расплатиться сполна, по всем статьям. Документально (копию письма он, естественно, сохраняет), с фактами, так сказать, в руках он намерен доказать, что порывает с Мэри п р и н ц и п и а л ь н о.

У него нет, не было и не могло быть ничего общего с ней, с ее друзьями, с той средой, в которой она жила и в которую пыталась вовлечь и его. Об этом он, старый коммунист, незапятнанный ничем работник, считает своим долгом открыто сказать.

Он не собирался шадить женщину, которая, в случае чего, его бы, наверно, не пощадила. Вместе с тем должна быть соблюдена мера: ничто в письме не должно бросать тени на него самого. Он хочет расквитаться, обличить ее и сградить себя.

Поэтому Савелий Петрович писал легко, бодро, а, закончив, отправился в вагон-ресторан.

Глава двадцать девятая

«Добровольное изгнание» продолжалось всего несколько месяцев, а Савелию Петровичу казалось, что уже прошла вечность.

Все вышло совсем не так, как он предполагал. Он полагал, что жить будет в городе, по вечерам посещать кино или цирк, как в Извольске, потом заведутся знакомые, составитя компания в преферанс... Но оказалось, что строительство находится в 60 километрах от города и жить надо среди тайги, на берегу огромной пустынной реки, в утепленном бараке, потому что по милости главка дом инженерно-технических работников все еще стоял без крыши.

Уже наступила зима. Морозы доходили до 40 градусов. Окна в бараках покрывал лед толщиной в палец. Масло в моторах грузовиков замерзло. Молоко в магазине рубили топором и отпускали кусками. Это была Сибирь, неодолимые пространства, могучие морозы, сжимавшие мертвеющую землю, деревья, людей в своих объятиях. Вот чем оказалось «добровольное изгнание»!

И люди здесь были какие-то другие, непонятные.

Когда метели заносили подъездные пути, весь поселок выходил на очистку, включая служащих и сторожей. И Савелию Петровичу приходилось браться за лопату. Когда гасло электричество (ток подавался из города, городская

станция была перегружена, а местная — еще не готова), работали при факелах, жгли костры. И оттого поселок принимал необычный праздничный вид.

Все здесь было необычно, могуче: природа, работа, люди. Даже когда страшный буран, случившийся под новый год, бушевал пять дней кряду, сравнивал огромными сугробами реку, поселок, когда, казалось, один мертвый снег, мертвое безмолвие должны были воцариться вокруг, — и тогда люди не подчинились. Сирена гудела день и ночь. Тяжелые гусеничные тракторы ревели и шли грозно, как танки, прокладывая дорогу в высоких снегах, отряды, вооруженные лопатами, двигались следом, огни костров пылали неугасимо. Ни на мгновение не угасали борьба, движение, жизнь.

Это была настоящая жизнь. Как мог попасть сюда Савелий Петрович? Он сам удивлялся, негодовал. В Москве ему говорили, что здесь тихое, спокойное место. Может быть, это был обман? Или промах с его стороны, ошибка?

Сознание ошибки не покидало его с первого дня и все усиливалось. Он хотел было захворать и откомандироваться в город. Но не хворалось. Организм был не в ладу с характером. Савелий Петрович сердился.

Все его теперь раздражало: соседи, молодые инженеры, будившие его утром на зарядку; помощник по работе, маленький, тщедушный человек, уроженец Полтавы, которого нелегкая занесла сюда, а он еще бахвалился, что ему здесь нравится; начальник строительства, который мало считался со званием и стажем Савелия Петровича и требовал точности, четкости в работе, придирался; заведующий столовой, не желавший отпускать обед вне очереди... Все были виноваты перед Савелием Петровичем.

Одно утешало его. Проверку партийных документов он благополучно прошел. Все остальное было тускло, обидно, тревожно. Тускло жилось, обидно было сознать, что он попался так глупо, застрял в дыре. Тревожно было молчание Мэри. Савелий Петрович был

почему-то уверен, что Мэри как-то откликнется.

Зато аккуратно писала Наташа. Сообщала о своих школьных делах, о том, что бабушка хворает, «но пусть папа не беспокоится, им хорошо». Савелий Петрович делал кислое лицо: «им хорошо». Всем хорошо. Одному ему плохо.

Он ложился на койку и брался за газеты. Но в газетах тоже не было ничего утешительного. Еще по дороге, в поезде, он прочитал о каком-то горняке, который вырубил за смену сто две тонны угля. Ну, и что же? Вырубил и вырубил... Савелий Петрович прочитал и забыл. Но все почему-то ухватились за этого чудака, что ни день газеты сообщали о нем новое.

Савелий Петрович еще только приехал на место, осматривался, приступал к работе, а слава о безвестном горняке уже гремела по всей стране. Имя человека становилось нарицательным. О нем узнали даже за границей. Савелий Петрович только пожимал плечами.

Он не видел ничего особенного в этом длиннолицем простоватом парне, чьи портреты теперь часто мелькали в газетах. А когда узнал, что длиннолицего вызвали в Москву, в Кремль, что его наградили орденом, созывают совещание тех, кто начал ему подражать, — он почувствовал себя лично задетым.

Это была слава, успех, вершина, к которой стремился он сам столько лет, столько затратил усилий и вот — очутился в сибирской дыре. А какой-то безвестный шахтер в два месяца добился всего этого, как бы шутя, как бы насмехаясь над ним, Савелием Петровичем, которому все давалось отнюдь не шутя. И только потому, что однажды взял и вырубил столько-то тонн угля! Что он: министр, открыватель новых земель? Нет, он такой же, как все. Может, потому и превозносят его все до небес. «Это «и х» герой!» — говорил себе Савелий Петрович. Но все-таки это была слава, настоящая большая слава, и она обошла его. Савелий Петрович чувствовал себя как бы ограбленным. Этот человек ограбил его, забрал его славу!

Савелий Петрович не мог теперь спокойно смотреть на газеты. Его раздражало в них даже то, что, казалось, должно было только радовать: отсутствие тревожных сигналов из главка. Даже о расследовании извольского дела ничего пока не слышно. Все на месте, в полном порядке, никто не пострадал, а замнаркома, которого он так боялся, вовсе ушел. Вместо него назначен другой. «Зачем тогда было уезжать? — спрашивал себя не раз Савелий Петрович. — Может быть, и здесь он ошибся?».

Словно в подтверждение этого пришло вдруг письмо от Ендражиевского. Ендражиевский, оказывается, уже вернулся в Москву и преспокойно работал в главке. Он сообщал, что Александр Георгиевич просит передать привет «блудному сыну» — так выразилось начальство на его счет, — что он, Ендражиевский, уж, конечно, не может забыть дорогого Савелия Петровича, своего бывшего ученика, а теперь товарища, друга, почти земляка, и вполне понимает обстоятельства, которые побудили его уехать, сочувствует ему и даже разделяет... Последнее было не совсем понятно: что «разделял» Ендражиевский?

Он писал, как и говорил, витиевато и нахально, словно похлопывал по плечу. Письмо только усилило досаду Савелия Петровича.

Савелий Петрович все больше начинал понимать, что ничего, в сущности, не переменилось. Он — представитель главка, выполняет директивы главка и отвечает наравне со всеми теми, за кого он не хотел, боялся отвечать, от кого бежал.

Особенно ясно стало это, когда неожиданно-негаданно пришло письмо от Мэри. Вернее, не письмо, а повестка. Вернее, не от Мэри, а из горсуда. Гражданин такой-то вызывается ответчиком по иску гражданки такой-то: квартирные и имущественные дела.

Этого еще нехватало! Савелий Петрович долго раздумывал, но ничего лучшего, кроме письма к Ендражиевскому, не придумал. Он написал, что по состоянию здоровья и по служебным причинам приехать не может. Его крайне удивляет эта странная манера — по-

вестка в суд. Он не видит причин для судебного вмешательства и рад будет, если его поймут...

В ответ Ендражиевский разразился самым бесшабашным письмом, из которого было очевидно, что над Савелием Петровичем опять потешались.

«Конечно, наша милая Мария Павловна — это птичка колибри, — писал игриво Ендражиевский. — Но, представьте, начальство в ней души не чаёт. Как говорится: с милым рай и в шалаше, тем более, что шалаш из четырех комнат, спальня из карельской березы, гостиная красного дерева и прочее...». А мысль о суде подал в шутку он сам, чтобы напомнить «нашему общему другу и блудному сыну, который нас совсем забыл, хе-хе... Не забывайте нас, милейший, не забывайте!».

Савелий Петрович ощутил вдруг такую досаду, что захотелось бросить все и вернуться в Москву.

Он ничего не добился своей поездкой, решительно ничего. А между тем там, в Москве, переживая опасное время, «милые друзья» выполняли на солнышко и греются безмятежно, еще потешаются над ним. И поделом. Зачем было ему больше других пугаться? Он ведь не Ендражиевский, не Александр Георгиевич, не Мэри с ее подозрительными знакомствами. Он только исполнитель и всегда может сослаться на свою служебную зависимость и доверчивость (как, например, в извольском деле). Закатили бы на худой конец выговор. И все. Впрочем, и этого могло не быть, если рассудить здраво.

Вот и с Мэри, если посмотреть здраво, не было ничего такого, что толкало на разрыв. Ну, разошлись кое в чем, обманывали друг друга немножко, не без того, со всяким может случиться. Надо шире смотреть на вещи.

Наконец еще одна мысль пришла в голову усомнившемуся Савелию Петровичу. Что, если эта смешная повестка в суд и шуточные разъяснения Ендражиевского вовсе не то, за что он их принял? Что, если это не насмешка, а напротив — намек, зондаж, так сказать. Может быть, уже надоел Мэри ее долговязый обожатель с рыбьими глаза-

ми — Александр Георгиевич? Ведь это как-раз ее стиль: в шутовой, чертовски шутовой и оригинальной форме дать понять, что лед сломан, ему готовы протянуть руку...

Вот как начинало все выглядеть, когда Савелий Петрович посмотрел без предвзятости, здраво. И чем больше он смотрел, вникал, сомневался, тем больше винил самого себя. Случай неслыханный!..

Глава тридцатая

По мере приближения к Москве Савелий Петрович испытывал все большее облегчение. На крупных станциях он давал домою телеграммы, с соседями по купе шутил, в вагон-ресторане пил пиво. Он сидел за столиком перед пивной кружкой, покуривал свою трубочку и думал с удовольствием о том, что скоро будет дома и заживет тихо, мирно, как всегда хотел жить. Теперь Савелию Петровичу казалось, что он всегда стремился к жизни мирной, умеренной, без претензий. По выходным — гулять с дочкой, по вечерам — читать. Никаких излишеств. Просто и скромно.

Это был уже не тот молодой человек, полный воинственного задора, который ехал когда-то в теплушке завоевывать Москву, и не тот преисполненный деловых упований Савелий Петрович, который в тридцатом году возвращался из колхозной командировки... То были другие годы. И он был тогда другой. А сейчас он был поживший, помятый немного жизнью, смирившийся, можно сказать, человек.

Поезд шел. Снова, как когда-то, знакомо мелькали мимо окон дачные платформы, встречные составы, цистерны, новенькие трубы и крыши заводов; шумящие пыльной листвой перелески.

И вот с грохотом и звоном влетает поезд под вокзальный свод.

— Папа! Папа! — кричал чей-то голос. Милиционер в новенькой белой форме вежливо показывал дорогу. Плакаты и флаги веяли радостно навстречу. Пятна солнца, оживленная по-летнему, по-праздничному толпа и Наташа, бегущая навстречу: — Папа! Папа!

Так совершилось возвращение «блудного сына».

Все было хорошо. Небольшая уютная квартирка, бабушка Наташи, строгая, немного ворчливая, но заботливая, и сама Наташа, выросшая, похорошевшая. И в городе было славно. Весь первый день Савелий Петрович гулял по улицам, любовался. А вечером расхаживал по ковру, в комнате, — не в бараке, среди шумливых чужих людей, — а в собственном своем тихом, уютном кабинете, в собственной любимой пижаме, пил любимый крепкий чай, сидя в кресле и слушая болтовню Наташи...

Это было то самое, о чем он мечтал в своем сибирском далеке: жить тихо, приятно, не выставляться и не рисковать.

Но эта идиллия продолжалась всего один день.

Уже на другое утро к Савелию Петровичу пожаловал Ендражиевский. Едва ступив на порог, он закричал:

— А-а, блудный сын, возвращающийся на стезю добродетели! — Он стоял в дверях, огромный, грузный, с растопыренными руками, словно ждал, что Савелий Петрович кинется от него бежать. Савелий Петрович, и правда, не прочь был от него сбежать.

Оба выразили соответствующую случаю радость, жали друг другу руки, хлопали по плечу, улыбались, смеялись, снова хлопали друг дружку, топчась на месте и подмигивая, как ярмарочные барышники, собирающиеся плутовать. Савелий Петрович не хотел плутовать — лишь бы с ним не плутовали, оставили в покое. Но как-раз в покое оставлять его не собирались.

Ендражиевский уже сидел, развалился в кресле, и покрикивал на Фросю: «Чаю! Мне без сахара! А коньяк есть?».

Савелий Петрович ощутил вдруг усталость. Ему показалось, что все это уже было и не раз, что все, что ни скажет Ендражиевский, он уже давно знает и не хочет знать. Радостное настроение его погасло.

Ендражиевский продолжал, между тем, обозревать его, склонив набок голову. Складки на его лице разошлись. Вислые прокуренные усы при-

поднялись. Казалось, сейчас он скажет: «Ну вот, теперь я тебя съем».

Подали чай. Коньяк тоже нашелся. Ендражиевский разлил его тотчас по рюмкам, чокнулся и, не дожидаясь хозяина, выпил. Снова налил и снова выпил. Это было что-то новое. Прежде за ним не водилось — пить коньяк рюмку за рюмкой. Дряблое скопческое лицо его покрылось испариной. Он продолжал подливать себе коньяк, ухмыляясь и что-то бормоча. }

— Между прочим, — ослабился Ендражиевский, — интересно вышло с вашим земляком... Савчуком. («Почему — моим?») — возразил Савелий Петрович.) Как же, земляк! Он теперь — в тресте, повышение... Александр Георгиевич умеет ценить людей. — Ендражиевский отхлебнул из рюмки: — И с квартиркой у вас получилось удивительно удачно. Мы все поражаемся. А Марья Павловна говорит: о, вы не знаете Саву! (Это о вас. Она попрежнему зовет вас Савой. Правда, мило?) Выпьем за эту изумительную женщину... за бывшую, так сказать... за Мэри!..

Язык Ендражиевского с трудом ворочался. Но он не был пьян. Во всяком случае не настолько, чтобы случайно затевать разговор о Савчуке и «квартирке». Чего он хотел? Напомнить о Комиссии советского контроля? Или о судебной повестке? Но он сам писал, что это шутка и что Мэри ни в чем не нуждается. Уж не имеет ли он в виду заявление, подписанное Савелием Петровичем вместо Мэри: дескать, знаем и предупреждаем на всякий случай — имеется «задаточек». Опять его пугают?

Пока Савелий Петрович размышлял, Ендражиевский допил коньяк, икнул сонно и, свесив голову, вдруг захрапел. Он проспал несколько минут и так же внезапно проснулся. Посмотрел на пустую бутылку, пожевал старчески губами: «Вся? Жаль. Ну, пора». Поднялся и, тяжело переваливаясь, поплелся к двери.

Теперь было видно, как он обрюзг, постарел, а когда он начал спускаться с лестницы, огромный, в потертом пла-

ще, в старой шляпе, Савелий Петрович подумал, что, может быть, Ендражиевский устал, озлоблен, обескуражен жизнью еще больше, чем он. Это его немного утешило.

Но все же сигнал был дан и следовало поразмыслить. Но опять словно не давали времени. Вечером в тот же день позвонил Александр Георгиевич, начальник главка, собственной персоной.

— С приездом, здравствуйте! — сказал знакомый равнодушно-ласковый, голос: — А мы вас заждались. Как же... И дело есть. Очень важное. Приятный сюрприз. Без шуток. Жду вас завтра в час. Да, да, ровно в час.

«Как же, сейчас полечу» — бормотал Савелий Петрович, вешая трубку и принимаясь расхаживать по кабинету. «Опять подложит свинью, как тогда со статьей, а потом — с Извольском, а ты отдувайся.. Нет, уж извините. Ищите других дураков. Но каков нахал: предлагать мне, бывшему мужу Мэри, какой-то сюрприз... Вот скотина!».

Пока бранился, ворчал, возмущался, он чувствовал себя еще сносно. Но, поворчав, побранившись, он встал перед вопросом: что делать?

Вечер уже был испорчен. Он не пошел с Наташей в кино, как обещал, не читал, не гулял, не наслаждался домашним уютом и покоем, как хотел, а должен был снова решать надоевшие неприятные вопросы: что делать, как избавиться от этих людей, как жить по своему желанию, а не по желанию других?

Но все же от этих «других» зависело много, очень многое, и на вопрос следовало смотреть без предвзятости, здраво. Ведь так говорил он себе недавно. Положение следующее: он вернулся в Москву, он пока еще работник главка, другой работы у него нет, а если будет, то аттестация главка все равно желательна. Зачем обострять отношения? Отказаться он всегда успеет. Заглянуть, узнать новости: каково, например; положение Ендражиевского (может, все его намеки чепуха?), каково настроение вообще? А затем выслушать

предложение начальства, его «приятный сюрприз», и отказаться гордо. Пусть же воображает, что Савелия Петровича можно купить. «Не воображайте, Александр Георгиевич, что перед вами обманутый муж, и вы ему дадите подачку!».

Савелий Петрович чуть было снова не распалил себя этими словами: «купить», «подачка», «обманутый муж», но тут же остыл. Он прошелся по кабинету, повторяя вслух: «смешной муж... обманутый муж... рогатый муж...» и пожал плечами. Во-первых, он не обманутый, он сам все знал и сам разорвал. Во-вторых, он не рогатый, а если говорить начистоту, сам наставлял милейшей Мэри рожки, и не раз. Что же здесь смешного?

Он остановился перед зеркалом, разглядывая свою физиономию, и пожал плечами: «Решительно ничего!». И двойник его в зеркале тоже пожал плечами, находя, что действительно нет решительно ничего смешного.

На другой день Савелий Петрович поехал в главк. Плешивый секретарь встретил его в коридоре и сразу проводил к начальству.

— А вот и он! — сказал знакомый равнодушный голос: — Вас нам и надо. — Савелию Петровичу почудилось в этих словах, как и в улыбке Ендражиевского, нечто зловещее: «вас нам и надо, вас мы и съедим...».

Лицо Александра Георгиевича, узкое, вытянутое, с блеклыми водянистыми глазами, ничуть не изменилось. Он потрогал пальцами острый кадык, улыбнулся. Но Савелий Петрович смотрел колодно. Он поздоровался церемонно и сел, высоко вздернув свежевывьюженные брюки, — приготовился слушать.

То, что он услышал, поразило его. Ему предлагали пост, к которому он давно и тщетно стремился. И это с двух слов, сразу.

Савелий Петрович растерянно молчал, Он ждал совсем другого. Он приготовился не соглашаться. Сама поза его, которую он еще не успел переменить, его строго поднятая борода, неприступный вид заявляли об этом.

Александр Георгиевич извлек из кармана шоколадку и принялся жевать. Водянистые глаза его равнодушно смотрели на гордого Савелия Петровича. «Принимайте дела» — сказал он, словно о чем-то само собой разумеющемся, и потянулся к звонку.

В горе Савелия Петровича что-то пискнуло:

— Я подумаю... Надо подумать, — ответил он, все еще скованный своей неприступной позой...

Александр Георгиевич дожевал шоколадку и швырнул бумажку в пепельницу:

— О чем же думать?

В самом деле, о чем было думать, когда предлагали такое место? Значит, не напрасны были его труды, добровольное изгнание, всё, всё... Значит, поняли наконец, что значит потерять такого работника! То-то.

Савелий Петрович начинал уже заноситься, чваниться, задирать нос. В одно мгновение он преобразился, уверовал в себя. Это другие его сбивали, не ценили, а сам он всегда ценил себя. «Может быть, не я их, а они меня побиваются?» — спрашивал себя этот преобразившийся Савелий Петрович. — Ведь я тоже кое-что знаю. «Задаточек», как видите, не только у вас имеется... Может, и Ендражиевский приезжал из-за этого... Так вот оно что: бо-и-тесь, голубчики!».

Было отрадно узнать, что и другие боятся, его боятся. Это как бы прибавляло ему силы. Но все-таки он медлил. Где-то на самом доньшке его радостно встрепенувшейся души гнездился страх. Мысленно он уже протягивал руку, но косился опасливо: что-то уж больно ласков и щедр этот долговязый, укравший его жену. Нет ли здесь «подачки»? Не хотят ли «купить» его?

Но слова эти уже не действовали на Савелия Петровича. Слишком велики были искушение, потребность быть на виду, потребность сидеть за таким вот внушительным столом, иметь такого же лощеного секретаря, указывать, смеяться, назначать, вызывать трепет и зависть. Слишком долго и тайно тлело в нем пламя, прорвавшееся теперь,

чтобы его остановили какие-то жалкие слова.

— Хорошо, — сказал Савелий Петрович осипшим чужим жадным голосом: — Я согласен.

Шорох шагов и шуршанье платья заставили его обернуться. В дверях стояла Мэри. На ней было модное платье со вставками и кармашком на груди и шляпка, похожая на крохотный цилиндр с вуалеткой.

— Я не помешала? — спросила она, с улыбкой переводя взгляд с одного на другого.

— А-а, это ты... — Александр Георгиевич встал: — Что так?..

— Да вот жены, жены, совет ваших жен. Ведь и я жена! — Она засмеялась и протянула Савелию Петровичу руку: — Здравствуй, Сава. — Оглядела его своими продолговатыми смеющимися глазами с такой непринужденностью, словно только вчера с ним рассталась.

Мужчины молчали. Каждый по-своему испытывал, кажется, неловкость. Одна она не замечала этого или не хотела заметить, уселась преспокойно в кресле напротив Савелия Петровича, попрежнему непринужденно улыбаясь. «А ведь я знала, что рано или поздно ты будешь здесь, — говорил ее взгляд, — уж теперь тебя, Савушка, сцапают...».

— Знаешь, Сава, ты ничуть не переменялся, — сказала ласково Мэри (это могло означать: «не финти, я тебя отлично вижу»). — А ты, Саша (это к Александру Георгиевичу), опять куришь?

Повидимому, ее забавляли эти «Саша» и «Сава» — возможность одновременно обращаться к одному и другому. Да и вся эта встреча могла показаться ей забавной.

Но Савелий Петрович чувствовал себя неважно. Что там ни говори, она была недавно его женой, а стала женой другого. И как там ни верти, это роняло его достоинство. Они много себе позволяют, эта и ее долговязый!.. Но он им покажет!

Савелий Петрович уже не слышал, что говорила Мэри и что отвечал ей «долговязый». Он озабочен был одним: иметь вид человека, исполненного дос-

тоинства. Когда он выходил, ему почудился за спиной смех Мэри. Но он пренебрег. Он считал себя выше этого.

Савелий Петрович строго проследовал во вверенный его попечениям отдел.

Здесь его уже ждали. Секретарь отдела (отныне его, Савелия Петровича, секретарь) прошел вслед за ним в кабинет и спросил, когда он намерен принимать дела. «Да хоть сейчас!» — ответил энергично Савелий Петрович, желая сразу дать нужный тон. Прежний начальник, он знал, был мямля.

Через несколько минут секретарь вернулся с грудой папок и бумаг и собрался докладывать, когда из-за плохо притворенной двери донеслось:

— Дайте-ка газетку... я еще не читал.

— Что это у вас всегда во время занятий читают газеты? — изумился строго Савелий Петрович.

— Нет, нынче... такое, знаете, дело...

— Какое дело? — перебил еще строже Савелий Петрович.

Теперь уже секретарь изумился и самым неприятным образом:

— Что вы... разве не читали?

— А что такое? — спросил резко Савелий Петрович. Его начинали раздражать и этот назойливый секретарь, и то, что что-то такое случилось, о чем все знают, а он не знает, это не к лицу начальнику да еще вступающему в должность.

— Не читали? Не может быть! — Секретарь, оставив дела, вернулся в канцелярию за газетой.

Савелий Петрович только пожимал плечами. Нет, здесь, видимо, совсем распустили людей. Он собрался сделать строгое внушение секретарю и уже было отодвинул недовольно газету, которую тот положил перед ним, когда взгляд его упал на одно сообщение.

Савелий Петрович пробежал его. Потом взял газету в руки и перечитал снова. (Это было первое сообщение о разоблаченном правотроцкистском блоке, о предстоящем процессе.) Что это такое? Почему он не знал? Все знали, а он не знал. Что здесь написано?..

Савелий Петрович вдруг почувствовал странный зуд в ногах. Захотелось встать, надеть свою великолепную шля-

пу и выйти, убраться подальше. Он отодвинул газету и полез в карман за табаком.

Нет, он не хотел пугаться, ему надоело пугаться. Пусть другие пугаются. В конце-концов какое ему дело? Все это слишком высоко, далеко от него. Люди, о которых говорится в сообщении, — он их в глаза никогда не видел. Преступления, которые они совершали, — они за них и ответят. Он здесь ни при чем, решительно ни при чем. Он рядовой советский работник.

...Но каковы ловкачи! Ни слова ему не сказали. То-то Александр Георгиевич торопил с приемкой дел — боялся, что он испугается... Не на таковских напали! Уж если на то пошло, он им покажет, кому следует пугаться!

Все-таки было обидно, что его снова провели, одурачили, как мальчишку, да еще в присутствии Мэри. Вот почему она так дерзко смеялась!

Домой Савелий Петрович вернулся поздно. Пост, который он теперь занимал, прекрасная машина, находившаяся отныне в его распоряжении, даже билеты на театральную премьеру, передаваемые ему любезно от имени начальства (а, может, от Мэри?), не могли все же изменить того факта, что снова он связывался с людьми, с которыми не хотел, не должен был связываться. И еще в такой тревожный момент!

Савелий Петрович с раздражением подумал, что, кажется, эти люди меряют его на свой аршин. Может быть, плюнуть и бросить? Но как? Приказ о назначении подписан и завтра появится...

«Смотри, Савелий, продадут они тебя ни за грош!» — сказал чей-то грубый, бесцеремонный голос, очень похожий на голос Ендражиевского. Но это был голос не Ендражиевского, а его собственный. Савелий Петрович уже не говорил храбро, как утром в главке, что мы еще посмотрим, кому следует бояться. Бояться следовало ему. Он уже боялся.

Он постоял в нерешительности и пошел к телефону.

Александр Георгиевич сначала не понял, чего он хочет (Савелий Петрович

по своему обыкновению говорил туманно), а, поняв, ответил скучным голосом:

— Что же, дело ваше, тем более... тем более, что (он назвал фамилию бывшего замнаркома, который работал теперь в Комиссии советского контроля)... тем более, что ваша фамилия легко может вызвать некоторые воспоминания... в случае чего. Что? О, у него отличная память!..

Савелий Петрович слушал, похолодев, жалея уже, что затеял разговор. Он начал объяснять, что его не поняли, что, напротив, он ценит и весьма польщен, но, как бы точнее выразиться, — он хотел с полной откровенностью, да, откровенно и дружески посоветоваться... Да, да, именно в этом смысле...

— Но и я в том же смысле, — отвечало равнодушно начальство: — Статейка ведь ваша у меня...

На этом разговор закончился. Разговор был ужасен. Он означал, что теперь Савелий Петрович запродан совсем, что называется, с потрохами. Какое значение могли иметь глупейшие намеки Ендражиевского и Мэри насчет квартирных дел — чепуха! Он запродан давно, он сам запродался вместе с этой проклятой статьей, извольской комиссией, уральскими «оползнями» и всей этой чертовщиной. Вот тот «здаток», о котором напомнили ему теперь!

Страх, раскаяние, растерянность охватили бедного Савелия Петровича. Впервые он подумал, что, может быть, не во-время приехал. Уехал не во-время, когда все успокоилось, забылось, можно было жить, и все жили, а он мучился; а приехал, оказывается, тоже не во-время. Неужели он ошибся, потерял ориентировку? Никогда с ним этого не бывало. Неужели, чорт побери, он запутался?

Глава тридцать первая

Прошло несколько дней. Савелий Петрович начал успокаиваться. Место, которое он теперь занимал, и власть над людьми — возможность проявлять эту власть — вернули ему прежнюю уверенность и сознание своей значительности. Никто, глядя на него, сидящего на-

чальственно-строго в своем важном кабинете, не поверил бы, что еще несколько дней назад он трусил, плакался, хотел чуть ли не сбежать. И он сам не поверил бы.

Теперь он был начальником важного отдела, где следовало немедленно наводить порядок. Савелий Петрович не позволит засгаты себя врасплох. Не такое время! При всей своей начальственной амбиции о «времени» Савелий Петрович не забывал.

Первым поплатился Рудыка, который перекочевал недавно в его отдел. Затем наступила очередь Ендражиевского. Савелий Петрович мог наконец расплатиться с ним за все — чистоганом и сполна. Как старый плут ни вертелся, как ни выражал свою радость по поводу назначения Савелия Петровича, как ни лебезил нахально, — ничего не помогло. Ендражиевскому пришлось снова выехать в Извольск, где строительство рабочего городка все еще тянулось.

— Уладьте это дело наконец, — приказал строго Савелий Петрович: — государство не потерпит саботажа. — Он сказал это точь-в-точь, как в прошлом году начглавка.

Слова о саботаже были повторены и в грозном циркуляре, посланном в Извольск — копия наркомату, копия в обком, облисполком, горсовет. С такими людьми, как Ендражиевский, следовало действовать решительно и иметь про запас документ.

Теперь можно было заняться остальными сотрудниками. Прежде всего Савелий Петрович затребовал все личные дела и рассортировал, как когда-то в опродкоме, на три группы: 1) «терпимо», 2) «выяснить», 3) «гнать немедленно». Времена менялись, но люди не менялись, считал Савелий Петрович. Люди укладывались в его схему.

Но и счастливицы, попавшие в первую рубрику, должны были помнить, что Савелий Петрович не какой-нибудь узкий службист, который требует только дела. Они «терпимы», то-есть подсудны ему. Он имеет право подозревать их всех.

Это была заветнейшая мысль Савелия

Петровича, мысль о том, что каждый человек подозрителен уже потому, что он живет, говорит, имеет мысли, а ты отвечай за него, за его мысли, расхлебывай... Людей надо подозревать! Таков был новый закон природы, открытый Савелием Петровичем.

Как-то он поделился не без ехидства с начальством: дескать, всех надо подозревать, и тебя в том числе. На что начальство сверх ожидания ответило очень мирно: «Всех, значит? это интересно. У вас есть мысли».

Савелий Петрович был польщен, несмотря на прежние обиды. За ним признавали то, что он сам в себе очень ценил: независимость мысли.

Так же независимо и твердо подошел Савелий Петрович к решению личных дел. Во-первых, он претендовал на новую квартиру. При том положении, которое он теперь занимал, ему требовалась другая квартира. Во-вторых, высокое служебное звание обязывало, так сказать, к другому более высокому образу жизни. Нужно кое-что прикупить, сменить простоватую Фросю, взять экономку. В приличном доме, где нет жены, полагается экономка. Нужно подумать и о бабушке Наташи. Замоскворецкая старуха, говорящая «ливольверт», «дилектор», умеющая гостить только крошку и кислые щи, — это нонсенс. За хлопоты о Наташе спасибо, но сейчас Наташа нуждается в другом обществе.

Савелий Петрович решил объясниться с Наташей. Она уже взрослая и поймет. Но Наташа не понимала.

Она смотрела на отца, широко раскрыв глаза, словно впервые видела. Щеки ее горели. Вдруг она перебила его:

— Как не стыдно! Ой, как стыдно... какой ты... Не дам! — закричала Наташа сорвавшимся голосом: — Я сама уйду!..

И убежала.

Что будешь с такой девчонкой делать! Савелий Петрович решил все же старую коргу выжить. Но не пришлось.

Он так был занят своими делами, успехами, планами, что совсем забыл о том, о чем не следовало забывать. Но

ему напомнили. Начинаясь судебный процесс.

Все вдруг отошло, отодвинулось. Будто и не было спокойного, приятного существования, сознания, своего успеха в жизни, и что успех этот вполне заслужен. Все забылось.

Показания обвиняемых, бесстыдство, с каким они запирались, потом признавались, разоблачали друг друга, изумили и устрашили даже такого человека, как Савелий Петрович. Везде и всюду — на собраниях, на службе, в вагоне метро, в магазинах — говорили о них, судили их. Весь народ судил их. И это было страшно.

В первый же день процесса, после митинга в главке, на котором и он выступал, Савелий Петрович вернулся на дачу усталый, разбитый. Ни одна речь не утомляла его так, как эта. А ведь он умел говорить! Он пообедал и прилег отдохнуть. Но и отдохнуть ему не дали. Пришла Фрося и сообщила с таинственным видом, что его ждут.

— Идите скорее, — повторила Фрося смущенно.

Савелий Петрович испугался. Кто бы это мог быть? Едва он встал, пригладил заметно редевшие, с пролысинкой, волосы и вышел на веранду, ему навстречу с садовой скамейки поднялась Мэри.

— Ты не удивляйся, Сава, — сказала она, прежде чем он успел раскрыть рот: — Я просто соскучилась. Где Наташа? И Фрося здесь... все по-прежнему. Даже скамейка без спинки. — Она с улыбкой посмотрела на скамью.

— Ну, расскажи, как живешь? Не скучаешь? — Она заглянула ему в лицо своими внимательными глазами, подняла пушистые брови, засмеялась: — Знаешь, зачем я приехала? Не угадаешь! За моим «Бэби». («Бэби» она звала своего папуаса-статуэтку.) Ты так торопился в прошлом году, что завез его к себе.

Она сказала это шутливо, без тени упрека.

Савелий Петрович почувствовал себя неловко. словно желая еще больше его смутить, Мэри добавила:

— Как жаль, Сава... Но я рада за тебя, рада...

— Да... я тоже, — бормотал он, чувствуя, что говорит не то: — «Бэби» ведь остался в городе. У меня на столе... — Он хотел ей сделать приятное «у меня на столе».

Голос Мэри был дружеский, ласковый, немного грустный. Чего она хотела? Может быть, уже надоел ей долговязый Александр Георгиевич, и она бьет отбой, протягивает руку, как уже казалось однажды Савелию Петровичу?

Она пробыла на даче целый час, болтала, шутила, приглашала к себе в гости и уехала, взяв с Савелия Петровича слово, что «Бэби» он лично ей завезет.

— Ведь это наш «Бэби», единственный! — пошутила Мэри напоследок.

Когда она наконец уехала, Савелий Петрович спросил себя: что означает ее визит? Ответа не было. Ответ пришел позже.

А дни тянулись бесконечно медленно. Каждый походил на год. Так много было узнано за эти дни. Судебный процесс заканчивался. Уже названы были новые имена, и какие! Уже отдан был приказ о расследовании дел, которые раскрылись на процессе. Уже вынесен был приговор этим людям...

Людьми их можно было назвать разве в том смысле, какой вкладывал в это слово Савелий Петрович. Здесь было смешение всех человеческих пороков: подлости, лжи, лицемерия, трусости. Подлости с оттенком благородства и лжи в обличи правды; лицемерия с подбодьем искренности и трусости в позе храбреца; все разновидности мимикрии; неслыханная цепкость, живучесть...

Страх и растерянность овладели Савелием Петровичем и росли с каждым днем.

Буря шла, близилась, могла задеть и его. Снова он чувствовал себя слабым, одиноким, бесконечно малой песчинкой в этой буре народного гнева. «О, не задень меня, буря, зачем я тебе? Я крохотный винтик в машине, делаю то, что приказывают, — в Извольске, на Урале, в Москве. Я со всем согласен, да-

же с тем, что, в сущности, я маленький, крохотный человек, козявка... Только не трогайте, ради бога, козявку!.. Не трогайте, не трогайте, не трогайте меня!..» — молил он всем своим заячьим сердцем, всей крохотной козявкиной душой.

Но буря шла, приближалась...

Третьего сентября арестовали Александра Георгиевича, начальника главка. В главк назначена была ревизия. Руководить ревизией должен бывший заместитель наркома, — ныне работник Совконтроля, — тот самый!..

Это была авария, которую следовало предвидеть, но которую предвидела, как-то, одна только Мэри. Одна она пыталась отчалить от получившего пробоину корабля, но поздно. Вот в чем был ответ на ее недавний визит.

Но это тоже был неполный ответ.

Мэри играла свою партию в этой смертельной игре. Игра еще шла. Актеры и статисты еще действовали. Кем был Савелий Петрович?.. Сейчас, во всяком случае, он был рыбой, когда, оглушенная взрывом, она всплывает вверх брюхом на поверхность воды. В ушах его стоял непрекращающийся гул и грохот крушения. Он как бы оглох, ослеп. Им овладела апатия.

Он работал, готовился к ревизии, а вечерами сидел у себя на даче, на веранде, в плетеном кресле, и молчал.

Наташа уходила играть в волейбол (после той размолвки из-за бабушки она избегала отца), Фрося под вечер наряжалась и тоже уходила. Одна бабушка возилась по хозяйству, потом усаживалась на веранде и штопала Наташе чулки. Так и сидели они вдвоем молча, — старуха не жаловала Савелия Петровича. В прошлом году, когда он приглашал ее, она сказала грубовато, прямо:

— К тебе не пойду, к Наташе. Чего мою старость жалеть!

Наступал вечер. Из сада тянуло свежестью. Из-за деревьев слышался смех. Зажигались первые звезды. Тишина и ясная свежесть первых сентябрьских ночей опускалась на сад. Савелий Петрович сидел молча, равнодушно, словно ничего уже не было у него впереди.

Только однажды он подумал вяло: почему так вышло — год выжидал, терпел, осторожничал, а вернулся, угодил в самое пекло.

Так продолжалось с неделю.

Но как-то ночью Савелий Петрович проснулся. Ему почудился телефонный звонок. На даче телефона не было, это он знал хорошо. Но все-таки прислушался — так явственно звенела в его ушах телефонная трель. Должно быть, приснилось... Он поправил сползшее с ног одеяло, задумался. Мысли его как-то связывались с этим приснившимся нелепо звонком, шли от него на городскую квартиру Савелия Петровича, к телефонному аппарату, по которому кто-то звонил... Да, это он звонил и пытался избавиться от всех этих дел, от службы, которую ему навязали, от людей...

Вот тут-то его и ужалило. Он вспомнил о своей статье, которой его припугнули тогда. Статья находилась у Александра Георгиевича, которого посадили. Что, если он расскажет о Савелии Петровиче — об Извольске, Рудыке, уральских «оползнях»?.. Если в эту самую минуту выдает Савелия Петровича? А он, наверное, выдаст, он уже раз выдал его... Что, если Мэри тоже замешана, — а она, наверно, замешана, — что тогда? Ближайший начальник, бывшая жена, статья... а совсем недавно Мэри приезжала на дачу... Кто ее видел? Фрося, Фрося скажет...

Савелий Петрович не в силах был больше думать. Он задыхался. Здесь, в темноте, в дачном домике, окруженном лесом, в молчании сентябрьской ночи задыхался человек, который походил на рыбу, попавшуюся вдруг на крючок.

Но Савелий Петрович был не рыба, далеко не рыба. Апатия его прошла. Близость опасности пробудила его. Снова он испытывал знакомый и еще более нестерпимый, почти мучительный зуд: говорить, писать, делать доклады, двигаться — охоту к перемене мест, знакомую ему не раз и прежде. Но ездить, как прежде, он теперь — увы! — не мог. Пост, который он занимал, приковывал его к месту, как тюремная цепь. А место становилось горячее, ох, как горячо!

«Горячо» было на службе, где шла уже ревизия; «горячо» — в парткоме, где тоже начиналась — своя — ревизия и уже собирались поставить о нем вопрос; «горячо» — в наркомате; «горячо» было всюду. Температура жизни внезапно повысилась, или она и прежде была такой, один он не замечал? Температура жизни была такова, что Савелию Петровичу нельзя уже было работать, бороться, существовать. Но он продолжал работать, бороться и упорно хотел существовать.

Понадобился еще целый год, чтобы он убедился в невозможности своего существования в нашей жизни.

Глава тридцать вторая

Но пока он боролся. Все таланты его были снова с ним в этот трудный час. А час был трудный, решающий. В Извольске уже взят был Ендражиевский, в Москве — Рудыка. В Москву приехал Савчук. Да, да, тот самый Савчук, земляк, сосед, директор завода, которого сплавляли недавно в трест. Он дал когда-то Савелию Петровичу рекомендацию в партию, помог в начале пути, а потом предлагал бороться вместе... Почему Савелий Петрович не послушался его тогда? Теперь Савчук будет, конечно, против него. Многие будут против него. Гроза шла, близилась...

С пространной речью выступил Савелий Петрович на партийном собрании, где разбиралось его дело. Он чувствовал себя как бы докладчиком по личному вопросу. Он цитировал копию своего заявления (не существовавшего никогда, копию он сочинил), отправленного бывшему начальнику главка перед отъездом в Сибирь. Он, Савелий Петрович, предпочел целый год разгребать снег и рубить топором молоко (он вспомнил и снег, и молоко), чем подчиняться неправильным директивам.

Вот здесь Савчук, земляк (Савчук, точно, сидел на собрании, смотрел пристально на «земляка»). Пусть он скажет, как боролся Савелий Петрович в Извольске...

— Известно, как боролся... За шкуру свою боролся!

Савелий Петрович сделал вид, что не слышал, и продолжал: конечно, кто мог знать, что в главке сидят враги. Но, лишь только Савелий Петрович вернулся в главк, он тотчас начал оздоравливать обстановку. Кто выгнал бывшего дворянчика и темного пройдоху Рудыку? («Помнишь, Савчук, как мы его выгоняли из райбазы в двадцать втором году? А он снова пролез...».)

— Куда ты, туда и он... — кинул снова Савчук.

Кто несколько раз ставил вопрос об Ендражиевском? Кто объявил в приказе и разослал предупреждения на места (копии прилагаются), что саботаж на извольском строительстве должен быть сломлен? Кто, кто, наконец, занялся вплотную проверкой кадров? Все он же, Савелий Петрович, рядовой работник и коммунист. Но он был одинок, ему мешали, ему и теперь мешают, подозревают, преследуют — только потому, что он прямой, честный, преданный боец.

«Боец» чувствовал, что расскакался, но не мог уже остановиться. Он боялся, что, как только остановится, все пойдет насмарку — и храброе заявление, и разоблачение Рудыки, и то, что Савчук — земляк и свидетель его борьбы. Вот то-то и худо, что Савчук земляк и свидетель. Савчук многому свидетель.

Все не нравилось Савелию Петровичу: то, что слушали его терпеливо (один Савчук перебивал), что перед секретарем уже грудилась куча записок, что присутствовали все коммунисты его отдела... Но что мог он поделать?

Он мог только мобилизовать «резерв»: зачитать копию своего письма (на этот раз подлинную копию) к Мэри. Мэри еще разгуливала на свободе, доигрывала свою партию в игре, а он уже заявлял о «душевной драме» и что «у него нет, не было и не могло быть общего с этим вражеским охвостьем...».

— У тебя ничего не было! — крикнул в третий раз Савчук и попросил слова: — Я его в партию рекомендовал, мне первому ответ держать.

То, что он говорил, было ужасно. Он говорил о каком-то другом человеке,

совсем непохожем на Савелия Петровича, о каком-то негодяе, но упорно именовал его Савелием Петровичем. Он начал с детства, вспомнил 18-й год, юнкеров, опродком, поездку комиссии в Извольск и речь Савелия Петровича, историю с заявлением и то, как отхлестал он Савелия Петровича этим заявлением по щекам... Савчук так и сказал: «Отхлестал его, а он только утерся. Это же не человек, тля!».

Савелий Петрович не понимал, как можно так говорить о нем и в его присутствии.

— Прошу оградить меня! — выкрикнул он тонким голосом.

Но Савчук продолжал говорить и закончил так:

— Гнать эту тлю немедленно! А мне — выговор, за слепоту мою...

Обсуждали долго. Но фактов, явных улик против Савелия Петровича не было, кроме тех, о которых говорил Савчук. Но и они нуждались в проверке. Савелий Петрович требовал проверки. Утверждали, что он бюрократ, чинуша, подхалим, что он перестраховщик, трус, с сотрудниками груб, заносчив, что он невежда, в вопросах техники и планирования отстал, над собой не работает... И еще многое пришлось выслушать Савелию Петровичу, «преданному бойцу», — пострадать, так сказать, за «идею». И он выстрадал терпеливо.

При голосовании голоса разделились. С помощью одного голоса Савелий Петрович уцелел. Записали строгий с предупреждением, а парткому — расследовать заявление Савчука. Но Савчук сказал тут же, что дела не оставит: «И так сколько времени ворон считал...». Все же, пока суд да дело, Савелий Петрович уцелел.

Вслед за партийным решением и новое руководство главка издало приказ, который отчасти даже устраивал Савелия Петровича при нынешней «острой конъюнктуре»: с работы в главке снять, как не оправдавшего доверия. Довольно крепко, но, как говорится, и на том спасибо. Могло быть хуже.

Теперь он был свободен, имел досуг

и на досуге мог поразмыслить над своим жизнеустройством.

Прежде всего он подумал о родственниках. В самом деле, у Наташи есть бабка и дед, милые старички, заботливые. Как бы там ни было, они его единственные родственники. Савелий Петрович решил заглянуть к родственникам.

Старуха выслушала его предложение молча. Наташа — недоверчиво, взглянула на бабушку. Все-таки Савелий Петрович организовал поездку. Поехали трамваем, запросто. Слезли у Болота и пошли пешечком.

Была ранняя осень, еще не холодно. Старички сидели у ворот и покуривали. Во дворе на веревках развешаны были лоскутные одеяла, пеленки, белье. Женщины с чайниками бегали в котельную за кипятком, а дедушка Наташи сидел на скамейке и играл с соседом в шашки.

Поздоровались. Дедушка похвалил Наташу за то, что проворно растет. «Вся в покойницу!» — сказал он хвастливо, словно это могло доставить удовольствие Савелию Петровичу. Впрочем, Савелию Петровичу он не слишком обрадовался и не скрывал этого.

Пошли в дом. Бабушка ворчала на беспорядок и тотчас начала прибираться. Наташа ей помогала. Дед почему-то сел бриться. Все, одним словом, оказались заняты. Один Савелий Петрович стоял посреди комнаты со шляпой в руке, довольно нелепо.

Но никто этого не замечал. И, вообще, его как будто не замечали. Но Савелий Петрович был не такой теперь человек, чтобы обижаться из-за пустяков.

— А я вот схожу, покуда дело, на фабрику, прогуляюсь, — сказал необидчивый Савелий Петрович и зашагал бодро к двери.

— Не пустят... пожалуй, — сказал вдогонку дед, заглядывая в зеркальце и намыливая щеки.

Выйдя в переулок, Савелий Петрович остановился. Могли, в самом деле, не пустить. Теперь строго. Он огляделся. Он смутно припомнил этот узкий переулок, высокие фабричные стены, хлебную палатку на углу...

Здесь была колыбель его успехов. Отсюда начиналось его медленное восхождение... Да, сколько лет размыкано, сколько трудов! И вот уже через полдень шагнула жизнь, скоро блеснет в волосах седина.

Савелий Петрович пытался растрогать себя этими словами о седине и о жизни, которая шагнула через полдень. Он говорил, что, пусть и маленькая идет здесь жизнь, зато прочная, рабочая, своя. Удивительный человек, зачем понадобились ему вдруг такие слова!

Он постоял, потанцевал нерешительно перед фабричными воротами, над которыми вот уже почти двадцать лет висела одна и та же вывеска, и храбро вошел в проходную. Он хотел повидать своего бывшего шурина. Шурина был теперь директором фабрики. Теща хвастала недавно, что его избрали в райком.

Хотя Савелий Петрович относил себя — даже сейчас — к работникам «союзного масштаба», он, не считаясь чинами, решил запросто повидать бывшего ткацкого подмастерья. Что же тут такого: к бывшему подмастерью пришел сын бывшего кузнеца.

Савелию Петровичу было почему-то приятно вспомнить сейчас, что и он ведь не графский выкормыш, а слободской рабочий парень. Его батька лошадей ковал, его мать белее стирала... То-то! Он победоносно огляделся, словно призывал в свидетели табельщика и дежурного пожарного, сидевших в проходной и пивших чай, — пусть не глядят на его шляпу, он свойский парень.

Тем не менее у «своего парня» спросили документы и осведомились, зачем пожаловал. Директора не оказалось, уехал по делам. От нечего делать Савелий Петрович заглянул в клуб, побеседовал с библиотечной старушкой, с заведующим: какие имеются кружки, как ведется общественная работа? «Слабо? так, так... Объективные, так сказать, причины?..». Савелий Петрович незаметно входил в знакомую роль следователя, по которой соскучился:

— А структура какова? А средства? а партком что?

— Партком? А вы кто будете? —

догадался наконец спросить завклубом и посмотрел косо. Он был чувствительный заведующий и очень не любил, когда напоминали ему о парткоме.

— Я? У меня специальное задание, я знакомаюсь, — ответил важно Савелий Петрович, решив его напугать (ему не хотелось расставаться с привычной ролью).

— Ага, знакомитесь! Тогда, пожалуйста. Очень хорошо. Очень даже кстати, — говорил чувствительный заведующий: — Я вам теперь полностью доложу, как помогает нам партком в такой трудный сезон. Никак не помогает, если хотите знать. Вы их сами спросите. Вот они рядышком, с нами под одной крышей.

И он сделал негодующий жест.

Но в партком обращаться у Савелия Петровича не было, конечно, резона. Он повертелся еще немного и удалился, сопровождаемый разочарованным заведующим.

— Но вы работайте, работайте! — поощрил его на прощанье Савелий Петрович.

В переулке, возле дома бывшего тещи, стояла теперь машина, новенький «М-1». Кто бы это мог быть? Савелий Петрович вошел во двор и направился к дому. На скамейке, где час назад тещи играл с приятелем в шашки, расселось целое общество. Дед и его приятель, бабушка и Наташа, а против Наташи, спиной к подходившему Савелию Петровичу, невысокий человек в темном демисезоне что-то весело говорил. Все слушали с таким же веселым вниманием и не замечали Савелия Петровича.

Наташа первая увидела его.

— А вот мой отец, — сказала она и почему-то покраснела. Человек обернулся.

Савелий Петрович поздоровался, испытывая неловкость под внимательным взглядом бывшего шурина.

— А я к вам... был у вас...

— Вот как! — Шурина неприятно улыбнулся и обратился снова к Наташе: — Что же ты нас совсем забыла? Похожа, а? — посмотрел он на отца и

мать: — Ну-ка, встань. Скоро меня догонишь.

— Обгонит, Павля, как пить дать! — закричал дед, поглядывая задорно из-под седых бровей на сына и внучку: — Ей, почитай, уж в комсомол время?

— Время! — согласился дядя Павел и начал прощаться.

Все пошли провожать его к машине. Он шел по двору, здороваясь то с тем, то с другим, подцепил мимоходом какого-то карапуза, подбросил и поставил осторожно на землю. Дедов приятель, любитель шашечной игры, ковылял, припадая на одну ногу, и кричал ему в ухо: «Смотри, Павел, другой год обещаешь, не дело...». Все его здесь знали, помнили мальчишкой, звали по имени.

Савелий Петрович смотрел им вслед.

В сущности, это был мир, чуждый ему в такой же мере теперь, как и тринадцать лет тому назад, когда он впервые здесь появился, и такой же враждебный. Теперь даже более враждебный, чем прежде. Этот мир мог раздавить его, готов был раздавить его. Всю жизнь Савелий Петрович боролся с ним, почти одолел, почти взобрался ему на загорбок, почти укрепился и... слетел.

Теперь он снова пришел сюда, — к «колыбели своих успехов», как он трогательно выражался, — в фабричный переулок, в рабочую семью... Он не хотел считать себя побежденным и что победили его этот бывший ткацкий подмастерье, этот старый дед и ворчливая старуха, что победила его эта жизнь. И если он пришел сюда и протягивал руку, то лишь затем, чтобы опять взобраться наверх.

Но руку не приняли.

Дед Наташи к нему не поехал, хоть он и звал его, прельщая пивом и паюсной икрой (которой, к слову сказать, у него не было). И бабка не поехала, осталась с дедом. И Наташа не поехала, осталась со стариками — погостить.

Савелий Петрович вернулся ни с чем. Один. Теперь он был действительно один: один в семье, один в городе, один в целом свете, как в тот день, когда

приехал покорять Москву. Неужели придется ему начинать все сначала?

Глава тридцать третья

Последнее время он плохо спал.

У него теперь было много досуга. Службишку он занимал небольшой: регистратор в районной конторе по сбору утиля. Чин меньший, чем когда-то в Извольске. Может быть, ему и следовало остаться в Извольске, не уезжать никуда, мирно строчить входящие-исходящие, щелкать на счетах. Но об этом Савелий Петрович не думал. Он, вообще, теперь мало думал. Отсиживал положенное число часов, обедал в дешевой столовой и возвращался домой.

Работницу пришлось отпустить. Вещи кое-какие продать, заложить. Теперь он подумывал продать свой письменный орехового дерева стол. Савелий Петрович уже справлялся в комиссионном на Арбате, но давали мало. Он хотел еще наведаться в Столешников.

Наташа обедала у бабушки и часто ночевала там. Он оставался один. Он бродил по комнате, разглядывал вещи, — что можно еще продать? — перебирал и просматривал бумаги. Свою «личную канцелярию» он давно пересмотрел, кое-что уничтожил, кое-что тщательно переписал во второй и третьей копиях. Если бы у него имелась машинка, он бы размножил важные документы для рассылки в соответствующие инстанции...

Дело в том, что «соответствующие инстанции» интересовались им теперь. Савелия Петровича вызывали в главк (там шла ревизия), в райком, в Комиссию советского контроля (и там, и здесь были заявления Савчука. Савчук шел теперь за ним по пятам, не отступая ни на шаг). Спрашивали об извольской комиссии, которую он возглавлял, об уральском деле: кто составлял экспертизу об «оползнях»? А он проверял? Почему весь поселок разобрали на кирпич? Он не знает? Спрашивали и о его прошлом, о Рудьке, о юнкерах. (Хорошо еще, что не дознались о его службе у гетманцев.)

Савелий Петрович отвечал обстоятельно, представлял справки, объяснительные записки, копии своих документов и подкреплял все это честным словом.

В сущности, это был его единственный теперь аргумент.

Потом все кончилось. Партбилет у Савелия Петровича отобрали и сказали: иди. А куда иди, как иди, — не сказали. Без билета Савелий Петрович почувствовал себя очень худо. Билет был ему всегда защитой, опорой. Он привык к нему, не мог без него ступить шагу, как беспомощное дитя.

Но трогать его — пока не трогали. Ему давали жить, работать, дышать. Словно верили, что он еще исправится, искупит свою вину. Но как это сделать, чтобы поверили? Дать честное слово? Но он уже давал честное слово, и не раз. Все равно, он докажет, что он честный человек. Он бдителен теперь и видит людей насквозь. Ведь он всегда, всегда говорил, что людей следует подозревать — всех людей! Человек подозрителен по своей природе, — говорил он. Но его не слушали...

Савелий Петрович даже приободрился, написал первые пять заявлений на бывших сослуживцев. Призвав на помощь память, опыт и талант, он разбирая, сопоставляя, уличал, формулировал обвинения. Один имеет родственника, который разоблачен, другой работает вместе с первым, следовательно, покрывал его. Третий имеет связь со вторым, четвертый — с третьим, пятый — с четвертым, и все они, следовательно, связаны со вторым, который связан с первым, который, в свою очередь, скоро будет разоблачен. Поэтому, — заключал Савелий Петрович, — нужны срочные меры.

Он перебелил заявления и отослал. Эту ночь он наконец спал крепко, как хорошо поработавший человек.

Прошло несколько дней. Его вызвали. Он подтвердил свои обвинения и добавил еще несколько имен.

Прошла еще неделя. Он снова томился бездельем, бессонницей. Бессонными ночами он припоминал имена

людей, с которыми прежде работал, встречался. Вот, например, первый муж Мэри, Давид Самойлыч. Правда, участник гражданской войны, имеет боевой орден, ничем не запятнан... Но это ничего не значит. Мэри была его женой? Была. Он должен отвечать за то, что не разоблачил ее вовремя? Должен. Орден здесь ни причем.

Или румяный секретарь, тот самый, при котором Савелию Петровичу записали выговор на чистке. Он еще читал ему мораль, — наставник. Такие особенно подозрительны. А Таня Цыганкова из Главторфа, шустрая такая... Знаем мы этих шустрых!.. Ну, а сибиряк-рационализатор, тот, что вышел в ученые, как его, — Демущкин? Слишком самоуверен, напорист, дерзок... Из таких как-раз вербовали... А комсомолка Гаврикова? Наверно, уже в партию пролезла. Надо сигнализировать. Может быть, и о Савчуке сказать несколько слов: вредительство он все-таки прохлопал, сам признал свою слепоту... Нет, с ним, пожалуй, связываться не стоит.

Так он перебирал в памяти имена, лица, события. Память подсказывала все новые и новые имена. Послушная рука писала. Все были подозрительны, о всех следовало сообщить. И поскорее, пока другой не сообщил. Савелий Петрович старался хоть в этом быть на первом месте.

Он писал заявления, отсылал, снова писал. Вначале ему отвечали, вызывали, спрашивали, потом перестали. Все-таки он продолжал писать. Но при такой активности список его слишком скоро исчерпался. Он не знал, что делать, и снова начал беспокоиться. Тогда ему пришла в голову блестящая мысль (последняя блестящая мысль!): писать заявления на тех, кто не отвечал ему или отвечал слишком медленно. Это открывало новые возможности и дало ему работы еще на месяц, два. Потом все исчерпалось. Он обвинил уже всех, кого мог, кого знал и кого не знал, но о ком слышал, и о ком не слышал, но только догадывался, и о ком не догадывался, но — на всякий случай... Все инстанции были

завалены плодами его трудов. Весь запас своей бумаги он истратил. Больше делать было решительно нечего. Он исчерпался.

В один из этих вечеров ему позвонила Мэри. Савелий Петрович ахнул: в его заявлениях она уже была разоблачена, он разоблачил ее, и вдруг она звонит.

— Добрый вечер, Сава. Как живешь? — спрашивал насмешливый голос. — Как трудишься? Не скучаешь? А мне вот скучно... (Голос ее в самом деле стал скучным.) Три комнаты отобрали, оставили одну. Так и живу... соломенной вдовой и... никакого положения. Ты как, не трусишь? Не финти, Сава, трусишь... Все мы трусим... — Она пыталась отшутиться, посмеяться. Это была ее обычная манера: смеяться надо всем. Теперь она смеялась над собой. Что еще ей оставалось?

Савелий Петрович слушал ее смех и помирал от страха.

— ... А я недавно перебирала вещи, — продолжала Мэри, — и нашла твою статейку... Помнишь? — Она снова засмеялась: — Тебе еще влетело за нее. И теперь может влететь. Ты бы приехал за ней, а заодно привез моего маленького «Бэби»... Бедный маленький «Бэби»... (Савелию Петровичу послышался вздох.) Приедешь?

— Да, постараюсь... конечно... А статью ты порви, зачем она?

— Ну, нет, пока не привезешь «Бэби», буду беречь. Я тебя знаю. Ну, прощай, целую вас обоих! — Засмеялась и повесила трубку.

Какая ужасная женщина! Страшная женщина!

На Савелии Петровиче взмокла рубашка. Он выглянул в коридор: не слышал ли кто. Долго пил воду. Ходил из угла в угол, пожимал плечами. Конечно, он к ней не поедет. С ума он сошел? Зачем она ему? А вдруг она сама прикатит? На нее похоже... «Первую жену дает бог, вторую — дьявол». Эту дал ему дьявол. Как спастись от нее?

Несколько дней он колебался, потом решил ей позвонить, предупредить, что уезжает из Москвы. Да, да, уезжает

на неопределенное время и в неопределенном направлении. Иначе от нее не отвяжешься. Из дому он не решился, позвонил из автомата. Позвонил раз, позвонил другой. Не отвечали. Наконец мужской незнакомый голос спросил:

— Вам кого? Кого-о? А кто спрашивает?

Савелий Петрович на цыпочках вышел из будки автомата. Ноги и руки его дрожали. Он долго бродил по улицам, опасаясь возвращаться домой. Может быть, его там ждут? Ведь Мэри сообщит, конечно, о нем...

Теперь Савелий Петрович испугался окончательно.

Он боялся сотрудников по службе, которые почему-то ни о чем его не спрашивали. Это подозрительно. Соседей по квартире, которые вечерами сидели дома, — может быть, они подслушивают? А один из них даже попросил раза два разрешения позвонить по телефону, — может быть, он хотел что-то подглядеть? Дворника Савелий Петрович тоже начинал подозревать, управдома — тоже, дворничиху, стиральную ему белье, — тоже. На собственном своем примере Савелий Петрович убеждался в правильности открытого им закона природы: «Все люди подозрительны».

Он уже начинал подозревать и бояться прохожих, трамвайных пассажиров. На-днях в трамвае против него сел какой-то гражданин с усами и пристально на него посмотрел. А когда Савелий Петрович вышел, он тоже соскочил и целый квартал шел за ним. Савелий Петрович чуть не побежал и весь день — на службе и дома — раздумывал: следил за ним гражданин или не следил? На всякий случай он решил больше трамваем не ездить и начал ходить на службу пешком.

Он очень устал теперь, раза два опоздал и получил замечание от заведующего, который и так, кажется, на него косился. Может быть, заведующему о нем что-то известно, но не велено говорить? Савелий Петрович так встревожился, что даже не пообедал. На обратном пути опять за ним кто-то

шел. Савелий Петрович оборачивался несколько раз, но человек продолжал идти.

Домой Савелий Петрович вернулся почти больной от страха, усталости, голода. Он поджарил себе несколько кружочков колбасы, которую нашел в столе, вскипятил чай и подкрепился немного. Наташа занималась в вечерней смене и еще не вернулась. Соседей тоже почему-то не было. Всегда домоседы не выносятся, а сегодня почему-то ушли. Это не случайно!

Савелий Петрович бродил одиноко по комнате. Темнело. Он подошел к окну. В доме напротив уже горел свет, у окна тоже стоял человек. Савелий Петрович отпрянул. Опять за ним следят. Нигде не спрячешься... Чего они хотят от него?

Он чуть не закричал, не заплакал от страха, тоски, одиночества. Хоть бы Наташа вернулась! Но Наташа возвращалась поздно и запиралась у себя в комнате. Теперь у нее была своя комната, а Савелий Петрович остался в бывшем кабинете. Все бывшее: бывший кабинет, бывший ответственный работник, бывший коммунист, удачник, счастливцев... Даже дочь, и та вроде бывшая: разговаривать перестала. Стыдится отца, не признает...

Как-то раз он спросил Наташу, почему она так с ним обращается: «Ведь я тебе отец, папа...».

Наташа посмотрела на него молча, прямо. Она уже не опускала, как прежде, глаз. Ей шел пятнадцатый год. Высокая, худая, вся в мать. Только глаза серые, холодные. Отцовскими холодными глазами смотрела Наташа на Савелия Петровича и молчала.

— Почему ты не любишь меня?

— Тебя? — Глаза ее потемнели. — А ты — меня... маму... людей?.. — Гневный румянец заливал ее бледные щеки. — Маму... маму... ты... — И ушла.

Вот когда приберегла она слова о маме. Никогда прежде не говорила, таила. Теперь сказала.

...Он походил по комнате и лег, устал, закрыл глаза. Где-то скреблась мышь, а ему казалось, что кто-то шаркает по полу в коридоре. Его это так

раздражало, что он вышел и зажег всюду свет. Возвращаясь, заметил свое отражение в зеркале. Лицо мятое, темные круги под глазами, неряшливая бородка. Зачем ему бородка? Может, сбрить? Он вспомнил о человеке, который недавно смотрел на него из окна противоположного дома, и о человеке, который шел за ним нынче по улице, и о том, с усами, который пристально посмотрел на него в трамвае... Может быть, это один и тот же человек? В самом деле, если снять с того, усатого, фуражку, он будет похож на этого, в окне, и... и на того, на улице...

Савелий Петрович похолодел. Что это? Неужели один и тот же человек? Значит, за ним следят? «Следствие продолжается» — сказал кто-то негромко и отчетливо рядом с ним. Но опять это был не кто-то, а он сам, его собственный голос. За ним следят, крут становится уже. Теперь он ходит только на службу, остальное время сидит дома. Может, перестать посещать службу? Закупить продукты и запереться в своем кабинете. Продать стол, кресла, ковры — у него имеется еще три ковра, очень ценных, — и жить на эти деньги. Вполне возможно. Хватит надолго, если экономно расходувать. Наташа все равно живет отдельно...

Но прежде всего надо сбрить бородку. Нелепая бородка, совсем ни к чему. Придает вид иностранца. Немедленно сбрить.

Савелий Петрович накинул пальто, запер дверь и отправился в ближнюю парикмахерскую. Как назло пришлось долго ждать. Он совсем забыл, что нынче — канун выходного. Пришлось сидеть бок о бок с тремя гражданами, а напротив сидели еще пять граждан. Все подозрительны. Особенно один, в сером пиджаке и модном мохнатом галстуке: сразу уставился на него. Он тоже походил на того, в соседнем доме. Наверно, увидел в окне, что Савелий Петрович вышел, и — следом.

Савелий Петрович старался не смотреть на гражданина в модном галстуке, но успел заметить, что улыбка у него неприятная. Многозначитель-

на я! И опять вышло так, что Савелию Петровичу пришлось сесть рядом с этим многозначительным гражданином. Гражданин сел раньше и должен был уйти раньше, но почему-то не уходил. Ему мыли голову, массировали лицо. И все время на губах его бродила многозначительная улыбка. Случайно это или не случайно? Конечно, не случайно!

Савелий Петрович был так взволнован этим соседством, что не слышал вопроса парикмахера, повторенного уже третий раз:

— Вас побрить?

— Да... то-есть, виноват, совсем, с бородой.

— Что вы? — удивился парикмахер и развел руками. — Такая борода!.. и очень идет вам... — Он находился в явном затруднении, искал сочувствия у соседей. Сосед справа, тот, чье внимание меньше всего хотел привлечь Савелий Петрович, обернулся со своей двусмысленной улыбкой и покачал головой. Встал и прошел совсем близко, напевая прямо в лицо: «Борода ль моя, раскудрявая...».

Савелий Петрович чуть не плюнул в рожу болтливому парикмахеру: «Брейте! — И добавил отчаянно: — Это предписание врача». Парикмахер вздохнул горестно и взял ножницы.

Через полчаса Савелий Петрович возвращался, подняв воротник пальто. Голый подбородок холодило с непривычки. Да и самому Савелию Петровичу казалось, то ли он раздет, то ли потерял что-то. Он поднялся по лестнице, прислушиваясь. Ему показалось, что кто-то вошел в подъезд вслед за ним. На площадке, возле своей двери, Савелий Петрович остановился и снова прислушался. По лестнице кто-то поднимался. Он был уверен, что это тот самый обладатель модного галстука и неприятной улыбки.

Шаги быстро приближались. Человек спешил, хотел, должно быть, поймать тут же, на лестнице... Но какое право имеет он преследовать Савелия Петровича? «Не смейте меня преследовать, я больной человек!».

Лампочка на площадке не горела.

Трудно было что-либо разглядеть. Если он только посмеет, Савелий Петрович ударит его ногой... в живот, в живот... Савелий Петрович прижался в угол и поднял ногу. Он слышал уже быстрое дыхание бегущего.

— Что? — крикнул он сдавленным голосом.

Перед ним стояла Наташа.

Минуту они молчали — отец и дочь. Потом Наташа спросила сурово:

— Что ты здесь делаешь?

— Я... ключ остался в доме... забыл... Звонил, никого нет. Вот жду... — Он говорил тихо, почти робко. Его трясла лихорадка.

Наташа отперла дверь и прошла к себе. Савелий Петрович постоял, пряча подбородок в поднятый воротник, пока она не скрылась, и медленно последовал за ней.

Когда он проходил мимо зеркала, на него глянул оттуда пригнувшийся человек, с бледным лицом, бегающими глазами и голым, чужим, будто украденным, подбородком. И весь он будто не он, не свой, а украденный.

Все-таки без бороды ему было спокойнее. Только бы Наташа не заметила. Что ей сказать? А на службе, если спросят?.. Но на службу он ведь решил больше не ходить и, вообще, никуда больше не ходить. Значит, и спрашивать будет некому. А для Наташи он что-нибудь придумает... после придумает...

Его очень утомило это путешествие в парикмахерскую. Он лег, надеясь вздремнуть. Но не спалось. Он лежал в темной комнате, глядя перед собой, ни о чем не думая. Как это хорошо — ни о чем не думать, не вспоминать, не заботиться... Так он и будет жить: лежать, отдыхать... Он очень устал.

Часы пробили девять, потом десять. В комнате Наташи было тихо, только из-под двери пробивался свет. А у соседей темно, еще не вернулись. Ему захотелось пить, но он боялся выйти в кухню и встретить кого-нибудь. Потом все привыкнуло к его подбородку, а пока неудобно.

Он начал дремать, или ему так показалось. Сколько времени прошло, он

не знал. У Наташи свет уже погас. В квартире все спали. Что-то беспокоило его, он никак не мог вспомнить что. Потом вспомнил и ошупью начал пробираться к своему столу. Нашупал левую тумбу, открыл дверцу и начал шарить рукой в нижнем ящике. Он помнил, что «это» там лежало. Но никак не мог найти. Пришлось зажечь свет.

Бледный свет озарил стол, кресло, ковер и его, сидящего на карточках перед столом, его подбородок... Снова — и еще сильнее — ему показалось, что это не он, а кто-то другой, незнакомый. Что он здесь делает среди ночи? Зачем он зажег свет? Его могут увидеть из соседнего дома.

Все-таки он нашел то, что искал, развернул бумагу и поставил перед собой на стол, под свет лампы.

Это был папуас, маленький черный человек, метатель бумеранга. Игрушка Мэри, ее «Бэби», ее талисман. Так она и не получила его и попалась... бедняжка. Как сказано в БСЭ: «Бумеранг, искусно брошенный, описав сложную кривую, возвращается к месту, откуда брошен». Да, возвращается... слож-

ная кривая, очень сложная... Талисман не помог... Ни тебе, ни мне, никому!

Но где мой талисман? Мой талисман! Старая холщевая ладанка с зашитым в нее краденым рублем. Мать завещала ее, чтобы сберечь... Где она? Он начал быстро рыться в ящиках стола, выбрасывать бумаги, письма, копии писем, копии с копий, расшвырял по полу всю свою канцелярию. Искал среди книг, сбрасывая и их на пол, за диваном, за креслами, в платяном шкафу, в старых брюках, в грязном белье... Выдвинул крышку дивана, в нем разбросал все, опрокинул матрац, в матрац залез, просовывая пальцы между перекладин, пружин, распорол обивку, разодрал пальцы в кровь, — все перерыл, перерыл, разбросал и... не нашел.

Где мой талисман, мой рублик? С ним я начинал жизнь. Отдайте мне мою жизнь, мой талисман! Я украл его у бедного китайца, старый, стертый рублик, но он мой, мой, мой!.. Где ты, мой талисман, друг жизни?!

Ему хотелось зостонать, заскулить, поползти на коленях, упасть мордой в землю, зарыться в землю от жизни, которая сломала его наконец...

Москва, август 1938 г. — май 1939 г.

Лирические стихи

ВАСИЛИЙ КАЗИН

★

ПОЕЗД

Вот уж сколько времени
Мчусь я с этим поездом!
Он еще стремительней,
Видно, мчатся рад,
Пестрым, легким, солнечным,
Быстролетным поясом
Все леса, поляны
Унося назад.

Только я поляну
Хватким глазом сцапаю,
А она уж — на тебе! —
Выпорхнет другой;
Вон сосёнка с бодростью
Мне махнула лапою —
Дескать, до свиданья,
До свиданья, дорогой!

Вон рванулось озеро,
Скрывшись за осинами.
Чуть не со слезой оно
С глаза сорвалось,
Вспыхнув неожиданно
Крыльями гусяными, —
Это, видно, с озером
Детство пронеслось.

Словно, чтоб отдать мне
Хоть росинку юности,
Бросился вдогонку
С горки паренек,
Но и он, в бессилии
Стихнув, пригорюнившись,
Вдруг погас, как спички
Сбитый огонек.

Солнца луч, все пасмурней
 По вагону шарящий,
 Золотой мой, ласковый,
 Ты хоть удержишь!
 Эх, да вы, друзья мои,
 Милые товарищи,
 Это убегает,
 Убегает жизнь..

★

М А Т Ь

Нет, не в знак случайного желанья,
 Не по доброй воле тайных сил, —
 Чтоб исполнить кровный долг сознанья,
 Я тебя сегодня посетил.

День такой хороший, яснолицый —
 Только б улыбаться и гулять!
 Что же ты опять подбитой птицей
 Там, в кровати, притаилась, мать?

Тихий мрак в твоём покорном взоре.
 Уж не тень ли смертного крыла?
 Как бы от такой тяжелой хвори
 Ты в покой могилы не слегла!

Пусть мой стих хоть всю теплынь истратит, —
 Лишь бы биться сердцу твоему!
 Если у меня тепла нехватит,
 Я у солнца выпрошу, займу.

Как тебя не поддержать под старость!
 Я ль не помню с возраста мальчика,
 Как меня ты поддержать старалась
 После пьянок нашего отца.

Как, закапав скорбью слез украдкой
 Весь пустой отцовский кошелек,
 Шла к знакомым с совестной оглядкой,
 Чтоб добыть мне сахару кусок.

Я ль не помню, думой невеселой
 Все напасти прошлого кляня,
 Как себя мытарила ты школой,
 Сто целковых дравшей за меня.

Как, чтоб сын твой вышел в грамотеи,
 Чтоб не знал он тьмы подвальных мест,
 С теплою цепочкой, снятой с шеи,
 Ты несла в заклад последний крест.

Тяжкой жизни сгорбленный приемыш,
 Всех забот всклокоченною тьмой
 Может быть, сама ты просто вспомнишь
 Миг своей улыбки золотой?

Но вот я, ей-богу же, ей-богу,
 Я ведь вот не вспомню, чтоб хоть раз
 Всю твою бессонную тревогу
 Вдруг смахнула радость с добрых глаз.

Что же тут поделаешь! Ведь жалость —
 Это над страданиями не власть.
 Лишь одно мне, милая, осталось —
 Это вновь тот старый мир проклясть.

Страшный мир тот с горем вспоминая,
 С той же жаркой яростью, как я,
 Прокляни и ты его, родная,
 Давняя страдалица моя!

★

ХУДОЖНИК

С трогательным взором, смущена
 Ложью позы, — видно, с непривычки, —
 Ты сидишь пред ним, мой друг, жена,
 Солнышко мое — по старой кличке.

Сам тобой любясь без конца,
 Я смотрю, как, жарче раз от раза,
 Он в сиянье твоего лица
 С полотна бросает жадность глаза.

Как спешит он в пестрой толкотне,
 В пляске красок — желтой, красной, синей —
 Засветить на бедном полотне
 Дивный мир твоих стыдливых линий.

Вот уж легкость облика видна.
 Вот, хоть и с чужой тебе истомой,
 Вдруг заулыбались с полотна
 Эти всплески прелести знакомой.

Вот уж и до слез я изумлен:
 Он поймал, как мастер настоящий,
 Всей твоей прекрасной силы звон —
 Кроткий ответ, с губ твоих летящий.

Словно выпил залпом сладкий яд,
Весь я у художника во власти.
Только что это за странный взгляд?
Что за тяжкий натиск алчной страсти?

И, как у испуганных детей,
Заметался мрак воображенья.
Всматриваюсь пристальней и злей
В мага твоего отображенья.

И, ревнивым чувством на него
Выпрыгнув, как хищник из засады,
Я уже подряд ловлю его
Эти распалившиеся взгляды.

Если и не сладкий яд, с ума,
Знать, свела его лихая брага.
Неужель не видишь ты сама?
Он влюблен, влюблен в тебя, бедняга.

Неужель не видишь ты огня,
В нем, как вихрь, взметенного тобою?
Глянула ты просто на меня,
И пошел мой злобный дух к покою.

Он смущен, влюбленный твой, но, чтя
В час труда взыскательный порядок,
С кистью беспокойной, как дитя,
Завершает славный танец радуг.

Что ж, быть может, даже и в века
Поплывет создание этой кисти!
Ведь водила ей, трудясь, рука
С страстностью любви, святой корысти.

Четыре стихотворения

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

„ПАПАНИНЦЫ“

Белы сугробы. Солнце светит.
Прошла метель, — и на дворе
в папанинцев играют дети.
И все понятно детворе:
что полюс — он далеко где-то,
но и над полюсом, вот так,
как над крылечком сельсовета,
чуть полинялый бьется флаг.

★

В ТРОЛЛЕЙБУСЕ

Идет троллейбус. возле кленов.
Льет дождь, шумит вода везде.
К стеклу прилип листок зеленый.
Деревья топчутся в воде.

Прямой, прохожих не щадя,
дождь припустил еще сильнее.
Все в каплях светлого дождя,
стекло троллейбуса синее.

И можно ль не принять участия
и ливня не желать земле!
На город, как сквозь слезы счастья,
гляжу сквозь капли на стекле.

★

★

Что листья падают, что ночь светла,
запомню и вовек не пожалею
о том, что нас далеко завела
кленовая сентябрьская аллея.

Сидим одни, обнявшись под луной.
Но все длинней косые тени кленов:
луна спешит — на целый шар земной
она одна, одна на всех влюбленных.

★

Перед тобой лежит стихотворенье,
и хорошо припасть к любой строке
и слушать, слушать, как поет в ней
время,
как бьется жилка на твоей руке.

Я плачу над счастливою строкой,
пусть написал ее не я — другой.

★

На поле Нуликовом

ПОВЕСТЬ

Вас. КУДАШЕВ

★

I

Харитон Зубков поднимался на холм. Навстречу ему плыл нарастающий гул. Харитон, читая книгу, время от времени останавливался и смотрел вверх. Высоко в синеве летели два ворона.

— Клек! Клек-клек! — словно жаловались они на то, что вокруг необозримые просторы полей, а им негде сесть.

Харитон взглядом проводил черных птиц далеко на восток, пока они скрылись. Гул все ближе... Харитон был невысок, плечист и коренаст; скуластое и спокойное лицо его усеяно веснушками; большие серые глаза смотрели пытливо. Опустив голову, он снова пошел, читая на ходу. С вершины холма спускался рослый парень.

— Здорово, бригадир!

— Здравствуй, Егор. Сколько нынче?

— Пять с немножким. — Егор подал большую и грязную руку. — А ты решил сходить домой, в Хованщину?

— Нет, в Зыково...

— Не насчет повара?

— Да.

Поваром в бригаде работал старик, ленивый и неопрятный. Из хороших продуктов он варил безвкусные супы, кашу часто забывал солить или же крепко пересаливал.

Харитон, придя в Зыково, пожало-

вался на старика председателю колхоза.

— Вот еще озадачил, — сказал председатель. — И без этого у меня не хватает людей. Ну, ладно, уважу, — заменим деда. Есть у меня такая, присилась к вам...

Вскоре в тракторной бригаде появилась новая стряпуха Катерина. Она была вдова. Муж ее позапрошлой зимой, возвращаясь с охоты, переходил реку; молодой лед внезапно провалился под ним, и конюх, лихой наездник колхоза «Пламя», Иван Лотов погиб. Катерина долго горевала, но постепенно время взяло свое. Молодая вдова в будни стала носить праздничные платья, вела себя развязно и бойко. Последнее время за нее сватались три жениха, но она им отказала. Говорили, что Катерина все еще тоскует по мужу, горда, и потому недоступна.

Уход Катерины в стряпухи тракторной бригады удивил многих. Заведующая огромной товарно-молочной фермой колхоза, премириванная, и вдруг...

Трактористы встретили Катерину радостно, шутками; у многих заискрились глаза.

По-девичьи свежее-румяная, статная, в легком сиреневом платье и малиновом платке, повязанном концами на затылке, Катерина, когда обедали, проворно носилась от очага к столу и обратно, угождая каждому. Трактористы взволнованно смотрели на красивую повариху. Одни из них присмирели,

стали молчаливее, другие показывали себя развязными. А она, не смущаясь, просто и весело поглядывала на парней и каждому улыбалась.

Трактористы и перед обедом, и перед ужином стали умываться с мылом, старательно причесывались.

— А меня и чумазого полюбит. Катя, верно? — подмигивая, шутил Сеня Дымов.

В зубковской бригаде Дымов работал первое лето. За прогулы, пьянство и дебоши его выгнали из двух бригад, и только Харитон Зубков в начале этой весны решился принять диковатого и озорного парня к себе, заявив директору Крупицыну: «Ладно, пусть Дымов поработает у нас, посмотрим...».

Пашка Рыжов, когда появилась в бригаде Катерина, приносил с работы полевые цветы и дарил их молодой поварихе, церемонно кланяясь:

— От всей души и сердечного механизма.

Некоторые пытались помогать Катерине.

— Ребята, да ну вас... — говорила она. — Одна управляюсь.

— Митрофану ты зря подкладываешь мяса. Он женатый, — шутил за обедом Дымов.

— А мне вы все одинаковы. Уж если кого полюблю... — Катерина тряхнула головой и рассмеялась, обнажив плотные белые зубы.

— Чужим это, — сказал Дымов. — Кому-нибудь из нас обязательно из-за тебя гореть...

Прислушиваясь и приглядываясь, Катерина дней пять вела себя ровно, а потом, как говорил Харитон Зубков, «начала полыхать». Вечерами, после ужина, она на глазах у всех прихорашивалась, затем приглашала с собой Сеню Дымова или Пашку Рыжова, или же лучшего в бригаде тракториста Егора Чукина, слегка угрюмого и молчаливого, и уходила с кем-нибудь из них в перелесок, откуда допоздна слышался ее звонкий, залихватый голос:

Не разлучит меня и могила,
Коль тракториста я полюбила.

Чаще Катерина пела свою любимую песню — протяжно и с грустью:

Летят утки, летят утки
И два гуся,
О-ох, кого люблю, кого люблю, —
Не дождуся.
Ты, залетка, ты, залетка, —
Где ты, где ты?
О-ох хороши, хороши
Твои приветы.

И как бы умоляла:

Когда, милый, когда, милый,
Бросать станешь, —
О-ох, не рассказывай, не рассказывай,
Что знаешь...

Над тихим сумраком полей тлел бледный круг месяца, ярко и разноцветно мерцали звезды. С покатога и седого — в ковыльной дымке — бугра пряно и душно пахло ромашкой и чебрецом.

Трактористы подолгу сидели подле будки или у костра, лежали, но не спали. Каждый втайне завидовал счастливицу, гулявшему с Катериной. В досаде многие поднимались, накидывали на плечи пиджачки и уходили в Зыково или в Увалы на улицу. Возвращались обычно на рассвете, обалделые от бессонницы. А потом весь день сминались веки... Чтобы разогнать дремоту и размяться, некоторые оставляли машины — «пусть остынет чуть» — и шли к будке пить, кстати и перекинуться с Катериной словечком-другим...

Сегодня, как только закатилось солнце, Катерина и Егор незаметно ушли в перелесок.

— Этот наверняка окрутит Катю. Молчалив, да напорист.

— Бригадир что-то запропал, а то надо бы послать за водкой. И прямо тут, в бригаде, свадьбу...

— Нет, — возразил Сеня Дымов, — Чукин получит отпор.

— А тебя, Сеня, совсем откачнула?

— Паша! Рыжов! Носишь-носишь Кате цветы, а они попусту вянут да вянут...

В затухающий костер подложили сучьев, они затрещали и ярко вспыхнули.

Из потемок вдруг появился широко-

плечий Харитон Зубков, вернувшийся с районного совещания... Он поздоровался с каждым за руку; свернутый брезентовый плащ сбросил с плеча на землю. Из карманов у него торчали книги, газеты. Угощая товарищей пивосами, спросил:

— Ну, что тут у вас без меня нового?

— Зажигание у моего трактора опять сильно закапризничало...

— Подожди, Макар! — оборвал Митрофан, учетчик и помощник бригадира. — Новости, Харитон, рассказывай... Что в районе?

— Много было вопросов, — начал Харитон. — Лихо перчили нас, бригадиров, — долго двоим пар. Наша МТС получает девять новых комбайнов, три сложных молотилки... Работы, значит, будет — успевай поворачиваться... Обсудили и приняли план по уборке урожая. Блинов, как и всегда, выступил первым, дал обещание выполнить своей бригадой досрочно.

— Не вытянет он на первое место!

— Правильно! Не те у блиновской бригады козыри! — крикнул суетливый Макар.

— Позавчера, говорят, блиновцы на «ХТЗ» подшипники сплавляли!

— Тихон Мироныч Крупицын, — продолжал Харитон, — наказал всем вам низко кланяться, много лет жить, здравствовать и впредь быть образцовой бригадой.

— А что с ним?

— С работы сняли?..

— Нет. Тихон Мироныч получил повышение, — пояснил Харитон, — будет работать в области. А к нам назначили нового директора...

— Кого?

— Валдеева... Недавно был прислан в Крутовский свиновхоз, а теперь его — к нам.

Харитона допрашивали:

— А ты его видал?

— Как он, ничего?.. Или далеко до Крупицына?

— Видел, как же... Вроде не плохой мужик, старательный, но, видать, горяч дюже... — И Харитон спросил: — А где же Чукин?

— Сегодня его очередь... — со смехом ответил Митрофан. — Гуляет с Катей в лесочке...

— Бригадир! Харитон! — звали со всех сторон. — Запасай выпивку. Скоро, факт, свадьба! Гулять будем...

— Что же, это дело неплохое, — весело подхватил Харитон. — А кто женится?

— Видать, Егор Чукин. Он и тут первый ударник...

— Ну что же, ребята, спать? — сказал Харитон. — На улицу нынче советую не ходить. Разбужу до зари. Теперь хорошо работать и ночами. Ишь, луна все больше...

По пути к будке Харитон свернул в ложбину, где валялись бочки. Стуча по каждой кулаком, проверил, все ли они полны горючего. Захотелось пить. В бачке, под дощатым навесом, воды не оказалось. Харитон спустился к ручью, журчащему в тени кустов. Напившись, он вышел на опушку перелеска. В овсах страстно били перепела. Далеко-далеко, в деревне, заливалась гармонь, и протяжно голосили девки. Харитон остановился. На траве, на лапчатых дубовых листьях, блестела роса. Почти рядом, в ложбине, полной сизого тумана, послышался сильный, грудной смех Катерины. Харитон обернулся. С тех пор как Катерина появилась в бригаде, Харитон невольно присматривался к ней. В разговоре был сдержан и даже суховат. А она не раз бросала на него блестящий взгляд, шутила, заигрывала и однажды, как бы нечаянно, задела его плечом. Харитон, против своего желания, сторонился Катерины. Ему, женатому и бригадиру, неудобно держать себя, как все парни.

— Егор, ты чудись, — сказала Катерина, вновь рассмеявшись.

Харитон пошел обратно к будке.

«Подумают, что подслушиваю... Да и зачем я сюда?.. Вот баба, вскружила ребятам головы! Завтра в ночь налажу работу, и надо побывать дома, — решил вдруг Харитон. — Уже дней десять не заглядывал».

Из сумрака кустов вышел Сеня Дымов в пиджачке внапашку. Он смотрел в землю, словно потерял что-то.

— Дымов, ты куда? — спросил Харитон.

— Та-ак...

— Да, слушай... За Желтым оврагом пахоту оканчиваете?

— Нет. Хватит ещё дня на три.

— Это откуда же?

— Зайди — замерь.

— Вот еще новость!.. Что же вы там эти дни делали?

Дымов бормотнул что-то в ответ и, тихонько насвистывая, пошел полянкой в обход лощины.

В тени будки, на сене, лежали Митрофан и двое парней.

— Бригадир, ты откуда? — спросил Митрофан.

— К ручью ходил... пить. — Харитон закурил. — А где ребята?

— Кто куда... — Митрофан ухмыльнулся, — большинство, видать, махнуло в Зыково, на улицу.

— Я же их предупреждал! Вот!.. — Харитон сердито выругался и лег рядом с Митрофаном.

Он часто ворочался с боку на бок, сон был непрочный, а потом вдруг кто-то сильно начал трясти его за плечо... Харитон очнулся...

— Скорее! Идем, — драка! — кричал Митрофан и, догоняя кого-то, побежал в сторону перелеска, откуда доносился многоголосый гомон.

II

Затаив дыхание, Дымов раза три останавливался, когда Катерина звонко смеялась или весело переговаривалась с Егором. Ниже надвинув на глаза фуражку, Дымов миновал лощину, затем густыми мокрыми от росы овсами вышел на дорогу. Вокруг широко открылись поля, залитые лунным светом. Там и тут щелкали перепела, назойливо скрипели коростели. Ночь была свежая, а Дымову дышалось тяжело, теснило в груди. Он решил было вернуться к лощине. «Нет, туда мне ни к чему...». Дымов шагал в сторону Зыкова, кося глаза на свою тень с радужным сиянием вокруг головы. В Зыкове во что бы то ни стало надо провести эту ночь с дояркой Дашей Бу-

биной, лучшей из девушек... Пусть завтра Катя узнает! Но это почти невозможно: у Даши — жених, комбайнер-орденоносец Зиновой Лукашин, известный на всю округу. Мрачно раздумывая, Дымов спустился с бугра к деревне. Было и здесь мертвенно-тихо, только где-то за темными клубами ветел бренчала балалайка и скучающе напевали девушки. У знакомой ему избенки Дымов остановился в нерешительности, затем повернул в проулок, на зады. Постучал пальцами в маленькое, тусклое окошко. Вскоре скрипнула и открылась дверь сенец, высунулась кудлатая трясущаяся голова:

— Кто это?

— Я, бабка, тракторист...

Войдя в сенцы, полные затхлых запахов, Дымов сунул в узлозатые и холодные руки старухи отсчитанные деньги.

Шинкарка ушла в избу. Вернувшись, она поучительно прошепелявила:

— Давно ты не заходил... Выпей, парень, втихомолку.

Дымов молча опустил скользкую бутылку в карман и вышел. Седым от росы лугом он вразвалку поднялся на бугор, в сторону от дороги. В тени бузины он сел. Вокруг было светло; по холму за оврагом плыли тени облаков. Дымов ладонью ударил в дно. Зажмурясь, он прямо из бутылки потянул в себя обжигающую влагу и все круче — упала фуражка — задирал голову. А выпив, положил бутылку около себя, вытер рукавом губы. Вскоре он почувствовал себя легким, как в блаженном сне, теперь ему все казалось простым и доступным. «Катя от меня никуда... факт, — легко думал он. — Позавчера я с ней целовался? Да. А Егор... прямо скажу — отзынь!». Дымову захотелось движения. Он встал, выпрямился во весь рост и, рассмеявшись, направился в деревню.

В тени амбарчика сидели на бревнах три девушки, три парня и лет девяти мальчишка, бренчавший на расстроенной балалайке.

— А-а, Дымов...

— Сеня, ты откуда? — спросил Пашка Рыжов. — И без фуражки?

— Фуражка моя... невидимка. Пома-ню, окажется сразу на голове... — И Дымов, растопырив руки, наклонился было к девушке, но та, взвизгнув, отскочила в сторону.

Вся зыковская молодежь с песнями под гармошку ушла за три километра в Веселые Пруды смотреть кинокартину «В людях». Вместе со всеми ушли туда и некоторые трактористы, а Пашка Рыжов, сменщик Дымова Андрей Глубоков и вертлявый Макар Хватов остались, подсели у амбарчика к девушкам, коротали с ними время песнями и собирались уже уходить обратно в бригаду.

— Эй, перестать гундеть!—приказал Дымов.

Мальчишка положил балалайку рядом с собой.

Дымову хотелось что-то делать, но он не знал — что. Предложил пойти в Веселые Пруды. Товарищи отказались: поздно. Сокрушенно помотав головой, кривляясь, Дымов затынул нелепое «страданье»:

Не хвди, милка, в огород.
Не пугай мою капусту...

И грубо с хрипотцой и надрывом:

Сапог валеный дыривый —
Все уйдем в сырую землю.

Он вновь, шумно дыхнув, подошел к девушке, пытаясь ее обнять, но та резко отстранила его руки:

— Ой, да от тебя разит...

— Я не таких, как ты, поразил, — сказал Дымов, намекая товарищам на Катерину.

Все рассмеялись.

— Пошли, — позвал Дымов, поднимая за руки товарищей.

Девушки тоже поднялись и со смехом, обнявшись, отошли от амбарчика на выгон, залитый светом месяца.

Трактористы шли вдоль деревни. Дымов дружески ударил Пашку Рыжова ладонью по спине.

— Тише, — сказал тот, — зашибешь.

— Могу и зашибить, если кто мне наперекор...

— Сеня, а ты чего вдруг загулял?

— А что ж нам, малярам, — день работам, а ночь гуляем. — Дымов приотпнул, засеменял непослушными ногами и вдруг заявил:—Вы, ребята, идите, а я к невесте... Бубиной Даше. Сватовство кончат, поняли?

— Даши нет... Она ушла в Веселые Пруды.

— Тогда и я туда...

Размахивая руками, Дымов зашагал к избам.

Трактористы тихонько вышли за деревню; поднимаясь на бугор, оглядывались, переговаривались.

— Пьяный Дымов — задира, а в Веселых Прудах ребята аховые, того и ждут.

— Факт, выбьют нашему Сене бубны!

— Вернемся за ним?

Они вернулись было, но в это время на краю деревни послышался знакомый голос, раскатившийся на всю окрестность:

— О-го-го-го!

Трактористы откликнулись. Дымов вскоре догнал их, запыхавшийся. Он держал в руках фуражку, в которой лежали пучок лука и лопать хлеба. Из кармана у него торчала бутылка.

— Сеня, откуда это у тебя?

— У тещи... будущей моей тещи.

— Ты что, не шутишь? У какой тещи?

— Значит, говоря яснее, у дашиной матери.

Дымов не столько был пьян, сколько глумился. Он успел еще раз зайти к старухе-шинкарке за водкой и закуской. Угощать товарищей начал щедро, настойчиво. Макар и Пашка Рыжов только из уважения к товарищу глотнули из горлышка бутылки. Андрей Глубоков выпил жадно, много, с сочным хрустом закусил перьями лука — и сейчас же стал пьян, болтаив. Он уже готов был поверить, что Дымов сосватал Дашу Бубину, и льстил:

— Сеня, ловок ты... Значит, Зивовой Лукашин получил от Даши отпор? Сеня, друг, а на свадьбу пригласишь? Смотри, обязательно...

Но Дымов не слушал его, шел в обнимку с Пашкой и неустанно бубнил:

— Ты мне закадычный товарищ или нет? Да. Значит, наперекор мне ни в чем не моги. Выпей еще за дружбу! — и недопитую бутылку совал Пашке в лицо, в губы.

Рыжов задирает голову.

— Не угощай, не буду. Заря вон занимается, скоро работать, а я куда же тогда...

— А я, выходит, только гуляка? Так?

— Нет, зачем же... Но ты прочнее меня на выпивку.

— Я, если захочу, могу дать такие показатели в работе... — бахвалился Дымов.

— Обязательно надо захотеть.

— Могу... Егор Чукин сразу померкнет.

— Нет, Сеня, — простодушно возразил Макар, — с Егором трудно тебе равняться.

— Стой, стой! — завопил Дымов, сняв фуражку, трясая курчавой головой.

— Чем Егор знаменит?

— Передовой он в бригаде...

— А почему? — допрашивал Дымов.

— Сильно внимателен к машине и упорен в работе.

Дымов ехидно скривил лицо:

— Егор старается, накручивает... решил получить орден.

— Сеня, а что же здесь плохого? — сказал Пашка. — Орден каждому лестно носить, да не каждый заслуживает. Попробуй!

— Пока и не стремлюсь...

— Зря, — сказал Пашка. — Пути никому не заказаны. Пожалуйста, соревнуйся...

— Пашка! Рыжов! — крикнул Андрей Глубоков, шагавший позади. — Скажи, почему Егор Чукин первый у нас ударник?.. Помнишь, когда начали взметку пара... помнишь, у нашего трактора нужно было сменить поршневые пальцы и то же у егорова... А бригадир Харитон кому в первую очередь раздобыл пальцы? Егору... А наша машина ждала. Сеня, помнишь? Справедливо, Пашка, так... скажи?

— Ага! — злорадно подхватил Дымов.

— Пашка, скажи, почему... — Андрей, зажмурясь, кривляясь, вытирал горстью губы. — Егор Чукин красивее. Что ли, нас с Сеней или кого других? А?

Рыжов ответил:

— Егор дает в полтора раза большую выработку, чем ты, Андрей. И тут важнее, чтоб его машина не стюла.. Уравниловка тут некстати!

Шумно споря, они перевалили за холм и спускались дорогой к ложине, где в светлых водах ручья, широко разливавшегося на повороте, купался месяц, сверкая серебристой чешуей. И, должно быть, заслышав на заре голоса спорящих, из темневшего неподалеку перелеска вышли высокий и слегка сутуловатый Егор и с ним под руку Катерина: она была в светлом платье, протяжно пела.

— Стой, ребята, тише! — сказал Рыжов. — Вот, чорт, как повела голос!

Убавляя шаги, трактористы долго шли молча, подняв головы, прислушиваясь. А Катерина шла берегом ручья, мимо тихих верб, плечо в плечо с Егором, покачиваясь, и мягко, задушевно выговаривала:

Шли они — в руке рука —

Весело и дружно.

Только стежка коротка:

Расставаться нужно.

И нежно, с придыхом в голосе, просила:

Ты потише провожай,

Парень сероглазый,

Потому что очень жаль

Расставаться сразу...

О-ох...

Дымову стало не по себе. Закусив губу, он покачивал головой в такт песне.

На повороте к будке трактористы остановились, поджидая Катерину и Егора, медленно шедших в обнимку. Катерина теснее прильнула плечом к Егору, с гордым видом державшему ее под руку, жадно понюхала пучок чебреца и спросила парней:

— Нынче что-то рано возвращаетесь?

— Но и вы, кажись, тоже рановато... — заметил Пашка Рыжов.

— А мы пока и не к стану, — сказала Катерина. — Мы идем на Ковыльный бугор, там чебрец совсем душистый и густой-густой... ляжешь в него — и вставать не хочется... Улица в Зыкове большая была?

— Нет, — ответил Пашка. — Нынче в Веселых Прудах кинокартину показывают...

— Ох, я бы тоже, — сказала Катерина, — с интересом посмотрела на кого-нибудь, вроде Чапаева... люблю героев.

Дымов глядел тупо, облизывая сохнувшие губы. И вдруг рассмеялся и хрипло спросил:

— Катя, а меня... меня, не героя, и замечать не хочешь?

— Ну, как тебя не заметить, такого веселого?

Дымов помотал головой:

— А, может, мне муторно?

— Зато, видать, во хмелю досыта.

— А ты выпьешь со мной? — Дымов, покачнувшись, достал из кармана бутылку.

— Нет, спасибо. Я и так, без вина, от нынешней ночи пьяна. — Катерина весело рассмеялась и поднесла к лицу Дымова пучок чебреца. — Нюхни, дыхни... чебрец страсть какой духовитый.

— И угар скорее пройдет, — шутиливо вставил Егор, стоявший все время молча.

— А тебе какое дело до чужого угара? — огрызнулся Дымов. — Гляди, не зазнавайся!

— Ты пьян и весел, а мне натошак чего же зазнаваться? — сказал Егор, не повышая голоса.

— Тебе какое дело, что я пьян? — Дымов подступал ближе к Егору. — Я за твои деньги выпил? Чукин, смотри... Я не таким, как ты, сбивал горно!

— Что значит сбивал?..

Но Егор не успел возразить, Дымов с силой толкнул его в плечо. Егор отстранил от себя Катерину, выпрямился.

— Сеня, не начинай, — предупредил он, — слышишь? Ты пока щербатый на один зуб, а то станешь на все сразу... Метелицу тебе сделаю!

— Кто щербатый? Кто? — вопрошал Дымов и петушисто, боком, напирал на Егора.

— Ребята, да что вы... — сказала Катерина. — Ребята...

Но Дымов попятился и развернулся было ударить Егора, а тот во-время и ловко пригнулся под сверкнувшей над его головой бутылкой... Макар кинулся бежать к будке. Перепуганный больше всех Пашка Рыжов обхватил Дымова сзади... Дымов вырывался, скрипел зубами, визжал:

— Пусти-и! Кто щербатый?! Дай ножик! Андрей, подай мой ножик!

Прибежал бригадир Харитон. Пашка Рыжов и Митрофан с трудом оттащили неунимавшегося Дымова.

— Что тут у вас? — мрачно спросил Харитон Егора.

— Да вон Дымов напился, ошалел и насакивает на меня драться.

— Сеня свою дурь проявил, — сказала Катерина. — А я еще с ним гуляла... Оказывается, он мусорный!

Дымов рвался, тряс взлохмаченной головой, ругался и плакал от злобы.

— Оставьте его, — сказал Харитон Рыжову и Митрофану. — И сами уходите.

Дымов ринулся было вперед, но вдруг встал, растопырив руки.

— Бригадир! Товарищ Зубков! Дай мне сюда Егора Чукина на поединок! Я ему спущу кровя!..

— Зачем это нужно? — спросил Харитон.

— Зачем?.. Чукин поперек всей моей судьбы встал!

— Ничего, — сказал Харитон, — проспиться, и Егор не будет стоять тебе поперек... Идем в будку.

— Туда я... Нет, не пойду. А Катя, Харитон, Катя — змея... Подожди, не веди меня за руку!

— А ты куда идешь? К машинке пьяный не смей!

— Куда-нибудь иду... Егора, бригадир, я подомну под себя. Без этого мне не будет жизни!

— Конечно, Сеня, если захочешь, можешь Егора подмять, но только делай это терпением, умом, ретивым тру-

дом... А удалю, пьянкой, угрозами, дракой — такие времена прошли...

— Егор твой любимчик!

— Нет, Сеня, для меня вы все одинаковы, — сказал Харитон. — А лучшего тракториста я и уважаю больше.

— Пусти, — Дымов оттолкнул от себя руку бригадира и пошел к ручью, горласто и с хрипотцой затаив:

Сапог валеный дырявый, —
Все уйдем в сырую землю.

Харитон отстал, но не терял его из виду. «Вот еще, — подумал он, — принял в бригаду на свою шею будорагу». Дымов скрылся за кустами. Потом было слышно, как за вербами в ключевом омуте плескалась вода, и Дымов, плавая, фыркал от удовольствия и ржал, как лошадь.

Харитон притаился между деревьев неподалеку от ручья.

Выкупавшись, Дымов поднялся в гору, на Ковыльный бугор, лег там в травы, в густой и пахучий чебрец. Он шумно вздыхал, протрезвившись, досаду на себя за то, что натворил во хмелю.

Луна давно скрылась, редели звезды.

Харитон направился к стану, уверенный, что Дымов не пойдет к машине.

Поля окутала легкая предрассветная дымка. Из лощины и ложбинок тянуло прохладой. Весело зачувилькали первые жаворонки.

А когда из сиреневой мглы поднялось большое солнце и на травах разноцветно загорелись крупные капли росы, и от будки в разные стороны шли к своим машинам трактористы, — в это время за холмом первой зарычала, а затем ровно, без перебоев, зарокотала дымовская машина...

III

Трое суток Дымов не появлялся в стане. Завтрак, ужин и обед ему носили к машине сменщик Андрей Глубоков или Катерина. Она возвращалась от него с затаенным смешком в глазах, а чаще задумчивая и встревоженная. Катерине было лестно, что скандал

произошел из-за нее, и в то же время она боялась дымовского необузданного характера. Вспоминала: «Дай ножик!». Боялась не за себя, за Егора. Известно, такие дела часто кончались поножовщиной. Вместе с тем ей было бы неприятно, если бы Егор отступил перед Дымовым, красивым и отчаянным. А, может быть, Егор и струсил? И Катерина однажды спросила:

— Егор, перепугался ты, когда Сеня грозил тебе ножом-то?..

— Ну, вот еще... «перепугался»! Дымов не успел бы и замахнуться, как я бы его...

— Ишь, ты тоже забияка!

— А как же иначе?.. Я не христосик...

Егор в глазах Катерины сразу вырос. Дымова она осуждала, но все же ее влекло к нему. Принеся однажды обедать, она села напротив Дымова и, как всегда, шутила, улыбалась, как бы желая сказать этим: «Вот я какая: из-за меня можно на все пойти!». Но Дымов был хмур, необычно молчалив, отводил глаза в сторону.

Ел Дымов с аппетитом: на лбу выступила испарина.

— Сеня, — сказала Катерина, — вчера вечером мы долго песни пели всей бригадой. А ты чего же не приходишь к стану? Стыдишься? Да и что же тот за парень, если в любви не может постоять за себя? Петухи и то вон как дерутся... до крови. А напился ты зря... Вечером придешь к стану?

— Нет. — Дымов завернул в платок кастрюлю, тарелки, ложку, остаток хлеба. — Нынче я всю ночь буду работать.

— Жа-аль, — протянула Катерина и, помолчав, добавила: — Егор тоже ночью будет работать.

Дымов сказал:

— С Пашкой Рыжовым пойдешь гулять.

— С ним нет. — Катерина презрительно поджала губы. — Пашка какой-то рыхлый, не настойчивый... таких парней я не обожаю.

Дымов прямо из кувшина отпил степлившейся воды, закурил и стал глядеть в сторону, на запыленный трак-

тор с блестящими шпорами на колесах. Неподалеку, на комьях, сидели грачи с открытыми красными ртами, вяло опустив от жары крылья.

Катерина взяла узелок с посудой, сказала:

— Перед обедом нынче Харитон объявил выработку пахоты. Ты и Егор почти вровень идете.

— А еще что?

— Ну, как всегда, читали вслух газету.

— Что пишут? — спросил Дымов.

— Я не все слышала, со стола убирала, — сказала Катерина. — Одного тракториста нашей области выдвигают в депутаты Верховного Совета республики. Вот про него читали. Молодой, но, пишут, дюже упорный и стоящий человек. Выработку дает большую... Поглядеть бы на такого парня!

Дымов молча поднялся, поправил пояс и пошел к машине.

— Ужинать сюда принести? — спросила вслед Катерина.

— Скажи Андрею, он принесет, — ответил Дымов, не оглянувшись. — И пусть тряпок захватит... для машины.

Дымов хотел было спросить, что говорят в бригаде об учиненном им скандале, но не решился. И про газету спросил потому, что боялся, — не напечатано ли там, как он пьяный буянил, лез драться. «Да, я мог тогда — страшно и вспомнить — ударить Егора ножом в грудь!».

Дымов ждал прихода бригадира, объяснения с ним. Он приготовил слова, которые скажет Харитону, чтобы как-то смягчить свою вину. «Харитон, должно быть, решил поговорить в дирекции, а потом выгнать меня из бригады. Ну, что же... прямо отсюда пойду домой, в Кругово, а в бригаду не загляну. А Егор, должно, в суд заявит?...». Но Харитон не приходил, и Дымов мучился. И, чтоб забыться, работал с яростью.

А бригадир за трое суток так ни разу и не навестил Дымова. «Пусть у парня само собой перегорит». Время от времени Харитон справлялся о Дымове у Митрофана-учетчика, а сегодня спросил Андрея:

— Ну, снес ужин Дымову? Как он там?

— Ничего... Хмурится что-то, а работает, как чорт! Сегодня, видать, работает больше, чем вчера.

— А где спит, когда ты его сменяешь?

— В прошлогодний омет ходит. — И Андрей вдруг спросил: — Ты в дирекцию о Дымове сообщил?

— Сообщил, а как же. — Харитон нагнулся к костру, поддел щепочкой тлеющий уголек, прикурил и ушел в поле.

Ночь была тихая, светлая, в небе стадами стояли белобокие облака, словно ночь настигла их внезапно и они мирно ожидали дня, чтобы уйти потом в новые дали. Прежде чем посмотреть работу трактористов, Харитон любил выйти на бугор или холм, постоять там, послушать гудение машин. Сейчас он взобрался на вершину Сторожевого кургана. Харитон кое-что читал о далеком прошлом этих родных мест, — тут русские бились за свое национальное объединение. Но никогда не узнать всех тайн, что хранят холмы и курганы Куликова поля!

... Вокруг Сторожевого холма сплошь тянулись целинные степи с густыми травами, в которых токовали стрепеты, лежало и важно паслись дрофы, в лазури неба надменно плавали коршуны на тугих крыльях. А однажды, сентябрьским вечером, с северной стороны, из дремучих дубовых лесов, что тянулись по берегам Дона, сюда, на холм, прибыли на взмысленных конях дружинники передового отряда русского войска. Они зорко вглядывались с вершины холма в южную сторону, не покажутся ли там из-за увядшей осенней травы лазутчики с рысьими глазами... В степи уныло вли волки, бились крыльями «грающие» вороны и клетотали орлы. А когда потухла вечерняя заря и наступила ночь, над горизонтом грозно запылали зарева от костров и пожарищ. Ржали кони, скрипели повозки, гулко лаяли где-то в таборах псы...

Ночью русские рати перебрались через Дон, а утром, когда густой сизый туман стал редеть и расходиться, они

увидели неприятеля, расположенного по долгому, отлогому скату Красного холма и на необозримом пространстве Куликова поля. Татар было столько, что «страшно видети и несть места им расступитися!».

Полководец Дмитрий поехал на коне по всем полкам своим, над которыми шелестели бесчисленные знамена, развеваемые западным ветром. Доспехи, оружие, шлемы с красными перьями блестили на ярком утреннем солнце.

— Встанем за отечество! — крикнул войску Дмитрий. — Умершие днесь родятся в жизнь вечную!.. Я пойду с вами впереди!

От ливня стрел стало сумрачно. Ряды ратей смешались. Кони, визжа, становились на дыбы. Пыль закрыла солнце, и оно стало багровым. Люди падали, как трава под косой. Повсюду над полем кружили вороны. Откуда-то из-за Непрядвы низко протянула пара лебедей. Они кричали, но их никто не слышал. По всей окрестности клекотал страшный гул. Земля стонала... Люди задыхались от тесноты и страстного гнева.

Русская пешая рать почти вся полегла под копытами лихой конницы орды.

Засадный полк воеводы Боброка, глядя на битву, с великим терпением продолжал стоять в Зеленой Дубраве. Татары близки были к победе. Им были видны уже переправы через синие воды Дона. Они торжествуяще кричали...

— Ну, теперь приспел и наш час! Дерзайте! — воскликнул воевода Боброк и, сверкнув над собой мечом, повел полк.

Полчища Мамаю, не ожидавшие удара с фланга, дрогнули. И вновь тяжкий бой!.. Татары стали в беспорядке отступать.

— Горе нам! — завопили они. — Грозная беда тебе, великий хан!

Мамай приказал подать коней для себя и трех своих сановников. Вскоре он со своими приближенными бежал с Красного холма в степь, в южную сторону...

Засадный конный полк преследовал остатки орды. К сумеркам вся степь, — на сорок верст, вплоть до берегов Кра-

сивой Мечи, — была устлана телами убитых и раненых. Валялись доспехи, оружие, стояли брошенные повозки с добром, стадами бродили волю, верблюды, мирно паслись лихие татарские кони. С обеих сторон — татар и русских — навечно осталось лежать на Куликовом поле около трехсот тысяч воинов. Возмгло кровью обширное поле победы... Здесь утомилась смерть столь грозной, страшной жатвой!

Здесь робко на поля иноплеменник

взглянет.

И мимо сих холмов со страхом поспешит;
Но Росс здесь мощь свою и силу

воспомянет...

Это было давно. Теперь через Сторожевой холм, что стоит от Красного недалеко, проходит ровная профилированная дорога. В ясный день, особенно на закате солнца, видно: над кромкой горизонта блестит позолоченный купол и ослепительно сверкают крест и клинок-полумесяц на знаменитой чугунной башне-памятнике грозной Куликовской битвы.

На самой вершине Сторожевого холма, на кургане, растет лопушистый и цветущий подсолнух, похожий издали во мраке ночи на человека, стоящего. склонив голову. Кто-то беззаботно обронил здесь семечко, и оно проросло... Огромный цветок подсолнуха с рассвета начинает смотреть на восток, он поворачивается к солнцу и глядит в южную сторону, а к вечеру, когда на западе полыхает пожар зари, подсолнух низко склоняет свое круглое желтое лицо и всю ночь стоит неподвижно и задумчиво, облитый росой слез.

IV

Харитон качнул подсолнух, и вдруг тревожно, басовой струной загудел шмель, ночующий на цветке. Харитон пошел вниз по склону холма, прислушиваясь к ладному говору машин. Время от времени ему казалось, что лунный свет мешает слушать. Харитон прилег в тень куста полыни, горькой, как дым. Закрыв глаза. «Да, малость тараторят» — подумал он и, поднявшись, по-

шел в ложбинку, из которой ползла темная громадина трактора, выбрасывая сбоку себя пучки искр. На подъеме она, как бы сердясь, рокотала яростней. На свежей пахоте Харитон смерил пальцами глубину борозды. «Двадцать сантиметров, никак не мельче,— решил он и посмотрел вперед. — Борозды ровные, и хорошо, славно ведет...».

Харитон поднял руку. Дымов торопливо выключил скорость, подумав: «Ну, вот... Сейчас и объяснимся». Одной рукой он снял фуражку, пальцами другой расчесал слежавшиеся кудри.

На холостом ходу мотор энергично вкочхчет, просит работы. Тонко и прозрачно, как стрепет крыльями, посвящает ремень вентилятора.

— Дымов, — говорит Харитон, — подшипники малость постукивают.

— А мне не слышно было, — отвечает Дымов, думая про себя: «С подходцем начинает разговор...».

— Давай, я поведу машину, — говорит Харитон, — а ты отойди во-он туда... подальше, к бугорку, и послушай.

Харитон быстро проверил, залито ли достаточно горючего, масла, воды; пощупал мотор, осмотрел плуг, ушедший лемехами в землю почти по самую раму. Он сел за руль и, усиляя газ, плавно включил скорость. Трактор шел послушно, ровно. «Верно, мне тоже почти не слышно...» — думал Харитон, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую.

Подбежал Дымов. Харитон выключил скорость.

— Ну?

— Да, чуть-чуть постукивают.

— А на машине, и верно, почти совсем не слышно... — говорит Харитон. — Утром, в завтрак, я приду, и обязательно надо перетянуть подшипники.

Дымов вскакивает на машину, глушит мотор, думая: «Ну, что же, Харитон, говори, объявляй...».

— Зачем заглушил? — спрашивает Харитон.

— Не курил давно... с ужина.

— Покурить надо, — говорит Харитон и вновь оглядывает машину, — сегодня, что ли, протер?

— Да.

— Ишь, блестит, как ворон! За ней надо ухаживать, как за любушкой. А это уж известно: как мы относимся к ней, так и она к нам.

«Ладно, хватит намекать, говори сразу, я не из пугливых». Нервничая, Дымов курит торопливо, жадно.

— Ну, всего хорошего, продолжай, рули. — И Харитон ушел.

Неспеша он минует ложбинку, поднимается на бугор. Где-то далеко-далеко хрипло лает собака. «Из-за Дымова, будораги, не мог опять эти дни вырваться в Хованщину, повидать жену... Завтра обязательно надо сходить» — решает Харитон и вновь прислушивается к гудению машин. Он мог бы на слух, закрыв глаза, отыскать в огромнейшем поле любой трактор своей бригады. Во-он ровно и ладно рокочет машина Егора Чукина; Макар работает с переборами (дремлет за рулем, неровно держит газ); дымовская машина (спускается под уклон в ложбинку) заговорила вдруг облегченной, торопливей; Пашка Рыжов чего-то горячится, задергал трактор, как коня удилами... Ну, вот... Ага! Наладил, догадался чудака-человек, что на большом подъеме нужно давать другую скорость...

Харитон повернул было в сторону будки, но вдруг не стало слышно трактора Егора Чукина. «Заглушил... чего это он, чорт, заглушил?». Харитон идет полем напрямик, спотыкаясь на бороздах и пластах раннего взмета... Он идет долго, а чукинского трактора все не слышно.

Месяц заслонило кучерявое облако, и поле сразу помрачнело... Рядом чувилькнул вспугнутый жаворонок. По голенищам сапог Харитона стегает цветущая сурепка, пахнущая терпко и вкусно. Вот и трактор, но подле никого нет. Из зарослей бурьяна поднимается сутуловатая фигура Егора. Он идет к машине, поднимает капот, наклоняется к мотору... А там, откуда поднялся Егор, в густой заросли сурепки что-то бежит.

— Что у тебя тут? — спрашивает Харитон.

Егор вскидывает голову:

— Карбюратор псшаливает... Жиглер засорился.

Он необычно-торопливо, но, как и всегда, ловко застегивает капот, с одного оборота заводит мотор, вскакивает на ревущую машину... Харитон за ним. Как бы пробуя, вполне ли исправлен карбюратор, Егор ведет машину на повышенном газу.

— Все в порядке, кажется?! — кричит Харитон на ухо Егору и шлепает его ладонью по плечу.

Егор, не оглядываясь, кивает головой. Когда машина начала переваливать за бугорок, Харитон прыгнул, и, пошвыстывая, пошел обратно. Что-то белеет в зарослях сурепки... Катерина, ватаясь, лежит на спине.

— Это кто тут?

Катерина молчит, а когда Харитон подходит совсем близко и, нагнув голову, всматривается, она вдруг звонко смеется.

— Да это ты, что ль, горлинка? Одна? Смотри, ястреб заклюет.

— Ястреба меня бояться, — игриво говорит Катерина, — а если сокол или орел какой, пусть... может, я их и жду.

— Одной-то, небось, скучно?

Катерина поднимается, отряхивает подол помятого платья.

— А с кем же мне?

— Да вот хоть бы со мной, — шутиво говорит Харитон.

— Нет, с тобой нет... Взор твой — постылый.

— В поле одной, небось, страшно-вато?

— А я никого и не боюсь, только Сеню Дымова... Егора-то он чуть-чуть ножом не польхнул. И тебя, Харитон, боюсь.

— А меня чего же бояться?

— Чего? — Катерина идет рядом с бригадиром, покусывая былинку, и, притворно вздохнув, смеется. — Ты, Харитон, сильно рыжий, а с таким на траву или в солому не могли прилечь, спореть можно...

— Во-он ты какая, — Харитон мотает головой.

— Какая есть...

Егор за бугром, завернув машину, едет обратно.

Катерина останавливается, слушает.

— Пойти покатааться, что ли, на его тракторе? Можно?

— Отчего же нельзя? Небось, с удовольствием покатает. Только, смотри, не свернись под колеса или под плуг.

— Уж как-нибудь... — И Катерина со смешком добавляет: — Харитон, а ты на меня не сердись.

— За что?

— Сам, небось, понимаешь... Я пришла к вам в бригаду не только поварить — щи варить. Я сама бригадир, патефоном премирована..

Харитон как бы не понимает.

— А зачем же, если не поварить?

— Жениха выбирать, — запросто отвечает Катерина. — Отпуск мой идет к концу.

— Ну, и что же, выбрала?

— Сама не знаю... — Катерина, рассмеявшись, идет от Харитона вправо, навстречу яростно грохочущей машине.

V

Была уже глухая полночь, когда Харитон разыскал в сарайчике и разбудил председателя колхоза «Пламя». Тот вышел за ворота в пиджачке, накинутом на плечи, но в подштаниках и босой. Они сели на бревно, закурили.

Харитон заговорил о пахоте, о подвозе горючего, затем осторожно, как бы советуясь, сказал:

— Герасим Петрович, Катерина у нас, оказывается, временно?

— Да, временно...

— Подыскал бы нам скорее постоянную повариху.

— А Катерина лиха, что ли? С работой не справляется?

— Нет, не то... Но в бригаде у нас все парни, а она баба с порохом... Видишь ли...

— Да, Катерина, — прервал председатель, — не знаю, как у вас в бригаде, а мы дурного не замечали. Нет, нет... В разговоре вроде и заманивает, а ближе подойти — обожжешься. В колхозе без Катерины прямо резрез: на молочной ферме сразу работа захромала. А для вас я, товарищ Зубков, поды-

скал уже постоянную повариху. Правда, старушонка, но шустрья, заботливая и варить-жарить, слышал, умеет толково.

На другой день к вечеру председатель сам приехал в бригаду. Рядом с ним в рессорном тарантасе, нагруженном ящиками с продуктами, сидела пожилая, но легкая и опрятная Марфа Ивановна Гранева. Собрана она была по-праздничному: в кожаных тапочках, в клетчатой — фиолетовой — паневе, в светлосерой занавеске и такого же цвета платке. Лицо Марфы Ивановны бледноватое, по-старчески сухое, на левой щеке коричневая родинка с завившимся волоском. Она легко вылезла из тарантаса, оправила паневу и пылливо огляделась по сторонам слегка впалыми, но еще живыми глазами. Длинные, узловатые в суставах пальцев руки Марфа Ивановна то опускала, то складывала на животе.

— Скучно вам не будет тут у нас, в поле? — спросил Харитон.

— Скучают от безделья, — ответила Марфа Ивановна, — а когда человек в работе, скука обходит его.

— Вот тебе и смена, — сказал председатель, знакомя Катерину с Марфой Ивановной.

Катерина поклонилась и почтительно поздоровалась со старухой за руку. На председателя и Харитона она сердито блеснула взглядом. Она могла бы еще пробыть в бригаде дней десять, а тут вдруг...

— Ну, как отдохнула? — спросил председатель. — Каков тут курорт?

— Отдохнула, а что же? — сказала Катерина. — Ты чего прежде времени за мной приехал?

— На ферме без тебя дела закисли.

— Я все равно до конца отпуска не приступлю к работе.

— Хоть изредка приглядывать будешь, и то важно.

— Я в Москву поеду.

— Чего тебе там?

— Сестру Варю проведу и столицу хочу посмотреть.

Председатель обратился к Харитону:

— Бригадир, ехал я к вам, и все время мне в глаза огрехи ваши лезли.

— Где же это? На поворотах, на углах, что ли?

— А мне неважно, на углах это или нет... Я вам за все чистоганом плачу.

— Правильно, — согласился Харитон, — углы опашем обязательно.

Катерина быстро собрала в будке свои пожитки, уложила их в желтый фанерный баульчик и уехала с председателем.

Ужин в этот вечер готовила и подавала Марфа Ивановна. Она хлопотала, спешила, боясь, что на первый раз не все сойдет хорошо. Явно недовольные сменой поварихи, трактористы глядели на Марфу Ивановну хмуро. Егор катал из хлеба шарики, Андрей Глубоков пошвыстывал. Пшенный со свежей бараниной кулеш был вкусный, ароматный.

Но все, как сговорившись, молчали. По выговору и по фасону паневы в крупную клетку многие догадывались, что старуха не из Зыкова. Не из своей ли уже деревни Хованщины какую-нибудь родственницу Харитон устроил в поварихи? Андрей Глубоков спросил:

— Бабушка, ты откуда сама-то? Не из Веселых Прудов?

— Нет, сынок, — ответила Марфа Ивановна. — Наше село дальше... Городаново слышал?

— Ну, как же... Не очень далеко от памятника Куликовской битвы?

— Вот-вот, — подхватила Марфа Ивановна, — село наше старей старое...

Поужинав, трактористы, не задерживаясь у стола, как это было при Катерине, молчаливо разбрелись вокруг стана.

Харитон в тени тесового навеса налил из бачка кружку воды, попил. Подошел, как бы тоже напиться, Пашка Рыжов. Нерешительно сказал:

— Зря ты это... Харитон.

— Что зря?

— Катерину променял на какую-то старушенину. — Рыжов крутнул головой. — Зачем это? Ребята омрачели...

— Ты вот сам-то меньше омрачайся, а ребята, ничего, повеселеют, — с досадой сказал Харитон и направился к будке.

Появился Дымов и тихо, чтоб не слышали другие, спросил:

— Бригадир, Катя совсем, значит, от нас?..

— Она работала у нас временно. На ее плечах в колхозе огромная ферма.

— Нет, я просто... — Дымов не договаривал и, шевеля пальцами кудри, кашлянул, словно у него першило в горле.

Чуть в сторонке от будки Егор Чукин громко спорил со своим сменщиком Игнатом Фролкиным, плотным и мордастым парнем.

— Что у вас тут? — спросил Харитон.

— Да так... Ошалел сегодня что-то Егор. Придирается... Мало я выпахал за смену? Иди сейчас и за свою больше сделай, — сказал Игнат и, махнув рукой, ушел.

Егор, нагнув голову, молча зашагал в поле, окутанное вечерней мглой. Но вдруг обернулся, позвал бригадира.

— Значит, решил и добился своего, — сказал он.

— Чего добился?

— Мы выгоним из бригады старуху, — решительно заявил Егор.

— Что-о?

— Выгоним!

— Тебе, комсомольцу, Чукин, стыдно заявлять так! Даже позорно!

— А ты по-комсомольски и по-партийному поступил, единолично уволил Катю? А? — срывающимся голосом спросил Егор.

— Я ее уволить не мог, — сказал Харитон. — Это зависит не от меня, а от председателя колхоза.

— Знаем, все знаем, как и кем это решено, — продолжал Егор. — Заело, взяло за сердце тебя, Харитон? Пытался за Катей сделать мазу-мазу, а она за тобой ни разу...

— Ерунду ты порешь, Егор, не подумав, сгоряча... — сказал Харитон. — Нуждаешься в Катерине? Пожалуйста, в свободное от работы время прогуляйся к ней в Зыково. Туда недалеко...

— Мы без тебя знаем, где нам встречаться.

Харитон не утерпел:

— Но только не на машине, иначе, гляди, Дымов пятки тебе обобьет.

Егор выругался и пошел.

Харитон долго — уже поднялся из-за

холма месяц и на полях загудели машины — бродил неподалеку от будки. Зная упорный характер Егора, Харитон боялся, что Чукин подговорит ребят, и тогда ни в чем не повинную Марфу Ивановну могут выжить из бригады. «Ладно, — решил про себя Харитон, — коль Егор пойдет на такие штучки, посмотрим, будем ломать ему норов».

VI

На неровной проселочной дороге машину мотало, но Валдеев, как бы не замечая этого, ехал быстро. Машина у него открыта — с опущенным тэндом. Так ездил он и в дождь, и осенью, в стужу. «Люблю хватать свежий воздух» — говорил Валдеев и всегда торопился. Был он не в меру суетлив, горяч, а поэтому, как и все люди такого склада, в делах не все до конца додумывал. С тех пор как научился управлять газиком, Валдеев (вначале для форса, затем вошло в привычку) руль держал одной рукой — правой, а левая, словно лишняя, лежала на борту машины. В его позе, во взгляде и во всех его манерах и жестах заметна была привычка командовать. Он был слегка раскос, а у раскосого человека никогда не узнать по глазам, что он думает. Валдеев только год назад был переведен в Крутовский свиновосхоз из областного города, где занимал крупную должность. А теперь вдруг его назначили...

Въезжая в деревню Зыково, он дал резкий, с подвыванием, сигнал и прибавил газа. Машина вынесла его на длинную слободу с густыми ветлами напротив изб. С дороги шарахнулся рыжий теленок; куры, хлопая крыльями, разбегались в разные стороны; из перуелков выскакивали ребятишки, мелькая босыми ногами... Но вот под левым передним крылом машины что-то квокнуло, в воздух поднялись перья... «Ишь, чорт, спать подвернулась» — подумал Валдеев, ухмыляясь. И только на повороте из деревни он сбавил скорость и оглянулся, — далеко позади, подле раздавленной курицы, суетились ребятишки, а баба в малиновом платке угрожающе махала руками вслед машине.

«Разговору теперь будет на весь колхоз» — подумал Валдеев, и у него мелькнула мысль: вернуться, заплатить за курицу. «А-а... пустяки, мелочь» — решил Валдеев и прибавил газа. Дорога началась ровная, профилированная. Приятно обдавало июльским ветерком. И опять поля... Поля пшеницы, овса, нескончаемые и зеленые, как море, ржаные просторы... «Подожди, а чья это зона? Блинова или Зубкова? — спрашивал себя Валдеев, шурясь. — Да, это владения зубковской бригады. На вид Зубков тихоня, а поля обработал ишь — картинка! А вот с двойкой пара что-то захряс... Невнятные дает показатели. Гм... А с бабой поварихой у него, видеть, вышло что-то неладное».

Валдеев так нажал на тормоза, что они запищали. Машину круто повернул влево. Спустился в лощину с дубовым кустарником на склонах. Тут было душно, воздух неподвижен; от жары затаились, молчали даже птицы. Валдеев повернул машину и, выбравшись на холмик, зорко оглядывался по сторонам. Вдали, в конце ложбинки, на черном фоне взрыхленного тракторами пара, над которым зыбко струилось марево, одиноко стояла зеленая будка. Дороги туда не было — распахали. Пришлось возвращаться, осторожно ехать краем лощины, а потом комковатой пахотой.

Он с трудом добрался до будки, остановил машину, заглушил мотор. В радиаторе шумело, как в поспевшем самоваре. Навстречу Валдееву, не в пример другим бригадам, никто не вышел. В стороне от будки, на лужайке, под трактором, лежали навзничь двое, гремели инструментом и потому, должно быть, не слышали, как подъехал директор. В одном из них по рыжик и вихрастым волосам Валдеев узнал бригадира Харитона Зубкова. Он дал резкий сигнал. Харитон вылез из-под трактора неспеша и так же неторопливо поднялся, вытирая паклей темные от масла руки. Он был в черном молескиновом комбинезоне, из широкого кармана которого торчали концы плоскогубцев и книга.

Не сходя с машины, Валдеев поздоровался с бригадиром за руку и, кивнув в сторону трактора, спросил:

— Что там у тебя?

— Масляный насос шалил, — ответил Харитон, — и кстати подшипники перетянул.

— А где же народ?

— У холма... работают. А те, которые утром сменились, спят.

— Кто там у трактора?

— Глубоков Андрей, сменщик Дымова.

— Это которого Дымова? Что пьяный драку сочинял?

— Да, было с ним такое дело.

— Кто у тебя лучший в бригаде? Как его... Чукин?

— Он. А последнюю неделю вровень с Чукиным идет Дымов.

— Сколько дают за смену?

— Пять с половиной, а иногда и шесть.

За свою недолгую работу директором Валдеев только третий раз видел бригадира Зубкова. Глядя на него, он как бы хотел сказать: «Прежний директор Крупицын считал тебя лучшим бригадиром, а вот, как еще я тебя буду ценить, это еще...».

— Я хотел беседу провести, — сказал Валдеев.

— Иван Нилыч, проведите ее со мной, — посоветовал Харитон, — я все точно передам бригаде, будьте покойны. А будить ребят не хочется... Легли недавно, в ночь опять заступят работать. Поднимем их сейчас, а они, не выспавшиеся, злые, слушать вас будут плохо.

— Ну, ладно, — согласился Валдеев и добавил: — Место для стана ты выбрал неудобное. Едва добрался к тебе. Машину перегрел...

— Нам тут очень даже удобно. Вода почти рядом, и горячее подвозить сюда ближе.

— Говоришь, все удобства? А с двойкой пара, милый мой, отстаешь?

— Выравниваемся. И перегоним...

— Слова, обещания, Зубков, оставь для себя, а мне нужны показатели пахоты. Соревнование с четвертой бригадой подписывал? А что на деле? Скорость на одном месте, как у топтыги-медведя? Тебе дали работу в самом крупном у нас колхозе.

— Ничего, Иван Нилыч, не подведем! Опять, как и в прошлом году, раньше блиновской бригады закончим, — заверил Харитон.

А директор, стуча ладонью по борту машины, заговорил еще резче:

— О твоих успехах прошлого года я слышал. Что прошло, то миновало. Прошлым годом ты не обнадеживай себя. А вот в чем сейчас у тебя причина? Надо к уборке зерновых готовиться, а ты еще с паровым клином мямлишь.

— От других бригад мы пока сильнее не отстали, — заявил Харитон. — Тут мы...

— Мы, мы! — Валдеев скривил губы. Ему не нравилось, что Харитон говорил от имени бригады. — Я тебя, а не бригаду, спрашиваю, почему затянул двойку пара?

— Одно время, когда директором был еще Крупицын, запасных частей нехватало. А главное — бытового непорядок в бригаде.

— Нет, милый мой. — Валдеев чаще застучал ладонью. — Причины... не умеешь думать масштабово... Перед тобой какая должна стоять цель? Блинов, к примеру, выработал четыре тысячи гектаров, а я, мол, должен обязательно дать пять или больше. А сколько выработано в бригадах, вместе взятых? Столько-то. А на каком показателе соседние МТС? А как наша станция выглядит в областном масштабе? — Валдеев, возбужденный собственными словами, прищелкнул языком. — Понял, куда и как надо держать взор? А ты, милый мой, тонешь... в мелочных заботах плаваешь и только в них находишь причину, что сработано мало. Масштабово имей стремление.

Харитон вынул из кармана плоскогубцы и, рассматривая их, сказал:

— «Масштабовое» тоже складывается из мелочей... На одном голом желании далеко не уедешь.

— Верно. Так, так... — зачастил Валдеев. — Но цель тебе ничто не должно застит.

— Цель ясна — не на чужого дядю работаем. Да вот...

— Бытовые неполадки? — подхватил

Валдеев. — Слушай, а что у тебя за вслынка получилась с поварихой? Этой, как ее...

— Катерина Лотова, — подсказал Харитон.

— Нехорошие ходят слухи. Что было у тебя с Лотовой?

— Катерина в быту бригады оказалась непригодной, — пояснил Харитон. — Я попросил предколхоза Иванкова, чтоб он убрал ее от нас. Вот и все.

— И только?.. — Валдеев сощурился испытующе. — А мне вот известно: ты к ней навязывался на любовь. Она тебе отказала, и ты ее выгнал из бригады. Так?

— Нет, Иван Нилыч... — Харитон досадливо метнул взглядом в сторону. — Это брехня!

— Что же, значит, человек из твоей бригады, заявивший мне это, лжет?

— А кто вам заявил?

— Безразлично... Кто бы ни заявил. Значит, он лжет?

— Да! Факт! Катерина была в бригаде... Да что там! Я и слушать, и говорить не хочу о том, что вам наболало бонил кто-то.

— Говорить?.. Почему же? Нужно во всем иметь ясность. А она, видать, баба лихая? — с ухмылкой спросил Валдеев. — А?

Харитон молчал, побагровев от обиды, поник головой, плотно сжал губы. И только когда директор попросил без опозданий давать декадные сводки о пахоте и, ерзая пальцами по баранке руля, приготовился ехать, Харитон сказал:

— А мы, кажется, пока ни разу не опаздывали.

— Беседу с трактористами нынче же проведи, — напомнил Валдеев. — План уборочной проработали?

— Да, — скупно ответил Харитон.

В это время в двери будки, махая полотенцем, показалась Марфа Иванова. Она выгнала мух, затем тихонько закрыла за собой дверь и торопливо пошла к дымившему очагу.

— Это что за старушонка? — спросил Валдеев.

— Новая наша повариха.

— А-а, эта самая...

— Что эта самая? — с трудом сдерживая в себе гнев, переспросил Харитон.

— Пришлось, как говорится, сокола на ворону променять.

— Мы так не думаем.

— Ну это... — Оскалив редкие зубы, Валдеев рассмеялся и завел мотор. — Тебе, Зубков, виднее. В бригаде ты хозяин. — Кивнув головой, на ходу машины подал свободную левую руку. — Ну, всего!.. А ребят, слышишь, накачай крепче!

Миновав ложбинку, машина повернула на хорошо накатанную дорогу, удаляясь плавно и почти неслышно, только упруго шипели колеса, все больше разматывая за собой хвост пыли.

VII

Весь остаток дня Харитон чувствовал какое-то беспокойство. Он вновь залез под трактор, разговаривал с Андреем Глубоковым, энергично работал, а думал неотстанно о другом. Он внутренне горячился и даже пожалел, что не поругался с директором. Кто же из бригады возвел на него поклеп? Егор или Дымов? Подтягивая подшипник, Харитон сильно, до крови, сбил палец, — этого с ним почти никогда не бывало. Он выругался, зажал палец губами, отсосал кровь, рану перевязал чистой тряпичей.

Из-за будки, где спали в тени трактористы, поднялся Дымов. Краснолицый спросонья, глаза припухшие, волосы взлохмачены. Он должен был стать на работу в ночь, но забота тревожила его, и он не утерпел, проснулся и пришел помочь ремонтировать трактор. Он опоздал: Харитон закреплял последние гайки на картере, а Глубоков Андрей, успев уже наскоро поужинать, заправлял машину.

— Чего у тебя, Харитон, с пальцем? — спросил Дымов.

— Да ты вот и Андрей виноваты, — с досадой ответил Харитон. — Ключи у вас потеряны. Плоскогубцами, видать, крутили гайки, а они теперь и своего ключа не слушаются. Хотел гай-

ку силой взять, да и сбил палец. Инструмент в нашем деле — важная вещь. Его надо держать в ящике, под замочком. Мы его бережем, а он — наши руки. Даже, может быть, нашу жизнь...

— А причем тут жизнь? — удивился Андрей.

— При том же самом. Начнись, к примеру, война, — где мы будем служить? Факт, на броневике или на танке. И вот тебе в боевой обстановке: случись что-либо с машиной, а ты по околенным гайкам ключом тыр-мыр, тыр-мыр... и все на одном месте. А в это время враг не будет тебя ждать — возьмет на мушку.

— Полудноймовый ключ у нас спер Макар, чертяка! — сердито сказал Дымов. — Он всегда так и шныряет по чужим ящикам. Завтра исправлю замок...

— Правильно! Пусть тогда Макар замок понюхает, — заключил Андрей и, заведя мотор, вскочил на машину и уехал.

Харитон и Дымов закурили.

— Директор у нас недавно был, — сообщил Харитон. — О тебе, Сеня, спрашивал: «Как, говорит, Дымов-буян больше не выпивает, драки не сочиняет?». А я ему говорю: Дымов давно забыл, как и водка-то пахнет. «А как работает?». Давно, говорю, нормы выработки опрокинул, идет вровень с Чукиным, а вчера на полгектора дал больше. «Угу! О премиях лучшим трактористам, говорит, надо подумать». Сведения, говорю, мы вам все даем четко, а заботиться о премиях ваше дело.

Дымов носком сапога шевелил прутик, затем поднял его, рассматривая. Потянулся, глядя куда-то в сторону. Он почувствовал прилив гордости. Было и неудобно, и очень приятно слушать бригадира.

— Слушай, Харитон, у меня к тебе дело, — вдруг сказал он: — Сегодня ночью я перееду на новый, большой участок. И если я его начну пахать всвал, чтоб никаких огрехов на углах не оставалось... Получится экономия времени и горючего, а качество будет лучше, чем пахота вразвал.

— Это верно. Хорошо, делай так, — сказал Харитон и, уходя к рукомойнику, подумал: «Попер паренек, только бы не заноровился».

Дымов, бодро насвистывая, спустился к ручью. «А, может, она действительно нынче придет?» — подумал вдруг он и невольно оглянулся на холм, в сторону Зыкова. Он улыбнулся. Ему хотелось, чтоб повторилось вчерашнее... Вчера, поздно вечером, Дымов работал на склоне холма. Дорогой, пересекая поле, тихонько шла Катерина. Пристально вглядываясь, она вдруг свернула на вспашку, подошла ближе... Дымов остановил трактор.

— Сеня, это ты? Здравствуй!

— Здравствуй! Откуда так поздно?

— Из Веселых Прудов, родителей проводывала. Да вот на тебя и наскочила, — Катерина звучно рассмеялась. — С приходом старухи, небось, в бригаде поскучнело?

— Некогда скучать, — сухо ответил Дымов, — днем спим, ночами работаем, а другие — наоборот...

— К нам в Зыково что же не приходите?

— А ты сама бы к нам... — предложил Дымов. — Ушла — и сразу заблала...

— Разве вас, чумазых, забудешь? — И, улыбаясь, Катерина добавила: — Работы на ферме много. Да вот на пять дней в Москву ездила. Гостила у сестры, студентки.

— Во-он как! На кого учиться?

— Вначале хотела на агронома... кажись, всю жизнь хочет познать! Была простая, темная девка и пастухова дочь, а теперь... Она мне говорит: «Учиться любой специальности никому не заказано. Наоборот, толкают на это людей». И верно. Прошлую зиму меня сильно выдвигали в область, на курсы зоотехников. А я, дура, не поехала. Ну, прощай, Сеня. Заглядывайте в Зыково.

— Спасибо. Лучше ты к нам. У тебя со временем вольготней.

— Что же, я не гордая, — сказала Катерина, — могу притти, да что толку-то? Прильнуть к тебе нельзя. Ишь, какой грязный, не узнать!.. А если зайду, покатаешь на своем рычале?

— Почему же? Пожалуйста, — сказал Дымов.

— Значит, перестал обижаться на меня? — допытывалась Катерина. — Ну, ладно, проверю... Зайду как-нибудь. Может, завтра.

И она ушла.

Дымов завел мотор, включил скорость, сделал полкруга и все оглядывался в ту сторону, где скрылась в сумраке Катерина.

Зачем она приходила? Искала Егора? Нет, пошла вроде прямо в Зыково.

VIII

Харитон вымыл руки, затем ушел к перелеску, сел на бугорок и вынул из кармана комбинезона «Тараса Бульбу», блокнот и карандаш. Хотел записать план беседы с трактористами. Но, вспомнив о директоре, он поморщился, блокнот отложил и долго, раздумчиво глядел в даль полей. Был конец дня, а в воздухе — все еще душно, но уже пахло упавшей в травы росой и бодрящим духом земли. Со стороны перелеска потянуло прохладой, зазвенел первый комар. Марфа Ивановна с кувшином в руке торопливо спустилась к ручью. От будки поднялись Макар, Егор... Вразвалку, лениво спросонья, они шли с полотенцами на плечах к ручью. Чего же все-таки Егор настроичил директору? Таких штук от него нельзя было ждать... А, может быть, Валдеев сочинил? Ну, и пусть... Главное, чтоб человек сам себя чувствовал честным, ни в чем не запачканным. От глупой своей мысли — выгнать из бригады Марфу Ивановну — Егор, видать, окончательно отказался. Да ему это и не удалось бы.

...Марфа Ивановна за короткое время расположила к себе трактористов своей материнской заботливостью. Она суетилась в заботах и день, и ночь, и неизвестно, когда успевала высыпаться. Стряпухой она оказалась замечательной. Супы готовила вкусные, с душистой приправой — перцем, петрушкой, лавровым листом... Всю неделю она старательно и бережно собирала со стола корочки черного хлеба и сушила их.

— Бабуся, для себя на зиму готовишь? — спрашивали ее. — Режь от целого хлеба и суши...

— Нет, сынки мои, я обеспечена вдоволь и хлебом, и пышками-лепешками, — говорила Марфа Ивановна. — А вот собираюсь я заварить... Нет, старой бесчестно бахвалиться. На первое время, пока не освоится посудина, может, ничего и не получится. Сынки, как бы мне кадушечку или какой-нибудь бочоночек раздобыть? Постарайтесь...

Митрофан и Дымов пообещали завтра же достать бочку. Но прошло два дня... неделя, — никто ничего не сделал.

Готовя завтрак, Марфа Ивановна вымыла большой кусок свинины, положила его на стол, а сама ушла в будку. Вернувшись, она развела руками и ахнула: пестрая, лохматая и наглая собака на глазах Марфы Ивановны схватила со стола свинину и кинулась в сторону перелеска, в кусты... Марфа Ивановна долго ругала себя. Свинину на завтрак пришлось взять из обеденной порции. Весь этот день Марфа Ивановна была вспыльчива, сварлива, не рада себе.

Перед обедом трактористы мыли в ручье грязные и замасленные руки и вытирали их единственным полотенцем, служившим у Марфы Ивановны для посуды.

В другой раз Марфа Ивановна пожурила бы трактористов, поворчала бы — и все. Но сейчас она резко вспылила и начала кричать, глаза стали злые, руки дрожали.

— А чем мне теперь посуду перетирать? Эх, недотепы чумазые! Уйду! Уйду от вас!

И, возможно, она ушла бы из бригады, если бы Харитон не сумел с ней договориться.

— Нет у вас порядка! Нет!.. — ворчала Марфа Ивановна. — Слова пускаете на ветер...

— Какие слова? — удивился Харитон.

— Бочонок обещали, а где он? В подоле, что ли, я сварю квас!

— Завтра, Марфа Ивановна, достану бочонок, — твердо пообещал Хари-

тон. — Завтра же добуду и новое полотенце. Сказано — сделано.

— Хвали, парень, утро днем, а день вечером, — сказала Марфа Ивановна.

А на следующий день, когда привезли из колхоза большую дубовую бочку с медным краном, Марфа Ивановна всплеснула от радости руками. Она полдня выпаривала бочку кипятком, бросала в нее листья дикой смородины и чебрец, чтобы выгнать запахи. Затем она попросила закопать бочку где-нибудь в тени, в прохладном месте. Трактористы сделали в чаще кустов погребок, вкатив туда бочку, шутили:

— Бабуся Марфа, самогоном скоро угостишь? Давай только крепче!

— Да что вы, сынки милые... От самогона, кроме одури в голове, ничего не бывает. А я вас угощу... Ох, не знаю, будет ли удачен сразу? Не удастся, второй раз сделаем, руки-то у нас свои!

Дня через три Марфа Ивановна угостила красным квасом, крепким, густо и ароматно пахнущим чебрецом. Загорелые, мордастые, чумазые и сильные трактористы выпивали по кружке-другой и, покрываясь от удовольствия, помужичьи, кулаком утирали губы. Но особенно была хороша в изнурительно жаркие дни окрошка из чебрецевого кваса с присоленной слегка говядиной, мелко порезанными печеными яйцами, луком, укропом...

...От будки кто-то во все горло закричал:

— Ха-ри-то-он!

По перелеску бодро грянуло эхо и постепенно замерло в конце ложины.

«Ужинать кличут». Харитон поднялся. Солнце уже село, читать в сумерках было плохо, буквы сливались, напряженно рябило в глазах, но Харитон не мог оторваться от книги. Он был полон новой, неиспытанной прежде, силы и ярости, словно готовили казнь на костре не Тарасу, привязанному цепями к стволу дерева, а ему, Харитону; и словно грозные последние слова произнес не Тарас Бульба, а он, Харитон, готовый бесстрашно перенести любую пытку и крикнуть миру правду о своей силе.

IX

Ужинали при свете фонаря, висевшего на столбике напротив длинного стола. Вокруг фонаря толклась мошकारа и трепетали мелкие ночные бабочки.

— Бабуся Марфа, не надо, не подливай, — не хочу больше.

— Хороший кулеш всегда сытнее ешь, а работай потом, сынок, ретивее.

— Бабуся, мы думали, ты одна-одинешенька, а у тебя, оказывается, есть сын?

— А как же, — подхватила Марфа Ивановна, подавая ломти хлеба тем, кто сидел подалше. — Только мой Захарушка далеко-далеко... Нужно проехать Байкал-озеро, потом дремучие леса, вот там мой Захарушка и служит. Там, говорит, орда подлая все время грозитя. И как чуть что, Захарушка мой на-чеку, ружьецо наперевес и стоит, глядит в оба глаза.

— Пишет он тебе?

— А как же? Матери родной да не писать? Ему тогда и счастья ни в чем не будет. Денег мне часто присылает, не только что... А прошлым летом приезжал на побывку... Представительный, собран чисто, нарядно. Фуражечка на нем зеленая, сапожки ясные и в самый ему аккурат, а грудь так вся и горит разными орденами-медалями...

— За что же его наградили, бабуся?

— За что? Рассказывал про свои геройства... да разве я все упомяну? Один раз, говорит, напали на него десять или больше врагов... Близко, говорит, подойти бояться, а сидят за камнями и постреливают в моего Захарушку, а он — в них. Но он один, а их много. Что тут делать? Глядь, они начали в него бомбы кидать. А я, говорит Захарушка, на лету схвачу их бомбу да в них... обратно в них. И всех их побил, полоротых, ихними же бомбами.

— Вот это отважно, как Тарас Бульба! — не утерпел Харитон.

Макар, смеясь, фыркнул над тарелкой. Пашка Рыжов, качая головой, со смешком заметил:

— Бабуся, тут твой Захар залил... про бомбы наврал.

— Наврал? — удивилась Марфа

Ивановна и поправила на голове платок. — Да за вранье разве ордена-медали дают? А у него вон их сколько... Три. И все почетные.

— Верно, бабуся, — сказал Харитон, отодвинув от себя пустую тарелку.

Со всех сторон возражали:

— Брехня, так не бывает...

— Бомбы на лету ловить? Да что вы...

— Нет, бывает! — заверял Харитон.

— Егор!.. Сеня! Дымов! Да тише, ребята! — кричал Харитон. — Я поясню... Многие из вас еще не были в армии, а я служил на Дальнем Востоке. Бывает так... Только нужно иметь в себе упорство, смелость поймать на лету вражескую бомбу и мигом, пока она не успела разорваться, бросить ее обратно.

— Вот, вот, Харитоша, — подхватила Марфа Ивановна, сразу повеселев лицом. Она прибавила свет в фонаре. — Так и Захарушка мой пояснял. А вы, сынки, накинудись на меня! Да разве мне, старой, можно врать?

— Сегодня был у нас директор, — сказал Харитон. — Что же, говорит, с работой захрясли? И прямо надо признать, что пока дела наши не геройские... Надо кончать пахоту пара и готовить машины к уборочной, под комбайны. Блиновская бригада, говорит директор, выходит на первое место.

— Неверно! — крикнул Пашка Рыжов. — Я вчера заходил к блиновцам. У них вспахано меньше, чем у нас... Сами мне заявили.

— А может, они тебе нарочно, для отвода глаз, так заявили, — сказал Митрофан, — чтоб наш напор на работу остыл, а они этим временем... дадут показатели — стыдно нам будет!

— Ихние ударники не дают такой выработки, как наши... Как Егор или Дымов!

— Надо всем ударять, тогда...

— Днем жара стоит оголтелая, — сказал Макар, — машины сильно нагреваются и устают, а то бы мы...

— Жара и для блиновцев, небось, жара...

— Надо ночи использовать в полную нагрузку, — сказал Егор, — соревнование между собой повысит, вот тогда

мы и докажем блиновцам в общем и целом. Я вызываю Дымова: выпаживать за смену шесть с половиной гектаров.

— А заправщик как у нас будет?

— Общий, — сказал Харитон, — что для тебя, то и для Егора.

— Тогда ладно, принимаю, — согласился Дымов.

Марфа Ивановна сходила за квасом; поставила на стол огромный, слегка вспотевший глиняный кувшин. А вокруг — гомон, спор, и, как всегда, всех задорней кричал суетливый Макар:

— Что нам блиновцы? Не те у них козыри!..

— Макар, ты лучше скажи, какие твои козыри? — спросил Харитон.

— Мои... Я что же? Могу... Пашка! Рыжов...

Спорили, договаривались, затем опять говорил Харитон, умело подзадоривая каждого. Потом, как и всегда после ужина, один за другим ушли от стола к костру курить. Марфа Ивановна погасила фонарь и тоже пришла к костру. Сев на чурбачок, она начала мыть и вытирать тарелки, ложки...

— Бабуся, а ты чего же там-то, у стола?..

— Керосин тратить зря жалко, а тут, у костра, свет дармовой и веселее с вами.

— Керосина у нас — хоть залейся.

— Керосин — не вода, денег стоят...

Меднолицые от света костра трактористы шутили, смеялись. Пашка Рыжов сбежал к будке и принес кривую саблю. Все поочередно начали рассматривать ее.

— Что это?

— А я и сам не знаю, — сказал Пашка, — выпажал сегодня на холму...

— Поржавела сильно, — сказал Харитон, — ишь, ржавчина слоями отстает. Ребята, эта штукавина, видать, осталась от битвы с татарами, от времен ита.

— Интересно, неужели битвы с татарами были и на Сторожевом холме?

— А как же? Были, по всей этой округе были, — сказала Марфа Ивановна.

— Бабуся, а ты что — книги читала?

— Нет, грамотой я с малых и до старых лет обижена.

— Откуда же знаешь про битвы?..

— Девчонкой от стариков слышала, а теперь и мне на седьмой десяток перевалило. Да и бесчестно, сынки мои, человеку ничего не знать и не помнить о прошлом... Не знать о землях, по которым мы ходим, и о своих предках. Места наши знаменитые, а прадедушки наши дожим героизмом отличались. В их честь вот и Куликовская башня горит своим куполом. Давно это было. Вторгся на наши земли разбойный Мамай. Жить стало сумрачно, словно солнышко навсегда погасло. Поборы, грабежи, разбой вокруг... Терпелив наш народ, да и терпеть уж стало нельзя. И вот со всей Руси собралось тогда войско великое. Встретилось оно неподалеку от Непрядвы и Дона-батюшки с татарским войском, лихим, злым. Орда татарская совсем уж стала одолевать русских! Но в это время подоспели из-за леса-дубравы наши мужики и побили, прогнали врага. Бежал и сам Мамай. С тех пор жить народу совсем бы стало вольготно, да чорт подвел...

— Какой чорт? — недоуменно спросил Сеня Дымов.

Марфа Ивановна чистые тарелки и ложки уложила в котел, накрыла все ветхим полотенцем.

— Если не надоело, расскажу и про чорта.

— Давай, давай, бабуся, — просили со всех сторон.

В тлеющий костер Макар сунул хвостинку, она вспыхнула и затрещала.

— Не мешай! — И, толкнув Макара в плечо, Дымов выхватил из пламени хвостинку и откинул ее в сторону. — Бабуся Марфа, говори.

— Ну вот... — Марфа Ивановна поправила чурбачок, чтобы удобнее было сидеть. — Жил-был лютый царь Иван Грозный. Однажды явился к нему чорт, рогатый, косматый и здоровущий. Начали они спорить, кто из них сильнее. Царь говорит чорту: «Я владею всей Русью, а ты чем?». А чорт ему в ответ: «Все равно, тебе со мной силой не

тягаться!». Иван Грозный был царь хитрый и злобный. «Ладно, — говорит он чорту, — порешим наш спор так: дам я тебе мешок с кладью; если донесешь его на край земли, значит, ты сильнее, а не донесешь — сила на моей стороне». Чорт подумал, подумал и согласился. Взвалил он огромный мешок себе на горб и понес. Шел чорт несколько дней и ночей. От Москвы до наших мест добрался, вспотел, крихтит, а в силе своей никак не хочет уступить царю. Но потом совсем изнурил его проклятый мешок. Чорт рассердился, да как кинет мешок на землю, тряхнет его... А в мешке том были помещики, много-много... Высыпал чорт из мешка всех помещиков, они и расползлись, как вши, в разные стороны, на все губернии: Тульскую, Рязанскую, Орловскую... В каждой деревне объявились потом помещики, где один, а где и два. А от них после развелись гниды — кулаки. Вот с тех пор наш народ и чахнул от нужды. Столько эти вши и гниды мужичьей кровушки попили, — при Куликовской битве меньше ее было пролито... — заключила Марфа Ивановна, покачав головой.

— Со смыслом сказ, — заметил Егор и, выкатив прутиком из костра розовый уголек, прикурив, густо задымил погашшей было цыгаркой.

— Бабуся, еще что-нибудь расскажи, — просил Дымов.

— Что знала — сказала, а врать не хочу, — ответила Марфа Ивановна.

— В нашей библиотеке-передвижке есть сочинения поэта Блока, — сказал Харитон. — В его книжке — стихи о наших местах, про Куликовскую битву...

— А ну-ка, — сказал Макар, глядя на звезды, — что пишет там Блок...

— Принеси, Харитон, прочитай, — просил Егор.

— Давай, давай, — торопил разгоряченный Дымов.

Харитон сходил в будку и, чиркая там спичками, разыскал на полочке небольшую книжечку. Дымов тем временем сбегал к столу, зажег фонарь и принес его к угасшему костру, вокруг которого сидели и лежали трактористы.

— Свети ровнее. — И, перелистав крупными пальцами книжечку, Харитон, щурясь, начал читать:

В ночь, когда Мамай залег с ордою
 Степи и мосты,
 В темном поле были мы с Тобою. —
 Разве знала Ты?
 Перед Доном темным и зловещим,
 Среди ночных полей,
 Слышал я Твой голос сердцем вещим
 В криках лебедей.

Харитон незаметно для себя руку с книгой поднимал выше, ближе к свету, глаза его округлились.

Орлий клеток над татарским станом
 Угрожал бедой,
 А Непрядва убралась туманом...

Читал Харитон ровно, не повышая голоса, четко выговаривая каждое слово.

И когда наутро, тучей черной,
 Двинулась орда,
 Был в щите Твой лик нерукотворный
 Светел навсегда.

Марфа Ивановна сидела неподвижно, по-старушечьи опершись подбородком на ладони.

— Сразу не все, вроде, и понятно, но стих очень задушевный, трогательный. — Она кивнула головой. — И про Дон и Непрядву не забыто.

— Верно, стих за душу берет, — сказал Дымов, присев на корточки к костру.

Наступила минута молчания, когда душевные разговоры окончены и пора уже расходиться, но все еще чего-то ждут, какого-то последнего слова.

Макар подложил в костер дров, они ярко разгорелись, а ночь, казалось, сразу стала темнее. Отчетливо было слышно ржанье лошадей в колхозном табуне за лощиной, ровный рокот тракторов на холме... Но вот откуда-то издали послышался гул, затем стала ощутима нарастающая дрожь земли... Стук, ускоренное громыание, шумный такт колес... И вновь звуки постепенно начали сливаться, гложуть...

Егор первый поднялся от костра, расправил широкие плечи.

— Пассажирский промахнул.

— Да, — сказал Дымов и тоже встал, потягиваясь. — Время итти к машинам, сменять ребят...

Х

Светил полный месяц. Поспевающая рожь сливалась вдали с туманом и походила на нескончаемые пространства воды. Ночь была душная. На пару гудели машины, но в облаках пыли их не было видно.

Дымов чувствовал себя сегодня сильным, бодрым. Он поднялся на бугор, постоял, прислушиваясь к звукам трактора. «Подшипники Харитон перетянул надежно. Теперь долго не затараторят». И, глядя по сторонам, — нет ли где огрехов, — Дымов пошел навстречу грохотающей машине.

Андрей закончил опаживать углы и направлялся уже на новый участок, смежный с егоровым.

Дымов вскочил на машину.

Сильно запыленный Андрей обернулся, знакомо сверкали его зубы и блестели глаза.

— Ошибку сделали! — кричал Дымов Андрею на ухо. — Надо бы с утра нажимать на работу! Переезды на новый загон отнимают ночью времени в два раза больше, чем днем!

Андрей, соглашаясь, тряхнул головой, и с его фуражки и с черных оттопыренных ушей посыпалась пыль.

А когда приехали на новый огромный участок, Дымов внимательно осмотрел трактор, дышащий теплом и гарью.

— Все в порядке, — сказал Андрей, — недавно заправлял...

— Крылья-то особо не надо, а мотор протирай лучше, — учил Дымов. — И давай навсегда иметь уговор: я тебе сдаю машину чистенькой, и ты мне... чтоб тоже блестела.

— Пылища страшная...

— Значит, не надо протирать? Попробуй недельку не умывайся — запаршивеешь, лупиться начнешь. А машина как?

— Ладно тебе... поучать-то!

— Как это ладно? Отвечаем за все

вместе? А где я неправ, пожалуйста, указывай. Машина — как ты к ней, так и она к тебе.

Дымов завел мотор и сказал Андрею, чтоб тот, указывая путь первой борозды, шел впереди машины, серединой загона.

— Всвал буду пахать! Понял? — кричал Дымов, ведя яростно рычавшую машину.

Трактор работал ровно и послушно. Но пахать всвал было непривычно, и Дымов внимательно смотрел на правое переднее колесо, шедшее все время бороздой. За машиной тянулось бурое облако. Первое время Дымов чихал от пыли, а потом незаметно притерпелся. Порой гул машины вдруг усиливался — приближалась егорова машина. Далеко на бугорке, рядом с кустом полыни стоял кто-то в светлом... Катя? Да, должно, она. Неужели она, Катя? Ага, пришла... Дымов повел машину на повышенном газу. Он вновь взглянул на бугорок, но там никого уже не было. Что такое? Двоится в глазах? Остановив машину, он долго и с удивлением вглядывался и наконец рассмотрел: на бугорке — куст полыни, казавшийся под лунным светом необычайно высоким. Дымов с досадой махнул рукой: «Не пришла, и не надо». И он еще настойчивее повел машину, пожалев уже, что останавливался.

Была поздняя ночь, а духота все еще не спадала.

Гудение трактора вновь усилилось. Дымов, глянув вправо, увидел егорову машину, ползшую в такой же непроглядной пыли, и ему сразу стало как бы легче дышать. На подъеме он прибавил газа. Машина зарычала яростнее, направляющее колесо ровно шло бороздой. Седой куст полыни, который Дымов прежде принял за Катю, с каждым новым кругом по загону приближался. Еще четыре-пять кругов — и трактор сомнет колесами полынь, а плуг подрежет ее и завалит шуршащей землей. Ярко светит месяц над ложиной. Мысли приходят несвязные: «Да, да... Вот в такой же, может быть, ложине за камнями сидели нарушители границы, а напротив них, в овражке, — Захар...

Враги одну за другой начали бросать в Захара бомбы, а он на лету ловил их и кидал обратно. Вот, действительно, герой! Позавидовать можно...».

Во рту Дымова сухо, на зубах скрипит пыль. Сходить к ручью папиться? Туда и обратно — полтора километра, значит, вспашешь на три круга меньше. Луна опустилась совсем низко, стало сумрачнее. Однообразное гудение машины притупляет внимание; неудержимо клонит ко сну. Дымов поет, протяжно кричит, но почти не слышит своего голоса, заглушаемого гулом машины. Трактор он ведет левой рукой, а правой, как бы разгоняя духоту и пыль, машет над собой. Затем правой рукой держит руль, а одеревяневшей левой машет. Но все это плохо помогает. Дымову вспоминается вдруг Катерина, как та приносила обедать к машине и рассказывала о трактористе, кандидате в депутаты Верховного Совета...

От изнуряющей духоты, пыли и гула у Дымова ломит в висках; неудержимо слипаются веки. «Пить, пить». И Дымов останавливает машину. Вокруг тишина, только вдали, кажется, все настойчивее гудит трактор Егора. «А я выдержу или нет?» — размышляет Дымов, прибавляет постепенно газ и включает скорость. Луна скрылась. На востоке занимается заря.

В горле пересохло, в голове — тупая боль.

Дымов ничего уже не замечает вокруг, с напряжением следит за колесом, идущим бороздой. Чтоб хоть на минуту отогнать сон, он через силу вскидывает голову и, заглянув вправо, сразу, как бы омытый холодной волной, широко открывает глаза. «Идет, пришла...». Дымов глушит мотор и прыгает с машины.

— Рад тебе, бабуся Марфа, как счастью, — сказал он осипшим голосом.

— Сынок, а ты кто? — спросила Марфа Ивановна, вглядываясь и не узнавая сразу Дымова. — Ох, батушки, Сеня, как ты запылится, лица не видно.

Дымов нетерпеливо и молча взял из рук Марфы Ивановны тяжелый и хо-

лодный кувшин и бережно поднес его к губам.

— Сынок, сразу много не пей, на ноги сядешь. Ты из кружки...

Дымов, расставив широко ноги, стоял недвижимо, затем опустил кувшин, удовлетворенно и шумно передохнул.

— Ну, а теперь, бабуся, — сказал он, — давай попою из кружки, и потом хоть сутки еще работать без отдыха.

— Ночь нынче небывало душная, — сказала Марфа Ивановна. — А тут, на машине, небось, и вовсе пытка. Сильно умаялся?

— Пыль нестерпимая, а это хуже всякой духоты и жары, — ответил Дымов, отпивая из кружки квас небольшими глотками.

Егор работал спокойнее, терпеливее Дымова. За всю ночь только один раз останавливал машину, внимательно осмотрел ее и затем, встав на сиденье, поглядел в сторону Дымова. Сначала ему казалось, что Дымов водит машину по одному месту. «А-а, чорт, в эту смену Дымов, должно, перехлестнет меня. Молодец, всвал ночью пашет» — решил Егор. К духоте он как-то сразу притерпелся, но клубившаяся над машиной пыль изнуряла. И нос, и рот Егор перевязал было носовым платком, но сейчас же бросил его — через платок тяжело было дышать. В середине опуханного круга, становившегося все меньше и меньше, бегал заяц. Ступить на вспаханное он почему-то не хотел. Егор внимательно вел машину, часто взглядывал на зайца и нарочно думал о нем, чтоб отвлечься от духоты и терпкой пыли. К полночи нестерпимо начала мучить жажда. «Вот когда бы сюда Марфу Ивановну с кувшином кваса» — размышлял Егор. Он не заметил, как из тихого ржаного моря вышла Катерина. Она была в светлом платье, но сейчас же, ступив на вспаханное, чтоб быть незаметной, развернула черный и легкий платок, накинула его на себя. Долго и пристально вглядывалась, затем побежала. Она легко и незаметно вскочила на машину, положила руку Егору на плечо. Тот удивленно обернулся; оскалив в улыбке белые зубы, выключил скорость.

— Не надо, не останавливай, — сказала Катерина, — а то опять рыжий Харитон заявится...

Катерина стояла позади Егора на дрожавшем железном полу. Одной рукой она придерживала платок, другой, играя пальцами, опиралась на егорово плечо. Наклонившись над самым ухом, крикнула:

— Нынче ты не ждал меня?

Егор кивнул головой, на подъеме переставил скорость. Мягкие и подвижные катеринины пальцы нежно ощупывали егорову шею, теребили волосы. Егор, казалось, перестал замечать духоту и пыль, дремота пропала. И за рулем сидел он теперь прямее, голову держал выше.

Катерина достала из кармана огурец и сунула его Егору в рот. Огурец молодой, сочный, пахучий.

— Чего же ты не приходишь ко мне в Зыково?

— Днем вроде не к чему и ты занята, — сказал Егор, — а ночью, видишь вот, рулим.

— А ты рули днем, ночью пусть Игнатка работает.

— Игнат плохо ночью работает. Огрехов много...

— Ну, приходи как-нибудь и днем, прямо на ферму. Я всегда там... Такими сливками тебя угощу! — И Катерина затрясла вдруг Егора за плечо, указав в сторону.

— Заяц, — пояснил Егор.

— Эй! Зайка! Зайка! — как девчонка, заверещала Катерина, притопывая каблуками.

Заяц приподнялся на задних лапках, послушал.

— Не надо, не пугай его, — сказал Егор. — Он с вечера тут пасется. Мне веселее с ним.

Катерина долго молчала, затем над самым ухом Егора тихонько, протяжно и ладно запела:

О-ох, что это за месяц,
Когда светит, когда нет.
О-ох, что это за милый,
Когда ходит, когда нет.

Егор улыбался. Катерина потянулась, спросила:

— Завтра перед вечером придешь на Ковыльный бугор, что в овсах, где чебрец?

— Ладно.

— Солнце начнет снижаться, так и приходи. Там в кустах земляники много, крупная, спелая. А я буду...

Катерина не договорила. Вскинув голову, она настороженно поглядела вдаль.

— Вот рыжий демон... Харитон идет, — с досадой сказала она.

— Боишься его?

— Не-ет, но тут не хочу с ним встречаться. — Она махнула Егору рукой и прыгнула с машины.

Пройдя вспаханное, Катерина скинула с себя черный платок и скрылась в белесом ржаном разливе.

К Егору в это время, навстречу машине, тихонько и осторожно шла Марфа Ивановна, неся в кувшине квас.

XI

Было еще раннее утро, когда Харитон возвращался из колхоза с производственного совещания. Шел он к стану ложбинкой пара, черного, без единой живой травинки. Солнце поднималось багровое, в низинах стоял туман. Было еще не жарко, но в воздухе начинали уже толкаться и гудеть слепни. Вдруг послышался резкий, нарастающий крик. Харитон послушал и выбежал из ложбинки на бугорок. Дымов, стоя на сиденье трактора, размахивал руками и ругался.

Харитон подошел к нему сзади.

— Сеня, ты чего лаешься?

Дымов прыгнул с трактора, поздоровался с Харитоном за руку. Глаза его от бессонной ночи были воспаленные, припухшие, на лице и шее застыли грязные потеки.

— Никита, подлюга... — сказал Дымов охрипшим голосом. — Вчера с водой канителил, машина простояла из-за него минут двадцать, а сейчас вот горючего нехватило.

— Я сейчас его пришло, — сказал Харитон, щурясь на будку, возле которой стояли синий и два красных комбайна. — Должно, с нефтебазы машина

пришла. Ну, да, — видишь, бочки сгружают?

— Сгружать бочки там и без Никиты много людей. А, чорт, растяпа!.. Никите надо бы кислое молоко развозить, а не заправлять машины. Харитон, замени ты его кем-нибудь, нюню.

— Ладно, подумаем.—Харитон оглянулся вокруг. — Кончаешь работу?

— Да. На углах распишусь — и к стану.

— А блиновцы, говорят, отстали. У них пахоты еще на неделю, а уборка, вот она, на носу. Сеня, сколько у тебя получилось за эту смену?

— Митрофан замерял, говорит, семь...

— Ого! — Харитон подмигнул и добродушно улыбнулся. — Когда-то ты Егора попрекал, а теперь сам явно стараешься под орден? А? Семь гектаров? Если так каждую смену, до осени...

Дымов, тормоша пальцами свои склеившиеся от пота и пыли волосы, посмотрел в сторону, достал кiset и начал закуривать.

— Послезавтра начинаем уборку зерновых, — сообщил Харитон. — Запряжем тракторы в комбайны... Зиновьев Лукашина, комбайнера, знаешь?

— Слышал, — ответил Дымов, — а лично незнаком.

— Этот сезон Лукашин с нашей бригадой будет работать, — сказал Харитон. — Спрашивал он меня сейчас на совещании, кто у нас из трактористов первым идет по пахоте. Учти, Сеня, может, тебе лукашинский комбайн придется водить.

— С ним, должно, трудновато работать, — сказал Дымов.

— Не труднее, чем выпахать семь гектаров в смену.

Харитон ушел.

Дымов долго глядел ему вслед, улыбаясь.

У стана Харитона встретила Марфа Ивановна, одетая по-праздничному.

— Вот дюже кстати, Харитон, что ты пришел, — сказала она. — А я так ждала тебя, ждала спросить...

— Что спросить, бабуся?

— Ушел ты давеча в Зыково, а я подумала-подумала, да и решила вдруг,

пока не началась уборка, сходить ныне домой.

— А зачем тебе ходить, — сказал Харитон, — подводу достанем в колхозе. Отвезут и привезут...

Марфа Ивановна замахала руками.

— Лошадь отрывать от работы не следует. В колхозе начинается самый разгар... На хольбу я легкая, пешочком схожу. Я обыденкой... К вечеру вернусь...

Марфа Ивановна торопливо ушла в будку. Подле грузовой машины валялись бочки и толпились люди. Харитон сказал Никите, чтоб тот скорее вез горячее Дымову, и подошел к белобрисому и хмурому колхозному шоферу в голубой грязной майке. Тот уже с утра успел выпить, ходил, кривляясь, глаза у него были красноватые и вялые.

— Денис, ты куда сейчас поедешь? — спросил Харитон.

— В Веселые Пруды.

— Вот хорошо, — сказал Харитон. — Завези попутно нашу бабушку, поваришку, в Городаново.

— Это не попутно, — возразил, шурясь, шофер, — от Веселых Прудов до Городанова километров шесть, да обратно... Такая дистанция мне не подходяща.

Шофер не хотел подвозить какую-то поваришку-старуху — и сослался на то, что у него мало горячего.

— Нальем хоть полный бак, — сказал Харитон и даже пообещал Денису магарыч.

— Ну, ладно, — неохотно согласился тот, — подкину.

Горячее у Дениса было, но Харитон безвозмездно долил ему больше полубака.

Марфа Ивановна с узелком и ореховой палочкой собралась уже уходить. Харитон позвал ее к машине, открыл кабину:

— Садись, бабуся.

— Зачем садиться? — Марфа Ивановна начала упорно возражать. — Из-за меня гонять машину? Нет, нет, я пешочком...

Харитон с трудом уговорил ее, убедил только тем, что машина идет в Городаново попутно.

Марфа Ивановна впервые за свою жизнь очутилась в кабине рядом с

шофером. Она сразу построжала, сидела прямо и неподвижно, опершись на палочку, как бы боясь продавить зыбкое пружинное сиденье.

— Харитон, обед приготовлен, — сказала она, — только разогрейте.

Машина, рыча, тронулась. Быстро миновали перелесок, долину. Начались бурные овсяные поля. Проехали Увалы с темной ветряной мельницей на бугру. На подъемах мотор напряженно стонал. Марфа Ивановна тревожно прислушивалась, и ей было жалко, что «мучается машина». В такие минуты она готова была слезть, облегчить рокотающую, жаловавшуюся на тяжесть машину.

Денис часто переставлял рычаги, нажимал на что-то ногами; внизу, под полом, лязгало, а машина то замедляла ход, то устремлялась так быстро, что нехорошо рябило в глазах. Повстречалась подвода. Лошадь приподнялась на дыбки, и как только не задело ее машиной!

— Сынок, а ты куда же дальше поедешь? — спросила Марфа Ивановна.

— Никуда, — ответил Денис, — подвезу тебя и вернусь в Веселые Пруды.

— Меня подвозить хватит, сынок, хватит, — просила Марфа Ивановна. — Вот, кажись, и наше село... Я теперь добегу, а машину чего же зря мучить по буграм. Хватит, сынок...

— Сиди, бабка, сиди, — сказал Денис и прибавил газа.

Засвистел ветер за опущенным стеклом дверки. Подъехали к колхозному гумну, круто повернули прямо на ток. Работавшие там колхозницы с визгом кинулись в разные стороны от машины, испуганные неожиданным ее ревом.

Марфа Ивановна вылезла из кабинки.

Денис лихо подмигнул одной из женщин, погрозившей ему граблями, и уехал, мелькнув на повороте красным облупившимся плечом.

— Марфа Ивановна, вон тебя как доставили, на машине!

Марфа Ивановна довольна была тем, что быстро, как во сне, очутилась в родном селе, и в то же время чувство-

вала себя на ногах как-то неуверенно, у нее слегка кружилась голова.

— Лучше бы итти пешком, — ответила она, — закачало сильно.

Она направилась к селу, мимо разоренного и грустного кладбища, где среди голых могильных холмиков лениво бродили рыжие телята, на развалившейся каменной ограде сидела сорока и долбила что-то длинным клювом. И, как бывало часто, Марфа Ивановна не утерпела, повернула к углу кладбища. Там, рядом с покосившимся крестом, стоял серый и угловатый камень, засиженный птицами, со стертой временем надписью. Марфа Ивановна вздохнула, вспомнив лежавшего в могиле мужа, и низко склонила голову.

— Вокруг светло, а ты, Кузьма, спишь впотьмах, — шептала она. — А я двужильная, что ли, — бодрая, все еще забочусь... Спи, Кузьма, а как-нибудь позже и я к тебе приду...

Утерев кончиком платка слезы, посмотрев на богатые овсяные просторы и ясное голубое небо, она вновь нагнула голову, тихонько пошла к селу.

Осенью восемнадцатого года Кузьма вернулся из солдат с красным бантом на груди. «Теперь во всем наш верх, и все будет наше, общее» — говорил он и ходил по селу браво, как хозяин. В праздник покроз, на площади, подле церкви, сиявшей крестами, Кузьма гремел перед собранием зычным своим голосом, пугая попов, богатеев... Ночью деревянную избу Кузьмы подожгли со всех сторон. Марфа Ивановна, десятилетний Захарушка и сам Кузьма едва успели выскочить из объятий пламенем избы. Сгорело все дотла. А неделей позже Кузьма ушел в соседнюю деревню и домой не вернулся. Нашли его в овраге убитым. Хоронили Кузьму, председателя комитета бедноты, почти всем селом. День был по-осеннему суровый, неистовствовал ветер, рвущий из рук ало-яркие флаги...

Марфа Ивановна шла вдоль тихого и безлюдного села. Подле изб ни души. Люди — в полях, на работе. Только кое-где в тени ветел сидели старухи, крутили из влажной старновки свясла.

Марфа Ивановна кланялась старухам, думая: «Вот и мне домоседовать бы тихонько с малыыми ребятишками, а между дел крутить бы свясла для колхоза. А я, непоседа, неугомонная, вон куда махнула, в Зыково! Знать, еще не дюже стара...».

Дверь с зеленого крыльца в сенцы оказалась закрытой изнутри. Марфа Ивановна заглянула в окна, затем пошла в обход кирпичной избы, на зады. За маленьким садиком начинался огород, дремавший под жарким солнцем. Пахло яблоками, огурцами... У стены амбара, в кустах крапивы и малинника, вкочтала насадка и пылята.

— Внучка, Наташа! — позвала Марфа Ивановна белоголовую, лет десяти девочку, сидевшую на грядке с открытой книгой в руке; рядом стояло ведро, наполненное огурцами.

Наташа быстро подняла голову, улыбаясь бабке.

— Наташа, ты чего же тут делаешь?

— Огурцы собираю, да вот книжкой завлеклась про всяких зверей. Зинка Лушева говорит — прочти срочно...

— Огурцов много?

— У-у! — Наташа тряхнула головкой и замахала загорелыми ручонками. — Огурцы, смотри, обливные... Мамка и папашка говорили, что надо бы огурцы на базар, да все некогда. А теперь и вовсе — нынче уши на комбайну. До вечера там будут...

— Захарушка мой письма не присылал?

— Нет. Папашка говорил: там, где дядя Захар, война начинается.

— Там все время на нас грозятся... А где же ребята?

— Гришатка в яслях, а Феклушка в детском саду.

— Одна домоседствуешь?

— А что же мне? Только надоело огурцы собирать и таскать в подвал.

— Ну, я тебе помогу, — сказала Марфа Ивановна.

Она подняла за проволочную дужку ведро. Наташа, идя впереди, прыгала через лопушистую завяленную от жары огуречную ботву, в которой толклись и звенели на желтых цветках пчелы.

Подле амбара Марфа Ивановна села

на скамеечку. Наташа, сияя глазами, суежилась.

— Бабушка, ешь огурцы. Горьких почти нет, все сладкие. Я пойду наберу для тебя малины!

Марфа Ивановна помогала Наташе собирать огурцы. Тринадцать ведер они снесли в прохладный подвал. Потом, зайдя в амбар, Марфа Ивановна открыла орехового цвета сундук и начала перебирать в нем свое имущество. Два длинных льняных полотенца с ярко вышитыми на концах петухами — память о вечерах молодых бабьих лет — развернула, посмотрела и, улыбнувшись, отложила. Подарит их Сене Дымову, Макару или... Ребята они все бравые, женихи, а, умывшись, утираются чем попало. А самой Марфе Ивановне на что эти полотенца, — до ста лет, что ли, будет жить? А жить хочется!.. Вот будто и старость подошла. А душой ее не чувствуешь. От единственного остатка холста Марфа Ивановна отрезала метров пять — вытирать бригадную посуду. Она развернула большой вишневого цвета платок, молоченный года два назад в совхозе, как премия, и позвала Наташу, сидевшую на пороге амбара.

— Внучка, поди ко мне ближе. Вот тебе гостинец.

Та подбежала и смущенно, оторопев, спросила:

— Совсем?

— А как же, внучка, не совсем-то? Бери и носи на здоровье.

— Спасибо. — И Наташа робко приняла подарок.

Завязав аккуратно узелок, приготовленный в обратный путь, Марфа Ивановна долго не знала, что делать. Назойливо лезшим в амбар пылятам она вынесла и посыпала пшена. Пылята, пестрые и почти все одинаковые, суежились, хватая корм, и Марфа Ивановна не могла их сосчитать.

— А от третьей насадки у нас десять пылаков хорь потаскал, живет он где-то в конопле, — сообщила Наташа, важно поправляя платок, накрывший ее голову и плечи.

Марфа Ивановна удивленно развела руками и громко засмеялась:

— Внучка, солнце печет, а ты накинула платок?

— Мне ничуть в нем не жарко. А осенью начну ходить в школу в этом платке.

Марфа Ивановна села на скамеечку, глядела поверх огородов вдаль, шурилась на ослепительно сиявшее солнце. Мысли ее были в бригаде: «Как-то без меня пообедают там? Хренку надо накопать и захватить с собой. Баранину колхоз привозит жирную, а с хренком она вон как будет хороша!».

— Бабушка, — сказала Наташа, глядя быстрыми и ясными глазами на белобокие облака, — плывут и плывут облака то в одну сторону, а то в другую. Куда они плывут?

— Куда? Смотрят, чем люди заняты. Где увидят, что люди работают хорошо, а земля дюже высохла, дождичком посыпят...

— Ой, чудачка ты, бабуся... Откуда же у облаков глаза, если они — дым?

Марфа Ивановна долго, раздумчиво глядела намышленную внучку.

ХII

В полдень председатель колхоза подъехал к стану на бойкой гнедой лошади, запряженной в легкие дрожки. Харитон, раскорячив ноги, сел на задок дрожек.

— Нет, слазь, — сказал председатель, сдерживая лошадь, — сначала знаменитым вашим квасом угости. В горле все пересохло, а пить дома нарочно ничего не стал. Думаю, налягу на ваш квасок.

Харитон сбегал к будке и принес большую кружку пенившегося квасу. Председатель выпил залпом.

— Последний, остатки, — сказал Харитон. — Переберемся с комбайнами на новый стан, заварим свежий...

— Ну, квасок, — сказал председатель тяжело и блаженно отдуваясь, — действительно бьет в носок и духовитый... В городе за кружку такого квасу каждый кинул бы полтину. А? Бабу свою обязательно пришлю к вам поучиться, как варить квас! А где же она сама, Марфа Ивановна?

— Домой направилась. К вечеру, говорила, вернется.

— Пешком?

— Нет. Денис, ваш шофер, утром от нас поехал на машине в Веселые Пруды. Я его упросил, чтобы он подвез Марфу Ивановну.

— А обратно?

— Обратно пешком, — сказал Харитон.

Лошадь, качая головой и размахивая хвостом, бежала быстро, подгоняемая шумным роем слепней.

Миновали черное и волнистое море пара, объехали лошинку и выбрались с дороги среди ржей на холмик. Отсюда, далеко до горизонта, открылись золотистые просторы хлебов. Чуть дохнуло ветерком, но он был горячий, как из раскаленной печи. Рожь стояла колосистая, густая и высокая — в рост человека.

— Центнеров шестнадцать, Харитон Иваныч, с гектара возьмем? — спросил председатель.

— Нет, Герасим Петрович, пять или больше центнеров жара взяла.

— Не ошибаешься, парень?

Председатель помял на широкой ладони колос, сдул шелуху, остья, зерна внимательно осмотрел и попробовал на зуб.

— Да, жара много взяла... Слушай, бригадир, зерно совсем спелое. Может, завтра начнем уборку? А?

— Это тут, на холмике, а ниже, в долине, зеленоват еще хлеб. Я сюда последнее время каждый день заглядываю.

— К завтра и в низине дойдет. Ишь, жара-то!..

— Жнейкой можно... — сказал Харитон, глядя на красную и потную шею председателя. — А комбайном надо убирать хлеб таким, чтоб потом сразу его на элеватор.

— Овес и пшеница вот-вот поспеют, — сказал председатель. — Овес и пшеница нынче, Харитон Иваныч, не очень завидные, я решил смахнуть их жнейками.

— А комбайнами?

— За милые глаза вам не положено работать, а жнейки, вязальницы и молотилки у меня свои.

— А потери от жнеек и всего ты, Герасим Петрович, не учитываешь?

— Потерей как-то, вроде, бывает незаметно, а вам сразу нужно будет за комбайны отвалить сотни пудов чистого зерна.

— Смотри, тебе виднее, — сказал Харитон, — ты хозяин. Стой, стой!..

Председатель остановил лошадь. Она, потная, била ногами. И на животе, и между ног, как пена, налипли слепни.

— Ты что, Харитон Иванович?

— Вон в той ложбинке сегодня вечером или завтра утром обоснуем стан. Это место, кажется, будет в центре работ комбайнов, и вода там недалеко. Так?

— Тебе виднее, — сказал председатель. — Тут ты хозяин. Поехали! — поторопил председатель Харитона. — Слепни заедят лошадь... Откуда их, тупоголовых, такая пропасть? Хорошо, что я выехал не на рысаке. Он бы нас от таких слепней разнес... и колес бы не собрать!

Лошадь быстро бежала пыльной дорогой. Начались яровые поля. Солнце стало припекать меньше, но слепни, зло гудя, преследовали подводу. Как дождь, они стегали в лицо Харитона, смотревшего на поспевающий овес, метелочки которого, казалось, сплошь были унижены не зернами, а тоже слепнями...

Председатель время от времени оглядывался на Харитона, тряс головой.

— Перед дождем, видать, злятся, — сказал он. — Вон над Доном облако собирается хорошее.

В правлении Харитон, председатель и полевые бригадиры вновь долго совещались, спорили, уточняли план уборки урожая. Председатель часто высывался из открытого окна наружу, жадно нюхая воздух, тарашил глаза вверх и спрашивал у проходящих:

— Как там, со стороны Дона, тучка?

— Вроде захмарило чуть, — отвечали ему.

— Это хорошо, — может, натянёт.

Харитон ушел из правления, когда жара немножко спала, но в воздухе была предгрозовая духота. Деревья стояли невеселыми, с запыленной ли-

стой. Ласточки летали над дорогой низко, играючи. Далеко-далеко и глухо прорычал гром. Харитон повернул из слободы на выгон и вдруг услышал позади себя мелкие и твердые шаги. Он не успел оглянуться, как с ним по ровнялась Катерина в серо-синем аккуратном облегавшем её платье, в неизменном малиновом, слегка вылинявшем платке.

— Здравствуй, Харитон! — Она подала загорелую тугую руку. — Идешь ты и, словно чего-то потерял, оглядываешься по сторонам.

— Тучка вон вроде собралась. Вот и гляжу...

— Да, благодатно, если бы пошел дождь. От жары деваться прямо некуда. Корма пропадают, скот изнурился.

Они шли некоторое время молча. Две ласточки, обогнав Катерину и Харитона, полетели к сверкающему гладью пруду. Неподалеку от него стояла ярко белая многооконная молочная ферма, а чуть дальше высились аккуратные стога и громадины силосных башен.

— Харитон, — сказала Катерина, улыбаясь, — не укараулил ты все-таки...

— Что?

Она на ходу нагнулась, подняла прутик.

— Ударник твой Егор, — сказала она, махая прутиком, — почти просвтался...

— Как просвтался?

— Ну, так, как это бывает... — Катерина покачнулась и, сверкая зубами, весело рассмеялась. — Намечается у нас что-то...

— Очень рад, — сказал Харитон, окинув ее взглядом, подумал: «Подвезло Егору напасть на такую...».

Катерина сказала:

— Решила я как-нибудь на-днях вечеринку устроить. Ты приходи обязательно, Харитон. Водочки выставлю, закусим хорошенько, попоем вдоволь... Патефон заведу. Придешь?

— Ладно. Спасибо.

— Да! — как бы спохватилась Катерина. — Я решила и Дымоза пригласить на вечеринку. Как по-твоему, Харитон?

— Это уже твое дело.

— Сеня парень с большой ухваткой, напористый, я его дюже уважаю. Но вот берет меня сомнение: приглашу его, а он, ну-ко, сильно напьется, опять бузу затрет с Егором... испортит всю обедню.

— Нет, этого он не сделает, — заверил Харитон. — После того случая, как он тогда буянил, он ни разу не пил... А работать стал — позавидовать можно: перекрыл все нормы.

— Тогда он на меня больше, чем на Егора, обиделся, — сказала Катерина и, тряхнув головой, рассмеялась. — Чудак он!.. В любовных делах нужно понимать все молча, сердцем.

Они подходили к пруду с густыми ветлами на плотине. Навстречу приближалась подвода, громыхавшая бочками. Сидевший на краю телеги пожилой сторож фермы, сняв картуз, поклонился Харитону.

— Куда кадушки везешь? — спросила Катерина.

— Завхоз приказал доставить их на гумно. На случай пожара, что ли, им нужны.

— Как это приказал? — Катерина сразу построжала в лице, глаза заискрились. — Пусть он приказывает, если может, своей жене. На ферме он не хозяин. А у нас не может быть пожара?

— Он, говорит, с вами согласует...

— Вези обратно кадушки и поставь их на место. — Катерина махнула прутиком и, когда колхозник, повернув лошадь, уехал, добавила, обращаясь к Харитону: — Чуть отвернешься, сейчас же норовят чего-нибудь урвать с фермы.

Харитон, улыбаясь, посмотрел в сторону наплывшей тучи и невольно подумал: «О-о, у этой, видать, в случае чего, Егор не заноровится!».

Белые, как комья снега, утки с плотины, по которой проходили Катерина и Харитон, торопливо побросались в воду, заколыхав отражения ветел.

— Харитон, ты спешишь? Зайдем на ферму, — пригласила Катерина. — Посмотришь, какой у меня порядок, как

содержатся ярославки, симменталки... Показать есть что. А покритикуешь, я не обидчивая.

— Мне надо скорее в бригаду. К уборке готовимся, — ответил Харитон. — А на ферму как-нибудь в другой раз обязательно загляну.

— Несговорчивый ты парень или любопытный. Ну, всего хорошего. Смотри, на вечеринку обязательно приходи.

Катерина повернула к ферме, а Харитон, прибавляя шагу, направился в поле. И только он успел подняться на бугор, — не скрылась еще из виду деревня, — солнце вдруг спряталось за лохмотья облаков. Вокруг сразу померчнело, потянул порывистый ветер. Овсы, волнисто колыхаясь, зашептались. Дорога задымила. «Успею дойти до омета?» — решал Харитон и спешил. Туча клубилась, каждую минуту меняла форму. Ядовито сверкали хвостатые молнии, и сейчас же раскатывалось грозное рычание... Низко метались над овсами грачи, спеша в сторону Зыкова. Упали первые капли дождя, холодные, крупные. Не град ли? Нет... Вокруг протяжно и гулко зарокотало. Впереди ничего уже не было видно, — ни полей, ни омета. Стегала косая дождевая вьюга. Одна за другой пугающе сверкали молнии, следом за ними грохотал гром. Земля дрожала. «Давай-давай» — приговаривал Харитон и, шлепая по мутным лужам, выше поднял голову и гоготал от удовольствия и прилива сил.

XIII

Марфа Ивановна пообедала с Наташей, попила холодного молока, отдохнула чуть на траве в тени садика, затем, собравшись в обратный путь, перекинула узелки через плечо. Наташа проводила ее за село.

— Бабушка, когда еще к нам придешь?

— Как соскучаюсь, так и явлюсь.

— А ты скорей заскучай. Когда яблоки поспеют, обязательно приходи.

— Ладно. Ну, иди, детка, обратно, а то далеко ушла от дома. Беги, там,

небось, хорь опять крадется к цыплятам.

Солнце припекало сильно, в небе только кое-где лениво бродили облака. Марфа Ивановна, прибавляя шагу, вошла в яровые безлюдные поля. Зреющие овсы устало дремали от июльской духоты. Серый, с белыми пятнышками, суслик перебежал дорогу. Но вот яровое поле кончилось, начался пар, черный, однообразный, не на чем задержаться глазу. Дорога пыльная, зной жжет и душит, сушит горло. Над краем земли струится марево. За бугром гудят машины. Должно, городановские убирают комбайнами рожь.

Марфа Ивановна переложила узелки с левого плеча на правое. Утерла ладонью пот со лба. Духота изнурительная, дышать нечем. Совсем забыла Марфа Ивановна спросить у Харитона, как он решил с переездом на новый стан, — нынче или завтра? Если перекочуют нынче, где же их там, по полям, искать?

Утомительно идти черной и жаркой пыльной парой. И птиц нигде не видно, попрятались. Но вот показалась впереди ветла-раскоряка, стоящая на бурой, выгоревшей плотине пруда. Одна половина ветлы — совсем засохшая, другая — гордо раскинула мощные ветви с густой серо-зеленой листвой. Марфа Ивановна пристально, как зачарованная, смотрела на ветлу; раза два споткнулась, чуть не уронила узелки с плеча, но не отрывала глаз...

... Лет тридцать пять назад было жаркое, как сейчас, засушливое лето. Хлеба погибли, с осени люди начали голодать, хлеб ели пополам с лебедой, жмыхом, дубовой корой. За зиму Кузьма и Марфа прожили единственную лошадь, корову, лучшую одесюнку. А весна могла порадовать только тем, что зазеленели травы и можно было добывать из земли разные корни. Однажды, в сырой и холодный день, полуголодная, с плачущим ребенком на руках, Марфа Ивановна пришла к этой плотине, где стоит сейчас ветла-раскоряка, повидаться с Кузьмой. Он пас барское стадо, ходил с огромной дубиной в

руке, с кнутом на плече. Рослый, смуглолицый от солнца и ветров, Кузьма ждал Марфу на плотине. Он был в легком заплатанном пиджачке, и его пронизывал ветер. Чтоб согреться, Кузьма сходил в лощину, выломал там огромный развилчатый сук ветлы и принес его на плотину. И вновь, греясь, коротая время, изредка поглядывая в сторону Городанова, на самой плотине выкопал ножом яму и посадил сук ветлы. Вокруг него отоптал ногами землю.

— Ты чего делаешь? — спросила подошедшая Марфа.

Кузьма обернулся, крепко обнял жену, поцеловал в губы.

— День нынче промозглый... холодновато, — сказал он, как бы не находя других слов. — Посадил вот ветлу. Пусть растет шумливое дерево.

— Ветла-раскоряка, — заметила Марфа слабым голосом. — Поровнее-то ребенок не нашёл?

— Зачем поровнее? — И Кузьма пошутил: — Пусть растет семейней. Одна часть развилки — это вроде ты, Марфа, а другая, попрочней, — я, Кузьма... Вот и будем расти из одного ствола рядом, кто дольше... Артем известил тебя? А я уж думал, что не придешь. Коров пора гнать в имение на дойку, а я вот задержал...

Марфа вдруг заплакала и отвернулась, как бы пряча лицо от холодного ветра и нудного мелкого дождя — чичера.

— Ты чего? — спросил Кузьма, тебя темные усики. — Я фунтов десять муки достал и, должно, столько же кусков хлеба...

— И мука, и хлеб, теперь не помогут, — жаловалась Марфа, трясая на руке и унимая голосившего ребенка, запахнутого полой поддевки. — От голода, что ли... вот уже третий день молоко у меня совсем пропало. Захарушка кричит и кричит, а чем его унять?

Кузьма помрачнел.

— Продай что-нибудь последнее... купи пшеница, вари кашу, — сказал он, — а чтоб Захар был жив.

— Продать нечего. И что ему, дитю, постная, на воде, каша?

Кузьма сурово задумался. На щеках его прыгали желваки. Марфа, смахнув тылом ладони слезы, посмотрела на пестрое стадо породистых, с отвислыми подгрудками коров. «Нам хоть бы половину той пеструхи... до осени, пока Захарушка окрепнет» — подумала Марфа и отвернулась.

В пруду вода зеленая, ядовито холодная; катились волны, у берега они прыгали и зло пенились.

Кузьма проворно вынул из сумки темную бутылку, сбегал к дымчато-серой корове с огромными рогами, надоил молока.

— Ну-ка, на вот, дай парного Захару, — сказал он, вернувшись.

Марфа набирала из бутылки в рот молока, наклонялась к ребенку, ловила его губы.

— Пей сама, — сказал Кузьма, — я еще принесу...

— Смотри, увидят...

— А увидят и, коль что... — Кузьма указал взглядом на валяющуюся дубинку...

Марфа выпила две бутылки, согрелась, и у нее, как от хмельного, закружилась голова. Кузьма приладил ей на спину сумку с затхлою мукой, кусками хлеба и туда же сунул наполненную молоком бутылку.

— Марфа! Вон куст на холмике, видишь?

— Ну?

— Вечерами приходи туда, под кустом я буду припрятывать четверть с молоком. Зарю четверть, а над нею ошкуренную белую палочку буду втыкать. Только ты пустую посуду не забывай приносить. Поняла?

Марфа возвращалась барским полем с замирающим сердцем: ноги у нее дрожали. И, как назло, навстречу кто-то ехал. Лошади — вороны, быстрые. Не сам ли барин?

Дорога была грязная, скользкая. Ветер дул холодный, встречный, сек мелкий дождь... В овражках серел снег. Где-то в тумане облаков гоготали гуси. Куда они летят? Пара вороных все ближе. «Стой! Ты откуда, баба? Жена пастуха Кузьмы? Ага! А что у тебя за спиной в сумке?». Марфа Ива-

новна закрывала глаза, была готова провалиться в эту ненавистную ей землю. Лошади в пене; от колес во все стороны летела грязь. «Скорее, скорее промчитесь» — молила Марфа, и, хотя в имени никто ее не знал, тем более сам барин, она сошла с дороги. Как дробью, обдало ее грязью. Краем глаза Марфа успела увидеть бравого меднобородого кучера. В тарантасе, обняв пеструю собаку, сидел тучный и горбоносый человек с трубкой в зубах, в желтом мохнатом пиджаке и такого же цвета фуражке. В ногах у него лежала пухло набитая сетка, из которой торчали сизые головы диких селезней. У Марфы сразу подкосились ноги, она чуть не выронила из рук ребенка, когда услышала:

— Тпрр!.. р-р...

Марфа шагала, покачиваясь, боясь оглянуться.

— Ваше сиятельство, прикурили?

— Да. Пошел!..

Марфа не помнила, как дошла до родного села. К кусту, где Кузьма обещал припрятывать молоко, она ни разу не ходила, не осмеливалась даже и думать о том. Захарушка как-то пережил голодный год. И сейчас вон какой командир! А Кузьма погиб от руки вредного человека...

... С плотины, гулко лая, сбежала серая собака с паучьей мохнатой мордой.

— Барон, цыц! Барон... — окрикнул собаку пожилой пастух в соломенной шляпе с широкими полями.

Собака, махая хвостом, покрутилась вокруг Марфы Ивановны, подержала поднятую ногу над колючим татарником и потрусила в тень, к шалашику.

Огромное стадо коров спасалось от жары и слепней в мутной воде, а на берегу пруда, притулившись друг к другу головами, стояли шумно дышавшие овцы.

Марфа Ивановна поклонилась пастуху, переложив узелки с одного плеча на другое.

— Это чье же такое большое стадо? — поинтересовалась она.

— Наше, — хозяйски ответил пастух, — колхоза «Ленинский путь».

В конце пруда Марфа Ивановна зачерпнула горстью воды, попила и пошла дальше, оглядываясь время от времени на стадо и на ветлу, посаженную Кузьмой... «Эх, не дали тебе, Кузьма, изверги дожить до времени, когда и земля, и все стало наше, — подумала Марфа Ивановна, — не дали во всю силу развернуться...».

Она перешла голую, выбитую скотом лошину с рыжими овражками. Чуть вправо, на бугру, стоял величественный курган, перед которым, как и всегда, невольно хотелось склонить голову. Черствый пар кончился, и началась густая рожь.

Облако заслонило солнце, дышать стало легче. Две бабочки появились над дорогой, играючи, полетели впереди Марфы Ивановны, как синие огоньки.

На вершине холма Марфа Ивановна оглянулась: широкие поля мрели в зное. «Батюшки, сколько хлеба! И все наше...» — подумала Марфа Ивановна. Пахло ветром. Лоснящееся, как лисий мех, ржаное море нахмурилось, заволновалось. Далеко над дорогой, среди овсов, поднялся высокий пыльный вихрь, штопором ввинчиваясь в небо...

Марфа Ивановна, постукивая палочкой, торопилась. Вдруг опять все затихло, притаилось, только неугомонные грачи носились над овсами темной ватагой, а среди них метался голубь. Сверкая своей белизной, он устремился к гумнам Веселых Прудов, но сейчас же круто повернул обратно, взвился высоко-высоко, как бы хотел метнуться выше темной и пухлой громадины-тучи, подходившей все ближе. Блеснула молния, и сейчас же, сотрясая землю, раскатился гул. За селом качающимися столбами опустился дождь; был уже слышен его шум. Запыхавшаяся Марфа Ивановна стала под навес сарая. Вокруг стало сумрачно. По дороге проехала грузовая автомашина, клубя за собой пыль. Телеграфные провода гудели с тревогой, как бы предупреждая Куркино, что идет сильная туча. Голое кладбище выглядело уныло, вызывало щемящую тоску...

Среди безобразных ям и холмиков стояла гнедая лошадь с посбитыми плечами, согнув большую переднюю ногу. Блестя стеклами и вся лоснясь, похожая на огромного жука, пронеслась по дороге закрытая легковая машина. Проводив взглядом машину, Марфа Ивановна вновь посмотрела на кладбище, и ей стало нестерпимо тяжело и обидно. В Городанове и в Крутове, и везде, везде по селам кладбища такие же вот беспризорные и разоренные. За немногие годы люди заново переделали свою жизнь и от этой радости, что ли, стали равнодушны или забыли, что и они когда-нибудь придут на кладбище.

Но вот густой и крупный дождь ушел в поле, следом за угольно-черной тучей. В просвете облаков брызнул ясный свет. Повсюду бежали мутные и сверкающие ручьи. Ярко зеленый лопух поднялся, роняя светлые капли, и повернулся круглым лоснящимся лицом к солнцу. Потоки журчали по склонам. С полей свежо и сытно потянуло запахом хлеба.

Марфа Ивановна сняла с ног тапочки, аккуратно завернула их в отрезок холста и сунула в узелок. Сокращая путь до Увалов, она направилась краем ложбинки. Итти босой по влажной, бархатно-теплой земле было приятно. Далеко за холмом погромыхивал гром; солнце вновь стало припекало. Вскоре земля обсохла, Марфа Ивановна вошла в лесок. Тут было еще сыро. Крепко пахло дубовой листвой. Меж кустов со всех сторон глядели цветы ромашки, рдели шапочки клевера... «Боровик!» — воскликнула Марфа Ивановна. Глаза у нее засияли, лицо порозовело. Она торопливо обегала небольшой лесок, обыскала все кусты и набрала тринадцать крупных белых грибов. Какой будет суп для всей бригады! Нет, лучше посушить грибы, а потом сварить лапшу.

Жара схлынула. Солнце опускалось все ниже. «Вот старая-моталая, — сказала о себе Марфа Ивановна, выйдя на тракт. — Проканителилась с грибами... опоздаю, видать, готовить ужин».

Из-за поворота дороги вынырнула легонькая темносиняя машина с крупной надписью «Почта». Марфа Ивановна подумала: «От моего Захарушки письма не везете?».

Вокруг было предвечерне-тихо, только неумолчно звенели кузнечики. Со всем низко протянул выводок, — семь уток, тонко и напряженно посвистывая неокрепшими еще крыльями. Но вот где-то позади рьяный порывистый гул... «Запоздаю, видать...». Марфа Ивановна невольно посторонилась и не успела оглянуться на лихо рычащую машину и белобрисого шофера в голубой майке, с красными от загара плечами. Марфу Ивановну обдало ветром и ударило в голову. Кувычком скатившись в канаву, заросшую высоким бурьяном, Марфа Ивановна сгоряча поднялась, растерянным взглядом поискала узелки, опустилась на колени, пытаясь собрать рассыпанные грибы. Звенели кузнечики, и опять низко, свистя крыльями, летели утки. Марфа Ивановна, запрокинув голову, смотрела угасающими глазами вверх, а уток не видела, для нее наступила нескончаемая ночь...

XIV

Харитон ходил понурым. После обеда, приготовленного неопытной и несмелой колхозницей, присланной на время, пока нет Марфы Ивановны, в Городаново срочно направили Никиту на рысистой лошади, запряженной в тарантас. Но вернувшийся к концу дня заправщик сообщил:

— Марфы Ивановны нет дома. Говорят, что вчера еще ушла к нам.

— Ну вот... я же говорил...— Председатель покачал головой. — Факт, перехватили старуху в какой-нибудь другой колхоз.

— Нет, этого не может быть, — заверял Харитон. — Вещицы ее остались в будке. Как же это?..

— Вещи, знает, не пропадут, — настаивал председатель, — заберет их в любое время. Где же мне теперь разыскать для вас подходящую повариху? Вот задача...

— Я думаю, — предполагал Харитон, — она зашла в какую-нибудь деревню к родным. Ну, и задержалась.

Но Харитон и сам начал не верить тому, что Марфа Ивановна вернется. Не нагрубил ли ей кто-нибудь из ребят? Может, Чукин?.. Харитон испытующе посматривал на трактористов и отозвал Егора Чукина, возбужденного и, видать, чем-то недовольного.

— Марфа Ивановна, должно, совсем покинула нашу бригаду, — сказал Харитон.

— Ну-у?! — удивился Егор.

— Никто не обидел ее? — Харитон смотрел Егору в глаза. — И ты ничего ей не говорил?

— А я чего особенного мог ей сказать?

— Помнишь, обещал выгнать из бригады?

— Мало ли я чего сгоряча... — Егор улыбнулся и махнул рукой. — А Марфа Ивановна... редкий человек, прямо, для всех нас, как мать.

Егор пристально смотрел в сторону на темносинюю громадину комбайна «Сталинец № 2».

— Что же, Харитон, — спросил вдруг он, — на синем, значит, завтра не я начну работать?

— Да, «Сталинец» будет водить Дымов. Сам Лукашин его просил. А ты потянешь «Коммунар», какая тут разница...

— В комбайнерах разница, — сказал Егор. — Чижов и Лукашин? И «Сталинец» пойдет на второй скорости. Тоже разница...

Егор остался недоволен. Он понимал, что Лукашин выбрал для себя Дымова потому, что тот по пахоте за июль вышел на первое место в бригаде. Так бы и Егор поступил, будь он на месте Лукашина. Но тем не менее, было досадно. «Упорен, чорт, оказался Сеня. Ну, ладно, потягаемся с ним на уборке» — без злобы решил он, но все же завидовал Дымову.

Глядя на бодрых товарищей, Егор невольно тоже повеселел. Трактористы были сегодня оживленны, многие хорошо вымылись, как было это тогда, при появлении в бригаде Катерины. Дымов

еще утром вернулся из зыковского кооператива в новой фуражке с ясным козырьком, курил папиросы и щедро угощал товарищей. Многие были в чистых рубахах, словно готовились к встрече праздника. Оно так и было... Водить комбайн — работа чище, веселее и приятнее, чем пахать, особенно двойть в жару пар, когда от пыли не знаешь, куда деться.

Утром, как только чуть обсохла роса, поле огласилось рокотом тракторов, гулом и шумом мощных полевых кораблей, важно и величественно плывших по тихим просторам золотистого ржаного моря. Автомашины, насыпанные зерном из-под комбайнов, спешили на элеватор. Стучали колесами бестарки...

В полдень к стану подъехал на своем зеленом газике директор Валдеев. Он был в белой рубашке с расстегнутым воротом, рукава засучены, оседлавшие большой его нос очки блестя. И, как всегда, он не сошел с машины.

— Ну, как у тебя дела, Зубков? — спросил он Харитона.

— Ничего. Работаем...

— Я вижу, что работаете. С планом уборки как — в сроки уложишься?

— С пахотой пара уложились раньше других бригад. И с уборкой не отстанем.

— С паром, если бы тебя не накачивать, небось, и сейчас волинил бы. Верно или нет?

— Чего же нас накачивать? Для нас хватит и простого слова. Сами знаем, что работаем не на чужого дядю.

— Знаешь, да узко все понимаешь, — сказал Валдеев и, глядя куда-то в сторону, закурил. Потом, спохватившись, вновь вынул из кармана коробку с папиросами. — Закуривай.

— Спасибо, — Харитон нехотя взял папиросу.

— Комбайны ни одной минуты не должны стоять по вине тракторов.

— А зачем же они вдруг будут стоять?

Разговор у них не ладился, словно они не понимали друг друга. Харитону не нравились «общие и деревенные» фразы директора и его тон. По-

этому Харитон невольно внутренне весь ощетикивался, хотя разговаривал, как и всегда, сдержанно.

— С Лукашиным кто работает? — спросил Валдеев.

— Дымов, — ответил Харитон, — он у нас теперь на первом месте, а за ним Чукин...

— Это хорошо.

— Иван Нилыч, — сказал Харитон, — надо бы вам учесть старание ребят. На премию имейте их в виду. Дымов дает выработку — во всем районе такой не слышать.

— Цыплят по осени считают, — Валдеев, ухмыляясь, подмигнул. — Сезон работ окончится, тогда виднее будет, кого премировать.

Он развернул машину по шуршащему жнивью и хотел было ехать, но вдруг остановился, обернувшись, спросил:

— Да, Зубков, говорят у вас в бригаде имеется какой-то знаменитый квас? Ну-ка, угости.

— С удовольствием бы, Иван Нилыч, да квас весь вышел. Вон и бочка пустая валяется. Повариха наша позавчера еще ушла домой и вот что-то не приходит.

Валдеев уехал в сторону Зыкова, а Харитон пустую бочку с медным крапом подкатил, чтоб не рассыхалась на солнцепеке, к теневой стороне будки. «Чего это она запропала, старуха? Если и нынче не придет, завтра вечером сам поеду за ней» — решил Харитон.

Но и на следующий день Харитону не пришлось поехать за Марфой Ивановной. Утром на полях вновь загудели машины. Харитон обошел все тракторы, тянувшие за собой комбайны. На обратном пути к будке он выругал нерасторопного Никиту, свалившего в овражек дроги с бочкой горючего. И лошадей туда чуть не утянуло... Хорошо, что дроги соскочили с передков. Харитон долго помогал Никите выручать из овражка и дроги, и бочку, затем пошел напрямик полем по трещавшему жнивью. Вдруг послышался резкий и протяжный крик. Харитон обернулся: со стороны Увалов быстро шел Игнат Фролкин; он кричал и махал Харитону

руками. Ожидая, Харитон остановился. Игнат подбежал запыхавшийся, глаза его были необычно большие и глядели как-то врозь.

— Харитон, слышал?

— Что?

— Марфа Ивановна-то уже двое суток... лежит в Увалах, — прерывисто и невнятно сообщил Игнат.

— Как лежит?

— Подобрали ее в канаве при дороге между Увалами и Веселыми Прудами. Кто говорит, грозой ее, должно, сразило, а кто говорит, просто убили...

— А ты видел?

— Видел, как же... Сейчас прямо оттуда. Лежит Марфа Ивановна в сарайчике пожарном, рогожей накрыта... Тлеть уже вроде начала, а хоронить ее некому. Уборка, все кинулись в поле на работу. Да и кому там она, чужая и неизвестная старуха, нужна?

Харитон угрюмо посмотрел в сторону, на щетинившиеся жнивья; перед глазами его запрыгали темные пятна.

— Ну, иди к стану, — сказал он Игнату, а сам пошел обратно в направлении к егорову трактору, волочившему за собой грохочущий комбайн.

Харитон опешил и не знал, что необходимо сейчас предпринять. Но получилось все как-то само собой, как бывает в таких случаях...

Когда Харитон, вскочив на трактор, сообщил о смерти Марфы Ивановны Егору, тот выключил скорость и заглушил мотор. Замолкли сразу грохот, гул и шумы комбайна. Вокруг стало тихо, только носились и жужжали серые точки слепней.

— Что там у вас? — спросил с высоты комбайнер Чижов.

О смерти не говорят громко — Егор махнул рукой. Чижов крутнул штурвал и спустился наземь.

Заглохли этим временем дымовский трактор и комбайн Лукашина. Андрей Глубоков бежал по полю за бугор, где работал Пашка Рыжов. Игнат и Дымов шли к Егору и Харитону. А вскоре и вся бригада была в сборе. Грязные, с застывшими потеками на загорелых лицах, трактористы всей гурьбой направились в сторону Увалов. Шли молча,

с поникшими головами, даже суетливый Макар выглядел смиреннее и задумчивее, чем всегда.

— А это кто там? — спросил вдруг Рыжов, указывая вдаль.

В низине парового поля, по извилистой дороге, бежала легковая автомашина, похожая издали на зеленую муху. Вскоре она опередила трактористов, но подъехать близко к ним, шедшим паром по склону Сторожевого холма, не могла.

— Харитон, да это, кажется, директор, — сказал Егор.

— Он. Масштабовый...

— Если он едет нас вертать, — сказал Дымов, — пошли его, Харитон, к матери, а сам не ругайся.

Валдеев остановил машину, махал рукой. Харитон приотстал от бригады и повернул влево, к дороге. Он не успел еще близко подойти к машине, с дрожащим от работы мотора капотом, как Валдеев начал уже кричать срывающимся голосом:

— Э-это что значит?! Демонстрация! Почему бригада бросила работу? Почему?..

Харитон, багровея, спокойно пояснил, куда и зачем идет бригада.

— А что важнее — похороны какой-то старухи или выполнение плана уборки? — с насадом в голосе спрашивал Валдеев. — Что важнее?

— Зачем одно с другим смешивать, — ответил Харитон. — План есть план, и мы его выполним раньше других бригад. Марфа Ивановна лежит в сарае... — у Харитона запершило в горле, он скашлянул, — лежит третьи сутки, и ее некому похоронить. А для нас она была очень дорогой человек, и мы должны...

Но Валдеев не захотел и выслушать до конца.

— Немедленно верни бригаду! — приказал он, стуча кулаком по борту машины.

Харитон ответил:

— Если бы я даже и захотел этого, Иван Нилыч, бригаду мне теперь не вернуть.

— Как это не вернуть? Ты обязан вернуть! Если сейчас же бригада не возобновит работу, плохо тебе будет, Зубков! За злостный саботаж сниму

тебя с бригады и материал направлю в райком и прокурору.

— Иван Нилыч, я не из пугливых, и поэтому вы на меня не кричите. Отстраните меня с работы бригадира, — пожалуйста. Это ваше право... а там еще поглядим, кто прав, — заключил Харитон и быстро пошел вдогонку бригады.

— Чего он там, директор... ругается? — спросил Егор Харитона, когда тот догнал товарищей.

— А ну его... чинуша бездушный, — Харитон махнул рукой.

XV.

В Увалах вся бригада остановилась подле пожарного сарая с воротами, закрытыми на замок, а Харитон быстро отправился на край деревни в сельсовет. Спокойный и важный, в розовой сорочке с криво повязанным галстуком, председатель сельсовета спорил с колхозницей о затерянной квитанции на сдачу масла.

— Ладно, с тобой мы потом уточним вопрос, — сказал председатель и обратился к Харитону. — Откуда же будет она, сама старуха-то?

— Городановская, — ответил Харитон.

— А-а... вон что, — председатель смахнул ладонью пот со лба. — А мы полагали, что она издалека. Документов при покойнице никаких не оказалось. Вчера еще мне надо было произвести похороны. А народ сейчас, известно, весь в поле, трудодни хватает, никого не дозовешься. Думал, нынче уже на вечер как-нибудь... Да, похороны, значит, на ваш счет? А в моем бюджете это...

— Ладно, все за наш счет, — нетерпеливо сказал Харитон, — только, пожалуйста, помогите нам скорее все организовать.

— Это можно.

Председатель неторопливо открыл пухлый портфель, порылся в нем, затем начал перебирать бумаги на столе.

— Темное дело... Нашли старуху убитой, а вещицы при ней вроде не тронуты, — и председатель подал бумажку.

— Это что тут? — спросил Харитон.

— Опись узелков, обнаруженных при покойнице. Она кому-нибудь из вас родственница?

— Нет, — сказал Харитон, — повариха наша...

— Ну, все равно... коль она у вас работала и похороны ее за ваш счет, возьмите в читальне и ее вещицы.

И он вновь, думая о чем-то своем, долго шуршал бумагами в портфеле; спросил быстроглазого секретаря, сколько каким-то колхозом сдано шерсти; закурил, щурясь от едко дымившей в глаз цыгарки.

— Идемте, а то ведь нам некогда, мы работу оставили, — торопил Харитон.

Они вышли на улицу, залитую ярким и знойным светом. Председатель вдруг вернулся и через окно начал говорить с секретарем о сводках уборочной. У Харитона кипело внутри. Он готов был толкать неторопливого председателя.

— Где бы нам поскорее раздобыть доски на гроб? — спросил он.

— Доски? Лесного склада, известно, в Увалах нет. Но сейчас поспрошаем.

Они перешли слободу, завернули в проулок, где в тени под ветлой, тяжело дыша, сидел старик, делавший грабли. Харитон полагал, что председатель завернул спросить о досках, но тот, поклонившись старику, громко сказал:

— Филат Егорыч, напомним своему Антипу, чтобы он в ночь заступил дежурить в сельсовете исполнителем.

Затем они пошли дальше к избе с синим крыльцом и густым палисадником. Открыв калитку, председатель крикнул:

— Жоржик, ты тут? Все сидишь в своем бредне... Принеси-ка, ученый, холодной водички.

Загорелый и крупноглазый парень в черных трусиках и белой майке нехотя отложил книжку и так же неохотно вылез из гамака, подвешенного между тополей. Он сходил куда-то и принес ведро с водой и кружку, а сам опять ввалился в гамак, закрыв лицо книгой.

Председатель жадно попил и, угощая Харитона, заметил:

— Жара все дни стоит небывалая. Ну, пошли... Да, где же нам раздобыть доски? В правление колхоза заглянем.

Они вышли из палисадника и повернули на зады. Встряхнув портфелем подмышкой, председатель покачал головой.

— Ох, этот Жоржик, смотреть на таких не могу спокойно.

— Он студент, что ли? — поинтересовался Харитон.

— Оканчивает крутовский техникум, в следующем году сам будет учителем. Мать у него ретивая доярка, одна на всю семью работает, а он сидит целыми днями в своем бредне, а вечерами ходит в лесок прохладностью наслаждаться. В колхозе позарез нехватает рабочих рук. Но Жоржик словно из грязи попал в князи, поработать в колхозе для него зазорно. Читает и читает, аж, заметил, глаза у него помутнели.

— Зачеты, должно, готовит?

— Зачеты давно миновали, — сердито продолжал председатель, — а просто он... растет чистоплюем. Какое же он будет иметь понятие о жизни и людях, коль физический труд не любит. Балабон из него получится! И вся ученость-то его будет мелкая и тухлая, как вот этот пруд.

Председатель потормошил усики и остановился, глядя на четкое, как в зеркале, свое отражение в мутнозеленой воде пруда, заросшего мелкой, острой травой.

— Глубины нет, родник затянуло, вот и задохся, погиб пруд, — решил председатель, поправив свой зеленый, лягушачьего цвета, галстук. — Осенью почистим и вон там, ниже, будем строить новую плотину. Наказ такой от избирателей записан. Плотина будет семь метров высоты. Во-он те ракитовые кусты совсем затапятся. Рыбукarp разведем. Идемте, покажу, как мы там плануем...

— Нет, мне надо спешить, ребята ждут, — сказал Харитон. — Ключи у вас от пожарного сарая?

— Зачем же они у меня? Ключи у сторожа избы-читальни. Плотина будет...

Харитон махнул рукой и ушел, забыв даже еще раз попросить председателя раздобыть доски. Но, оказалось, они уже и не нужны были. Пока Харитон ходил в сельсовет и вел разговоры с председателем, Егор и Дымов все приготовили к похоронам. Андрей Глубоков, Игнат и Макар ушли в Веселые Пруды копать могилу (в Увалах не было кладбища). Пашка Рыжов и Митрофан вынули из закрома у своего знакомого колхозника доски, наскоро пофуганили их и начали сбивать гроб. Дымов принес из кооператива белую и красную материя. Ловкая чернявая баба — сторож избы-читальни — и какая-то старуха, по просьбе Егора, обмыли Марфу Ивановну. Она лежала в просторной читальне на столе, до плеч накрытая коленкором. В изголовье ее кто-то поставил горшок цветущей герани. Аккуратно покрытая серым платком голова Марфы Ивановны казалась до странности маленькой. И взрослые, и дети входили взглянуть на покойницу, переговаривались шопотом. Бойко вошел председатель, но сейчас же снял картуз, медленно оглянулся по сторонам, раскрыл рот и ничего не сказал, поманил только рукой Харитона в сени.

— Доски, оказывается, вы нашли. И узелки получил?

Харитон слушал председателя, как сквозь сон.

— Все, значит, в порядке. Та-ак. Ну, а я пошел, — председатель подмигнул, говоря этим, что ему некогда. — Техник меня ждет... Насчет плотины приехал, уточнить планы. Говорит, может, и все десять метров будет плотина. Но кабы тогда огороды не затапило?

Харитон закурил. Облокотясь о приоткрытую дверь, он рассматривал свои грязные руки с короткими пальцами и бугроватыми ногтями.

— Посторонись, Харитон, — сказал Митрофан, осторожно неся через сени красный гроб.

— Бригадир, — послышался с улицы голос Дымова, — иди, тебя зовут...

Напротив пожарного сарая стояла грузовая автомашина, а чуть поодаль.

в тени под ветлой, сидел в своем газике, окруженном ребятишками, сам Валдеев. Он жадно курил и, блестя очками, глядел куда-то в сторону.

Председатель сельсовета не успел, должно быть, уйти к технику: он встретил Харитона, торопливо размахивая руками.

— Ну, у вас все готово? — спросил он. — Давайте живее грузиться на машину.

Из кабинки полуторатонки высунулись белобрысая голова и загорелые, облупившиеся плечи шофера Дениса.

— Правильно, раз-два и в дамки, — сказал Денис, юля мутными и наглыми глазами. — Быстро подкину... выносите гроб.

Харитон поглядел на Дениса, морщась, словно тот больно оскорбил его; обернувшись к председателю, сказал:

— Мы на руках понесем Марфу Ивановну.

— Что ты?! — удивился председатель. — До Веселых Прудов три километра с гаком! Такое горячее время, а у вас работа стала? Комбайнер Лукашин без дела, разве это можно?

— Можно, — спокойно сказал Харитон. — Денис, гони машину в Веселые Пруды к кладбищу, на обратном пути подвезешь нас к стану.

— Нет, вы скорее грузитесь, — сурово сказал председатель, — я заявляю, как от органа власти...

Но Харитон, не дослушав председателя, круто повернулся и пошел к читальне. «Зубков, Зубков!» — крикнул ему вслед Валдеев. Харитон не оглянулся, скрываясь в сени.

Председатель подошел к директору и, ссутулив плечи, развел руками и взял свой портфель из машины.

— Ваше дело, а я что мог... Упорен на своем. И, видать, им очень была дорога старуха, коли они ее так...

Было тихо и нестерпимо жарко, когда проходили узкой слободой. Впереди всех тихонько шагал Митрофан, неся на голове длинную красную крышку гроба. А еще, казалось, медленнее шли Харитон, Егор, Дымов и Пашка Рыжов. Они несли гроб на полотенцах, перекинутых через плечи, — на тех самых полотенцах,

которые Марфа Ивановна, возвращаясь в бригаду, собиралась подарить Дымову и Макару. Позади тянулась пестрая ватага ребятишек, взбивая босыми ногами пыль. Кое-где в дверях изб и в проулках стояли люди, кланялись. На выгоне пахло горьким дымом, курившимся сквозь закопченную тесовую крышу кузни, в которой стучали и лязгали о наковальню молотки. Из широкой двери вышел пожилой кузнец с засученными рукавами, в грязном и каляном фартуке и с длинными клещами в руке. Он снял картуз, почтительно поклонился и долго стоял недвижимо, пока гроб и сильные, грязные, как и сам кузнец, люди со спутанными волосами скрылись за поворотом дороги, где начиналась густая и высокая рожь. Ребятишки отстали.

Харитон и Дымов шли в возглавии гроба. Лица их запотели. Харитону, как и всем несшим узкий и длинный ящик, ни о чем не думалось; сердце ныло. Он часто взглядывал на простое, такое же, как это было и при жизни, лицо с родинкой на щеке. Не раз ему казалось, что бабуся Марфа проснется, поднимет голову и мягким, задушевным голосом вдруг скажет: «Сынки мой, да вы...» или: «А Захарушка мой...». Нет, не поднимется и не скажет... Лицо ее стало землисто-серое.

XVI

Рубашка на спине Валдеева вздулась пузырем. От папиросы летели искры. «В глаза могут попасть...». Валдеев наклонил голову в сторону, за борт. Папиросу сплюнул.

— ...Из молодых, да ранний. Прешь на рожон? Хорошо. И очень хорошо то, что ты и в присутствии председателя сельсовета... это тоже важный фактик!

Откинув голову, Валдеев злорадно ухмыльнулся и чуть не наехал на крупный камень на дороге. Он проворно и вовремя, почти на весь оборот, крутил руль.

— Хотел меня подвести под ремиз, а вышло сам в калошу сел. Изволь теперь плыть в далекое плавание. У меня, как у охотника, закипают страсти, ког-

да вижу верную добычу. Логика борьбы? Может быть, и так.

Эх, где теперь Кисварин? Крупного масштаба был человек. Он не раз мне говорил: если хочешь быть победителем, ищи у противника ахиллесову пяту. Найти ее, при желании, можно почти у каждого человека. А идя на это дело, запасайся всегда фактами и фактиками. Делай вид, что ты только в интересах дела обороняешься, а сам этим временем из-под щита фактиков и фактов круши своего противника. А Зубков... Что Зубков? Мы не таких встречали ершей, ломали им иглы и — в общую уху... И ты, Зубков, должно, полагаешь, что я уволю тебя из бригадиров, поставлю вопрос о твоём пребывании в партии — и все тут? Нет, гусь перепончатый, ошибаешься. Забастовка... демонстративный срыв... А чем это пахнет? Жаль только, что секретарь райкома сейчас не Кисварин. У того в таких случаях суров был характер. Жамкиц, зоотехник из Кругловского свиновозхоза, сломал себе шею. На агронома Виртова я только доложил тогда Кисварину, и агроном испекся... А насчет тебя, Зубков, Кисварин сейчас бы сразу позвонил прокурору, если нужно, нажал, надавил бы на того. Получил бы ты, как контра, пять лет, а, может быть, и прибавили бы, если бы стал на суде ершиться. Агроному Виртову прибавили... Да и Овсянкин твоему делу, Зубков, даст полный ход. А коль попытается замять, я знаю, куда еще надо будет обратиться. Тогда и самому Овсянкину не сдобровать.

Далеко за деревней, на вершине холма, вздымая пыль, сверкнула стеклами фар встречная машина.

— Легковая? Да... Вот, кстати, если бы это Овсянкин...

Дорога пошла под гору. Тормоза пищали. Из яровых хлебов вышел старик в новой синей рубашке, борода у него расчесана пышно, на груди — значок инспектора по качеству. Старик снял картуз, поклонился, приняв Валдеева за кого-то из своих знакомых. А скорее, он поклонился просто потому, что рад приветствовать всякого человека, встретившегося на полях колхоза, где

он чувствовал себя больше, чем хозяином.

Внизу, долиной, приближалась встречная машина.

— Нет, кажись, не Овсянкин... У того должен быть лимузин, вороная «эм-мочка». Но кто же это? А-а... омшарский директор Лунин — «ретивая кад-ра», как о нем говорил Кисварин. Нет, кажется, и не он... А-а... Овсянкин, вот и кстати. Да, он...

Встретились в лощине. Молодой, быстроглазый, с густыми темными бровями, секретарь райкома сидел рядом с шофером.

Валдеев резко затормозил машину. Но Овсянкин и не мог, встретившись с директором, не остановиться.

— Уборку начали? — спросил он.

Валдеев торопливо соскочил с машины, почтительно потряс секретарю руку, шоферу кивнул головой.

— Да, начали.

— Комбайнер Лукашин где работает? — В Зыкове.

— А-а... в зубковской бригаде. Хорошо. Какую они дают выработку?

— Только еще вчера начали уборку.

— Интересно, какие показатели даст Лукашин в этом году?

— Товарищ Овсянкин, вы не в нашу сторону направляетесь?

— Нет, сейчас повернем в Омшары. А что?

— А я, было, к вам спешил по очень важному и неотложному делу.

— Что у тебя?

Валдеев, пожав плечами, метнул взглядом на шофера.

— Дело, я бы сказал, сугубо политическое. Такой факт вдруг вскрылся...

— Ну, ну?

Но Валдеев вновь недоверчиво посмотрел на шофера; он сбегал к своей машине, достал из-под сиденья папку. Заявление, изложенное мелким почерком на большом листе, Валдеев подал секретарю так, словно это была не бумага, а птица, которая могла внезапно выпорхнуть из рук. Лицо его подергивалось, тонкие мокрые губы — искривлены.

Овсянкин читал, около рта леги складки от удивленной улыбки. Некото-

рые слова из заявления он произносил вслух, как бы желая придать им силу большую, чем предназначал сам Валдеев: «...Мной и прежде замечалось, что Зубков человек, гордый, скрытный, что нравственно не чистоплотен. Повариха Катерина Лотова была им уволена из бригады на почве корыстных любовных целей, что указывает...».

— Хо, какой подлый! — Овсянкин вскинул брови и в упор посмотрел на Валдеева. — Этот факт тобой проверен?

— А как же, обязательно.

— А с самой Лотовой ты говорил?

— Это все цветики, а вы читайте, читайте, что дальше. — Валдеев забубнил ладонью по борту машины, но, всплмнив, с кем говорит, перестал стучать, снял очки и начал тщательно их протирать.

Овсянкин, качая головой, вновь прочитал вслух: «... Вторично было заявлено в присутствии уваловского предсельсовета—нужно понимать, что под видом похорон вышеуказанной старухи Зубковым организован.. политически-сознательный срыв уборочной кампании».

Овсянкин откинул голову на спинку сиденья.

— Подлец, явно подлец! Ну, Харитон Зубков, попал ты в переплет... Да, дело серьезное.

Валдеев насторожился, лицо его дослилось от пота. Овсянкин спросил:

— Ну, а какие же ты, Валдеев, предлагаешь выводы?

— Я заготовил приказ о немедленном увольнении Зубкова из бригадиров. А по линии политической вы, товарищ Овсянкин, должны ударить со всей силой.

— Да, ударим, — сказал Овсянкин, убирая заявление Валдеева в портфель, — так ударим, чтоб перья от подльца летели!

— Надо, чтоб немедленно прокурор взялся круче. — Валдеев издал носом фырчащий звук. — Я понимаю, это не менее, как забастовка... и в наше время? Тут надо ударить сокрушающе.

— Да, ударим, — сказал Овсянкин, раздумчиво глядя куда-то в сторону, — ударим так, чтоб впредь не повторялось.

— Вот именно! — подхватил Валдеев. — И поскольку такое дело, вы, товарищ Овсянкин, может, прямо сейчас вернете в Зыково?

— Нет, в Зыкове я смогу быть только к вечеру. А с приказом об увольнении Зубкова ты пока не спеши! Вскроем все глубже, а потом... Да, тут придется ударить! По-большевистски ударить!

Овсянкин уехал. Разгоряченный Валдеев вскочил в свою машину, суетливо нажимал ногой на педаль стартера; мотор мучительно визжал, но не заводился.

— Что такое? Искры нет? О, черт возьми! — Он повернул ключ, и мотор заурчал.

В ушах Валдеева свистел ветер. Началась лошина, заросшая густыми кустами ракиты. Подъехав к мостику через речушку, Валдеев остановил машину. На мостике стоял рыжеголовый мальчишка, кидая и вынимая удочку.

— Ловится что-нибудь? — спросил Валдеев.

— Мелочь разная. — И мальчишка все норовил забрасывать леску под мостик, в тень, где рыба бралась на крючок с наживкой охотнее, чем в воде, освещенной до дна ярким солнцем.

— Так, верно, — сказал Валдеев, — закидывай в тень, там, в потемочках, и крупная плотва может зацепиться.

Валдеев подошел к речке. Он долго и жадно хватал горстями родниковую воду, пил, плескал ее на свою польсевшую голову, на шею в красных складках, и удовлетворенно молчал.

Освежившись, повеселев, Валдеев быстро поехал обратно. И опять поплыли навстречу поля.

Валдеев гордо смотрел по сторонам и вперед на грифельную, до блеска накатанную дорогу. В поле, на просторе, невольно хотелось держать руль одной рукой. Да, теперь будет даже еще лучше, если зубковская бригада не возобновит работы весь этот день. Посмотрим, Зубков, каким голосом ты заешь при Овсянкине? Ужом будешь извиваться, да поздно...

Незаметно для себя Валдеев проехал больше двадцати километров. Въезжая

в Зыково, он дал резкий, ревуший сигнал. Куры, вытянув шеи, бежали с дороги к избам, ныряли в подворотни и в дыры плетней. На повороте в проулок Валдеев круто повернул машину и сразу затормозил, крутя руль. Но было уже поздно. Женщина, в сиреновом платье и малиновом платке, задетая крылом машины, упала. Сейчас же она поднялась. Желтый баульчик, который она, падая, выронила из рук, открылся, из него выскочили свертки в бумаге, поржавевшая селедка...

Валдеев виновато смотрел на женщину.

— Извините, но вы и сами виноваты. При переходе дороги...

Женщина, тяжело передохнув, зло метнула глазами и вплотную подошла к машине.

— А вы как же так ездите, не замечая на пути людей?—сказала она.— Надо смотреть в оба своими раскосыми, идол бездушный! Эх, чума в очках!

И женщина схватила с земли селедку и со всего размаху начала бить ею Валдеева по голове.

— Так его! Так!..—смеясь, кричали появившиеся две колхозницы. — Еще ему, Катерина, прибавь! Так...

Валдеев, нагнув под ударами голову, включил скорость, машина рванулась... Катерина отстала. Она подняла баульчик и начала собирать в него свертки с закусками и сладостями, которые несли из кооператива.

А Валдеев на полном газу миновал яровое поле.

Зубковская бригада давно уже возобновила работу.

Председатель колхоза Герасим Петрович, издали узнав валдеевскую машину, побежал от будки по высокому жнивьям наперерез... Ему по неотложному делу нужен был директор. Валдеев видел, как председатель махал руками и бежал к нему, и не остановился, промчался, как вихрь, оставив на дороге длинное и долго не опадавшее облако пыли.

XVII

Вскоре все знали, как Катерина прочила директора. Свободные от работы

трактористы, пообедав и столпившись около будки, хохотали, шутили. Вертявый Макар крутил головой, смеясь до слез, и восклицал:

— Вот это да! Наскочил! Лето, — селедка-то, небось, тухловатая! Ха-ха...

— Лихо, значит, она его просолила, коль он профитилил мимо нашего стана, как чумовой!

— Не знали,—язвил Андрей Глубоков, — а то бы обязательно, когда он ехал сейчас, покричали: «Держи его! А-а-я-яй! Держи!».

— А очки-то у него целы?

Харитон, тяжело настроенный после разговора с директором и похорон, тоже невольно улыбался. Председатель Герасим Петрович смеялся гулко и так, словно ему щекотали пятки. Вдруг он посерьезнел.

— Да-а, ребята, а я-то, пожалуй, смеюсь зря. Боюсь, что мне катеринина селедка дорого будет стоить.

— А ты тут при чем?

— При том самом... С отправкой хлеба на элеватор не успеваем, затор. Валдеев утром еще обещал прислать полуторатонку, а теперь, факт, отменит... Видели, не остановился даже.

— Нет, это он вряд ли позволит, — сомневался Митрофан. — А если сделает, — он просто будет гадюка.

— Верно, Герасим Петрович,—сказал Харитон,—ты прав. Валдеев—самодур, может, и такой подвох...

Харитон поднял рогожу, накрыл ею валившуюся бочку с медным краном и отвернулся.

— Осиротела, значит, бочка?—спросил председатель.

— Ты сегодня же увези ее отсюда, пока она совсем не рассохлась,—сказал Харитон и, опустив голову, пошел жнивьями в сторону тархтевшего где-то вдалеке лукашинского комбайна.

Было жарко и душно. Воздух стоял от слепней. Харитон спустился в крутую лощину, на противоположной стороне которой белели огромные валуны. По камням бежала тень парившей в высоте крупной птицы. Харитон рвал и ел душистые и сочные ягоды земляники. Пахло чебрецом. А Марфы Ивановны, даже странно как-то, — нет, и

она никогда не вернется. Из-под ног Харитона вспорхнула перепелка и комочком упала неподалеку в траву. В кустике пырея — гнездо с голыми, пригнанными птенцами. Тут же, рядом с гнездом, валяется яичная скорлупа. С высоты упал шум... Харитон обернулся. Ястреб промахнулся, не поймал перепелку. Набирая высоту, он крутил тупой головой, глаза его желчно горели. Носком сапога Харитон коснулся гнезда; птенцы сразу подняли головы, запищали, широко разевая красные рты. Ястреб вновь завернул в сторону Харитона, покачиваясь на упругих крыльях. Харитон погрозил ему и резко свистнул.

Поднявшись на бугор, Харитон сел на выступ огромного камня, закурил. От жары и оттого, что последние две ночи плохо спал, Харитон чувствовал себя усталым. Склонив голову на колени, он пытался припомнить что-то важное и не смог. «Да... ладно, перейду работать в Омшары. Там директор Лунина — не чета чинуше Валдееву. Но уйду... весь райком подниму на ноги. А если нужно будет...».

Харитон вскинул голову, поднялся, пошел краем лощины. Вон в тех кустах, в тени, хорошо бы лечь и заснуть. Нет, сначала надо заглянуть к Дымову и Лукашину. Как у них там?.. А потом... куда-нибудь в прохладу оврага — и спать, спать. Но все-таки, как же это может так быть?

Харитон вышел на дорогу. С бугра, мелькнув, спустился в лощину легковой автомобиль. Сейчас догонит Харитона. Опять Валдеев едет?

Харитон свернул с дороги в сторону, на жнивья. Хотелось скорее дойти до ложбинки и укрыться во ржи.

— Бюль! Бю-юль!

Но Харитон, словно не слышал. И вновь сигнал — резкий и затяжной. «Чего ревешь? Иди ты...» — Харитон выругался и не удержался, оглянулся.

Машина остановилась. Овсянкин махал рукой. Харитон узнал его по сутуловатым плечам и высокой фуражке защитного цвета.

«Ну, вот... начинается,— подумал Ха-

ритон.— А это кто еще рядом с ним... шофер или прокурор? А-а, пусть хоть пять прокуроров!».

Овсянкин начал работать секретарем райкома только с весны, вскоре после ареста Кисварина. В разгар весеннего сева Овсянкин бывал в зубковской бригаде, интересовался выработкой и запросто вел себя с трактористами. Разговаривал с Овсянкиным Харитон раза два и в райкоме, но все же знал его плохо.

Овсянкин стоял на дороге, ожидая Харитона. А машина вдруг зарычала и, завернув по жнивьям, поехала обратно.

«Шофера отослал... Значит, хочет наедине сурово разговаривать. Ну, что же? Расскажу все, как было... Да и что произошло, особенного?» — размышлял Харитон, и, подойдя к секретарю, подал руку.

— Здравствуй, демонстративный срывщик уборочной, — подчеркнуто сказал Овсянкин, шевеля густыми бровями. — Ну?

Харитон молчал.

— Ну, забастовщик, добился своего?

— Да,— сказал Харитон,— я в своих целях упорен.

— Так. — Овсянкин испытующе и со смешком в глазах смотрел на Харитона. — Мы тебя считаем в райкоме лучшим тракторным бригадиром, а ты, оказывается, вон какой... — Овсянкин, зажмурясь, рассмеялся. — Так... вот это новость!

— Никакой новости нет, — сказал Харитон, — а так и должно быть...

— Как это так и должно быть?! — вскрикнул Овсянкин. — Значит ты, Зубков, неглубоко политически оцениваешь, что тобой вскрыто? Зря...

Овсянкин быстро достал из кармана валдеевское заявление и подал его Харитону.

— На-ка, знакомься.

Харитон жадно читал; перед глазами мельтешили темные круги, и от обиды тяжело было дышать.

— Брехня! — он подал заявление обратно Овсянкину и отвернулся. — Что же это такое? Так можно и всю жизнь запачкать. Неверно это...

— Неверно? Нет, этого мало... — сказал Овсянкин. — Такое заявление мог написать... Тут Валдеев целиком себя раслакнул. Что же, проверим все хорошенько, прощупаем. Что он — ошалел или просто подлец?

Но Харитон, не ожидая такого резкого поворота дела, не мог сразу собраться с мыслями, молчал.

Пошли дорогой в сторону шумевшего вдалеке комбайна.

— А тебя, Зубков, надо хорошо взгреть, — сказал вдруг Овсянкин.

— За похороны? Нет, мы считаем, мы обязаны были...

— Подожди, а как же это вы не обязаны? — удивился Овсянкин, вскинув густые брови. — Если бы вы не сделали этого... Да что же вы тогда были бы за люди? Бездушные валдеевцы! А греть тебя, Зубков, надо... из твоей бригады погиб человек, и как-то загадочно погиб...

Харитон почувствовал себя вдруг виноватым. Да, Марфу Ивановну нужно бы было отвезти в Городаново и привезти обратно. Тогда наверное с ней не случилось бы... Но она сама настойчиво не хотела, даже совестились, когда о ней заботились.

— Да, тут мы виноваты, — согласился Харитон. — Но мы узнали обо всем только сегодня.

— Вечером пусть все трактористы будут в сборе, — сказал Овсянкин. — На бригаде поговорим обо всем подробно. А Валдеев... забастовка... политически сознательный срыв... Слова-то какие, мерзавец! И, как угорелый, ко мне спешил. Но он ошибся адресом или забыл, что я ему не троцкистский последний Кисварин. Вот, оказывается, гусь! Ну, ничего... Да, ударим. Так ударим, чтоб перья летели. Это чей комбайн пльвет?

— Лукашина.

— А на тракторе кто, Чукин?

— Нет, Дымов.

— А-а, тот самый Дымов... Замечательно. На второй скорости?

— Да.

Они свернули на жнивья.

Трактор тянул за собой шумный полевой корабль, сверкающий планками

мотовила. Вверху у штурвала стоял чернявый и низкорослый Лукашин. Он был в коричневой блузе, кепка с замасленным козырьком надвинута на глаза.

Овсянкин расправил галифе, подтянул ремень и, выпятив грудь, по-военному вскинул руку под козырек. Но когда машины подошли близко, он рассмеялся и, махнув рукой, вскочил на комбайн.

Харитон тем временем очутился уже на тракторе, позади Дымова. Он сел на крыло и оглянулся. Лукашин громко начал что-то рассказывать секретарю, зорко глядел вперед на ржаные разливы. И он, Лукашин, действительно походил сейчас на капитана, ведущего корабль по золотистым и тихим водам. Мигающие планки мотовила гребли и гребли под себя густую, лучистую и пенящуюся колосьями рожь и, казалось, только от вращения мотовила, как корабль от движения колеса с лопастями, синий комбайн величественно плыл и плыл.

Харитону нетерпеливо хотелось сообщить Дымову о своем разговоре с секретарем. Но как это сделать? Сказать тихо, из-за шума машин Дымов не услышит, а громко кричать Харитону не хотелось — неудобно перед Овсянкиным. Он дружески похлопал Дымова по плечу. Тот, тряхнув кудрявой головой, обернулся.

— Ты что?

Но Харитон только важно и подбадривающе подмигнул, как бы сказав: «Веди, веди машину, потом...».

Овсянкин вдруг, зажмурясь, закатился гулким и залихватным смехом. «Что у них там такое?» — подумал Харитон.

По щетинистым жнивьям приближался легкой автомобиль.

Харитон прыгнул с трактора. К нему подошел Овсянкин, оглядываясь на комбайн, выбрасывавший позади себя охапками солому.

— Ну, Гриша, застал? — крикнул он шоферу.

— Да, только придется...

Но Овсянкин с улыбкой обратился вдруг к Харитону:

— Зубков, что же это ты мне не рассказал, что Катерина Лотова побла

Валдеева? Селедкой! И как же она его... Головой об голову или же хвостом? Ну, пока!..

Парень, стоя в гроыхающей телеге, прогнал полем пару гнедых лошадей,— догонял комбайн Лукашина. Туда же, вынырнув из-за бугра, быстро проехал на полторатонке и Денис.

Харитон пересек долину. Трактор Егора урчал ровно.

— Вечером пойдем к Катерине в гости, — сказал Егор, когда Харитон вскочил на его машину.—Тебя и Дымова она обязательно просила притти.

— Сегодня некогда! — крикнул Харитон над ухом Егора.—Нынче вечером собрание... важно...

Егор, пожав плечами, недовольно покачал головой. На подъеме он переменял скорость и усилил газ.

— Овсянкин... Овсянкин будет!..

— А-аа...

Харитон побывал и у Пашки Рыжова. А когда он возвращался с парового поля от Макара, стало уже вечереть, туманной синью подернулись дали. Он вышел на холм. Отсюда с вершины Сторожевого холма, как на ладони, до самого горизонта с темнеющими в дымке лесами за Доном открылись песчаножелтые поля. Солнце все ниже спускалось за Непрядву.

Темные стаи грачей с криком носились над просторами полей. Повсюду на дорогах стучали колесами бестарки, нагруженные зерном полторатонки ревели на подъемах тяжело, как буйволы, что бывали на этих землях в далекие от нас времена... Со дня Мамаева побоища долины и холмы Куликова поля не слыхивали такого шума и гула, не видывали проявления такой страстной человеческой энергии и воли. Да, сейчас, казалось, тоже шла битва, но только трудовая, бескровная, счастливая из счастливых—битва за обильную жизнь, за то, чтоб каждый человек ходил по земле вольно и радостно, зная, что в мире все принадлежит ему и его никто и никогда не посмеет обидеть.

Харитон спустился с холма. Солнце уже скрылось, утихла постепенно шумы и гулы на полях. В остывающем воздухе по-вечернему душисто потянуло отку-

да-то дымком. В синеве небосклона появился месяц, похожий на облачко. С Ковыльного бугра повеяло запахом чебреца. Харитону захотелось пить. Да, хорошо бы теперь большую кружку густого, холодного квасу...

В стане, вокруг мигающего в сумерках высокого костра, понуро и молчаливо сидели темные фигуры... Харитону казалось, что и всем трактористам нетерпеливо хотелось сейчас напиться квасу; но его не было... Да, не стало Марфы Ивановны... и жизнь бригады утратила что-то важное. Нужно создавать заново...

— Бю-юп! Бю-бю-юп!

Харитон обернулся. С бугра, разрезая сумрак, упали дымчатые холсты света.

Вскоре Харитона нагнал Овсянкин, а за ним ехала вторая, директорская, машина...

XVIII

Ладная крутобокая симменталка Лысуха повела невеселыми глазами и, вздыхая, ниже опустила голову. Обнюхав Катерину, отвернулась.

— Ну, посмотри на меня. Ах, что же такое с тобой? Как все это некстати!

Катерина высунулась в дверь, махнула рукой. Краснолицая, в ярко белом, таком же, как и на Катерине, халате, доярка, стуча по полу деревянными башмаками, подбежала к широкой двери изолятора.

— Тише, Дуняша,—сказала Катерина.—Ишь, она вздрагивает от твоего стука. Ей, кажется, хуже, чем вчера. Или нет?

— А кто же ее знает. Корм и нынче ничуть не ела.

— А пила?

— Да. И две размоченных корочки съела.

— Ветеринар был?

— Да.

— Ну и что он?

— Больна, говорит, и все. Он заехал попутно. Дюже спешил куда-то. В стадо не велел пускать.

— Он всегда спешит, мухортый. Жаль, что я его не застала...

Катерина и низкорослая спокойная Дуняша пошли мимо опрятных стойл. Катерина кивнула в сторону ящика с разведенной известью.

— Дезинфекцию делали?

— Обязательно...

Неудобно как-то повернувшись, задев большой ногой об угол стойла, Катерина сморщила лицо от боли.

— Видать, директор дюже сильно толкнул тебя машиной,—сочувственно заметила Дуняша.

— Нет, толкнул он меня не слишком сильно, но мне сразу тогда было горячо обидно. Дуняша, ты сегодня ночью на ферме.

— Обязательно... Со вчерашнего дня я с нее глаз не свожу.

— А завтра ночь я сама подежурю.

— Хорошо.

— Боюсь, подведет она нас.

— Не-ет. — Дуняша неторопливо заправила пряди огнистых волос под белый платок, взяла лопату.—Так она занемогла. Должно, в луже плохой воды напилась. Или какой-нибудь вредный паук укусил?

Протяжно вздохнув, Катерина хмуро смотрит куда-то в сторону. Совсем неудачно пригласила она сегодня на вечер к себе в гости трактористов. Валдеев надолго испортил Катерине настроение, а тут вдруг, кажется, еще хуже стало с Лысухой, лучшей на ферме коровой, записанной кандидатом на выставку... Придет ли Сеня Дымов нынче на вечеринку? У Катерины горячо стало на сердце. Последние дни она не могла равнодушно вспоминать о Дымове.

— Нынче у нее хвори меньше.—говорит Дуняша и смотрит Катерине в лицо, не мигая. — Давеча, когда заезжал товарищ Овсянкин, она поднялась. Корочки с аппетитом поела.

— Какой Овсянкин? — Катерина, вскинув брови, выше подняла голову.

— Секретарь райкома. Он разве к тебе домой не заезжал?

— Нет.

— А он тебя спрашивал. Ферму осмотрел насквозь. Пожалковал, что Лысуха больна: «Что это она у вас занемогла? Берегите вашу рекордистку». И посхал он вроде к тебе.

— Меня дома не было. Ходила в поле к завхозу. С заготовкой зеленой подкормки опять медлят. Он как же меня спрашивал?

— Спросил и все.

— Надо было сразу мне сказать, что на ферме был Овсянкин.

— Ничего, — спокойно говорит Дуняша, — у нас все в порядке было.

— Я не о порядке тебе говорю. А кто без меня бывает на ферме, я должна знать.

Дуняша, выскоблив пол в стойле, начала тщательно его подметать.

Катерина ушла в кухню, полную света заходящего солнца. Розовые блики лежали на белых стенах, играли на алюминиевой посуде. Катерина вынула из ящика стола тетрадь. Надо уточнить записи по составлению нового рациона. Нет, сегодня поздно, завтра... Чего это вдруг он заезжал? На улице, при людях, отдубасила директора? Нехорошо, стыдно, недостойно... Да, верно, все это очень некрасиво. Но Валдеев сам виноват больше, чем я. Он мог меня совсем задавить? Мог. И ему это спустить? Нет, товарищ Овсянкин, тут уже вы, как хотите... Я не курица, обидеть себя никому не позволю.

Вошла Дуняша. Принялась искать что-то среди посуды на полке.

— Я без тебя, Катерина, три мешка отрубей приняла. Запиши.

— Вешали?

— Обязательно... Сто двадцать семь кило.

— Дуняша, ты что там?

— Соли горсточку. Светлану встретить. А Калинка сегодня в обеде дала полный удой. Кажется, открыла ее секрет.

— Ну?

— Да, — глаза Дуняши весело, победно блестели.

— Ну, вот, а ты говорила, что Калинка пропащая.

Катерина всегда твердила: не получить полного удою, если доярки не знают характера каждой коровы. Светлана любит, чтоб ее встречали горсткой соли; Ужимка требует крепкого массирования вымени и чтоб платок на доярке не был

яркого цвета; Ведерница отдает все молоко за морковку и веселый разговор; сторожка и нервная Лысуха «работает на полную мощность» за кусочки хлеба попеременно с отрубями, не терпит разговора, шума и темноты, обязательно должна стоять мордой к свету. Но капризные многих других коров молодая, первого отела, Калинка, дочь Лысухи. К ней применяли все способы: давали вкусные подачки, закрывали ей глаза, нежно оглаживали, а она и при этом не раз выбивала ногами из рук Дуняши подойник и молоко отдавала не все.

— Ну-ну, — спросила Катерина с живым любопытством, — чем же ты добыла ее секрет?

Дуняша весело и смущенно смотрела в окно.

— Филатка, пока я доила нынче, все время крутился подле меня, напевал. Калинка отдала все молоко. Сейчас вот еще проверю.

— Это может быть, — согласилась Катерина и спросила: — Овсянкин заезжал один?

— Да, на ферме был один. А в машине его еще кто-то сидел.

— Он не упоминал, что у меня с директором так вышло?..

— Нет...

Катерина подошла ближе к окну, подняла край подола платья.

— Дуняша, погляди, нога у меня дюже опухла? А?

— Да, немножко, где ушиблено.

— Сильно он меня толкнул, изверг...

— Но теперь он разборчивей станет гонять на машине, — сказала Дуняша, крустя в горсти солью, — зорче и тише будет на поворотах...

— Филатка хороший, ловкий парень.

— Только вроде чудаковатый. — Дуняша вновь посмотрела куда-то в окно. — Вчера ты слышала? Он с обрыва прыгал. Приделал себе к рукам крылья из фанеры и прыгал в овраг.

— Будет летчик, герой...

— Это необязательно. А не летчики герои бывают?

— Есть.

— Ну вот... И не героев кому-нибудь любить надо.

Дуняша тряхнула головой и убежала, тараторя каблуками.

Катерина тоже ушла с кухни. Осмотрела телятник, заглянула в молочную, где доярки шумно мыли руки, гремели бидонами, весело переговариваясь.

Катерина выходит к загону. Скотники, заметив ее, торопливее начинают готовиться к встрече стада. Филатка работает у колодца, журавль поет, вода журчит по желобам и падает, пенясь, в корыта.

Над выгоном, по которому идет стадо, до самого неба висит рыжеватосерая завеса пыли. Где-то в просах чильгикают куропатки. Коровы идут степенно, важно. На повороте к ферме они косят взгляды в сторону заходящего солнца, некоторые протяжно мычат. Доярки в белых халатах, с блестящими подойниками, стоят у ворот загона. Мускулистый, пятнистый, со сборчатым подгрудком, рыжий бык идет впереди стада. Пыхая ноздрями, он вспарывает землю одним рогом, затем — вторым и, вскинув голову, зычно трубит.

— Проходи, милый, проходи, — приглашает его Катерина, похлопывая ладонью по тугой, медно лоснящейся шее.

Бык впритруску — земля сыплется с его рогов — подбегает к корыту, полному прозрачной и студеной воды. Но, как бы пробуя, он намочил только губы, а пить не стал. Он оглядывается на приближающихся коров, тяжело и величественно несущих набухшее вымя.

Сумерки опускаются быстро. Со стороны пруда наплывает густой белый туман. На ферме повсюду слышны голоса, струи молока звенят о подойники, гремят бидоны, где-то поет Дуняша... Пахнет молочной, парной сытью.

Филатка, как угорелый, с фонарем руке бежит по ферме.

— Катерина! Катерина!

Он находит ее в изоляторе, у Лысухи. Торопливо сует записку. Она

читает ее под желтым светом фонаря. По краям егоровой записки темные масляные отпечатки пальцев. Егор не может сегодня притти на вечеринку.

Харитон и Дымов тоже заняты на собрании.

— Вот и кстати... Мне не до того, — решает Катерина.

Но ей все-таки досадно, что так получилось.

Дуняша тихонько и протяжно поет «Под ракитой густой»; из-под ее пальцев белые струи падают и звенят, как струны; полный вспененного молока, подоиник гудит.

— Дуняша...

Та, увлеченная, не слышит.

— Дуняша!

— Да.

— Эту ночь я сама подежурю с Лысухой!

— Хорошо, — соглашается Дуняша, отставив тяжелый подоиник в сторону. — Видишь? Так и есть.

— Что? — спрашивает Катерина.

— Придется нам радиоприемник устанавливать. Пусть из центра передают музыку, пусть артисты поют и для Калинин... — Дуняша кивает на подоиник. — Видишь? Так и есть... А как легко, легко она отдавала все...

XIX

Катерина открыла окно. Из садика пахнуло вечерней прохладой и яблоками. Между рядами деревьев, далеко в сумраке поля, мигал костер. Где-то на выгоне протяжно запели девушки.

Катерина села на табуретку к столику со стопкой книг. Отодвинув распечатанный синий конверт, она облокотилась, подперев щеки ладонями. Вновь выглянула в окно, туда, где горит костер...

Скоро, что ли, он придет? Да, сегодня надо написать ответ. Где же у меня чернила? Так. Обо всем напишу сердечно. Не поймет? И даже, небось, будет злиться. Ох, скажет, легкомысленна ты, Катя. Что же, какая уж есть. А написать обязательно надо. Большая перемена в жизни...

«...Очень жаль, Варя, что ты раздумала приехать проведать нас. Но, может, ты решишь и в обратную сторону. Загляни в родные места, хоть на недельку. Сильно хочется повидаться с тобой, поговорить про свою новую жизнь. Я вышла замуж. И ты, небось, сразу подумала, что я вышла за Егора? Помнишь, я тебе о нем рассказывала. Нет, вышла я не за Егора. Тут я и сама, Варюша... Да, случилось все быстро. Когда я гостила у тебя в Москве и мы судили о наших женихах, я тебе говорила правду. Егора я любила. Нет, я не врала тебе. Или я дюже требовательна, или горяча и неразборчива? Тоже нет... Егор хороший парень, душевный. Но как все произошло? После вечеринки... Тут я выразить тебе всего не могу. Ты понимаешь, Варя...».

Ниже склонив голову над письмом, Катерина долго сидела недвижимо. С Егором она встречалась часто, постепенно привыкла к нему. Иногда приходила на свидание и чувствовала себя распахнутой, готовой на все. А он медлил. Она встречалась с Егором и, казалось, любила его, но думала часто не о нем... Значит, только играла с ним, а не любила? Он, он, Сеня, а не Егор, чаще всплывал в ее памяти; ночью, лежа в постели, она подолгу не могла заснуть. Волосы на его голове вихрастые, кучерявые; она теребила их пальцами — они пружинистые, и сам он весь такой... Она обнимала подушку, полная желания к нему. А утром, когда вспоминала об этом, ей становилось как-то не по себе...

Катерине вспомнилась вдруг Москва; она гостила там у сестры. О многом переговорила она тогда с Варей, многое передумала, особенно за последнюю ночь в столице.

В выходной день Катерина и Варя, быстрая и звонкоголосая, долго ходили по магазинам. Катерина очень устала от толкотни и от нарядных и ярких выставок в магазинах. Увидев в продаже розовые пушистые береты, Варя затопала от радости ногами и втерлась

в очередь впереди других. На нее кричали, но она была, как глухая.

Когда шли по улицам, Катерина чувствовала себя рассеянно, старалась держаться ближе к сестре и часто и робко оглядывалась по сторонам: столько было машин, и все они ревели, словно голодное и беспризорное стадо коров. У Катерины сильно болела голова. И только в комнате она пришла в себя, разглядывая обновки: коричневое платье, ситец, два ярких платка и ботинки, купленные для маленькой сестры Фроси.

Варя, вертясь перед зеркалом, сказала:

— Знаешь, почему я купила этот берет? Она, та, носит берет точь-в-точь такой. И он всегда ей говорит, что ему очень нравится ее берет.

— Пустяки, — сказала Катерина, — значит, и сам он пустяковый, если смотрит только на берет. Чижик!

Варя обидчиво поджала губы.

— Он инженер, а не чижик! А ты, когда покупала себе платье, ничуть не думала о своем Егоре?

— Зачем же мне было о нем думать?

— Значит, ты равнодушна к нему или совсем не любишь его.

Катерина подумала: «Ох, ты все еще, Варя, шеромыжная девчонка! Училась, училась, а в голове у тебя береты, наряды всякие». Подумала она так, может, сгоряча и потому, что она была усталая, нервная. Почему она уставала?

Вечером Катерина и Варя ходили в кинотеатр, а потом допоздна бродили по Москве. Эту ночь Катерине не забыть никогда. Да, тогда она окончательно и решила, а, может, и не тогда... Она смотрела на большую и нарядную Москву, а сама все думала, думала... Нет, Варя не девчонка-шеромыжка, как показалось Катерине вначале. Учили и учат Варю не зря. Из разговоров с ней Катерина многое поняла, а еще больше увидела.

Они зашли в какой-то переулок, затем на машине их поднимали, как из колодца. Вскоре они очутились на крыше высокого дома. Катерина боялась смотреть вниз. Там, на улицах и в пе-

реулках, люди бежали суетливо, как муравьи. Автомобили и трамваи на площади ползали, как букашки. Ночь была теплая, даже душная. Катя и Варя сели на скамейку. Парень в одних трусиках, с матрацем и подушкой в руках, появился на ровной цементной крыше. Он, должно быть, сбежал из своей душевной комнаты. Но, заметив посторонних, скрылся.

Варя долго рассказывала. Катерина слушала ее, а думала о чем-то своем...

Внизу шумел город, большой, светлый и нарядный от огней. В небе плыла луна. Свет ее казался пустяковым, и сама она почти не была заметна среди ожерелий огней большого города. Вокруг — многооконные дома, похожие на светящиеся изнутри коробочки. Красная площадь была видна, как на ладони. На башнях рдели прозрачные звезды, во мраке неба огненно полыхал флаг...

Постепенно город угас, затих, только на окраинах его, в стороне вокзалов, гудели паровозы, унося вдалеку грохочущие составы. Варя рассказывала... За тысячи верст, до самых морей и нескончаемых лесов, поезда увозили из города в необъятные просторы машины, ситец, обувь, радиоприемники, книги, электролампы, газеты... Обратно, в город поезда мчали лес, хлеб, уголь, скот, масло, молоко...

— Масло и молоко везут, небось, и с Куликова поля, с нашей фермы... — сказала Катерина.

И вдруг сверху — гул, рев. Луна давно скрылась, огни в домах погасли. Город — в дымке тумана, и над ним мерцали звезды. Гул все сильнее.

Красные и зеленые звезды вдруг двинулись.

— Варя, что это такое? — спросила Катерина.

— Самолеты.

Катерина посмотрела вверх и в сумраке неба никаких самолетов не увидела. Только огни, блиставшие ярче звезд, треугольниками летели и летели над большим спящим городом. Они обогнули Кремль. В том здании, над которым полыхал флаг, в окнах горел свет, — должно быть, там не ложи-

лись еще спать или уже поднялись так рано, как поднимаются все заботливые и добрые хозяева. «Поднялись раньше всех, вот и заботятся: все ли поезда с товарами дошли за ночь до конца своего пути, все ли долетели самолеты...» — подумала Катерина и спросила:

— Варя, куда они полетели?

— Вот ты какая чудачка, Катя. Газету читала, а не понимаешь? Далеко, должно, к границам, полетели...

От прилива какого-то большого чувства у Катерины стало тесно в груди.

— Катя, а с Егором у тебя решено окончательно?

— Да, — сказала Катерина, а подумала о Дымове.

Пролетевшие самолеты теперь, небось, далеко-далеко, может быть, над Куликовым полем, где Сеня Дымов, окутанный облаком пыли, делает круги на своем грохочущем тракторе. Да, он любит Катерину горячее, чем Егор. Он смотрит вверх — светает ли? Над ним мерцают звезды, и, как всегда перед рассветом, они быстро гаснут. Сеня не замечает, что это не звезды, а огни самолетов; гула их он не мог слышать из-за шума трактора.

Над Москвой начинался рассвет — дымно-синий, какой не бывает в деревне. Зажужжал, зазвенел где-то первый трамвай, но город еще спал. На улицах и в переулках появились люди. Где-то из открытого окна послышался плач ребенка. Должно быть, мать заботливым и нежным голосом унимала его, затем сказала: «Дать молока? Сейчас, сынок, подожди...».

«И верно, у нас, в Зыкове, — подумала Катерина, — на ферме, доярки теперь давно на работе. Дуняша, небось, как всегда, проснулась первой. Кончила доить Лысуху, спешит к Калининке... стучат бидоны».

— Варя, значит, ты изменила своему обещанию, — сказала Катерина, — не на агронома учишься. На Куликово поле работать не вернешься? Отец недоумен...

— Окончу в следующем году институт и вернусь, только не агрономом.

— А разве быть учительницей важнее?

— Нет, Катя... Каждая специальность важна. Но я решила... Как это тебе понятней объяснить?..

За несколько дней до выпускных экзаменов Варя сидела на выступе памятника Ломоносову; студенты называли Ломоносова «первым рабфаковцем». Было солнечное, теплое утро. Варя читала книгу: «Жизнь велика... Я больше десяти лет был токарем, шесть лет кочевал по царским ссылкам в Омске, на границах Монголии, на Севере... Чего только не пришлось испытывать! Но я никогда не забуду и теперь с радостью вспоминаю, как мы, большевики, обрабатывали умы, сердца человеческие. Бывало, разговариваешь в кружке и чувствуешь, как от твоих слов шлифуется сознание рабочих. Вот специальность: быть в толще народной, готовить его к новой жизни... сердца зажигать...».

Варя читала и чувствовала на себе взгляды спешивших по университетскому двору студентов. Она откинула голову и оглянулась на высокого и ладного рабфаковца с вихрастым чубом. С завистью она подумала о нем: легко и уверенно, словно им было решено это с детских лет, он выбрал будущую свою специальность — геолога-разведчика... А Варя больше года мучительно раздумывала, и все же твердо не могла осознать свое призвание: то ли по окончании рабфака пойти учиться на агронома, то ли историческим наукам, которые она очень любила.

Неподалеку от памятника Ломоносову два студента-этнографа готовили зачет. Студент в очках, с торчащими бровями, громко сказал:

— В битве при Кениггреце победила не прусская армия, а прусский школьный учитель.

Варя поднялась, пошла и вдруг остановилась, осененная внезапной мыслью.

— Правильно, верно: «сердца зажигать», — решила она и побежала в канцелярию рабфака, чтоб вместо сельскохозяйственной академии ей выписали путевку в педагогический институт.

Так Варя выбрала свою специальность.

На следующий день, вечером, когда Катерина уезжала из Москвы домой, на поле Куликово, Варя провожала ее. На Павелецком вокзале былолюдно. Катерина стояла у открытого окна вагона. Поезд тронулся, а Варя бежала за ним, махала руками, затем махала пушистым своим розовым беретом.

Расставаясь с сестрой, Катерина была полна тревоги... Проплывали за окном дома с вывесками, огни, переулки, фабрики с высокими трубами, мост через реку... Ночь...

Катерина переложила свои вещи, легла на полку. Напротив нее молодой колхозник бережно разглядывал у лампочки игрушку — вороного коня с огненно-рыжей гривой; он улыбался, представляя себе радость ребенка, которому вез этот подарок. Прислонившись к чемодану, закрыв глаза, Катерина вдруг вспомнила почему-то об Егоре, но образ его сейчас же вытеснил Сеня, вихрастый, сильный... Да и наяву Сеня всегда был желанен Катерине, она охотно встречалась с ним. А встретившись, побаивалась его. Побавалась, что сближение произойдет как-то сразу, словно она гулящая. А потом что?

На вечеринке Егор, Сеня и Харитон сидели у Катерины долго. Выпили, закусили. Пели ладно, дружно. Катерина чувствовала себя весело: жених в гостях, Лысуха окончательно выздоровела... За сутки Лысуха дала молока тридцать три литра!

Вечеринка шла честь-честью. Катерина, как ей и полагалось, внимательней, чем к другим, относилась к Егору. Он хороший парень, но слишком степенен, ровен. А Сеня обжигал ее своим взглядом, и он такой крепыш, ловкий... Он и всегда напоминал Катерине покойника-мужа, Ивана, который был очень ловок и смел. Иван ездил на конях, к которым многие конюха боялись подойти. Он был отчаянный, горячий, и обидеть себя никому и никогда не позволял... Характер у него был резкий... А Катерине это нравилось... нравилось

потому, что женщины, когда любят, бывают... им всегда нравятся в парнях смелость, отвага...

... На второй день после вечеринки Сеня вновь зашел к Катерине. Она не ждала его. Они шутили, смеялись, разговаривали о том, о сем, а Катерина, как это было и на вечеринке, избегала встречаться с ним взглядом, терялась, робела, как девчонка. Это чувство ей было знакомо... Оно приходит, когда человек любит всем сердцем, а во взаимности не уверен. Но в этот раз Катерина ничего от Сени не ждала. Наоборот, ей хотелось, чтоб он скорее ушел. Надо еще и еще раз все обдумать. А он не уходил. Завел патефон, а затем начал перебирать на столе стопку книг.

От вечеринки у Катерины осталось в бутылке немного вишневой настойки.

— Сеня, выпьешь?

— Можно.

И он выпил стопку вишневки, а она чуть-чуть пригубила из рюмочки.

Он собрался уходить. Катерина вышла с ним на крыльцо: хотелось проводить его до конца проулка. Ночь была звездная, теплая, но дул сильный ветер. С верховий Непрядвы шла тучка. «Я даже свет не погасила в избе. Я должна вернуться» — подумала Катерина, а возвращаться не хотелось. Катерине приятно было, и особенно с Сеньей, итти навстречу ветру, крутившему платье, навстречу густым запахам поспевших хлебов. Прошли выгоном мимо конефермы. В конюшне конь требовательно стучал копытом об ясли. Они вышли далеко в поле... Ярко и ослепляюще вспыхивали молнии.

— Но все-таки, кажется, — заметила Катерина, — тучка пройдет мимо.

— Нет, захватит, — сказал Сеня, — хорошо, если захватит, а то слишком душно.

На вершине Сторожевого холма, у кургана, Сеня и Катерина сели под самым подсолнухом. Ветер дул все свежее и порывистее. Да, Катерина была права: вскоре тучка миновала их. Вновь стало тихо, звездно. Вокруг затрещали, запели кузнечики.

— Я забыла погасить свет, — сказала Катерина с тревогой.

— Какой свет?

— Там, в избе.

И Катерина не помнила, то ли вернулся из-за тучи ошалелый вихрь, то ли... Сеня схватил ее сильными ручищами за голову, запрокинул, горячо дыша в лицо. У Катерины зазвенело в ушах, и она не смогла бы не ответить ему согласием...

Очнулась она, как пьяная, усталая и легкая. Они долго сидели молча. Катерина не могла собраться с мыслями, была как-то огорченно удивлена и несказанно рада. Он, Сеня, был уже для нее другим.

Откуда-то издали послышался гул, грохот поезда. Катерине вспомнился молодой колхозник, бережно разглядывавший в поезде игрушечного коня с огненной гривой.

«...Вышла я, Варя, за тракториста, но не за Егора, а за Сеню Дымова. Из Крутова он. Свадьбы, гулянки у нас не было пока. Вот ты обязательно и приезжай. Иначе обидно мне. Мы расписались с Сеней и живем вместе. После работы он приходит прямо ко мне. Думаю, что я не ошиблась в нем. Нет! Нет!!

Позавчера я вернулась с фермы поздно. Сени не было. Я долго ждала его, не спала. Работать он должен был до вечера. Проходит ночь, а его все нет. Где же он может быть? Он пришел на заре. Оказалось, бригада трактористов всю ночь была занята. Возили на тракторе камень. Устанавливали памятник на могилу Марфы Ивановны, поварихи. Получился, говорят, видный и красивый... По совету бригадира Харитона высекали на памятнике надпись.

Да, чуть не забыла, Варя, сообщить тебе... Секретарь райкома товарищ Овсянкин и Харитон все-таки разузнали, как была погублена Марфа Ивановна. Шофер нашего колхоза Денис Бекренин забулдыга и пьянчужка. Он убил машину Марфу Ивановну. Дениса сейчас от работы отстранили и скоро будут судить. Мне прямо слезно жалко

старуху. Противный хулиган не дал ей дожить до радостного дня. Ты, Варя, должно, читала в газетах статью «Герой Хасана». Если не читала, обязательно прочти. Захар Гранев, наш, с Куликова поля. Сын Марфы Ивановны. Вот была замечательная мать! Воспитала такого сына! Примерной матерью она была и в бригаде. Для всех трактористов. И они не ошиблись, возвеличивая о ней память. Мой Сеня часто вспоминает о Марфе Ивановне. И когда он рассказывает о ней, я думаю о себе и о своем сыне, начинаю ожидать его нетерпеливо... Нет, я не смогу, и, должно быть, трудно быть такой матерью. Такой, как была Марфа Ивановна.

Варя, соберешься ехать к нам, обязательно купи мне резиновые боты. Не забудь. На осень, по грязи, они у нас сильно нужны. Только с металлическими застежками. Такие удобнее. Не забудь захватить пластинок. Только хороших.

Привет тебе от мамы, отца и Фроси. От Сени особый привет, хоть он тебя и не знает. Сене я много о тебе рассказывала. Он уже шутил: «Приедет, обязательно спрошу: «Ну, мол, Варя, берет помог?». Все мы ожидаем твоего приезда».

Катерина перечитала письмо. Кое-что интимное, относящееся к себе, вычеркнула.

Катерина сидела боком к окну. Она вдруг почувствовала, что на нее кто-то смотрит. В саду, напротив окна, под ветвями яблонь, стоял Дымов, грязный, как угольщик.

— Слышала новость? — спросил он.

— Какую?

— Не знаешь? Я был прав...

— В чем? Дениса будут судить? Ну, иди скорее, рассказывай... А я письмо Вале, наконец-то, написала.

Нагибаясь под ветвями деревьев, Дымов завернул за угол избы. В прихожей он прежде, чем войти к Катерине, принял себя мыться. Через дощатую перегородку было слышно, как он плескал водой, фыркал.

— Теплую воду нашел? Она в печи...

— Все нашел! — ответил из-за перегородки Дымов.

— А я тебе говорил и был прав...

— Что говорил?

— С тебя, Катя, причитается, факт.

— Я, кажется, с тобой ни о чем не спорила?

— Если не спорила, так и не была уверена...

— Я ничего не понимаю!

Дымов вошел к Катерине хорошо вымытый, в свежей рубашке, в сандалиях на босу ногу.

Катерина, склонясь над столом, спешила дописать на конверте адрес. Дымов взял ее ладонями за щеки, запрокинул голову, смотрел в большие и ясные ее глаза.

— Да, я был прав... — шуточно, улыбаясь, сказал он. — С тебя причитается.

Катерина первая поцеловала Дымова. От Сени слегка пахло машинным маслом.

— Харитона назначили директором, вместо Валдеева, — наконец-то сообщил он. — Слышала?

— Нет. Ну, что же, рада. Справится?

— Ну вот... Очень даже справится. Харитон — кадр, таких поискать.

— А кто же будет теперь у вас бригадиром?

— Егор...

— Тоже неплохо. А?

— Да. Но это уже, конечно, не Харитон. Нет. Харитон настоящий человек...

XX

Туман рассеялся. Над пустыми полями поднялось веселое солнце. Роса белесой хмарью лежала на увядших травах, светлые капельки сияли на щетине жнивья. В равнине, что тянется почти до Красивой Мечи, ползали тракторы. Вдалеке послышался грохот поезда и вскоре затих. Собравшиеся к отлету грачи поднялись над холмом тучей. Волк вышел на вершину холма; он повернулся боком к солнцу, бурая шерсть на нем залоснилась. Высоко задрал голову, он оглянулся по сторо-

нам, точно не зная, куда бы ему пойти. Крикливые грачи проводили волка до оврага, зияющего пустотой, и вновь закружились над курганом.

На склоне холма осинки стояли желтые, и багряно горели клены. Воздух был чист и полон сытного и легкого аромата недавно убранных полей. Земля, покрытая щетиной жнивьев, никогда не пахнет так благодатно, как в эту пору.

В стороне от тракта, за огромным прудом, окаймленным кустами раки с медной листвой, резко белели здания молочной фермы. Из крайнего от пруда дряка вышла девочка лет девяти, в праздничном сером пальто и белом платочке, повязанном акkuratно. Подмышкой у нее холщевая сумочка. Она направилась тропинкой на холм, по отлогому склону которого разбрелись в перелеске пестрые коровы, белые и черные овцы, козы. Из-за куста рябины, увешанной тяжелыми гроздьями, вышел на дорогу загорелый пожилой пастух в брезентовом плаще внапашку. На плече у него кнут и ловкая дубовая палка-швырок, натертая руками до глянца. На приближающуюся девочку он смотрел пристально, под светлорусыми и густыми его усами сверкали в улыбке зубы.

— Фрося, ты ко мне?

— И к тебе, и нет... — ответила Фрося. — Варя телеграмму прислала. Завтра приедет...

— А-а... вот хорошо! Вечерком надо Катерину известить. Завтра, значит?

— Да.

— Подожди, Фрося... Ты куда же спешишь?

— Хо! — Фрося удивленно пожала плечами. — Я тебе, небось, вчера еще говорила: нынче у нас в школе начало занятий. Забыл?

— Да, запомнил, дочка, забыл, — сказал пастух. — Ну, беги, беги... Не опоздаешь? Едет, говоришь...

Перевалив за холм, Фрося стала спускаться крутым склоном к Веселым Прудам. За избами с серыми соломенными крышами рдели в садах

яблоки, на огородах блестела мраморная капуста...

По дороге, мягко рокоча, промчалась голубая закрытая машина, ослепительно сверкнув на повороте стеклами. Напротив кладбища она остановилась. Трое мужчин вылезли из машины, зашли на кладбище. Они стояли долго, рассматривая что-то. Машина уехала. Две женщины, шедшие из села, свернули на кладбище и тоже остановились, переговариваясь.

Фрося спустилась на профилированную дорогу, миновала колхозное тумно с громадинами ометов свежей и пахучей соломы. Но вон и кирпичный сарай, а рядом — кладбище. Всегда, особенно осенью и зимой, возвращаясь из школы на ферму в сумерки, Фрося проходила мимо этого места робко, с невольной опаской, и старалась не глядеть на холмики и ямы провалившихся могил. Думалось, что тут похоронены только злые и страшные люди, вроде сапожника и сторожа фермы Агафона, который часто бывал пьяный, грязный и ругался осипшим голосом так, что Фрося вздрагивала и зажмуривалась. Казалось, что Агафон никогда не имел, как все люди, родителей, а просто явился на свет откуда-то из темных и скользких коряг, со дна прудового омута. И у Фроси перехватывало дыхание, когда она вспоминала тихую голубоглазую подругу Верку Силаеву, умершую прошлой осенью. Хоронили ее тогда всей школой. Но тяжелее потери подруги Фрося пережила то, что Веру закопали рядом с могилой буйного и нелюдимого Агафона.

Над выгоном летало крутящееся облако скворцов. Вдруг они с шумом низко пронеслись над Фросей, темным листопадом посыпались на кладбище. Фрося настожила, удивленно смотрела быстрыми глазами. На краю кладбища, подле дороги, стоял высокий и угловатый камень кофейного цвета. Откуда он тут? Ах, этот самый...

Скворцы, вереща и свистя на все лады, сплошь облепили камень, переливаясь, блистая крыльями. Фрося подошла ближе. Бойкие и веселые

птицы шумно вспорхнули. На одной стороне камня, ровно стесанной, искристо горела под солнцем четко высеченная надпись. Фрося остановилась, долго и не мигая смотрела на высокий камень, читая... Она пошла было, затем вернулась, еще раз прочитала:

Марфа Ивановна
Гранева
1876—1938 гг.

Дням жизни есть число,
добрые дела пребывают
вовек.

Последние две строчки Фрося прочитала несколько раз, задумалась. И взрослые, все, кто читал их, уходили от памятника, полные величавого чувства собственного достоинства, полные желания думать и думать о прошлом и будущем. Многим казалось, что они вдоволь и сокровенно побеседовали с человеком, который и не умирал, а только приостановился подле перекрестка дорог, как бы говоря: «Что вами сделано, чтоб навсегда вы остались среди живых?».

Губы Фроси мелко шевелились, «Верке Силаевой теперь, небось, не страшно, коль там и Марфа Ивановна... Забуду? Нет, не забуду... надо спросить у Нины Ивановны, учительницы...» — говорила себе Фрося. Свернув на стезжку, она поспешила к огромной кирпичной с зеленой лоснящейся крышей школе, что стояла на взгорье, чуть поодаль от села. Школьники с криками бегали по лугу и в сквозном тополевом парке, стоящем в желтом озере опавших листьев.

Нет, Фрося не забыла, помнит надпись, от которой на сердце небывалая легкость. Только бы не забыть спросить... Нина Ивановна, небось, знает; она все знает...

Откуда-то с высоты полились музыкальные, трубные звуки. Журавли? Фрося запрокинула голову; в лицо ей дул свежий ветер. Летели совсем и не журавли. Ребята видят от школы или нет?

Откуда-то со стороны Непрядвы, сверкая своей снежной белизной, высо-

ко летела пара лебедей. Куда они летят? На юг? Да. Им, небось, далеко все видно. А море видно им или нет? Нет, должно, не видно. А может, и видно.

Фрося, прислушиваясь, пристально смотрела в сияющую синеву на величественных в своем полете белых птиц, обгоняющих облака. Она смотрела долго, пока не зарябило и не стало горячо в глазах.

Говорят, что из птиц дольше всех живут вороны и лебеди. И, может быть, сейчас летела та пара лебедей, что видела пустынное и дикое Куликово поле и страшное Мамаево побоище? Если так, то им известней и видней, чем кому-либо, что изменилось за мно-

гие годы на поле Куликовом и по всей стране от северных и до южных морей.

Они летели на своих упругих звенящих крыльях навстречу ветру и медленно вращающейся земле. Они тонко курлыкали и дивно трубили в свои серебряные трубы. Им многое было видно: безмежевые и убранные поля с разбросанными кое-где ометами, малахитовые озими, извилистые ленты дорог, накатанных машинами до блеска, ползающие повсюду по жнивьям тракторы, частые деревни и города с огромными новыми корпусами. Издалека и далеко летящим птицам все больше и больше открывалась необъятная страна.

Разговор с другом

о задолженности молодости

НИК. АСЕЕВ

★

В шалашную полночью площадь,
В сплывшую белую бездну,
Незримую ими, — «Извозчик!»
Низринут с подъезда. С подъезда.

Борис Пастернак.
«Раскованный голос».

Теперь разглядите,
кого опишу я
из тех, кто имеет бесспорное право
на выход
в трагедию эту большую
без всяческих объяснений
и справок.

Нас всех воспитали
и образовали
по образу своему
и подобию...
На собственный лад
именами назвали,
с младенчества
приучая к надгробью.

Но мы ведь метались,
мы не позволяли,
чтоб всех нас в нули
зачисляли по смете;
кистями,
мелодиями рояля,
стихами
дрались
против пыли
и смерти.

Мы гневом, захлебываясь,
пьянели,

нам море былого
было по колени,
и мы выходили
пылать на панели
глазами блистающего
поколенья.

Нет, мы не давались
запрячь нас в упряжку;
ведь то и входило
нам жизни в задачу, —
чтоб не превратиться
за денежку-бляшку
в чужого нам промысла
тощую клячу.

В четыре копыта —
лошажья походка;
на лошади ж —
двигаться
предкам пристало,
а если — вокруг
задувает погода?
А если дорогу
пургой обсвистало?

В четыре стопы
не осилишь затора,
уж как бы уютно
вы в сани
ни сели.
И только
высокая сила мотора
в полете слепом
нас доводит до цели.

О нет,
завожу не о форме я споры,
но, — только подняться
над ширью земною, —
заборы, заборы,
замки и затворы
преградой мельчают
внизу подо мною.

Так что ж мне
в твоей философии тихой?
Таким ли
теней подзаборных пугаться!
Ведь ты же умеешь
взрывать это лихо,
в четыре мотора
впрягая пегаса.

А я не с тобою
сiju в этот вечер,
шучу и грущу,
и смеюсь не с тобою,
и в разные стороны
клонятся плечи,
хоть общие сердцу
близки перебои.

Незванный друг мой,
с тобой говорю я:
неужто ж безвстречно
расходятся реки?
Об общем истоке
не плещут, горюя,
и в разное море
впадают навеки?

Но это ж и есть
наша гордость и сила, —
чтоб, с места сорвав
из домашнего круга,
нас силой искусства
переносило
к полярным разводьям
зимовщика-друга.

Ты помнишь тот дом,
те метельные рощи
бульваров,
какие, — лишь стань омолаживать, —
качнутся от жаркого крика:
«Извозчик!».

От вьюги времен,
засыпающей заживо.

Мороз нам щипал
покрасневшие уши,
как будто хотел нас
из сумрака выловить,
и ты выбежал,
воротник отвернувши,
от стужи,
от смерти
спасать свою милую.

Ведь уши горели
от этого клича,
от этого холода времени
резкого.
Ведь клич этот,
своды годов увелича,
по строчкам твоим
продолжает свирепствовать.

Так ближе!
Не в бурях дешевых оаций
мы голос натруженный
сдвоим и сгрудим,
чтоб людям
не ссориться,
не расставаться,
чтоб легче дышалось
и думалось людям.

Ведь этим же
и определялась задача;
чтоб все, что мелькало
в нас самого лучшего,
собрать,
отцедить,
чтоб, от радости плача,
стихи наши стали
навек заучивать.

Так вот они —
эти последние сроки,
задолженность молодости
стародавняя,
чтобы в наши отборные,
лучшие строки
сегодняшних дней
отложилось предание.

Стихотворения

И. А. КУРАТОВ

(1839—1875).

★

САМПСОН

Когда узнают, что пришло бессилье,
Что сломаны судьбы ударом крылья, —
Выводят человека на потеху
И выколуют глаза ему — для смеха.

Поймите, люди! Зрения лишенный
Отыскивает ощупью колонну.
И падает колонна. И палаты
Смятением и ужасом объаты!

Царь — под столом. Матроны вопль
звериный...
Летят куски, трещит плафон старинный,

Смешался мрамор с бронзовой пылью,
Смешались черепа и сухожилья...

Картина давняя, века переживая,
Встает передо мною, как живая;
Ты пал, Сампсон, поправ к живущим
жалость,

И кровь врагов — с твоей
перемешалась.

Мне кажется, кричат еще руины:
«Не отнимайте глаз у исполинов
Себе на горе! Пусть талант идет
Тернистою дорогой, но — вперед!».

1865

★

ТЬМА

С давних пор укутана планета
В эту тьму тяжелую ночную:
Все живое — в черное одето,
Средь людей — людей не отыщу я!

Не найти! Иные для показа
В белые одежды разодеты,
Да и те — невидимы для глаза:
Облепил их рой мышей крылатых.

Злой вампир летает по отчизне,
Нашей кровью теплою питаюсь...
И зову я солнце нашей жизни
В этой тьме... Зову и задыхаюсь.

Вижу я за тьмой окаменелой
Краешек серебряный, несмелый...
Выйди, солнце! Пусть во всей красе
Засияет радуга в росе!

1865

★

МОЛОДОЙ БЕДНЯК

Жизнь моя, моя судьба
В песнях перепета;
Сени, улица, изба
Солнцем обогреты;

По ночам не страшен вор,
Доля — не сварлива;
Слава богу, полон двор:
Выросла крапива!

Не съедят, — не быть беде!
Живи без заботы...
А коров и лошадей —
По лесам без счету...

Только нету серебра —
Хлеб не покупаю...
Много ль у того добра,
Кто руду копает?

Сыт, и пьян, и весел я,
Словно на крестинах;
Реки пива для меня
Пенятся в долинах.

У меня — везде родня,
Всюду, ни был где бы, —
В каждой печке для меня
Выпекают хлебы;

Есть и щи по котелкам,
Только ешь с охотой,
Только волю дай рукам —
Волю для работы...

Богача берет тоска,
А меня веселье...
У богатого сына —
Тоска от безделья!

В кольца волосы, звеня,
Завились, что надо...
Любит девушка меня,
Песенка — отрада.

Хорошо теперь вдвоем
Под небесной крышей...
Скушных песен не поем —
Сердце их не слышит...

1865

*Переводы с коми-языка
Ивана Молчанова.*

★

Дрейф ледокола „Георгий Седов“ и Северный морской путь

Проф. Н. ЗУБОВ

★

13 января 1940 года в Гренландском море закончился героический дрейф ледокольного парохода «Георгий Седов» во льдах Северного Ледовитого океана. Этот дрейф, продолжавшийся 812 дней, имеет громадное значение для освоения Северного морского пути.

Морской путь из Атлантического океана в Тихий океан, вокруг северного побережья Европы и Азии, издавна получил название Великого северного морского пути. Этот морской путь давно был пройден по частям русскими мореплавателями. Везде, где бы ни плавали по этому пути, находили следы пребывания русских, — небольшие избушки, кресты, которые играли двойную роль: во-первых, как могильные памятники, и, во-вторых, как опознавательные знаки и при плавании у этих берегов. Однако о плаваниях русских мореплавателей до XVI в. сохранилось очень мало сведений. Грамотных тогда в Сибири не было, и мы ничего не знаем об этих смелых мореплавателях. В течение XVI века русские промысловые люди проникли в Северную Азию и к 1610 году дошли уже до Енисея.

Эпоха великих географических открытий достигает своего расцвета в XVII веке. В 1632 году на р. Лене основывается Якутск.

Уже с 1633 года мы имеем письменные сведения о замечательных плаваниях, совершенных русскими между Леной и Колымой, т.-е. на очень большом отрезке Северного морского пути.

Мотивы, которые вызвали эти сопровождающиеся громадным риском плавания, были для тех времен естественны. Там, на севере, — были «мамонтова кость» — клыки мамонта — и «мягкая рухлядь» — пушнина. Жажда наживы толкала предприимчивых людей на север, а нажива была не маленькая. Известно, что за простой железный котелок местные жители отдавали столько собольих шкур, сколько в этот котелок влезало.

Этот период ознаменовался в 1648 году величайшим географическим открытием, открытием того, что Азия отделяется от Америки так называемым сейчас Беринговым проливом. Это открытие было сделано казаком Дежневым.

Записи Дежнева, ясно показавшие, что он прошел морским путем из Чукотского моря в Тихий океан, на долгое время были погребены в архивах и потому еще в начале XVIII столетия было под сомнением, существует ли пролив между Азией и Америкой. Знаменитый ученый Лейбниц в своей переписке с Петром Великим говорил, что чрезвычайно важно установить, соединяется ли Америка с Азией. В 1733 году начинается величайшее географическое предприятие, задуманное по инициативе Петра Великого, но совершившееся уже после его смерти. Это так называемая Великая северная экспедиция, равной которой не было в мире до прихода советской власти, экспедиция, которая гораздо меньше была оценена в те

времена русскими, чем иностранцами.

Великая северная экспедиция, продолжавшаяся в течение 10 лет под общим начальством Витуса Беринга, положила впервые на карту весь Северный морской путь от Белого моря до Чукотского полуострова, открыла северную оконечность Азии — мыс Челюскина, прошла Беринговым проливом, описала северную часть Сибири и дошла до Алтая. Эта экспедиция присоединила к России Аляску, которая впоследствии была продана американцам.

Российским правительством эта экспедиция не была оценена. Многие из того, что она сделала, подверглось сомнению. Многие из ее участников пострадали, были отданы под суд. Только последующее изучение подлинных документов и научное исследование Северного морского пути показали все значение этой экспедиции. Надо удивляться, как только могли люди с теми средствами, которые были в распоряжении экспедиции, сделать так много, как с такими несовершенными инструментами могли, дать рабству такой высокой точности.

Имена участников этой Великой северной экспедиции мы до сих пор находим на наших северных картах. Берингово море, Берингов пролив, море братьев Лаптевых, пролив Дмитрия Лаптева, берег Харитона Лаптева, шхеры Манина, пролив Малыгина, мыс Стерлигова, мыс Челюскина, бухта Марии Прончищевой и т. д., — все эти названия даны в честь участников экспедиции.

Мария Прончищева, в честь которой названа бухта, была женой лейтенанта Прончищева и переносила с мужем все тяготы экспедиции. Она умерла от цынги через пять дней после смерти своего мужа. Могила Прончищевых до сих пор сохранилась в устье реки Оленек.

Эта Великая северная экспедиция показала, что весь Северный морской путь можно пройти морем. Но он был пройден в эту экспедицию по частям.

После Великой северной экспедиции в научном исследовании Арктики наступил большой перерыв. Отдельные разрозненные экспедиции изучали только

отдельные участки этой трассы. В 1878 — 1889 г. состоялась научная экспедиция Норденшельда на судне «Вега». Эта экспедиция прошла впервые из Атлантического океана в Тихий океан с одной зимовкой на пути. Эта экспедиция была вдохновлена и на треть финансирована Александром Михайловичем Сибиряковым, в честь которого назван ледокольный пароход «Сибиряков».

Все-таки и после похода «Веги» царское правительство мало обращало внимания на изучение нашего Севера, хотя уже в 1899 году по проекту Степана Осиповича Макарова был построен ледокол «Ермак», который даже сейчас является одним из наиболее сильных ледоколов мира.

Сдвиг в этом отношении сделала русско-японская война. 14-го мая 1905 года русская эскадра адмирала Рожественского, следовавшая из Кронштадта во Владивосток, была в несколько часов разгромлена и потоплена японцами в бою у острова Цусимы.

Много причин вызвало разгром русской эскадры. Остановимся только на одном факте, сыгравшем известную роль.

Дело в том, что эскадре Рожественского, после того, как она вышла из Кронштадта, весь путь до Цусимы пришлось идти по чужим морям постоянно под угрозой нападения, без отдыха, без возможности отремонтировать, привести в порядок корабли.

Взглянем с военной точки зрения на Северный морской путь. Этот путь целиком проходит по нашим морям, по морям трудным, но по таким морям, которые сама природа защищает от проникновения любого вражеского корабля и самолета.

После русско-японской войны великий русский ученый Д. И. Менделеев сказал, что, если бы одна десятая часть тех средств, которые пошли ко дну в бою у острова Цусимы, была использована на основе Северного морского пути, этого разгрома русской эскадры не было бы, и она прошла бы во Владивосток.

И вот перед самым началом первой империалистической войны царское правительство специально заказывает два

ледокольных парохода «Таймыр» и «Вайгач». Эти ледокольные пароходы начинают систематическую работу по исследованию Северного морского пути.

В 1913 году ледоколы совершают замечательное географическое открытие Северной земли. В 1914—1915 гг. они с одной зимовкой проходят из Владивостока в Архангельск. Затем начинается первая империалистическая война, и опять исследование Севера прекращается. Оно возобновляется только с установлением советской власти. В 1921 году в декрете, подписанном В. И. Лениным, об организации Морского научно-го института прямо сказано, что институт организуется для всестороннего и систематического исследования наших северных морей.

Постепенно с запада и с востока, с юга на север начинается освоение нашей Арктики. При этом ставится несколько задач.

Первая задача — военная задача. Нельзя забывать, что Северный морской путь является военным путем, по которому мы можем в случае нужды перебросить военные корабли и военные грузы из Атлантического в Тихий океан и обратно.

Вторая задача — экономическая задача. Простой взгляд на карту Сибири показывает: наиболее характерным для Сибири является то, что сибирские реки тянутся с юга на север. Эти реки и их притоки хорошо обеспечивают сообщение в меридиональном направлении, а вот средств сообщения по параллели в Сибири почти нет. Здесь имеется только великая сибирская железнодорожная магистраль, больше ничего. Понятно поэтому, что Великий северный морской путь, соединяющий устья таких рек, как Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Колыма и др., представляет большие экономические выгоды.

Нансен говорил: «Сибирь — это страна будущего». И сегодня, несмотря на то, что Сибири со времен Нансена не узнать, можем повторить, что Сибирь — это страна будущего, потому что необъятны ее богатства. На севере ее — великолепные лесные массивы, на юге — плодородные земли, а в недрах

Сибири — сколько угодно полезных ископаемых, начиная от соли и угля и кончая золотом. А что еще есть в Сибири — этого мы просто не знаем, потому что геологическая разведка в этом крае еще недостаточна.

Третья задача — культурная задача. Крайний север Сибири населяют малые народности. Эти малые народности хотят и имеют полное право жить так же, как живем мы, — жить культурно, жить зажиточно. Для них средства сообщения — это вопрос условий их существования. Советская власть не может оставить эти народности без внимания. И Великий северный морской путь в приобщении этих народностей к культуре играет громадную роль.

Но Великий северный морской путь не является обычным морским путем. Он требует к себе необычного подхода. Северный морской путь требует самой современной техники: применения радио, применения ледоколов, применения самолетов. И вот все средства современной техники советская власть и бросила на освоение Северного морского пути.

Переломным в этом отношении годом является 1932 год, когда по инициативе Иосифа Виссарионовича Сталина ледокольный пароход «Сибиряков» в одну навигацию прошел из Архангельска во Владивосток. Вслед за этим было организовано Главное управление Северного морского пути, задачей которого было превратить Северный морской путь в нормально действующую магистраль.

С 1932 года мы не знаем ни одной навигации, чтобы в ту или другую сторону не проходили корабли. Сотни тысяч грузов перевозятся по Северному морскому пути. Все больше и больше вводится ледоколов, больше устраивается радиостанций, научных станций, все больше самолетов принимает участие в обслуживании навигации и перевозке пассажиров и грузов.

И все же мы не можем на сегодняшний день считать Северный морской путь полностью освоенным, потому что главным затруднением на Северном морском пути являются не мели, не штормы, а льды.

Сейчас уже создана наука о льдах, об их образовании, режиме, движении, о законах, определяющих общее количество льдов и их распределение на отдельных участках трассы, и т. д.

Как показывают наблюдения, количество льдов и их распределение не остаются из года в год неизменными. Бывают годы, когда отдельные участки Северного морского пути сплошь забиваются льдами и оказываются почти непроходимыми для самых сильных ледоколов, и бывают годы, когда через те же участки свободно без встречи со льдами проходят самые слабые суда.

Понятно, насколько важно для планирования операций по Северному морскому пути заранее предвидеть, будет ли предстоящая навигация легкой или тяжелой в ледовом отношении, а во время самой навигации предвидеть, как будут распределены льды на отдельных участках трассы. Другими словами, понятно, насколько важны для освоения Северного морского пути так называемые долгосрочные и краткосрочные ледовые прогнозы.

Дело ледовых прогнозов за советское время неизмеримо развилось, но все же недостаточно для того, чтобы полностью и уверенно обслуживать запросы полярного мореплавания. Развитие этого дела сильно тормозится тем, что ученые почти не имели сведений о том, что делается в Центральной Арктике. Все, что мы знали, было основано исключительно на работах знаменитой экспедиции Нансена в 1893 — 1896 гг., дрейфовавшей во льдах на корабле «Фрам» от Новосибирских островов через Полярный бассейн к Гренландскому морю.

А между тем достаточно посмотреть на карту трассы Северного морского пути, чтобы увидеть, что все моря этой трассы — Карское, Лаптевых, Восточно-сибирское и Чукотское — не являются морями в полном смысле этого слова, а лишь заливами Северного Ледовитого океана. Все они широко открыты на север, и нет препятствий для того, чтобы местные льды, образовавшиеся в этих морях, выносило в Центральный арктический бассейн и, наоборот, чтобы льды Центрального бассейна вносило в

эти моря. Уже отсюда понятно, что режим льдов в окраинных морях советской Арктики в сильнейшей степени зависит от режима льдов в Центральном бассейне и что до тех пор, пока мы не изучим Центральный арктический бассейн, мы не сможем полностью отвечать на запросы практики о ледовитости окраинных морей.

Экспедиция «Фрама» — это одно из удивительнейших географических путешествий. История экспедиции «Фрама» проста.

Давно было подмечено, что на берегах Гренландии, Исландии и Норвегии находят деревянные предметы, выделяемые на побережье Аляски. Единственный возможный путь их для этого лежал через Северный Ледовитый океан. Нансену это было прекрасно известно. Но как-раз при Нансене случилось одно замечательное событие, окончательно убедившее его в этом. В то время когда «Вега» — корабль Норденшельда — проходила Северный морской путь с запада на восток и зазимовала у Чукотского моря, началось беспокойство об ее судьбе. Была организована специальная спасательная экспедиция на корабле «Жаннетта». Эта экспедиция, обильно снабженная запасами, вышла из Тихого океана в Арктику через Берингов пролив. Однако вскоре Де Лонг — начальник экспедиции — узнал, что экспедиция на «Веге» благополучно прошла в Тихий океан. Это было в 1879 году.

Знаний о Северном Ледовитом океане в то время было очень мало. Во всяком случае на «Жаннетте» все были убеждены, что они быстро доберутся, лавируя между льдами, до Северного полюса.

В действительности оказалось не так. «Жаннетта» вошла во льды около острова Врангеля, и затем вместе со льдами ее понесло на запад. В 1881 году у Новосибирских островов она была раздавлена. Часть экипажа отправилась по льду на берег, часть экипажа погибла, но обломки судна понесло через Северный Ледовитый океан.

Через некоторое время у берегов Гренландии нашли обломки и некоторые вещи с «Жаннетты».

И вот Нансен решил, что раз льды смогли пронести через Северный Ледовитый океан обломки и предметы, то они смогут пронести через этот океан и научную экспедицию на специально приспособленном судне.

Нансен еще до экспедиции был крупнейшим знатоком Арктики. И все-таки даже у Нансена были слабые представления о том, что такое Северный Ледовитый океан. Нансен был уверен, что Северный Ледовитый океан неглубокое море, что нужно иметь, например, только 500 метров троса для того, чтобы измерить его глубину. И когда он убедился, что Северный Ледовитый океан значительно глубже, ему пришлось раскручивать обычные судовые тросы на отдельные проволоки и таким образом получать лотлинь достаточной длины.

Нансен открыл, что Северный Ледовитый океан — это глубокий бассейн с глубиной около 4000 метров. Нансен открыл, что повсюду на пути его дрейфа расположены атлантические воды, которые входят в Арктический бассейн из Гренландского моря, а затем глубинным течением распространяются по всему Северному Ледовитому океану. В дальнейшем советские научные экспедиции нашли, что эти воды проходят вплоть до приврангелевского района.

Особое внимание Нансен обратил на всестороннее изучение морских льдов и открыл весьма простые законы их дрейфа под влиянием ветра.

Нет ни одной области геофизики или океанографии, которую бы не обогатил своими наблюдениями Нансен. Но Нансен работал, как ученый-одиночка, у него не было ни предшественников, ни преемников. Поэтому многие великолепные наблюдения его не принесли всех тех результатов, какие они могли бы принести.

После экспедиции Нансена прошло много времени. Наука об Арктике сильно выросла. Начали раздаваться голоса о том, что надо провести новые исследования в Центральной Арктике, пользуясь современными приборами, базирясь на современной науке. Был даже

разработан план, как это сделать. Сам Нансен горячо поддерживал этот план. Но при этом упускалось из виду то обстоятельство, что работа в Центральной Арктике может быть только тогда полноценной, когда она подготовлена предшествовавшими исследованиями, когда эта работа опирается на наблюдения научных станций на побережье Арктики, когда она опирается на экспедиции, работающие в окраинных морях Арктики.

Такое изучение Арктики удалось осуществить только советской власти, и в результате наши окраины покрылись научными станциями. Достаточно указать, что до советской власти на всем побережье Арктики от Новой Земли до Берингова пролива было пять научных станций, а к 1937 году их оказалось 55. Все моря советской Арктики были изучены, и осталось начать изучение центральной части Полярного бассейна. Вот это и было осуществлено станцией папанинцев.

Эта станция за 274 дня своего дрейфа совершила громадный путь от Северного полюса до восточного побережья Гренландии. Т. Папанин, Кренкель, Ширшов и Федоров произвели замечательные наблюдения. Они во многом дополнили наблюдения Нансена. Они открыли некоторые новые законы, а в некоторых отношениях буквально перевернули наши представления об Арктике.

Но вот что самое замечательное: экспедиция папанинцев еще раз показала, что мы о Центральной Арктике знаем мало.

Действительно предполагалось, что папанинцы пробудут в Центральной Арктике целый год, а затем к ним прилетят тяжелые самолеты и их заберут. Между тем оказалось, что вместо того, чтобы оставаться почти на месте, станция «Северный полюс» превратилась в самую настоящую экспедицию. Она дрейфовала в $2\frac{1}{2}$ раза быстрее, чем предполагалось. Таким образом, мечта о том, что мы в результате ее работы будем иметь круглогодичные наблюдения в Центральной Арктике, не осуществилась.

Эту мечту полностью удалось осуществить ледокольному пароходу «Георгий Седов».

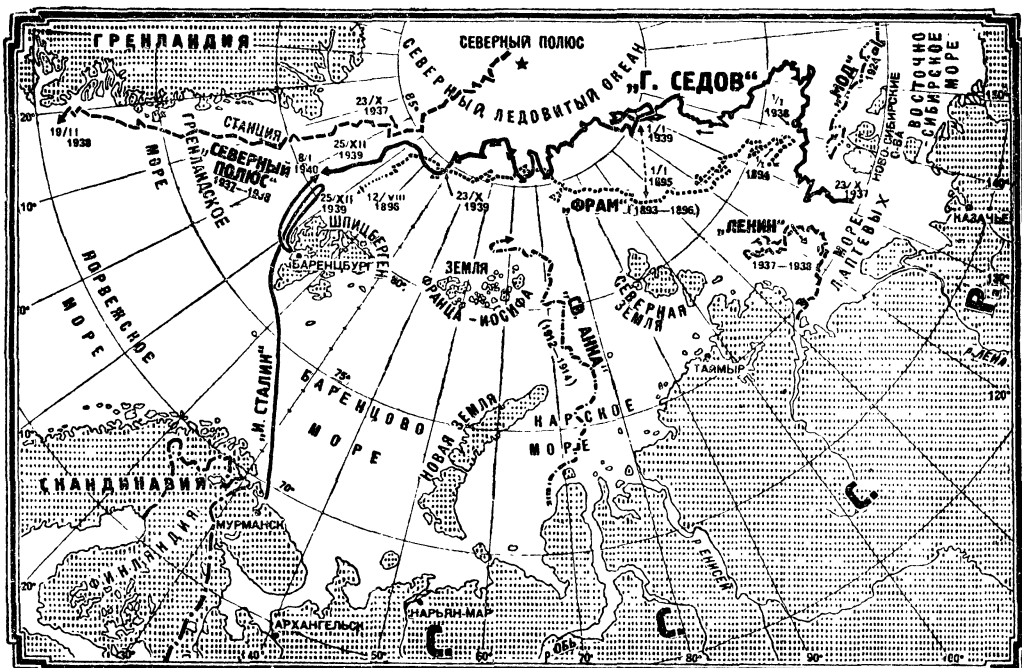
Дрейф ледокольного парохода «Седов» начался (см. рис.) совместно с ледокольными пароходами «Садко» и «Мальгин» 23 октября 1937 года на $75^{\circ} 19'$ с. ш. и $132^{\circ} 25'$ в. д. в море Лаптевых, в районе к западу от Новосибирских островов. Сначала дрейф был направлен прямо на север, приблизительно по 133° в. д. Через месяц, когда «Седов» был около 78-й параллели, дрейф повернул на восток, и 2 марта 1938 года «Седов» оказался на $78^{\circ} 25'$ с. ш. и $153^{\circ} 26'$ в. д. Эта точка явилась самым восточным пунктом, достигнутым «Седовым». С тех пор «Седов» стал медленно продвигаться на запад, увеличивая в то же время свою широту.

В апреле 1938 года, когда ледокольные пароходы находились приблизительно около 79-й параллели, к ним летало три тяжелых самолета под управлением Героев Советского Союза Алексеева и Головина и летчика Орлова. Эти самолеты вывезли на материк

184 человека из команды дрейфующих судов.

28 августа 1938 года, когда ледокольные пароходы находились на $83^{\circ} 06'$ с. ш. и $138^{\circ} 24'$ в. д., к ним подошел ледокол «Ермак». Ему удалось вывести из льдов ледокольные пароходы «Садко» и «Мальгин». Что касается «Седова», то все попытки освободить его из ледяного плена оказались безуспешными. Во время предыдущей зимовки сжатиями льдов на «Седове» были повреждены руль и рулевое устройство. Следовать самостоятельно за «Ермаком» «Седов» не мог. Взять «Седова» на буксир также оказалось невозможным. «Седов» из-за испорченного руля все время отходил в сторону, и толстые буксиры рвались. Тогда было решено оставить «Седова» на зимовку в дрейфующих льдах. На «Седове» осталось 15 моряков во главе с капитаном Бадитиным. Дальнейший дрейф «Седов» совершал в полном одиночестве.

17 февраля 1939 года «Седов» оказался на $85^{\circ} 56',7$ с. ш. и $120^{\circ} 13',3$ в. д. В этот день был побит рекорд широты,



Дрейфы «Мод», «Ов. Анны», «Фрама», ледоколов «Ленин», «Седов» и станции «Северный полюс», а также путь ледокола «И. Сталин».

установленный «Фрамом» для судов, дрейфующих вместе со льдами. За 44 года до этого, 15 ноября 1895 года «Фрам» достиг $85^{\circ}55',5$ с. ш. и $66^{\circ}31'$ в. д.

После этого «Седов» продолжал дрейфовать в общем в северо-западном направлении и 22 марта 1939 года достиг $86^{\circ}34',7$ с. ш. и $108^{\circ}50'$ в. д. В дальнейшем дрейф «Седова» начал постепенно склоняться к юго-западу. До 17 мая 1939 года дрейф «Седова» проходил значительно севернее линии дрейфа «Фрама». С 17 мая по 27 июля пути «Седова» и «Фрама» как бы переплетаются друг с другом, но затем «Седов» начинает опять быстро подыматься на север и 29 августа достигает самой северной точки своего дрейфа на $86^{\circ}39',5$ с. ш. и $47^{\circ}55'$ в. д.

13 октября «Седов», спускаясь к югу, опять пересекает дрейф «Фрама».

С середины ноября дрейф «Седова» направился между дрейфами станции «Северный полюс» и «Фрама» к широкому проливу, отделяющему Гренландию от Шпицбергена.

13 января 1940 года, когда «Седов» оказался приблизительно на $80^{\circ}50'$ с. ш. и 3° в. д., к нему подошел флагман советского ледокольного флота «Иосиф Сталин». Так закончился героический дрейф, обогативший науку новыми сведениями об Арктике.

★

Во время дрейфа перед седовцами стояли две задачи. Первая задача — сохранить ледокольный пароход для советского флота. Вторая задача — использовать дрейф для производства возможно более полных и точных наблюдений в Центральной Арктике.

Первая задача была вовсе не простой. Ледокольный пароход «Седов» — это обыкновенный товаро-пассажирский пароход, приспособленный для навигации в слабых льдах. Его борта почти прямостенные. Правда, у него ледокольный нос и имеются хорошие крепления, но во всяком случае он был меньше приспособлен для сопротивления сжатию льдов, чем «Фрам».

Седовцы сильно укрепили корпус судна имевшимися у них бревнами. Но, кроме того, они выработали прекрасные способы борьбы со сжатиями льдов при помощи аммонала. Вокруг корабля у них всегда были приготовлены лунки во льду, и как только начиналось где-нибудь сжатие, они взрывали ледяные поля, разламывали лед и превращали его в кашу, а эта каша служила своего рода буфером. Самое страшное, когда лед представляет собой сплошное поле и упирается в корпус судна острым углом. Представим себе, что происходит, когда льды приходят в движение или движутся с разной скоростью. Вспомним льдину папанинцев. Она имела три метра толщины, ее площадь была около четырех квадратных километров, она весила около 12 млн. тонн. Представим, что это ледяное поле начало двигаться, хотя бы со скоростью одного сантиметра в секунду. Что может сопротивляться ледяному тарану в 12 млн. тонн весом? Поэтому надо как-то отвести это громадное давление от корабля. Седовцы научились это делать. И в этом отношении их работа была безукоризненна.

Была у седовцев еще одна забота. Как мы видели, в первый год зимовки, когда у них еще не было достаточного опыта, сжатие льдов повредило у них рулевое устройство. Поэтому «Седов» и был оставлен в дрейфе. И вот эта работа — исправление руля, — помимо сохранения корабля вообще, являлась большой заботой седовцев. Седовцы привели корабль в известный порядок. «Седов» смог идти за ледоколом «Иосиф Сталин».

Седовцы выполнили еще одну большую работу. Нужно следить за механизмами, чтобы не было ржавчины, надо смотреть, чтобы корпус был в порядке. Мы знаем, что ледокольный пароход «Седов» сейчас в полной исправности. Выполнение первой задачи — сохранение корабля для советского ледокольного флота — это большая заслуга седовцев.

Вторая заслуга заключается в следующем:

Экспедиция на «Седове» не была нарочито задуманной научной экспедици-

ей, как станция «Северный полюс» или как экспедиция на «Фраме». Это была экспедиция случайная. На ледокольном пароходе «Седов» не было ученых-профессионалов. Единственный человек, которого можно назвать ученым-профессионалом, — это гидрограф Буйницкий, но и то он еще студент. Все остальные седовцы — это обычные советские моряки. Эти 15 обычных моряков прекрасно понимали, что самый лучший маяк при плавании по Северному морскому пути — это знание, и они сделали все, что было в их силах, для того, чтобы этот маяк светил советским полярникам как можно ярче.

Ряд обстоятельств придал дрейфу «Седова» исключительный теоретический и практический интерес.

Во-первых, дрейф «Седова» начался тогда, когда дрейф станции «Северный полюс» еще продолжался. Таким образом, благодаря дрейфу «Седова», осуществились непрерывные наблюдения в высоких широтах Арктики в течение почти трех лет.

Во-вторых, в начале ноября 1937 года, то-есть вскоре после начала дрейфа «Седова», караван коммерческих судов во главе с ледоколом «Ленин» был вынесен льдами из Хатангского залива и начал дрейфовать в юго-западной части моря Лаптевых. Закончился этот дрейф 7 августа 1938 года, когда ледокол «Красин» вывел весь караван судов на чистую воду. Таким образом, в течение десяти месяцев два каравана судов одновременно дрейфовали вместе со льдами на некотором расстоянии друг от друга: один в юго-западной части моря Лаптевых, другой — в северо-восточной части этого моря и в районе к северу от Новосибирских островов.

Дрейфы «Седова» и «Ленина», хотя и отличаются в деталях, но в общем удивительно похожи друг на друга, что доказывает общность причин, их вызвавших, и связь их с общей циркуляцией атмосферы и гидросферы в этом районе Северного Ледовитого океана.

Наконец, в-третьих, дрейф «Седова» протекал приблизительно в том же районе, где в 1893 — 1896 гг. дрейфовал «Фрам» экспедиции Нансена. В общем,

дрейф «Седова» протекал значительно севернее «Фрама», но на отдельных участках эти дрейфы, как мы видели, переплетались друг с другом.

Сопоставления дрейфа «Седова» и «Ленина», с одной стороны, «Седова» и станции «Северный полюс» — с другой, и, наконец, сравнение дрейфа «Седова» с дрейфом «Фрама» представляют исключительную ценность.

Сравнение дрейфов «Фрама» и «Седова» представляет огромный интерес еще и потому, что, как известно, дрейф «Фрама» протекал в климатических условиях, значительно отличающихся от тех, которые мы имеем сейчас в Арктике.

✱

Начиная примерно с 1920 года мы в Арктике начали наблюдать интереснейшее явление — ее потепление. Это потепление не протекает постепенно. Годы более холодные сменяются более теплыми, более ледовитые навигации — менее ледовитыми. Но в общем Арктика становится все теплее и теплее.

Прежде всего замечено уменьшение размеров ледников. Это уменьшение за последние годы в Арктике является повсеместным. На Земле Франца-Иосифа некоторые острова растаяли, а другие как бы «раскололись» надвое: между ними открылись новые проливы; раньше эти острова были соединены ледяным перешейком. В море Лаптевых некоторые острова, почти сплошь состоявшие из ископаемого льда, сейчас резко уменьшаются в своих размерах. Острова Семеновский и Васильевский были нанесены на карту в 1823 году, затем их съемка была повторена в 1912 и 1913 гг. и, наконец, в 1936 году. За это время остров Семеновский уменьшился по длине в 8 раз, а остров Васильевский, имевший длину около 7 километров, в 1936 году вовсе не был обнаружен.

Громадная область Северного Урала и Сибири характерна своей «вечной мерзлотой». Это — слои промерзшего и неоттаивающего грунта, расположенные на некоторой глубине. Сейчас южная граница вечной мерзлоты неуклонно отступает на север.

Начиная с 1920 года неуклонно повышаются средние температуры зимних месяцев на побережье Баффина залива, Гренландского, Баренцова и Карского морей. Даже в зиму 1928/29 года при сильных холодах в Европе зимняя температура на Шпицбергене и на острове Медвежьем была только несколько ниже нормы.

Замечательно, что повышение температур воздуха наблюдается за последние годы не только в Арктике, но и в районах, достаточно от нее отдаленных. Москвичи настолько привыкли к затяжной осени и теплым зимам, что уже считают это явление как бы нормальным.

Сравнения показывают, что средние температуры воздуха в Европе повсеместно повышаются. Для Ленинграда средние температуры за последнее десятилетие почти на градус выше, чем в девяностых годах прошлого столетия. Наши реки замерзают позже и вскрываются раньше.

Доказано согревающее влияние, оказываемое атлантическими водами на климат Арктики и Европы. Регулярные наблюдения показывают, что под каждым квадратным сантиметром поверхности атлантических вод, поступающих в Баренцово и Гренландское моря, сейчас как бы «спрятано» на 15 килокалорий тепла больше, чем это было в начале текущего столетия. Это тепло и сейчас еще продолжает накапливаться, уменьшая ледовитость наших морей и смягчая зимние температуры воздуха.

Уменьшилась ледовитость окраинных морей Советской Арктики. Общая площадь льдов в этих морях в навигационное время хотя и испытывает колебания то в одну, то в другую сторону, но в общем неуклонно уменьшается. Для Баренцова моря, например, общая площадь льдов с 1920 по 1933 год была на 20 проц. меньше, чем за 1900—1919 гг.

В связи с уменьшением ледовитости корабли проникают все дальше и дальше на север. В 1935 году ледокольный пароход «Садко» в северной части Карского моря доходил по чистой воде до $82^{\circ} 42'$ с. ш., установив тем самым ми-

ровой рекорд свободного плавания в северных широтах. В 1938 году ледокол «Ермак» к северу от моря Лаптевых во время освобождения из льдов ледокольных пароходов «Садко» и «Малыгин» дошел до $83^{\circ} 06'$ с. ш.

Юго-западная часть Карского моря сейчас почти ежегодно полностью очищается от льда, хотя еще недавно она носила грозное название «ледяного погребца». Правда, в тот период техника была несравненно слабее, и об Арктике мы знали меньше, но все же для сравнения можно напомнить: в августе-сентябре 1901 года ледокол «Ермак» из-за льдов не смог проникнуть из Баренцова моря в Карское, хотя истратил на это почти месяц; в 1903 году в течение целого лета льды не растаяли в таком районе, как Печорское море, — между южным берегом Новой Земли и устьем Печоры.

В связи с отступлением на север южной кромки льдов и повышением температуры атлантических вод треска появилась в таких районах, где она раньше отсутствовала или ее было очень мало (сейчас идет лов трески у берегов Новой Земли, у Шпицбергена, у Ян-Майена). С 1929 года началось очень успешное рыболовство у острова Медвежьего. Несомненно, что центр мирового рыболовства за последние годы перемещается все севернее и севернее.

Промысловая рыба достаточно подвижна, и естественно, что она совершает свои передвижения в зависимости от температурных условий. Но сейчас наблюдается постепенное распространение все далее и далее на север обитающих на дне теплолюбивых форм морских организмов. В северных районах Баренцова моря в большом количестве встречаются теплолюбивые иглокожие, которых в начале текущего столетия здесь совершенно не было.

В связи с потеплением Арктики усилился вынос льдов из Полярного бассейна в Гренландское море.

Многочисленные советские экспедиции ежегодно выбрасывали в различных районах морей советской Арктики специальные буи для изучения дрейфа льдов и морских течений. Большая часть этих

буев впоследствии была найдена на берегах Гренландии, Исландии и Норвегии. Оказалось, например, что все буи, выброшенные на севере Карского моря после 1933 года, совершили свой путь в 2—3 раза быстрее, чем буи, выброшенные прежде.

Прекрасным подтверждением ускорения дрейфа арктических льдов явился дрейф станции «Северный полюс», которая двигалась в Гренландском море со скоростью, в 2,4 раза большей, чем ожидалось по предшествующим наблюдениям. «Седов» дрейфовал в Северном Ледовитом океане с востока на запад примерно в 2 раза быстрее, чем «Фрам».

Замечательно, что потепление не относится к какому-нибудь отдельному району Арктики, а охватывает весь земной шар. Действительно, у Берингова пролива, в Тихом океане, обнаруживаются такие же признаки потепления, как и в Атлантическом океане.

Одновременно с потеплением Арктики идет, повидимому, потепление Антарктики, хотя данных для суждения об этом имеется значительно меньше: в Антарктике нет такой могучей исследовательской базы, какую создал Советский Союз в Арктике.

Возникают два вопроса: как долго продолжится потепление Арктики и чем оно вызвано?

Ответить на это нелегко. Сейчас можно лишь сказать, что никаких признаков перелома в процессе потепления Арктики нет. Об этом свидетельствует дрейф «Седова». Температура атлантических вод (а это один из наиболее устойчивых признаков потепления Арктики) продолжает повышаться.

Еще труднее ответить на второй вопрос. Одни приписывают потепление Арктики усиленному действию Гольфстрима, — его температура и скорость за последние годы значительно повысились. Другие объясняют это усилением атмосферной циркуляции. Действительно, повсеместно на земном шаре усилилась общая циркуляция атмосферы, в связи с чем усилился и перенос теплого воздуха из южных широт в северные.

Пытаясь найти первопричину этих изменений, некоторые связывают потепление Арктики с усилением солнечной деятельности. К сожалению, систематических наблюдений над количеством тепла, посылаемого на землю солнцем, не так уже много; наблюдения, имеющиеся в нашем распоряжении, не говорят с полной определенностью об усилении солнечной радиации.

Множество факторов (солнечная радиация, распределение атмосферного давления, ветров и др.) действует по-разному на режим гидросферы и атмосферы на земном шаре. Периоды изменений всех этих сил различны. Иногда они могут действовать в одну сторону и создавать, таким образом, поразительные отклонения от средних климатических и гидрологических условий.

Мы знаем, например, что во времена викингов ледовые условия в Арктике были значительно благоприятнее, чем сейчас. Как говорят древние саги, Эрик Красный в 984 — 987 гг. плавал без особых затруднений на своих кораблях (которые правильнее было бы назвать большими лодками), вдоль юго-восточных берегов Гренландии. По мнению известного шведского океанографа Петтерсона, климат южной Гренландии в те времена мало отличался от теперешнего климата Норвегии в тех же широтах. Но, начиная с 1261 года, имеются первые письменные указания о массах льда, появившихся у берегов Исландии. В связи с «ледяной блокадой» Исландии ухудшились условия плавания в Европе, а норвежские колонии в южной Гренландии, основанные Эриком Красным и достигшие в XI—XIII веках цветущего состояния, начали постепенно приходить в упадок и в начале XV века были разорены эскимосами.

Вопрос о потеплении Арктики, о значительных отклонениях от средних климатических условий чрезвычайно важен для хозяйства всего мира, в особенности для социалистического хозяйства нашей страны, строящей планы на много лет вперед. Разрешение этих вопросов возможно только на основе длительных и систематических исследований, в первую очередь в самой Арктике.

Советская наука ведет такое всестороннее и систематическое изучение Арктики. Планомерные работы позволили установить самый факт потепления, следить за этим потеплением. Немалый материал для этого дают наблюдения станции «Северный полюс» и «Седова».

★

Одним из существенных научных достижений «Седова» является окончательное уничтожение легенды о «Земле Санникова».

В 1811 году Яков Санников, уполномоченный купца Ляхова, с северного берега острова Котельного «увидел» высокую «землю», старался к ней подойти по льду, но путь преградила большая пелынья. По словам Санникова, ему оставалось всего около 25 километров до этой «земли»... С тех пор таинственная «Земля Санникова» тревожила воображение многих полярных путешественников и исследователей.

Известный русский полярный путешественник Толль в 1886 году будто бы видел эту «Землю» с Новосибирских островов.

«При рассказе о виденной мною в 1886 году «Санниковой земле» на север от острова Котельный, — сообщил Толль, — мой проводник Джергели, семь раз проводивший лето на островах и видевший несколько лет подряд загадочную землю, на вопрос мой: «Хочешь ли достигнуть этой дальней цели?» — дал мне следующий ответ: «Раз наступить и умереть».

При своем вторичном посещении Новосибирских островов в 1894 году Толль опять «заметил» на севере какую-то «землю», даже различил на ней четыре высокие горы, зарисовал их контуры и определил, что «земля» находится на северо-восток, в 14—18° от северной оконечности острова Котельного.

Первым судном, побывавшим в районе к северу от Новосибирских островов, был «Фрам». Почти всю зиму 1893/94 года «Фрам» провел между 130 и 140° в. д. и 79 и 81° с. ш., но никакой «земли» не обнаружил. Однако «Фрам» не заносило восточнее меридиана остро-

ва Котельного, и потому после дрейфа экспедиции Нансена вопрос о «Земле Санникова» остался открытым.

Одной из задач русской полярной экспедиции на судне «Заря» под начальством того же Толля (1900—1903 гг.) было отыскание «Земли Санникова». После неудачных попыток пробраться к северу от Новосибирских островов «Заря» вернулась в бухту Тикси.

В 1913 — 1914 гг. попытки отыскания «Земли Санникова» были предприняты ледокольными пароходами «Таймыр» и «Вайгач». Район предполагаемой «Земли» в 1913 году был пересечен дважды. В конце августа 1914 года «Вайгач» и «Таймыр» поднялись к острову Вилькицкого, который был открыт ими за год до этого. К северу от него «Вайгач» открыл еще один остров, названный островом Жохова. Затем оба корабля прошли к северу от Новосибирских островов, безуспешно стараясь все же увидеть «Землю Санникова». Напрасно — «Земли» не было.

Спустя десять лет к северу от Новосибирских островов дрейфовало судно «Мод» норвежской полярной экспедиции.

Во время этих плаваний и дрейфов «Земля Санникова» обнаружена не была. Но и не удалось доказать, что она не существует. Действительно, ни одному из этих судов (кроме «Фрама») не удалось в районе к северу от Новосибирских островов выйти на большие глубины Северного Ледовитого океана. Материковая отмель попрежнему оставалась недостаточно подробно обследованной. Можно было ожидать открытия здесь островов континентального происхождения.

Вот почему научной экспедиции на ледокольном пароходе «Садко» в 1937 году, наряду с другими заданиями, было поручено отыскание «Земли Санникова». «Садко» поднялся на север по меридиану острова Котельного. У 78-й параллели тяжелые льды заставили судно повернуть на восток. Следуя этим курсом, «Садко» дошел примерно до меридиана острова Беннета. После этого им была установлена на острове Генриетты метеорологическая станция.

«Садко» прошел севернее других судов; однако выйти за пределы материковой отмели не удалось и ему.

Дрейфом «Седова» район предполагаемой «Земли» был пересечен дважды: один раз с запада на восток, приблизительно по 78-й параллели, и другой раз — с юго-востока на северо-запад. Следует заметить, что пути и дрейфы судов, в том числе и «Седова», пересекали район приблизительно в широтном направлении. Зато полеты воздушной экспедиции Героя Советского Союза А. Д. Алексеева, снявшей большинство людей с ледокольных пароходов «Садко», «Малыгин» и «Седов», пересекли этот район примерно по меридиональному направлению. Полеты производились от северной оконечности острова Котельного до дрейфующего каравана при хорошей видимости.

По этому же району прошли рейсы ледоколов «Ермак» и «Иосиф Сталин», когда они направлялись к дрейфующим судам. Оба эти корабля также никакой «Земли Санникова» не обнаружили.

Всеми этими плаваниями, дрейфами и полетами легенда о «Земле Санникова», существовавшая свыше 125 лет и служившая богатой темой для научной и художественной литературы, была окончательно развеяна.

И в то же время невольна закрадывается сомнение, а может быть, Санников, геолог Толль и его проводник Джергели действительно видели «Землю Санникова». Но только эта «земля», подобно тому, как это случилось с островом Васильевским, растаяла за время потепления Арктики.

Попутно с уничтожением легенды о «Земле Санникова» во время дрейфа «Седова» была разрешена еще одна географическая задача. С физико-географической точки зрения, море Лаптевых является не морем, а лишь заливом Северного Ледовитого океана. Поэтому северная граница моря весьма условна. За такую границу, согласно постановлению нашего правительства, условно принята дуга большого круга, соединяющая мыс Молотова (северный мыс Северной Земли) с точкой пересечения меридиана северного мыса острова Котельного

(139° в. д.) и края материковой отмели. Дрейф «Седова» от его начала и до точки, определяемой координатами 79° 37' с. ш. и 149° 58' в. д., проходил по материковой отмели. Глубины не превышали 200 метров. Однако уже на 79° 52' с. ш. и 148° 02' в. д. «Седов» оказался над глубинами, значительно превышающими 3 000 метров, т.-е. характерными для глубокого ложа центральной части Арктического бассейна.

Область, лежащая к северу от Новосибирских островов, теперь испещрена промерами. Если сопоставить эти промеры, представится наиболее вероятным, что материковая отмель на меридиане острова Котельного (139° в. д.) кончается на 78°30' с. ш. Надо считать, что это и есть северо-восточная точка моря Лаптевых.

Распределение глубин, измеренных «Седовым», весьма характерно. Как выяснилось, в районе Новосибирских островов материковая отмель вытянута на север дальше, чем это предполагалось, а материковый склон оказался весьма пологим: он занимает два градуса по широте, и его уклон не превышает двух градусов.

К северу от Земли Франца-Иосифа седовцы неожиданно обнаружили большие глубины. Так, на 86°26',6 с. ш. и 39°25' в. д. они не достали дна, несмотря на то, что выпустили больше 5 180 метров лотлина.

Следует напомнить, что наибольшая глубина, измеренная Нансеном, была равна 3 850 метрам, а наибольшая глубина, измеренная станцией «Северный полюс», — 4 395 метрам. Во всем Северном Ледовитом океане сейчас известна только одна точка, где глубина превышает найденную седовцами. Это глубина в 5 440 метров, обнаруженная Губертом Уилкинсом с помощью эхолота на 77°46' с. ш. и 175° з. д. Сам Уилкинс, однако, не считает свои промеры надежными.

Весьма интересны глубины, зарегистрированные «Седовым» на последнем этапе его дрейфа, перед самым входом в Гренландское море. Нансен предполагал, что между северо-восточной оконечностью Гренландии и северо-запад-

ной окончательностью Шпицбергена тянется подводный порог, отделяющий большие глубины Арктического бассейна от больших глубин Гренландского моря. Этот порог получил название подводного порога Нансена. Его восточная часть была обследована в 1935 году экспедицией на «Садко», а западная — станцией «Северный полюс». «Седов» пересек подводный порог Нансена в его средней части и на $81^{\circ} 34'$ с. ш. и $4^{\circ} 40'$ в. д. и отметил глубину в 1 500 метров. Это окончательно устанавливает наличие порога.

Измерение больших глубин проволокой (на «Седове» не было эхолота) является делом чрезвычайно трудным. К тому же проволока у седовцев два раза обрывалась. Поэтому им пришлось разматывать на отдельные пряди толстые стальные тросы и из этих прядей делать лотлинь длиной в несколько километров. Изготовление такого троса на открытой палубе в жесточайшие морозы было истинным героизмом.

Седовцы вели наблюдения по метеорологии, гидрологии, земному магнетизму и по гравиметрии, т. е. по определению фигуры земли и строению земной коры в высоких широтах, приблизительно по той же программе и такими же приборами, что и станция «Северный полюс».

Их наблюдения особенно ценны потому, что большей частью они производились в районе, где до того не плавал ни один корабль и не летал ни один самолет. Они пробыли в высоких широтах больше, чем какая-либо другая экспедиция. Так, за 85-й параллелью они пробыли вдвое дольше, чем станция «Северный полюс», и в два с половиной раза больше, чем «Фрам». Судить о том, что сделано седовцами, мы пока можем только по их кратким телеграфным сообщениям. Многие будут выявлены после того, как их наблюдения будут обработаны. Но даже то, что мы имеем на сегодня, позволяет справедливо говорить, что дрейф «Седова» и наблюдения седовцев являются выдающимся научным событием.

Всякое наблюдение только тогда имеет полную научную ценность, когда точно

известно, где оно произведено. Седовцы не пропустили ни одного случая, чтобы не определить свои координаты по небесным светилам. Это позволило нам на Большой Земле следить за всеми обстоятельствами дрейфа ледокола.

У моряков есть правило: если видишь звездочку или край солнца, нужно сейчас же измерить их высоту. У «Седова» это было доведено до культа. И вот это обстоятельство позволило совершенно точно нарисовать путь «Седова». Но задача определения места судна при $30 - 40^{\circ}$ мороза не простая и не легкая. У секстана и теодолита есть такие винтики, которые в варежках не повернешь. Надо голыми пальцами эти винтики поворачивать. Надо не дышать на окуляры прибора, иначе они запотеют, и придется протирать их пальцами. Большое количество обсерваций на «Седове» — одно из прямых доказательств того, как великолепно была поставлена работа на «Седове».

За время своего самостоятельного дрейфа «Седов» определил свыше 400 точек местоположения судна по небесным светилам. В 38 пунктах седовцы измерили глубины свыше 3 000 метров, причем одновременно достали образцы морского грунта. В 78 пунктах они произвели наблюдения по земному магнетизму; эти наблюдения необходимы для уверенного пользования магнитным компасом. Через каждые 20 миль своего дрейфа они вели измерения силы тяжести, которые нам необходимы для познания формы земли и строения земной коры в высоких широтах.

Но главными наблюдениями «Седова» надо все же считать его метеорологические и гидрологические наблюдения. Метеорологические наблюдения седовцы проводили через каждые 2 часа, и 4 раза в сутки они передавали их по радио в бюро погоды, где эти наблюдения немедленно использовались при составлении карт погоды. Одновременно эти наблюдения показали, что погода в Арктике, что было также подмечено и станцией «Северный полюс», сейчас гораздо изменчивее, чем во времена Нансена. Это связано с усилением общей циркуляции атмосферы, с более частым про-

никновением в высокие широты циклонов, зародившихся в Атлантике, и, в конечном итоге, с потеплением Арктики. Также в связи с потеплением Арктики стоит значительное — на несколько градусов — повышение средних месячных температур воздуха по сравнению с наблюдениями «Фрама», несмотря на то, что «Седов» дрейфовал севернее.

За время самостоятельного дрейфа «Седов» сделал 43 гидрологических станции, включающие в себя измерение температур и соленостей на разных глубинах океана. При этом «Седов» повсюду, так же как и «Фрам», так же как и станция «Северный полюс», обнаружил на глубинах теплые атлантические воды, проникающие в Арктический бассейн из Гренландского моря глубинным течением. Эти воды сейчас почти на градус теплее, чем во времена Нансена, другими словами, сейчас под каждым квадратным сантиметром водной поверхности Северного Ледовитого океана приблизительно на 60 килограмм-калорий больше тепла, чем во времена Нансена. Это явление также надо поставить в связь с потеплением Арктики.

Уже отмечалось, что дрейф «Седова» протекал значительно быстрее дрейфа «Фрама». Действительно, дрейф «Седова» начался много южнее и кончился много южнее дрейфа «Фрама» и протекал к тому же много севернее. Между тем дрейф «Фрама» длился 1.055 дней, а дрейф «Седова» закончился через 812 дней. Следовательно, дрейф «Седова» протекал почти в два раза быстрее дрейфа «Фрама». Этот факт, несомненно, связан с потеплением Арктики и имеет громадное значение. Это значит, что сейчас из Центрального арктического бассейна через пролив между Гренландией и Шпицбергенем выносятся гораздо больше льдов, чем во времена Нансена, что не может не сказаться на ледовитости морей по трассе Северного морского пути.

Большое внимание уделяли седовцы наблюдениям за полярными льдами. Участники экспедиции тщательно описывали состояние льда и снежного покрова; каждые десять дней они производили измерения толщины льда, образовав-

шегося путем естественного намерзания, т.е. без торосений и нагромождений.

Оказалось, что толщина ровного трехлетнего льда по измерениям седовцев не превышает теперь 218 см, в то время как экспедиция Нансена встречалась со льдами толщиной до 365 см.

Это уменьшение толщины льдов, несомненно, также надо поставить в связь с потеплением Арктики. Произведенный анализ показал, что малая толщина льдов в районе дрейфа «Седова» объясняется не столько повышением зимних температур воздуха, сколько увеличившимся за последние годы таянием льдов в летнее время.

В свете сделанных седовцами наблюдений большой интерес представляет вопрос, касающийся максимальной толщины льдов. Если участники экспедиции на дрейфующем ледоколе ни разу не встретили льдов толще 218 см, то где же тогда образовалось, откуда было принесено к Северному полюсу ледяное поле, на котором основали папанинцы свою станцию? Ведь известно, что их льдина была толще 3 метров!

Почему «Седов», оказавшийся к 22 марта 1939 года на 180 км севернее положения «Фрама» на том же меридиане, в дальнейшем повернул на запад и подобно «Фраму» не смог проникнуть за 87-ю параллель?

Наивысшая широта, достигнутая «Фрамом», равна $85^{\circ} 55',5$, наивысшая широта, достигнутая «Седовым», — $86^{\circ} 39',5$. Самой северной точкой, до которой добрался Нансен во время своего санного путешествия к Северному полюсу, была широта $86^{\circ} 14'$. Наконец в 1900 г. Каньи достиг в том же районе $86^{\circ} 34'$ с. ш. Дальнейшее продвижение на север и Нансена, и Каньи остановили встреченные ими сильно торосистые льды.

С этими данными следует сопоставить наблюдения, сделанные т. Алексеевым во время его полетов от Земли Франца-Иосифа к Северному полюсу и обратно. Он отметил, что от острова Рудольфа до $82^{\circ} 30'$ с. ш. лежали торосистые поля молодого льда с вкраплением айсбергов. Выше, до $85^{\circ} 30'$ с. ш., размеры ледяных полей увеличивались и достига-

ли 20 км в поперечнике. На этих полях попадались ровные площадки, пригодные для посадки самолетов. У 84-й параллели толщина льда не превышала 100—120 см. Севернее 85° 30' начинались многолетние ледяные поля, причем до 86-й параллели они были малы и торосисты, а развдвья были забиты мелким льдом и шугой. В таких местах посадка самолетов невозможна.

Далее к северу, особенно между 87° и 88° 30', ледяные поля оказались более пригодными для устройства посадочных площадок. Каков был лед в районе станции «Северный полюс», мы уже знаем.

Из этого описания видно, что между Северным полюсом и Землей Франца-Иосифа расположен своеобразный пояс торошения. Он отделяет более молодые льды, в основном образовавшиеся на материковой отмели европейско-азиатского материка, от более мощных приполюсных льдов.

Повидимому, указанный выше пояс торошения, в свое время остановивший дальнейшее продвижение на север Нансена и Каньи, представляет собой постоянное явление. О происхождении его можно пока строить только предположения, но все же, повидимому, этот пояс торошения совпадает с путями циклонов, часто прорывающимися, как показали наблюдения станции «Северный полюс», в Центральную Арктику и сопровождающимися сильными ветрами разных направлений, вызывающими сильное торошение.

Нансен, анализируя свои наблюдения над дрейфом льдов в Центральном арктическом бассейне, пришел к заключению, что льды движутся под влиянием двух факторов: постоянных морских течений и ветров, дующих в данный момент над поверхностью льдов. При этом он установил два замечательных правила.

1. Льды под влиянием ветра дрейфуют со скоростью, в 50 раз меньшей скорости ветра. Это правило приводит к любопытному соотношению: число морских миль дрейфа льдов в сутки равно числу скорости ветра в метрах в секунду. Таким образом, ветер скоростью 10 метров в секунду создает

дрейф льдов со скоростью 10 морских миль в сутки.

2. Дрейф льдов вдали от искажающего влияния суши направлен приблизительно на 30—40° вправо от направления ветра. Это Нансен объяснил отклоняющим влиянием вращения земли, и это высказывание Нансена легло в основание современных теорий морских течений.

В дальнейшем эти простые правила Нансена неоднократно проверялись во время дрейфов различных судов. Отклонение от этих правил принимают или за показатели постоянных течений соответствующей скорости и направления или же за показатели наличия препятствий (острова, подводные мели), искажающих нормальный ветровой дрейф льдов.

Наиболее разительным примером плодотворности сопоставления направления ветра и ветрового дрейфа ледяных полей является открытие в северной части Карского моря острова Визе.

1912 год был тяжелым для русских полярников. В этот год в Северный Ледовитый океан вышли три русских экспедиции:

Экспедиция старшего лейтенанта Георгия Яковлевича Седова на судне «Св. Фока», ставившая своей целью достижение Северного полюса. Эта экспедиция закончилась смертью ее начальника.

Экспедиция геолога В. А. Русанова на судне «Геркулес», погибшая при попытке пройти Северным морским путем. До настоящего времени найдены только следы этой экспедиции.

Экспедиция лейтенанта Г. Л. Брусилова на судне «Св. Анна», также ставившая себе целью пройти Северным морским путем.

Экспедиция Брусилова прошла в Карское море и 2 октября 1912 года была зажата льдами у западного побережья полуострова Ямала. В дальнейшем экспедицию понесло из Карского моря на север вдоль восточного побережья Земли Франца-Иосифа и затем вынесло в Центральный арктический бассейн. 23 апреля 1914 года, когда судно находилось на 83° 17' с. ш. и

60° в. д., одиннадцать человек его команды во главе со штурманом В. И. Альбановым покинули судно. 8 июля они подошли к юго-западному мысу Земли Франца-Иосифа, а 22 июля к мысу Флора добрались только двое: штурман Альбанов и матрос Конрад. Остальные погибли частью от истощения, частью от неизвестных причин.

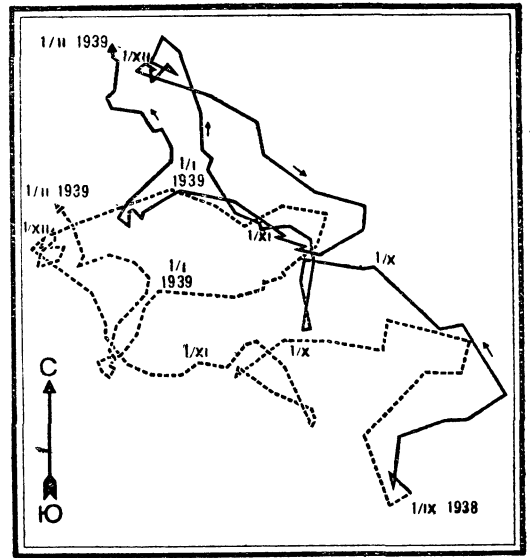
На мысе Флора Альбанов и Конрад стали готовиться к зимовке. Но зимовать им не пришлось. 2 августа к мысу Флора подошел «Св. Фока» с возвращавшимися в Архангельск участниками экспедиции лейтенанта Седова.

Во время путешествия к Земле Франца-Иосифа Альбанов из-за трудности похода не производил наблюдений. Тем не менее поход Альбанова важен потому, что на пути от «Св. Анны» он прошел как-раз через те места, на которых значились Земля Петермана и Земля короля Оскара, и таким образом доказал, что эти земли не существуют.

Но Альбанов сохранил в целости вахтенный журнал со «Св. Анны» и полный список метеорологических наблюдений за все время пребывания своего на корабле. Это позволило восстановить все обстоятельства дрейфа «Св. Анны».

В 1924 году профессор Визе, анализируя наблюдения «Св. Анны», наткнулся на любопытную особенность дрейфа «Св. Анны» между 78-й и 80-й параллелями и между 72-м и 78-м меридианами в. д. Здесь судно, дрейфовавшее в общем на север, отклонялось от направления ветра не вправо, как это следовало из второго правила Хансена, а влево. Отсюда профессор Визе пришел к заключению, что такая особенность может быть объяснена наличием суши между 78 и 80° с. ш. к востоку и недалеко от линии дрейфа «Св. Анны». Экспедицией на ледокольном пароходе «Георгий Седов» в 1930 году такая суша действительно была обнаружена в виде острова, расположенного между 79°29' и 79°32' с. ш. и 76°46' и 77°20' в. д. Этот остров сейчас называется островом Визе.

Дрейф «Седова», так же как и дрейф «Фрама», так же как и дрейф станции



Дрейф Седова (сплошная линия) и путь ветра (пунктир) с 1 сентября 1938 г. по 1 февраля 1939 г.

«Северный полюс», не протекал прямолинейно. Ледокольный корабль нередко возвращался обратно, описывая зигзаги и петли. Все это связано с изменениями в направлении и скорости ветра.

На рисунке сплошной линией показан дрейф «Седова» с 1 сентября 1938 по 1 февраля 1939 года, а рядом — пунктиром — путь ветра за то же время. Масштаб пути ветра уменьшен в 50 раз по сравнению с масштабом пути дрейфа «Седова», т.-е. согласно первому правилу Хансена. Сравнение путей ветра и дрейфа сразу показывает их удивительное подобие. Там, где путь ветра идет спокойно, и дрейф протекает приблизительно в одном и том же направлении. Дрейф отличается от пути ветра только тем, что он повернут вправо на 30—40°. Там, где ветер резко меняется по направлению и скорости, и «Седов» выписывает зигзаги и петли. Особенно характерны в этом отношении восьмерка, описанная ветром и «Седовым» между 2 и 26 октября, зигзаги — между 10 и 30 ноября 1938 года и петля — между 3 и 17 января 1939 года. Отклонения от этого правила можно целиком отнести за счет неполноты имеющихся в нашем

распоряжении наблюдений «Седова» и неточности обработки; во всяком случае, они не меняют сущности явлений.

Произведенная автором этой статьи обработка наблюдений седовцев показала, что в этом районе дрейфа ледокола постоянное течение было выражено весьма слабо; практически его можно считать отсутствовавшим. Благодаря этому обстоятельству для изучения связи между дрейфом и ветром имелись чуть ли не лабораторные условия. Вдали от искажающего влияния суши и постоянных течений ветровой дрейф проявлялся здесь почти в чистом виде.

Простое рассмотрение рисунка показывает, насколько верны оба правила Хансена. Нельзя мечтать о более полном подтверждении этих правил.

Надо еще раз подчеркнуть, что в отличие от метеорологических наблюдений былых полярных исследователей аналогичные наблюдения седовцев (так же как и папанинцев) производились при наличии в Арктике современной советской сети полярных станций, при современном уровне знаний об Арктике. Это обстоятельство в связи с высокой точностью наблюдений, произведенных седовцами, позволяет из этих наблюдений сделать весьма ценные выводы. Так, дальнейший анализ дрейфа «Седова» и сопоставление его с картами распределения атмосферного давления, составленными в бюро погоды на этот же период, позволили автору дополнить правила Хансена еще двумя такими же простыми:

1. Дрейф льдов направлен по изобарам, т.-е. по линиям, соединяющим точки земной поверхности, где в один и тот же момент давление атмосферы одинаково. При этом дрейф направлен так, что область повышенного давления атмосферы находится справа, а область пониженного давления — слева от линии дрейфа.

2. Дрейф льдов происходит со скоростью, пропорциональной градиенту атмосферного давления или, говоря иначе, обратно пропорциональной расстоянию между изобарами.

Первое из этих двух правил нетрудно вывести следующим образом: в уме-

ренных и высоких широтах ветер из-за трения о поверхность земли и под влиянием отклоняющей силы ее вращения направлен приблизительно на $30-40^\circ$ влево от соответствующей изобары. Дрейф льдов, согласно второму правилу Хансена, отклоняется от направления ветра приблизительно на $30-40^\circ$ вправо. Складывая, мы получим дрейф льдов по изобарам.

Второе правило было выведено так: при отсутствии постоянных течений и искажающего влияния суши льды движутся со скоростью, пропорциональной скорости ветра. Последняя в свою очередь пропорциональна градиенту давления атмосферы. Чем гуще на синоптической карте проведены в каком-нибудь районе изобары, тем сильнее в данном районе ветер. Отсюда явилась подкрепленная чисто теоретическими выводами возможность судить по синоптической карте не только о направлении дрейфа льдов, но и об его скорости.

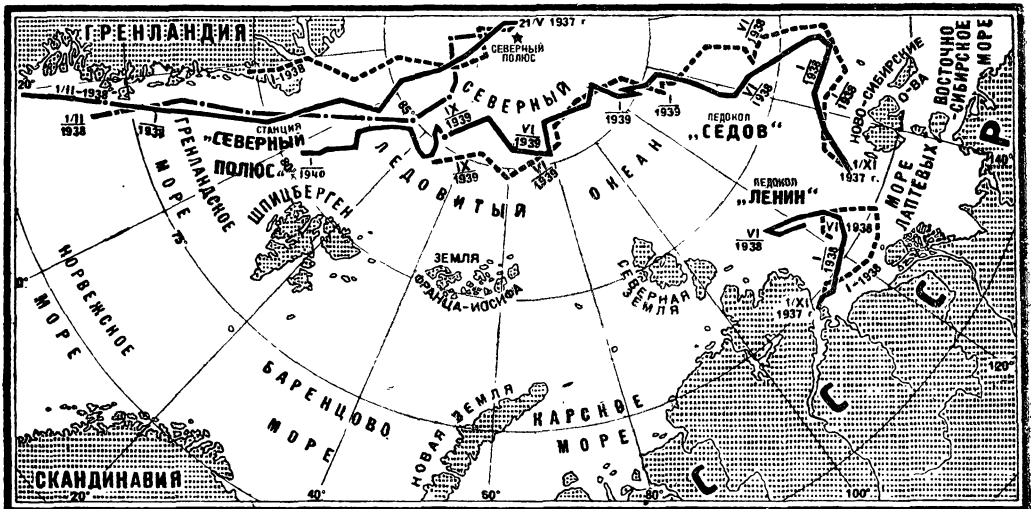
В среднем, расчеты, произведенные на основании новых правил, подтвердили предположение о движении льдов по часовой стрелке около так называемого «Полюса недоступности». Если бы в январе и феврале 1939 года «Седов» оказался несколько севернее того места, где он находился в это время на самом деле, то весьма вероятно, что он был бы втянут в это движение по часовой стрелке вокруг «Полюса недоступности» и дрейфовал бы сейчас по направлению к северным берегам Америки.

★

Новые правила хорошо объясняют все известные в Арктике дрейфы судов и буев.

В соответствии с новыми правилами по месячным картам давления над Арктическим бассейном, составленным в бюро погоды, были вычислены теоретические дрейфы станции «Северный полюс» (с 21 мая 1937 по 1 февраля 1938 года), ледоколов «Седов» (с 1 ноября 1937 по 1 октября 1939 года) и «Ленин» (с ноября 1937 по 1 августа 1938 года).

Лучше всего сошлись линии теоретического и истинного дрейфа ледокола



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ————— ИСТИННЫЙ ДРЕЙФ — — — — — ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ДРЕЙФ БЕЗ УЧЕТА ПОСТОЯННЫХ ТЕЧЕНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ДРЕЙФ С УЧЕТОМ ПОСТОЯННЫХ ТЕЧЕНИЙ

«Седов», что, впрочем, вполне естественно, так как этот корабль дрейфовал при весьма благоприятных условиях.

Теоретический дрейф ледокола «Ленин» также оказался близким к фактическому, однако теоретическая линия прошла несколько южнее и восточнее. Это объясняется искажающим влиянием близлежащего материкового берега и Новосибирских островов, препятствовавших дрейфу ледокола в южном и восточном направлениях. Сходство теоретического и истинного дрейфов «Ленина» особенно ценно потому, что дрейф этот протекал в районе, лучше всего освещенном метеорологическими станциями, где проведение изобар основывается на действительных наблюдениях, а не на предположениях, как это имеет место в центральных районах Арктики.

Значительно отличается от истинного теоретический дрейф станции «Северный полюс», вычисленный по тем же формулам. Во-первых, теоретический дрейф папанинской станции выходит на побережье Гренландии, и, во-вторых, он короче фактического (если считать по широте) на 550 морских миль. Такое расхождение вполне понятно: при построении теоретических дрейфов принималось во внимание только влияние местных ветров, а между тем движение

льдов обуславливается не только ветрами, но и постоянными течениями.

Естественно, что в районах, где постоянные течения слабы, первостепенное влияние на скорость и направление дрейфа оказывают местные ветры.

По мере приближения к Гренландскому морю местные ветры из-за сильного Восточногренландского течения оказывают все меньше влияния на ледяные поля. Слабые ветры, направление которых противоположно постоянному течению, уже только замедляют или лишь на время задерживают общий дрейф к югу. Так было со станцией «Северный полюс», так было и с ледоколом «Седов».

Вторым обстоятельством, повлиявшим на расхождение между истинным и теоретическим дрейфом папанинской станции, является следующее.

Скорость ветрового дрейфа сплошных ледяных полей в Центральной Арктике, как уже было сказано выше, в 50 раз меньше скорости ветра, вызывающего этот дрейф. Но скорость дрейфа льдов под влиянием ветра значительно увеличивается, если перед ними по ветру находится открытое море. В таких случаях скорость дрейфа может достигнуть одной десятой скорости ветра, а иногда и больше. Именно такие условия создаются при северных и за-

падных ветрах в районе Центральной Арктики, прилегающем к Гренландскому морю, и в самом Гренландском море.

В этом море вдоль восточного побережья Гренландии вплоть до 60° с. ш. зимой и летом непрерывной лентой движутся к югу полярные льды, выносимые из Арктического бассейна Восточногренландским течением. В то же время на север, вдоль западных побережий Скандинавии и Шпицбергена, текут теплые атлантические воды, глубинным течением проникающие затем в Арктический бассейн. В связи с этим восточная кромка гренландских льдов тянется приблизительно от Исландии через остров Ян-Майен на север — к северо-западной оконечности Шпицбергена. Летом кромка отходит к западу, а в районе, расположенном к северу от Шпицбергена, в некоторые годы поднимается до 82° с. ш. В зимнее время кромка льдов в Гренландском море продвигается несколько к востоку, а у Шпицбергена спускается до 80° с. ш. и ниже. При западных и северных ветрах кромка льдов отходит к востоку, причем льды несколько разрежаются. При восточных и южных ветрах кромка отходит к западу, и льды сильно уплотняются. Таким образом, в восточной части Гренландского моря в любое время года имеются громадные пространства, свободные ото льдов.

Ежегодно в Северный Ледовитый океан поступает около 5 000 кубических километров речных вод. Кроме того, в Арктический бассейн через Берингов пролив ежегодно вливается около 30 000 кубических километров тихоокеанских вод и более 100 000 кубических километров теплых атлантических вод. Небольшая часть этих водных избытков проходит в Баффиново море через многочисленные, но мелководные проливы американского архипелага, основная же масса поступает в Гренландское море через широкий пролив между Гренландией и Шпицбергом, создавая Восточногренландское течение. Это течение поддерживается и значительно усиливается господствующими у восточного побережья Гренландии северными и северо-западными ветрами.

Как показали исследования, в Центральном бассейне скорость постоянного течения, направленного в Гренландское море, невелика: она меньше 2 километров в сутки. Но по мере приближения к морю и в самом Гренландском море скорость постоянного течения возрастает. По вычислениям тт. Ширшова и Федорова, около 83 -й параллели скорость направленного на юг постоянного течения достигает 4 километров, около 80 -й — 6 километров и около 75 -й — 9 километров в сутки.

Достигнув в конце августа 1939 года самой северной точки своего дрейфа, «Седов» начал быстро спускаться на юго-запад, постепенно вовлекаясь в гренландский поток. С 1 декабря 1939 года дрейф направился прямо на юг почти параллельно дрейфу станции «Северный полюс» и почти с той же скоростью, с какой два года назад дрейфовала в этом районе папанинская станция.

За время своего дрейфа станция «Северный полюс» спустилась на юг по широте на 1120 морских миль. Этот путь был совершен под влиянием постоянного течения и местных ветров. Если принять во внимание наблюдения тт. Ширшова и Федорова, произведенные ими во время дрейфа станции «Северный полюс» над направлением и скоростью постоянных течений, то окажется, что около 600 миль из общей протяженности дрейфа приходится на долю попутных морских течений и только 520 миль на долю попутных ветров. Между тем теоретический дрейф «Седова» короче фактического на 550 миль именно потому, что, вычерчивая его, мы принимали во внимание только местные ветры.

Мы предприняли попытку, учтя наблюдения и вычисления тт. Ширшова и Федорова, вычислить суммарный дрейф станции «Северный полюс», обусловленный, с одной стороны, распределением атмосферного давления и, с другой — постоянным течением. Сопоставляя фактическое местонахождение станции «Северный полюс» 1 февраля 1938 года с теоретическим, вычисленным по формулам автора при учете постоянного

течения, мы получаем, что истинное местонахождение станции отличается от теоретического всего на 50 миль по широте, или всего лишь на 5 проц. общей длины дрейфа по широте. Подобное совпадение надо признать лежащим на пределе той точности, с которой получены исходные данные для вычислений. Вместе с тем это совпадение еще раз подчеркивает изумительную точность наблюдений седовцев и папанинцев.

В Центральном бюро погоды ежедневно составляются карты распределения атмосферного давления над Арктическим бассейном, и на них проводятся изобары. С этих карт нетрудно снять направление изобар и расстояние между ними в любой точке земной поверхности. Отсюда нетрудно вычислить по формулам, полученным в результате анализа дрейфа «Седова», с какой скоростью и в каком направлении движутся льды в любом районе Северного Ледовитого океана.

Понятно, что если это движение таково, что полярные льды отодвигаются от советского арктического побережья, то это означает, что мы можем ожидать благоприятных ледовых условий на трассе Северного морского пути.

Вслед за отходом полярных льдов от наших побережий усиливается вынос местных льдов, образовавшихся в окраинных морях. Наоборот, с придвижением полярных льдов к побережью вынос местных льдов прекращается. Бывает и так, что в окраинные моря заносятся льды из Центрального бассейна. Соответственно ухудшаются, конечно, и условия плавания по трассе Северного морского пути.

Из этого видно, насколько важны новые правила для улучшения ледовых прогнозов, в первую очередь прогнозов долгосрочных. Действительно, следя по новому методу за движениями отдельных частей полярных льдов в течение

зимы и весны, мы можем судить об общих ледовых условиях в предстоящую арктическую навигацию.

Не менее важным являются новые правила и для краткосрочных ледовых прогнозов, освещающих расположение льдов на отдельных участках Северного морского пути в течение навигации. Эти прогнозы основываются на наблюдениях метеорологических станций и на ледовой разведке, производимой во время арктической навигации самолетами и дозорными кораблями. Но наблюдения метеорологических станций охватывают только прибрежные участки моря, а наблюдения самолетов и кораблей не могут быть непрерывными и охватывать все районы. Здесь на помощь должна прийти непрерывная слежка за движением ледяных полей по ежедневно составляемым картам погоды с помощью найденного метода.

В этой возможности — одно из наибольших практических достижений дрейфа «Седова». Это достижение оказалось возможным благодаря прекрасной работе замечательного коллектива советских полярников, выращенного великим Сталиным, и, в первую очередь, благодаря героической работе экипажа ледокольного парохода «Седов».

У нас много славных имен моряков-исследователей, которыми мы справедливо гордимся. Отныне к таким именам прибавятся имена седовцев. Они в чрезвычайно трудных условиях не только сумели сохранить свой корабль для советского ледокольного флота, но, кроме того, сумели провести ряд ценнейших наблюдений в районах Арктики, где до них не плавал ни один корабль и не летал ни один самолет, и этим значительно облегчили для советских полярников задачу, поставленную им XVIII съездом партии и лично товарищем Сталиным: превратить Северный морской путь в нормально действующую морскую магистраль.

Воды Сыр-Дарьи пришли из Москвы

ЭЛЬ-РЕГИСТАН

★

Долина, опоясанная хребтами Тянь-Шаня и Памирс-Алая, в эти декабрьские дни готовилась к величайшему из празднеств — пуску воды в Большой Ферганский канал имени Сталина. В колхозных кишлаках царило необычайное оживление. Степенные ферганские кетменщики вытаскивали из сундуков цветистые полосатые халаты, женщины отглаживали узорчатые платья из тончайшего маргеланского шелка; любимчики отцов и матерей, младшие сыновья, оделись в яркие тибетейки с совиными перьями, что приносят счастье детям, не достигшим шести лет. Декабрь выдался удивительно солнечный и теплый, термометр показывал днем двадцать градусов выше нуля.

Красивая и величественная панорама открывалась с высоты птичьего полета. Под крылом самолета стлалась трасса великого канала. Большой Ферганский канал имени Сталина, словно стрела, спущенная с лука сказочным великаном, рассекал надвое грудь земли и, вползая в сады и хлопковые поля жемчужной долины, стремительно несся к горизонту. Старые каналы и извилистые арыки блестели чешуей на солнце, толпясь вокруг гигантского сооружения, как подданные вокруг своего могучего владыки.

С чем, с каким из величайших ирригационных сооружений может быть сравнено замечательное детище сталинской эпохи?

Большой Ферганский канал имеет длину в 270 км.

Суэцкий — 164 км.

Москва—Волга — 128 км.

Кильский — 99 км.

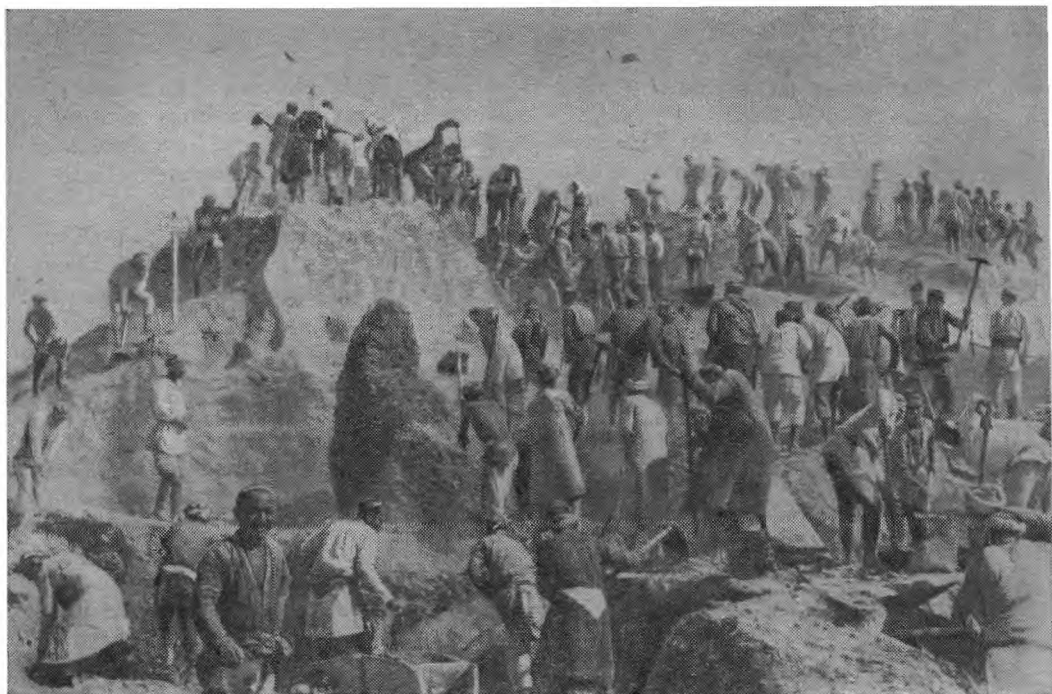
Панамский — 81 км.

На Панамском канале в течение 1 года вынималось 6,2 млн. кубометров грунтов, на Кильском — 5,7 млн. кубометров — и этими цифрами кичилась буржуазная печать всего мира. Скромные ферганские кетменщики, мировые рекордсмены хлопковой урожайности, мастера земли и воды, за первую же десятидневку августа выбросили 6 млн. кубометров земли. За одну десятидневку!..

Вспоминаются подробности великой сталинской стройки, бурное кипение ее жизни с маленькими будничными происшествиями и большими удивительными делами...

Старики, члены советов урожайности, приезжали из кишлаков знакомиться с положением дел на трассе своих колхозов. После строгой ревизии — по ночам, шопотом, чтобы не срамиться перед соседними колхозами-конкурентами по соцсоревнованию, — они придирчиво разносили своих бригадиров, требуя темпов и побед. Колхозные председатели подбирали из оставшихся в кишлаке людей свежие отряды кетменщиков, чтобы, заменив на трассе канала усталых, опередить соревнующиеся колхозы.

Социалистическое соревнование между отдельными кетменщиками перебрасыва-



За одну десятидневку ферганские кетменщики выбрасывали столько грунта, сколько вынималось за 1 год на Панамском канале. (Фото М. Альперта.)

лось из звеньев в колхозные бригады, охватывая целые участки...

Первыми подняли флаг на мачту, возвышающуюся над участковым штабом, три тысячи колхозников-таджиков Исфаринского района, — они ушли помогать канибадамцам. А к 26 августа уже шестнадцать тысяч таджикских колхозников, работавших на хвосте канала, рапортовали правительству о досрочном окончании своей доли строительства.

Первенство на главной узбекской трассе Большого Ферганского канала оспаривали участки Ташлакского и Сталинского районов. Ташлакцы, опередив своих соперников, в ночь на 18 августа, за двенадцать дней до срока, выбросили свои сто пятьдесят шесть тысяч кубометров грунта и по предложению колхозницы Муминовой взяли еще сто тысяч кубометров на соседнем участке тюрюкунганцев. Вслед за ташлакцами привели к красной ленточке финиша свои районы — Сталинский и Уч-Курганский — молодой узбек инженер Юлдашев и старейший ирригатор Средней Азии инженер Снявский.

К. Н. Снявского избрали депутатом уч-куртанские колхозники, помня о его давнишних стараниях добыть из Нарына воду, о его проектах, которые отклонялись царским министерством земледелия. И этот лучший представитель советской интеллигенции оправдал доверие народа. Он сам повел отряды своих кетменщиков-избирателей на штурм природы и, несмотря на преклонный возраст, развил такую энергичную деятельность, что оставил за флагом не меньше тридцати начальников участков. Сын Клавдия Никаноровича, Георгий Клавдиевич, доцент по кафедре механизации, взяв отпуск, приехал на участок отца и руководил здесь тракторными работами...

Блестящая плеяда отцов и сыновей строила Большой Ферганский канал — и среди них было немало таких, чьи лица и имена мы увидим увековеченными на барельефах и мемориальных досках, которыми украшается прекрасное народное сооружение. В аллее героев канала у Куйган-Ярской плотины мы найдем бюст Таджимата Хидырова,

старика-колхозника из колхоза «Ленинизм» Ленинского района.

Двух сыновей проводил Таджимат на строительство канала, оставшись хозяйствовать в колхозе. Но через две недели один из них заболел и вернулся домой. 74-летний Таджимат Хидыров ночью, никого не предупредив, взял кетмень, ушел на трассу и стал на место сына в ряды колхозников Янги-Юльского сельсовета.

В первый день работы он выдал триста процентов, на второй — пятьсот, на третий — шестьсот, на четвертый и пятый — по восемьсот пятьдесят процентов, опередив всех кетменщиков Ленинского района. Затем Таджимат Хидыров работал на самом трудном участке района инструктором стахановских методов работы, и в его подчинении находилась одна тысяча пятьсот кетменщиков.

★

Накануне окончания работ колхозники Сталинского района просили прислать на их участок концертную бригаду, поименно перечислив фамилии артистов, которых они хотели бы видеть у себя в гостях.

Артисты приехали в назначенный день. Восемнадцать тысяч сталинцев и нананганцев ждало их на борту законченного канала. Это походило на древнее ристалище римского цирка — такое скопление народа, расположившегося амфитеатром на гладко отполированной кетменями покатой поверхности.

Кетменщики сидели по двести-двести пятьдесят человек в ряду, и таких рядов насчитывалось свыше восьмидесяти. Многие стахановские звенья и бригады принесли на концерт свои знамена и расположились с ними на самом гребне этого могучего человеческого каскада, ниспадавшего ко дну грандиозного канала.

Отведенная для выступления артистов площадка освещалась огромными факелами, облитыми нефтью. Ржавые отблески пламени скользяли по цветным полосатым халатам, причудливыми огоньками вспыхивая на бисере шелковых набедренных платков.

Когда пела Халима Насырова, кетменщики кричали с разных концов огромного амфитеатра: «Повернитесь и в нашу сторону, осчастливьте и нас вашим голосом!».

Когда танцевали Тамара Ханум, Муккарам Тургунбаева и «Маленькая Халима» Рахимова, кетменщики свои дорогие шелковые платки стлали под ноги танцовщицам.

В перерывах люди поднимались на ноги, озирали ряды и, удивленно прищелкивая языком, садились на место. Люди озабоченно вздыхали: ведь здесь, на концерте, всего только восемнадцать тысяч человек, а как много они занимают места!.. Что же будет, когда соберется на праздник все население Ферганской долины в день пуска воды? Что же будет?! Ведь этот день недалек...

С первыми ударами кетменей о сухую, раскаленную почву в народе возник разговор, что такое величайшее в истории Ферганской долины событие, как поворот Нарына в русло Кара-Дарьи, должно быть достойно отпраздновано двухсоттысячной армией строителей. И все три тысячи колхозов приходили к единому выводу, что в честь этого события следует устроить праздник труда, ознаменовав его национальным «тоем».

В сентябре районы один за другим кончали земляные работы на своих участках и, переходя на помощь соседям, вынимали последние грунты со дна и выравнивали борта грандиозного канала. Кетменщики не разъезжались еще по кишлакам. То здесь, то там, собираясь группами, они обсуждали вопрос, как же назвать замечательное творение своих рук, какое имя присвоить красавцу-каналу, воплотившему тысячелетнюю народную мечту — напоить досыта водой жемчужную Ферганскую долину.

Кетменщики говорили так:

— Кто освободил узбекский народ от векового гнета, создал колхозы в Ферганской долине, помог кишлакам зажечь культурной, счастливой и зажиточной жизнью?

— Сталин.

— Кто воспитал коммунистов, руководивших стройкой, кто вырастил ин-



В часы отдыха, перед обедом, колхозники — строители канала — принимали душ.
(Фото М. Альперта.)

женеров, техников, учителей, артистов — всех этих лучших представителей узбекской советской интеллигенции, которые помогли народу в организации беспримерной борьбы с природой?

— Сталин.

— Чье имя вдохновляло кетменщиков на невиданные героические подвиги?

— Имя Сталина.

Именем великого Сталина должен быть назван Большой Ферганский канал! — решили кетменщики. И еще говорили они в сентябрьские дни, вынимая последние кубометры земли, что Сталину должно быть послано письмо. И письмо это обсуждалось двухсоттысячной армией строителей канала на трассе, приветственные возгласы громовым раскатом неслись от пустыни Пашар-Дашт до берегов Нарына. Из уст в уста передавались слова, адресованные великому другу узбекского народа:

Ты скажешь: «Пусть!» — возникнет путь в горах.

Ты скажешь: «Пусть!» — и рухнут горы в прах.

Река родится, если скажешь: «Будь!».

Ты скажешь: «Стой!» — загородим ей путь

★

Пуск воды в Большой Ферганский канал имени Сталина Узбекская республика приурочила к своему 15-летнему юбилею. К 23 декабря 1939 года в празднично разукрашенную столицу солнечной республики съехались делегации братских союзных республик и свыше 1 500 гостей со всех концов Узбекистана. В этот день телеграф принес сюда известие о плане новых великих работ по ирригации, принятом ЦК ВКП(б) и СНК СССР. В результате этих работ через 6—7 лет Советская страна будет получать из своей хлопковой житницы — Узбекистана — 29 миллионов цент-



Возвращение домой строителей Большого Ферганского канала имени Сталина после окончания работ. (Фото М. Альперта.)

неров хлопка, на 10 миллионов центнеров больше, чем в 1939 году. Целая серия новых каналов и грандиозных ирригационных сооружений будет построена в долинах Сыр-Дарьи, Аму-Дарьи, Чирчика, Зеравшана и других рек узбекским народом, народом — искателем воды.

24 декабря 1939 года был оглашен указ Верховного Совета СССР о награждении 1085 героев — строителей Большого Ферганского канала имени Сталина орденами и медалями СССР. На следующий день с утра в окрестностях Ташкента начались национальные празднества, в центре которых был «улак» с козлодранием — национальное спортивное игрище узбекского народа.

Скачки с тушей козла, называемые «улаком», происходили на широкой равнине у предгорий покрытых снегами хребтов. Сюда приехали на конях удалые колхозные джигиты из кишлаков Самарканда, Бухары и Ферганы, покрыв в конном ст. ор. 300—400 километ

ради того, чтобы принять участие в любимой спортивной игре, происхождение которой теряется во мраке тысячелетий. Несколько десятков тысяч зрителей расположилось вдоль огромного поля, отведенного под «улак». В центре поля возвышались помосты для судей, вокруг которых теснились тысячи всадников на горячих, сильных конях, специально тренированных для «улака».

По сигналу, поданному с трибуны, где сидели члены правительства Узбекистана, делегаты союзных республик и почетные гости — стахановцы полей и заводов, — судьи сбросили с трех помостов в гущу всадников туши трех козлов. Игра состояла в том, чтобы, подхватив тушу, выбраться с ней из кольца теснящихся вокруг джигитов в открытое поле, проскакать целый круг с перекинутой через седло тушей и, достигнув трибуны, сбросить добычу к ногам ликующих зрителей. Ватаги удалых джигитов, поднимая коней на дыбы, расчищали себе путь к заветной добыче; наездники, внезапно срываясь с се-

дел, ныряли под животы коней, чтобы достать упавшую на землю тушу и, не выпуская ног из стремян, вновь поднимались на седла и мчались быстрее ветра, спасаясь от преследования наседающих сзади соревнователей.

Два дня подряд шумел, плескался веселый азартный «улак» на огромной равнине перед Ташкентом. Смуглолицые, коренастые чемпионы — мастера национальных скачек, шагая вразвалку, поднимались на трибуну за призами и, получив почетные халаты победителей, с нарочитой небрежностью накидывали их на могучие плечи. А вдоль трибун на широкой дорожке, отмеченной алыми лентами, непрестанно выступали перед зрителями сказочники, шутники-острослы, национальные музыкальные ансамбли, певцы, танцовщицы, народные и заслуженные артисты прекрасной восточной страны.

29 декабря празднование перебросилось в Ферганскую долину. Специальный великолепно оборудованный поезд повез гостей и делегатов союзных республик на торжественное открытие Большого Ферганского канала. График движения поезда был нарушен с момента пересечения границы Ферганской долины. На первой же станции Посыетовка десятки тысяч колхозников, одетых в

шелковые халаты и традиционные тубетейки долины, загородили путь паровозу и остановили поезд.

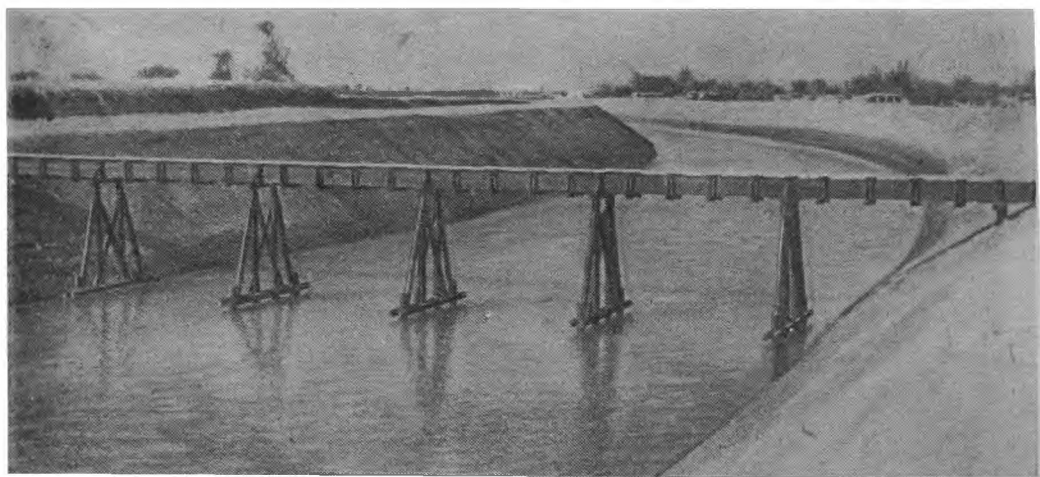
Ревели медные трубы карнаев, прохотали азиатские барабаны, горячее солнце освещало загорелые лица счастливых обитателей долины, дождавшихся, наконец, дня осуществления тысячелетней мечты — поворота обильных вод Сыр-Дарьи на жаждущие земли Ферганы. Это были колхозники Куйбышевского района, расположенного на западной оконечности Ферганской долины, на землях, издревле обиженных водой, в местах, где родилась прекрасная легенда о Фархаде и Ширин.

Нельзя было не вспомнить этой легенды, когда председатель Верховного Совета УзССР, бывший маргеланский кетменщик Ахун Бабаев объявил своим землякам — колхозникам Куйбышевского района:

— Ждите воду Сыр-Дарьи... Она придет сюда по Большому Ферганскому каналу имени Сталина в ночь под новый год...

Гроном рукоплесканий, кликами восхищения встретили тысячи людей это известие.

В канун нового года, 31 декабря 1939 г., специальный поезд с гостями и делегатами въехал в Уч-Курганскую



Один из дюкеров на Большом Ферганском канале имени Сталина, перебрасывающий воду вьюка. Восточный берег по пути канала. (Фото М. Ахмедова)

степь, остановившись в нескольких километрах от берегов реки Нарына, образующей Сыр-Дарью. Сюда, поднимая тучи пыли, со всех концов Ферганы стекались сотни автомашин и арб, тысячи всадников.

Члены правительства Узбекистана во главе с секретарем ЦК КП(б) Узбекистана Усманом Юсуповым, пред. СНК Абдурахмановым, председателем Верховного Совета УзССР Ахуном Бабаевым, делегаты союзных республик, руководители строительства канала и гости — стахановцы полей и заводов — поднялись на мостик железобетонного головного сооружения, украшенного лозунгами и красно-белой пусковой лентой. Вдоль бортов могучего канала на горах вынудой земли и гальки расположились тысячи конных и пеших колхозников. Бурные воды Нарына плескались у подножия бетонированного сооружения, жадно облизывая шлюзы.

В 11 час. 30 мин. дня по московскому времени была наконец перерезана лента. Поднялись шлюзы, и воды Сыр-Дарьи хлынули в великий сталинский канал. Загремели карнаи, запели сурнай, загрохотали бубны, шестьдесят танцовщиц, всплеснув руками, спустились к воде, исполняя ритмический танец. Тол-

пы народа, замершие в ожидании, дрогнули, матери подняли на руки грудных детей, пожилые, степенные кетменщики, ринувшись с холмов вниз к берегу канала, погружали руки в воду и, снимая тубетейки, встряхивали мокрые пальцы над головой, обдавая ее алмазными брызгами.

Вода, сталинская вода, урча и пенясь, ринулась в великий канал и, заполняя его от края до края, неслась вперед и вперед. Всадники мчались по борту канала, обгоняя ее, а стоустая молва, опережая их, неслась из кишлака в кишлак, и обитатели жемчужной долины, покинув жилища, спешили навстречу воде.

Новый год гости встречали в колхозе имени Дзержинского Андижанского района, на родине колхозного новатора, депутата Верховного Совета СССР Тишабая Мирзаева, начальника строительства Большого Ферганского канала имени Сталина. Колхоз-миллионер давал роскошный банкет в честь 2 000 гостей, и в этом было знамение времени. Наш сосед по столу, седебородый колхозный бригадир Халматов, наполнив бокал янтарным узбекским вином, протянул его к нам:

— С новым годом! — сказал он. — За великого Сталина! За воды Сыр-Дарьи, что пришли к нам из Москвы!

Переливание крови

Проф. А. А. БАГДАСАРОВ

★

Давно известно, что потеря большого количества крови угрожает жизни человека. Но много веков прошло, пока наука выяснила, что такое кровь и какую роль она играет в человеческом организме.

Кровь — важнейшая жидкость, пропитывающая все тело человека. В этой жидкости плавает бесчисленное множество красных и белых кровяных телец, видных под микроскопом.

Кровь вместе с содержащимися в ней тельцами передвигается по всему организму в длинных трубках, называемых кровеносными сосудами. Постоянное движение крови по кровеносным сосудам происходит благодаря работе сердца.

Кровяные тельца вырабатываются так называемыми кроветворными органами (костный мозг, селезенка, лимфатические железы).

Красные кровяные тельца, носящие название эритроцитов, похожи на маленькие монеты или круглые бисквиты. От этих телец зависит красный цвет крови, так как они содержат красное вещество — гемоглобин.

Красные тельца переносят кислород, захватываемый ими из воздуха в легких. Они доставляют его всем клеткам человеческого тела, которые не могут жить и работать без кислорода.

Белые кровяные тельца, называемые лейкоцитами, похожи по форме на шарики или мячики. Они крупней эритроцитов, но в крови их содержится в несколько раз меньше, чем красных телец.

Белые тельца имеют значение для борьбы с инфекцией. Они переходят из крови в зараженные ткани человеческого организма и там поглощают (фагоцитируют) микробов.

В жидкой части крови (плазме) растворены питательные вещества. Они всасываются из кишечника и также доставляются кровью всем клеткам тела.

Если кровь выпустить в какой-нибудь сосуд, то она почти немедленно свертывается, т.-е. превращается в плотный сгусток, из которого вскоре выжимается сыворотка. Это свойство крови свертываться было долгое время препятствием к ее использованию для переливания. Только открытие в 1914 г. вещества, предупреждающего свертывание крови (лимоннокислого натрия), позволило устранить это препятствие к развитию и распространению метода переливания крови.

У человека имеется около 6 литров крови. При потере больше половины или двух третей этого количества человеку угрожает смерть, если ему во-время не сделать переливания крови.

Попытки переливания крови предпринимались давно, но в XVII, XVIII и даже XIX веках они большей частью кончались неудачно. Вначале человеку пробовали переливать кровь животных, но оказалось, что в больших количествах она может принести смертельный вред. Но и у людей не все свойства крови одинаковы, и поэтому не от каждого

человека любому другому можно переливать кровь. Ученые Ландштейнер и Янский в начале XX века открыли, что все люди по свойствам их крови делятся на четыре группы.

Признак, по которому кровь относится к той или иной группе, — это свойство эритроцитов (красных кровяных шариков) склеиваться, собираться в кучки при действии на них плазмы другой крови.

Если положить на белую тарелку каплю крови одного человека и к ней прибавить сыворотку, полученную от другого, и смешать их стеклянной палочкой, то легко обнаружить, будет ли при этом склеивание шариков в кучки, или нет.

К первой группе относится такая кровь, эритроциты которой не склеиваются сывороткой ни одной группы, зато сыворотка первой группы склеивает эритроциты всех других групп, за исключением своей собственной.

Четвертая группа отличается как-раз обратными свойствами; эритроциты этой крови склеиваются сывороткой любой группы, а сыворотка не склеивает эритроцитов никакой другой группы.

Кровь второй группы характеризуется так: ее эритроциты имеют свойство склеиваться при встрече с сывороткой первой и третьей групп; сыворотка же второй группы будет склеивать эритроциты третьей и четвертой групп.

И, наконец, эритроциты третьей группы склеиваются сыворотками первой и второй групп, а сыворотка третьей группы склеивает эритроциты второй и четвертой групп.

Зная группу крови реципиента, легко подобрать донора (лицо, дающее кровь), исходя из представления, вытекающего из характеристики групп: следует установить такое сочетание двух кровей, чтобы эритроциты донора не встретили в крови больного сыворотки, которая способна их склеивать, а следовательно, и разрушать.

Сыворотка донора в расчет не принимается, потому что, попадая в кровяное русло реципиента, она разбавляется и теряет свою силу.

На основании этих данных устанавли-

ваются следующие три правила совместимости групп при переливании крови:

1. Каждый человек может получить кровь одноименной группы, так как никаких несовместимых сочетаний здесь быть не может.

2. Каждый человек может получить кровь от лица первой группы. Это правило вытекает из того, что эритроциты первой группы лишены способности склеиваться и разрушаться при действии на них любой сыворотки. Правило это имеет крупное практическое значение, так как означает, что кровь первой группы пригодна для всех групп; отсюда и название первой группы — универсальный донор.

3. Лица, принадлежащие к четвертой группе, могут получить кровь любой группы, так как в сыворотке людей этой группы нет свойств склеивать эритроциты других групп.

Если перелить больному несовместимую кровь, т.е. неподходящую по группе, то ее красные кровяные тельца склеиваются и разрушаются, а это может привести к самым тяжелым последствиям, вплоть до смерти больного.

Группа крови в настоящее время легко определяется в течение пяти минут по нескольким каплям, которые берутся из пальца.

Со времени открытия в 1907 году Янским групп крови началось распространение метода переливания крови. Технически более легкое непрямое переливание крови, получившее в настоящее время наибольшее распространение, производится в основном следующим образом: в локтевую вену лица, дающего кровь, вводится полая внутри игла, соединенная резиновой трубкой с банкой, в которой находится раствор лимоннокислого натрия, предупреждающего свертывание крови. Через иглу и трубку кровь донора попадает в банку и смешивается с этим раствором. Когда нужно ее перелить, на трубку надевают новую иглу, которую вводят в вену больного. Банку поднимают, переворачивают, и кровь вливается в сосуды больного.

Советские ученые пошли дальше. В Центре по изучению гематологии и

переливания крови разработан способ консервирования крови (т.е. длительного сохранения ее в годном для переливания виде). Взятая от донора кровь для этого смешивается с особой жидкостью, приготовленной в институте (жидкость ИПК), или с 6-проц. раствором лимоннокислого натрия. После этого она может храниться в холодильнике при температуре $+4, +8^{\circ}$ в течение 2 недель, не свертываясь и не разрушаясь. Консервированную кровь, которая всегда имеется в запасе в достаточном количестве, можно использовать в любой нужный момент. Мало того, ее можно перевозить на сотни и тысячи километров на поезде, пароходе, автомобиле и самолете и затем переливать, спасая жизнь больному или раненому. Это чрезвычайно облегчает срочное переливание крови в мирное и в военное время, так как делает ненужным присутствие донора во время самого переливания крови.

Большое распространение получило у нас транспортирование консервированной крови на самолете за сотни и тысячи километров в самые глухие уголки тундры и тайги, в степи и пустыни Юго-Востока. Немало человеческих жизней было уже спасено консервированной кровью, быстро доставленной на самолете. В связи с этим большой интерес представляет сконструированная и испытанная аспирантом института Покровским укладка, позволяющая сбрасывать консервированную кровь с самолета на парашюте.

В Советском Союзе сделано много тысяч переливаний консервированной крови доноров, и она заняла первое место среди всех источников крови для переливания. Еще год тому назад срок хранения консервированной крови не превышал 15 дней, а при перевозке, когда кровь подвергается встряхиванию, срок консервации приходилось снижать до 12 дней. Однако за последний год достигнут новый большой успех в удлинении срока хранения консервированной крови. Сотрудники Центрального института гематологии и переливания крови тт. Сельцовский и Бондаренко установили, что при добавлении к раствору натрия

небольшого количества глюкозы значительно улучшает сохранность консервированной крови. Кровь, консервированную глюкозо-цитратным способом, удается хранить в годном для переливания виде до 20 суток и дольше, а при перевозке до 15 дней.

В Центральном институте гематологии и переливания крови успешно произведено множество переливаний крови, законсервированной по новому способу и хранившейся до 25—30 дней. Наша работа продолжается в направлении дальнейшего удлинения сроков хранения консервированной крови.

Большое внимание уделяют наши врачи конструкции аппаратов для взятия, переливания, хранения и перевозки консервированной крови.

В институте изготовлен также изотермический ящик, в котором консервированная кровь может перевозиться на большие расстояния в условиях зноя и холода.

Работы последних лет показали, что введение одной жидкой части крови (плазмы и сыворотки) может во многих срочных случаях заменить переливание крови. Кроме того, плазма обладает прекрасным кровоостанавливающим действием. Плазму можно хранить в годном для применения виде в течение нескольких недель и даже месяцев. Большой интерес представляет изобретение молодого ученого Розенберга (ЦИПК), разработанного способ сушки плазмы и ее обратного полного растворения без образования осадка и мути¹. В институте уже сделано несколько переливаний такой плазмы, причем все эти переливания дали благоприятные результаты. Сухая плазма может храниться в течение многих месяцев. Практическая разработка этого метода открывает огромные перспективы длительного хранения плазмы и ее удобного транспортирования в портативном виде.

Как мы уже знаем, потеря большого количества крови опасна для здоровья и жизни, а нередко и смертельна. Вот почему при внезапных обильных кровоте-

¹ С успехом эта проблема разрабатывается также в Ленинграде А. Г. Богомолова.

чениях могущественным и часто единственным средством спасения жизни является срочное переливание крови. Переливание крови спасает потерпевшего при несчастном случае на улице, в поле или на производстве, потерявшего много крови раненого, обескровленную при осложненных родах женщину, истекающего кровью больного при сильных желудочных, кишечных, почечных или маточных кровотечениях. При серьезных операциях, связанных с большой потерей крови, переливание крови поддерживает силы больного и дает ему возможность благополучно перенести операцию. При шоковых состояниях с падением кровяного давления также наиболее действенным средством является переливание крови.

В Центральном институте гематологии и переливания крови круглые сутки работает отдел выдачи крови, которому проф. Кассирский дал название—«служба борьбы со смертью». Это комната с холодильниками, в которых постоянно хранится запас консервированной крови всех групп. Среди ночи нередко раздается телефонный звонок с просьбой срочно прислать кровь для переливания обескровленной роженице. Дежурная фельдшерица вынимает из холодильника банку крови нужной группы. В течение нескольких минут автомобиль скорой помощи перевозит эту кровь в родильный дом. Потерявшая много крови роженица смертельно бледна, с трудом дышит, пульс у нее едва прощупывается, сознание угасает. Быстро производится переливание крови — и на глазах у врача обескровленная женщина оживает: у нее появляется румянец, пульс становится хорошим, сознание проясняется. Женщина будет жить и вскоре поправится. Переливание крови вернуло ей жизнь, как спасает оно тысячи жизней обескровленных больных и раненых!

В военной обстановке роль переливания крови чрезвычайно возрастает, так как только оно является достаточно эффективным методом борьбы с последствиями острой кровопотери при ранениях и выводит серьезно раненных из тяжелого шокового состояния, угрожаю-

щего жизни. Важность широкого и своевременного применения переливания крови в условиях военных действий достаточно ярко продемонстрирована опытом испанской войны и хасанских боев. В царской армии в империалистическую войну гибло при больших кровопотерях до 67 проц. раненых, в хасанских боях — незначительное количество.

Проф. Ахутин пишет по поводу хирургической помощи во время хасанских боев: «В общем, наш опыт показал лишней раз исключительную эффективность переливания крови у раненых».

В военных условиях вполне оправдывает себя заготовка и транспорт консервированной крови, являющейся великим достижением советской науки и широко использованной у нас — во время боев в районе озера Хасан в сентябрьские дни 1938 года, во время боев на Манчжуро-Монгольской границе летом 1939 г., в Западной Украине и Западной Белоруссии и, наконец, сейчас в борьбе с финской белогвардейщиной. Лично участвуя в организации переливания крови в МНР и на финляндском фронте, я лишней раз убедился в незаменимости и исключительном действии переливания крови при тяжелых ранениях, травмах и контузиях и в огромных преимуществах использования только консервированной крови в непосредственной близости от линии огня.

Наряду со срочным переливанием крови для спасения человеческой жизни за последнее время возросло значение переливания крови, как лечебного метода, с большим успехом применяемого при различных заболеваниях — при хроническом малокровии, истощении организма, инфекционных болезнях, септическом заражении крови, тяжелых ожогах, некоторых детских и женских болезнях, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах, суставных заболеваниях, длительных нагноениях и т. д. Во многих случаях переливание крови оказывает хорошее действие в комбинации с другими лечебными мероприятиями.

Огромный интерес представляет метод капельного переливания крови. Вводя

кровь очень медленно, по каплям, благодаря известным приспособлениям в течение многих часов можно переливать сразу несколько литров крови, что ведет к быстрому подъему гемоглобина и числа красных телец у больного даже при самых тяжелых степенях малокровия.

Наряду с обычным переливанием крови в последнее время успешно применяются некоторые другие виды «гемотерапии» (т.-е. лечения кровью). Важное место среди них занимает лечение кровью животных и иногруппной кровью.

Мысль об использовании с лечебной целью крови животных весьма стара. С нее, собственно говоря, началась история переливания крови. Первые попытки кончились неудачей, так как большое количество крови животных вредно, а нередко и губительно действует на человеческий организм. Но если переливание больших доз крови животных или крови людей «с несовместимыми группами» (иногруппная кровь) крайне опасно и поэтому не может применяться для возмещения сильной кровопотери, то в очень маленьких дозах (5—10 см³) кровь животных (коров, коз) и иногруппная кровь оказывают благотворное влияние и с большим успехом применяются при некоторых формах малокровия и особенно — при суставных болезнях и при затяжных воспалительных, гнойных, септических (заражение крови) и язвенных заболеваниях, в том числе при язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Мы наблюдали случаи, когда сведенные хроническим ревматизмом руки и ноги больного распрямлялись и становились подвижными после нескольких переливаний маленьких доз козьей или иногруппной крови. Однажды ко мне в клинику доставили больного машиниста Смирнова в тяжелом состоянии: с сильными болями в животе, кровавой рвотой, резкой слабостью и нарастающим малокровием. Оказалось, что он уже два года болен язвой желудка, безуспешно лечился разными способами и, в конце-концов, потерял всякую трудоспособность. При поступлении в больницу язва у него кровоточила и была

близка к прободению. Хирург отказался от производства операции из-за крайней слабости больного.

Больному было сделано четыре вливания маленьких количеств козьей крови, и его состояние стало неуклонно улучшаться на наших глазах. Боли, кровотечения и все другие проявления язвенной болезни прекратились, состав крови улучшился, и больной через шесть недель выписался из клиники и вскоре вернулся к работе машиниста, продолжая отлично себя чувствовать.

С тех пор множеству больных язвой желудка и двенадцатиперстной кишки лечение малыми дозами козьей крови вернуло здоровье и трудоспособность. Рентгеновское исследование показывает, что при этом почти всегда имеет место полное заживление язвы.

Большой интерес представляет применение переливания крови при инфекционных болезнях.

Стимулирующее действие переливания крови, на которое указал академик А. А. Богомолец, позволяет использовать лечение кровью для изменения реактивности организма и поднятия его защитных иммуно-биологических свойств. Проф Зюков, д-р Марчук и др. получили блестящий эффект при тяжелых токсических и септических формах скарлатины. Раннее применение переливания крови нередко обрывает течение скарлатины, ведя к быстрому снижению температуры. Введение иногруппной крови дает отличный эффект при остром ревматизме, даже без пользования салицилатами (опыт терапевтической клиники Центрального института). Переливание крови весьма эффективно при некоторых формах хронической малярии и малярийной анемии. Иногруппная кровь оказывает хорошее действие при септических и гнойных заболеваниях. Имеются сообщения о благоприятном действии переливания крови при кишечных инфекциях — инфекционных колитах, дизентерии, брюшном тифе и паратифе.

Новейшим достижением является также имунотрансфузия, т.-е. переливание крови от доноров, которым предварительно вводились убитые микробы, выделенные от соответствующих больных.

В нашем институте переливание иммунной крови с большим успехом производилось больным заражением крови и острым ревматизмом (падение температуры, исчезновение суставных болей и улучшение общего состояния). В настоящее время ведется работа по применению иммунотрансфузии при брюшном тифе и других инфекционных заболеваниях. Для самих доноров вакцинирование (введение убитых микробов) совершенно безвредно.

В общем, применение переливания крови при инфекционных заболеваниях представляет еще малоизученную, но безусловно плодотворную область гемотерапии, в которой медицинской науке и практике предстоит одерживать новые блестящие победы в борьбе за жизнь и здоровье.

В Советском Союзе переливание крови получило большое распространение благодаря поддержке партии и правительства и сочувственному отношению к этому делу трудящихся. По всей территории нашей страны, вплоть до самых удаленных от центра мест, разбросаны многочисленные станции и кабинеты переливания крови. Усовершенствование и упрощение техники переливания крови дают возможность производить его не только в научных институтах, больницах и клиниках, но и в амбулаториях на железнодорожном транспорте, в сельских местностях и даже на кораблях. Небывалый рост переливания крови в СССР может быть иллюстрирован цифрой в 150 тыс. переливаний, произведенных в течение 1939 года.

Особенно важное значение, как я уже говорил, приобретает переливание крови в военное время. В прежние войны огромное число раненых гибло на поле битвы не от тяжести ранения, а от сопровождавшей его чрезмерной кровопотери. Правильная организация переливания крови с применением транспортировки консервированной крови обеспечивает своевременную и быструю помощь обескровленным раненым и нередко спасение их жизни. Но для переливания крови как в тылу, так и на фронте необходимо располагать ее запасами. А главным источником крови

для переливания служит кровь здоровых людей — доноров, добровольно соглашающихся дать часть своей крови для переливания больным и раненым.

Кровь донора должна быть совершенно доброкачественной. Донором может быть только вполне здоровый человек, чтобы, во-первых, взятие у него крови не нанесло вреда ему самому, а, во-вторых, чтобы перелитая кровь принесла пользу, а не вред больному. Поэтому каждый, кто хочет стать донором, тщательно осматривается врачами — терапевтом и венерологом, а если нужно, то и другими специалистами. Затем производится подробный анализ его крови. Прежде всего — реакция Вассермана (на сифилис). Если есть малейшее подозрение, что у кандидата в доноры имеется венерическое заболевание, то такое лицо в доноры не принимается. Точно так же не принимаются в доноры больные малярией, туберкулезом, инфекционными болезнями и другими серьезными заболеваниями. Кроме того, делается анализ крови донора на содержание гемоглобина и красных и белых кровяных шариков. Только люди с нормальным составом крови принимаются в доноры, так как взятие крови у человека хотя бы в небольшой степени малокровного может плохо отразиться прежде всего на его собственном здоровье.

Для здорового же человека взятие небольшого количества крови совершенно безвредно. Наука установила, что кроветворные органы здорового человека обладают способностью очень быстро заново вырабатывать и восполнять потерянное количество крови. Донору путем денежного вознаграждения обеспечивается повышенное питание, ускоряющее восстановление у него взятой крови. Взятие крови совершенно безболезненно, так как оно производится уколом иглы после предварительного обезболивания.

Обыкновенно у донора каждый раз берут около одного-двух стаканов крови. В организме человека более 20 стаканов крови, и потеря 1—2 стаканов ее лишь незначительно отражается на составе его крови и нисколько не нару-

шает хорошего самочувствия и работоспособности донора. А через 8 — 9 дней эта убыль уже полностью, а часто и с избытком, возмещается организмом.

Следующее взятие крови у донора производится не раньше, чем через полтора месяца, и только после того, как повторный анализ крови показал, что ее состав вполне восстановился. Даже большое число взятий крови совершенно не отражается на здоровье донора.

В капиталистических странах донорство либо окружается нездоровым религиозно-мистическим туманом (Италия), либо ставится на коммерческую почву «купли-продажи» крови (Америка). У нас же, в Советском Союзе, доноры добровольно выполняют высокий товарищеский долг спасения человеческой жизни.

Вместе с тем тщательный отбор доноров и постоянное врачебное наблюдение за их здоровьем и восстановлением крови делают донорство в наших условиях абсолютно безвредным.

Американские врачи выдвинули лозунг: «Максимум пользы больному и минимум вреда донору». Мы же давно уже полностью осуществляем лозунг: «Максимум пользы больному и никакого вреда донору».

Мы не превращаем донорство в особую профессию, как в Америке, где донор живет «продажей» своей крови и в погоне за заработком часто отдает ее в таких количествах, что это наносит ему вред. В нашей стране, давно ликвидировавшей безработицу, нет надобности отрываться от участия в строительстве социализма, чтобы одновременно выполнять благородную и почетную роль донора. У нас донором может быть всякий трудящийся и только трудящийся. Наши доноры — рабочие, колхозники, служащие, учащиеся, домашние хозяйки, домашние работницы. Донорство несколько не мешает им быть стахановцами производства, ударниками полей, отличниками учебы.

У нас есть доноры, которые дают в течение 10 — 12 лет свою кровь для переливания и остаются при этом совершенно здоровыми и работоспособными. Диспетчер Крушинский давал свою

кровь для переливания более 100 раз, медицинская сестра Низяева — более 80 раз. У нас немало доноров-комсомольцев, которые сами дают кровь и пропагандируют донорство среди своих товарищей.

Наркомздрав СССР наградил ряд доноров значком «Отличнику здравоохранения», так как энтузиасты-доноры приносят огромную пользу социалистическому здравоохранению и санитарной обороне родины.

Без донорства развитие дела переливания крови невозможно. Доноры спасают тысячи человеческих жизней и возвращают здоровье десяткам тысяч больных.

Трудящиеся Советского Союза понимают всю важность донорства и охотно откликаются на каждый призыв вступить в ряды доноров. В условиях военного времени требуется во много раз больше доноров, чем в мирное время. Поэтому нужны резервные доноры, готовые в случае надобности без всякого вреда для своего здоровья предоставить часть своей крови для спасения жизни больных и раненых. Советские женщины с особым энтузиазмом становятся в ряды доноров.

Все трудящиеся должны помнить, что, добровольно вступая в число резервных доноров, они повышают обороноспособность нашего социалистического отечества. Ведь кровь, взятая у доноров в Москве и законсервированная, может перевозиться за сотни и тысячи километров, чтобы с успехом спасти раненых на поле битвы.

Наряду с донорской кровью за последнее время приобрели большое значение некоторые добавочные ресурсы крови для переливания. Среди всех видов так называемой «утильной крови» на первое место выдвинулись трупная и плацентарная кровь (взятая из плаценты — детского места).

В Институте им. Склифасовского (работы гг. Юдина и Скудиной) произведено множество переливаний крови, взятой от трупов людей, погибших внезапной смертью от несчастного случая или грудной жабы. Переливание трупной крови оказывало такое же благо-

творное, нередко спасительное действие при неотложной помощи, как и переливание крови живых доноров. Тщательные исследования показали, что трупная кровь, взятая в первые 6 часов после внезапной смерти, сохраняет все свои ценные биологические свойства и должна считаться живой. От каждого трупа можно получить очень большое количество крови. Поэтому трупная кровь может переливаться в больших дозах, особенно при капельном способе введения. Собранная трупная кровь до ее переливания подвергается тщательно бактериологическому исследованию, в ней определяется реакция Вассермана. Трупная кровь представляет дешевый добавочный материал, пополняющий запасы донорской крови, особенно в крупных городских центрах с большими травматологическими учреждениями.

На Международном съезде по переливанию крови видный итальянский ученый Ляттес сказал о переливании трупной крови, что это «богохульство». Это показывает, как сильно мешают в капиталистическом обществе религиозные предрассудки свободному и успешному развитию науки. Только в нашей стране, освободившейся от гнета суеверия и мистического тумана, возможна была смелая и успешная попытка «кровью мертвых лечить живых».

Плацентарной кровью, т.-е. кровью, извлекаемой после родов через пуповину из последа (плацента), удается пользоваться для переливания только при сливании крови, взятой из плацент нескольких рожениц, так как из каждой плаценты можно получить только около 100 см³ крови. Эта кровь богата гемоглобином и гормонами и при соблюдении известной осторожности может во многих случаях заменить донорскую

кровь. В настоящее время лечебные учреждения уже переходят от клинического испытания к широкому использованию этого важного добавочного источника крови для переливания¹.

Несмотря на всю ценность, которую представляет трупная и плацентарная кровь, она является только добавочным ресурсом, используемым главным образом в больших городах. Основной же и важнейшей базой переливания крови остаются живые доноры.

Поэтому каждый сознательный советский гражданин должен стремиться стать в ряды резервных доноров, чтобы в нужный момент прийти на помощь бойцам Красной армии, доблестным защитникам нашей великой родины.

Партия и правительство создают самые благоприятные условия для развития переливания крови в СССР, уделяя ему исключительное внимание. Советская наука в деле переливания крови достигла больших успехов, что получило признание со стороны ряда видных ученых на международных съездах по переливанию крови в Риме и Париже. За границей нет специальных институтов переливания крови, а у нас Центральный институт гематологии и переливания крови успешно работает уже 14 лет. Наряду с ним научную и практическую работу в области переливания крови ведут многочисленные периферические институты, станции и кабинеты переливания крови.

Огромные достижения переливания крови в СССР дают нам право надеяться на дальнейший прогресс и расцвет этой важной отрасли лечебной медицины.

¹ Этот метод в настоящее время широко применяется в Москве (гг. Фарберова и Новикова) и в Ленинграде (гг. Соловьева, Абрамсон).

Из дневника писателя

ФЕДОР ГЛАДКОВ

★

Самое уязвимое место во всех журналах — это критические отделы. В большинстве случаев они пустуют, и если появляется та или иная критическая статья, то рассматривается это, как случайное явление. Мало того, статьи эти часто бледны, импрессионистичны, ничего они не открывают, ничего не возмущают, никаких проблем не ставят и не разрешают.

Мне кажется, что многие критики не совсем отдают себе отчет в той громадной ответственности, которую возложило на них социалистическое общество. Зияющий разрыв между художественной литературой и критикой мучительно отзывался и на писателе, и на читателе, и на критике.

Существует мнение, что критик призван быть в роли безжалостного прокурора, а писатель — всегда подсудимый. Сплошь и рядом приходится слышать вульгарное отождествление понятий: «критиковать» и «ругать». В условиях нашей культуры пора бы уж знать истинное назначение критики и ее роль в развитии нашей мысли. Еще Белинский зло высмеивал своих современников: «У нас, на Руси, — писал он, — особенно, критика получила в глазах массы превратное понятие: критиковать — для многих значит ругать, а критика одно и то же с ругательной статьею. Понимать таким образом критику — все равно, что правосудие сме-

шивать только с обвинением и карою, забывая об оправдании».

Выходит, что мы как будто не поднialsь еще над уровнем той «массы», которая огорчала Белинского около ста лет назад. А между тем, уже в те годы великий критик терпеливо разъяснял читателям (да не только читателям, но и многим критикам) содержание понятия критики. Он считал, что критика должна быть философской, потому что полное и совершенное понимание произведений искусства возможно «только через философскую критику». Настоящий критик, по его убеждению, должен стоять на высоте своей эпохи, «быть обладателем современного ему знания и, кроме того, иметь качества, необходимо обуславливающие собственно критику».

Он разъяснял, что «дарование критика есть дарование редкое и потому высоко ценное». Талант критика должен обладать глубоким чувством, пламенной любовью к искусству, многосторонностью и объективностью ума. Самой пошлой критикой он считал такую, которая понимает свою задачу, только как «осуждение рассматриваемого явления или отделение в нем хорошего от худого». «Нельзя ничего ни утверждать, ни отрицать на основании личного произвола, непосредственного чувства или индивидуального убеждения... Выражения: «мне нравится, мне не нравится» — мо-

гут иметь свой вес, когда дело идет о кушанье, винах, рысаках, гончих собаках и т. п. ... Критика... есть сознание действительности».

Правда, есть и другой род критики — критика психологическая, которая старается уяснить характеры отдельных лиц художественного произведения, но эта критика не в состоянии уразуметь произведение, как целое. Сокрушительно разоблачал Белинский и критику формалистическую, вкусовую. Смешная ее сторона состоит в неопределенности и шаткости требований, которые предъявляются к художественному произведению.

И через столетие молодо гремит голос мудреца, и потрясает пламенная любовь его к родной литературе. А на литературу он смотрел, как на «выражение умственного существования (сознания) народа». Такая литература находится в тесной связи с его историей и развивается органически и в содержании, и в форме: она тесно слита с жизнью народа. Ее типизм — это торжество органического «слияния общего и особого» — общечеловеческого и национального. «Художественное произведение... овеществляется, явившись в форме: принадлежа к ничтожному клочку земли, на котором разыгралась драма, оно — гражданин всего мира; принадлежа к ничтожному мгновению, в которое совершилось событие, оно — достояние вечности...».

Исходя из этого, Белинский требовал от критика глубокого изучения произведения, беспристрастного, непредубежденного проникновения в творческую индивидуальность писателя. «Надо совершенно отказаться, — учил он, — от роли судьи...». Иначе художник, как лицо судимое, часто безответное, не может в минуту кривотолкования остановить критика-судью и доказать ему, что он ошибается, сочиняя лживый обвинительный акт.

«Всякая личность, — говорит Белинский, — есть истина; в большем или меньшем объеме, а истина требует исследования спокойного и беспристрастного, требует, чтобы к ее исследованию

приступали с уважением к ней, по крайней мере, без принятого заранее решения найти ее ложью». Надо понять пафос писателя, как живую страсть. Ведь каждое произведение — это плод большой мысли, которая овладевает художником. Он вынашивает ее порою очень долго и мучительно. И в пафосе своем он влюблен в идею, как в прекрасное живое существо.

★

Критик — это мыслитель, творец, назначение которого создавать самостоятельные произведения, которые жили бы в будущем. Но, к сожалению, мы нередко видим фельетонистов и свирепых судей, на роль которых их никто не уполномочивал. Когда у критика преобладающая антипатия к писателю или слепой, а иногда и деланный, восторг перед ним, — ему следует самокритически молчать до тех пор, пока голова не станет ясной, а сердце вдумчивым. Необходимо постоянно помнить неоднократно предупреждения Ленина по адресу критиков: надо «требовать одного: идейной ясности, определенных взглядов, принципиальной линии»¹. Ленин ставил вопрос не только о свободе критики, но и об ее содержании, и беспощадно отвергал неделовую критику. Он неустанно добивался того, «чтобы критика велась по существу дела, отнюдь не принимая форм, способных помочь классовым врагам пролетариата»².

Следовательно, нужно добиваться того, о чем говорил Энгельс в письме к Лассалю: «...Критика в интересах самой партии носит по необходимости самый откровенный характер, но меня и всех нас всегда радует, когда мы получаем новое доказательство того, что в какой бы области ни выступала наша партия, она всегда обнаруживает свое превосходство»³.

Вот этим неотразимым превосходством, этой партийной откровенностью и

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XIV, стр. 35.

² В. И. Ленин. Соч., т. XXVI, стр. 261.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXV, стр. 262.

должна отличаться наша критика. Потому что она прежде всего неотделимая часть партийного дела, а не выражение индивидуальных интересов.

«Литературное дело, — писал Ленин еще в 1905 году, — должно стать частью общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса»¹.

Было бы опрометчиво утверждать, что наша критика с честью выполняет поставленные перед нею задачи. Нельзя пренебрежительно отмахиваться от жалоб и упреков по адресу наших критиков, нельзя снисходительно иронизировать над писателями, требующими глубокой, марксистски выдержанной, критики. Разве их недовольство рождено только обидчивостью и нетерпимостью? Критикам надо уметь прислушиваться к художникам и уважать их.

А взаимное уважение возможно только на почве общественно-полезного, вдохновенного труда и самоотверженной борьбы за счастье человечества. Этим обуславливается и личное поведение каждого — честное и безупречное.

Писатель и критик совершают великое дело творческого жизнестроения на одном и том же участке культурной революции. Без взаимного понимания, без взаимной помощи друг другу в искании правды, без общего делания литературы не может быть успеха в такой трудной области, как искусство. Литераторы своего времени любили и глубоко уважали и Белинского, и Добролюбова, учились у них и с волнением внимали каждому их слову. Вспомните признания Тургенева, Некрасова и др. Тургенев считал Белинского «вожаком», а Некрасов посвятил ему трогательнейшие стихи в поэме «Медвежья охота» («Белинский был особенно любим...»).

Утверждают, что между критиком и художником всегда существует неизбежный антагонизм, всегда беллетристы и поэты враждовали и будут враждовать с критиками. Я думаю, что

это — предрассудок. Если иметь в виду тех «критиков», которые упражняются в зоильстве и зубоскалят по каждому поводу, или таких нигилистов, которые ничего не хотят знать, кроме отрицания, придираясь к каждой мелочи, — такие критики, несомненно, враждебны писателю.

Наша критика создается пламенными борцами за советское искусство. И я не сомневаюсь, что она станет поистине большой литературой, и голос ее загремит на весь мир.

Быть критиком — не менее трудное дело, чем быть художником: быть критиком — это значит быть творцом, философом и художником в душе. Чтобы быть подлинным критиком, надо горячо, самозабвенно любить литературу, жить ею и относиться к писателю, как к человеку, который призван на общественное служение. Надо знать, что не всякий и не каждый может быть писателем (художником, критиком). Для этого нужно обладать талантом, который воспитывается и развивается путем длительного и упорного труда. Талант всегда требует самоотвержения во имя счастья человечества, во имя движения в будущее. Жить рентой с таланта ради личных благ в наших условиях не удастся никому.

Пророческие слова В. И. Ленина, который 35 лет назад приветствовал революционную литературу, относятся, конечно, к нашей социалистической литературе: «Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды... Это будет свободная литература, оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой социалистического пролетариата, создающая постоянное взаимодействие между опытом прошлого... и опытом настоящего...»¹.

Это одинаково относится как к художественной литературе, так и к критике, которая является одной из форм нашей партийной публицистики.

¹ В. И. Ленин. Соч., т. VIII, стр. 387.

¹ В. И. Ленин. Соч., т. VIII, стр. 390.

Большой литературой критика может быть только тогда, когда она будет создавать произведения крупного проблемного значения. Обхаживать писателя, обсасывать его, не отдаляясь от него ни на шаг, быть в зависимости от его произведения (хорошего или плохого) и расценивать его только с точки зрения эстетической и психологической — это слишком узкая, односторонняя, ограниченная работа критика. С таким трафаретом нельзя подходить к художественному произведению: неизбежно попадаешь в плен субъективных, вкусовых предубеждений. Отсюда — «мне нравится, мне не нравится». Отсюда — психологические гадания и испытания характеров теми или иными реактивами. Основная работа критика, как мыслителя, состоит в том, чтобы уметь воспринимать произведение целостно и создавать свою систему мыслей, навеянных, пробужденных созданием художника, рожденных образами этого произведения и замыслом, который волновал писателя. Только с этой позиции можно верно судить о произведении искусства. Так подходили к произведениям Белинский, Добролюбов, Писарев, так создавали они бессмертные свои труды, полные глубокого общественного значения.

Каждая литература имеет целью вскрыть и поднять основные проблемы современности. Художник живописует это в типических образах, в борьбе характеров, страстей и идей. Критик ставит и разрешает проблемы жизни, как философ и публицист. Стоит вспомнить все крупные работы Белинского, Добролюбова, Писарева, Плеханова, Ленина о Толстом, чтобы не считать этого вопроса дискуссионным. А наша советская литература за всю свою историю росла и развивалась, как народное и партийное искусство, горя и питаясь огромными проблемами нашей жизни, поднятыми великой социалистической революцией. Можно сколько угодно говорить о характерах, восхищаться ими или ненавидеть, хвалить автора или ругать его за то, что он не угодил критику. В этом еще критики нет. Подлинная критика начинается тогда, когда

критик воспринял и охватил весь мир, созданный писателем, понял пафос художника, взволновался замыслом и смыслом произведения и поставил во всем объеме жгучие вопросы жизни.

Это не значит, что критика должна быть выражением мира и благодати на стезях нашей литературы. Анализ — не только изучение и бесстрастный разбор произведения, но и борьба. Классическими образцами такой глубокой и мудрой критики являются великие труды наших гениальных учителей — Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Настоящая критика рождается беззаветной любовью к трудовому человечеству и к тем, кто работает во имя этого человечества. И критик, и художник призваны прежде всего утверждать нашу действительность, способствовать движению ее вперед и разоблачать то, что мешает этому движению. Без критического ума и поэтической страсти художник не в силах охватить действительность и вдохновенно воплотить ее в жизнь искусства. Без вдохновенной мысли, без философского огня критик не в состоянии быть трибуном и «властителем дум». А ведь и тот, и другой, как творцы большой литературы, не только объясняют, но и изменяют мир. Они — активные строители социализма. Критик наравне с художником обязан быть в самой гуще действительности, в непосредственном общении с живыми людьми нашей страны, пристально следить за непрерывным движением жизни, чтобы оправдать свое назначение. Иначе: «как же ты будешь вожаком, если с дорогой незнаком...». Побеждать и творить — значит знать. «Чтобы действительно знать предмет, — говорит Ленин, — надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвения»¹. Все это, конечно, не так просто: критик, как и художник, чтобы быть на высоте своего долга, обязан

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XXVI, стр. 134.

итти именно по этой дороге, упорно работая над собой, совершенствуясь, участь, проверяя себя, поднимаясь все выше и выше. Перед нами — хребты и вершины, и это — хорошо: горизонты шире, глубины объемнее и целостность жизни величавее.

★

«Наша критика, — говорил Горький в своем докладе на съезде писателей, — должна быть действительно самокритикой, и значит, что мы должны выработать систему социалистической морали, регулятора нашей работы, наших взаимоотношений». Вот чего не следует забывать критику и художнику в их совместной работе.

Упреки Алексея Максимовича по адресу нашей критики и сейчас еще не утратили своего злободневного значения, потому что характер ее мало изменился за эти пять лет. «Критика, особенно газетная, наиболее читаемая писателями, — критика наша не талантлива, схоластична и малограмотна по отношению к текущей действительности... Не имея, не выработав единой руководящей критико-философской идеи, пользуясь все одними и теми же цитатами из Маркса, Энгельса, Ленина, критика почти никогда не исходит в оценке тем. характеров и взаимоотношений людей из фактов, которые дает непосредственное наблюдение над бурным ходом жизни... Критика недостаточно действительна, гибка, жива, и наконец критик не может научить автора писать просто, ярко, экономно, ибо сам он пишет многословно, тускло — и что еще хуже — или равнодушно или же слишком горячо, — последнее в том случае, если он связан с автором личными симпатиями (и антипатиями, конечно! — Ф. Г.), а также интересами группки людей, заболевших «вождизмом», прилипчивой болезнью мещанства». И дальше: «Коммунизм идей не совпадает с характером наших действий и взаимоотношений в нашей среде, — взаимоотношений, в коих весьма серьезную роль играет мещанство, выраженное в зависти, в жадности, в пошлых сплетнях и взаимной хуле друг на друга».

Да, как это ни горько, но мы должны признать, что сетования великого писателя, жившего среди нас, — действительны и в наши дни. Это касается в одинаковой степени и критиков, и художников: и зависть есть, и жадность, и пошлые сплетни, и хула друг на друга.

А задача нашей литературы — очистить человека от мещанской скверны, от предрассудков, предубеждений, от растлевающей косности и самоуспокоения, от пошлого эгоизма и личных страстишек. Литература — это мятежный и грозный голос обличения и призыв к неустанной борьбе за величие и гордость человека, за творческое его утверждение, как создателя всеобщего счастья на земле. Литература — это чудо: она рождает человека заново, окрыляет его, поднимает, вдохновляет на дерзания и воспламеняет душу его любовью к людям своей родины. Поэтому писатель (художник, критик) должен быть безупречно честен, чист, чужд своекорыстия. Чтобы иметь право воспитывать, облагораживать людей, надо прежде всего быть самому благородным, то-есть коммунизм идей, по формуле Горького, должен совпадать с характером наших действий, с характером нашего поведения.

Но у нас, к стыду нашему, — среди некоторых литераторов — нравы и быт, характер наших действий — подчас полны лицемерия, недоброжелательства, недоверия, групповых склок, хронической беспочвенной вражды и стремлений опорочить друг друга. Некоторые это выдают за борьбу во имя идеи, в интересах литературы. Но они или лгут, играя на руку врага, или бессознательно несут в себе навыки беспринципной групповщины. А иные просто действуют в личных целях или злобно, чтобы внести разложение в нашу среду и в развитие социалистической литературы. Мы знаем, как поработали враги на литературном фронте: вреда они принесли немало.

Я вовсе не хочу отрицать заслуг нашей критики, что навязывали мне одни из тех, о которых можно сказать: «иных уж нет, а те — далече». Я стою за критику, как бо л е ш у ю литерату-

ру. Художественная наша литература — даже при своих недостатках — сумела стать мировой литературой, потому что она молодо, дерзновенно заговорила о новом новом голосом, подняла такие пласты человеческой жизни, какие не могла поднять никакая другая литература. Имена некоторых наших писателей — коммунистов и беспартийных — широко известны во всех странах. Но критика наша пока не создала ничего «нетленного», что жгло бы сердца людей. Она пока еще не «властительница дум». А должна быть. Что же мешает? Все дело в том, что критики не имеют, не выработали еще, по словам Горького, единой руководящей критико-философской идеи, то-есть критика еще далека от того, чтобы быть подлинной большевистской публицистикой. «Схоластическая и малограмотная по отношению к текущей действительности», она не поднимается выше графарета и каждого писателя кладет на прокрустово ложе. Белинский переживает с Горьким: оба они призывают к глубокому изучению жизни и анализу ее (и литературы, как художественного ее отражения) с точки зрения общественно-философской идеи. Вместо того, чтобы ставить коренные, волнующие вопросы современности, как умели делать Белинский и Добролюбов, критики гложут какую-нибудь книжку или повестушку и объедают ее, как гусеница молодой листок. А ведь талантливые критики, яркие индивидуальности у нас несомненно есть. Но пути, избранные ими, приводят их к «каудинским фурулам», где трудно проявить смелость мысли, доблесть дерзания.

Легче и безопаснее идти по проторенным дорожкам и повторять уже ранее высказанные скучные мысли. Создается некий шаблон, который освобождает людей от необходимости учиться и думать. Есть установившееся или предвзятое мнение о том или ином литераторе, и нет надобности изучать и следить за его творчеством. Страшная вещь эта инерция! Она убивает не только живую мысль, но иногда и калечит человека. Из этих инертных людей чаще всего появляются развязные и са-

моуверенные неучи, которые избирают себе специальность «делать котлеты» из писателей. Я отношу это к пережиткам недавнего прошлого: было такое времечко, когда враги умело дискредитировали наши литературные кадры. Атмосфера была тяжкая, и эта атмосфера была удобной средой для разных жуликов и вредителей.

Предложения «рубить котлеты» поступают иногда и сейчас, хотя бы в ту же «Литгазету», о чем с негодованием сообщал мне один из работников редакции. И вполне резонно заявляют таким, с позволения сказать, «критикам», что «Литгазета» — литературный орган, а не кухня. Фактов подобного рода можно было бы привести не один и не два, но об этом просто стыдно говорить: они всем известны, и о них обычно считается неприличным упоминать.

Один из самых избитых приемов у критики для предания «забвению» писателя — это держать его в «сетях». О писателе упорно и бесконечно молчат, хотя бы он и работал напряженно и плодотворно. Оговариваюсь: молчание — дело безобидное; оно бывает тогда, когда критику нечего сказать или он не в силах одолеть какую-нибудь трудную книгу. Так, например, случилось с «Климом Самгиным». Критики скромно промолчали, если не считать кое-каких косноязычных статей, которые совершенно забыты. Но если критики сознательно замалчивают писателя, — это уже злостный поступок, это особый вид травли. Недаром такой метод критики именуется среди писателей «заговором молчания». С такими «заговорщиками» необходимо бороться литературной общественности и выводить их на чистую воду. Пусть попробовали бы на каком-нибудь заводе устроить «заговор молчания» против стахановца. Таких «молчальников» быстро вывели бы за ушко да на солнышко. Поучительные эти случаи бывали, и они служили на пользу людям. А вот у некоторых критиков считается «хорошим тоном» играть в «замалчивание». В свое время «Литгазета» перестаралась в этом отношении до безобразия: по методу замалчивания

она систематически вычеркивала из текста статей имена несимпатичных ей писателей.

Но вспомним, как великий Сталин в своем докладе о проекте Конституции СССР на Чрезвычайном VIII съезде советов сокрушительно разоблачил этот самый «метод замалчивания»: «Могут сказать, что замалчивание не есть критика. Но это неверно. Метод замалчивания, как особый способ игнорирования, является тоже формой критики, правда, грубой и смешной, но все же формой критики (*Общий смех, аплодисменты*)... так как есть все же на свете какое-то общественное мнение, читатели, живые люди, которые хотят знать правду о фактах, и держать их долго в тисках обмана нет никакой возможности. На обмане далеко не уедешь...».

Хотя Иосиф Виссарионович так убийственно заклеил приемы критики капиталистических писак, но тем более позорно, что такой метод критики еще бытует и у нас. Разве не ясно, что замалчивание, как особый способ игнорирования писателя, ничего общего с социалистической критикой не имеет? Наша критика — это самая откровенная и честная критика, потому что она служит интересам нашей партии, интересам народа. Наша критика без самокритики — немислима!

А ведь самокритика — это проявление чистоты, благородства и большой мысли. «Самокритика — это самая лучшая критика» — любил говорить Горький. Не может быть критика и художника без этого драгоценного качества. Надо всегда сохранять в себе «святое недовольство», —

То недовольство, при котором нет
Ни самообольщения, ни застоя,
При котором и на склоне лет
Постыдно мы не убежим из строя.

Рост и успехи нашей литературы в большой степени зависят от товарищеской поддержки и поощрения. Роль критика не столько в том, чтобы «разоблачать», «изобличать», «пригвождать» и «бить дубиной», сколько в том, чтобы помогать писателю в его трудной рабо-

те, укреплять в нем бодрость и веру в свои силы.

«Несчастье в том, — отмечал когда-то Гюйо, — что тот, кто хочет найти дурное, найдет его почти всегда, и он потеряет из-за удовольствия критика удовольствие быть «растроганным»... Счастливы критики, не находящие слишком много «хороших вещей» для себя у своих писателей».

Наше искусство — искусство наступательное, глубоко общественное, партийное. Кто мешаает широко развиваться художественной литературе и не способствует подъему творческого соревнования, а сводит личные и групповые счеты, тот тормозит работу нашей партии по воспитанию масс. Труд, борьба, люди великих лет, героизм в быту, повседневность, как героика, и подвиги, как быт; мятежные и дерзновенные замыслы и ищущая мысль, новые отношения и социалистическая мораль — одним словом, небывалый в истории человечества круговорот новых могучих сил и проявлений богатых даров и творческой воли, — вот что питает социалистическую литературу. И смысл «социалистического реализма» — именно в глубоком и ярком отражении этого наступательного движения нашей действительности, в воздействии на эту действительность, в постижении великих проблем эпохи, в создании типичных ее характеров — людей, создающих и движущих нашу жизнь вперед и выше. Замечательно определение социалистического реализма у Горького. Эту его поистине классическую формулу надо помнить наизусть: «Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека, ради Победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно непрерывному росту его потребностей хочет обработать всю, как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью». А сколько у нас писали о социалистическом реализме! Писать писали, а ничего не сказали, кроме того, что со-

циалистический реализм — это правда, что писать по методу социалистического реализма — это значит писать правдиво. А разве старый реализм (позитивный, критический) не требовал правды, как своей основы? Весь смысл в том, что реализм стал качественно иным. Наш реализм — действенный, революционный, большевистски-активный, как орудие борьбы, как сила политического сознания, как воспитатель борца, деятеля, красавца-человека. Социалистический реализм требует не вообще правды, но правды конкретной, нашей, коммунистической. Он не холодный наблюдатель, а полон огня и страсти. Он — строгий, предельно правдивый живописец, но и пламенный трибун.

★

Энгельс сказал когда-то: «Орлиный глаз видит значительно дальше человеческого глаза, но человеческий глаз замечает в ведах значительно больше, чем глаз орла»¹. Человеческий глаз — это не только зеркало души, это — проникновенное сияние мысли. Это — глаз творца, глаз жизнедеятельного сознания. Проникновенный глаз нашей великой партии постиг закономерность исторического развития, и гений ее провидит далеко вперед: он ведет народы мира к коммунизму — к всечеловеческому счастью — не как к идеалу, а как к конкретной действительности, потому что «коммунизм — не идеал, это действительное движение, устраняющее теперешнее состояние»¹. То, что тормозит это движение, мешает его развитию и подавляет вдохновенный подъем творческих сил, — вредносно и враждебно нашей жизни.

Человек — творец чудес. А всякое человеческое чудо — революция, мятеж против рабства, застоя, смерти. Человечество всегда движется вперед, правда, неравномерно, скачками, но в этом — закон борьбы. Народы нашей страны, освобожденные от гнета капи-

талистической эксплуатации, движутся в будущее стремительно, бурно, побеждая время. Нигде нет такого величия чудес, как у нас, и нигде гений человечества не проявляет своей мощи и поразительного дерзновения, как в нашем социалистическом государстве. Наша наука — передовая в мире, потому что она овладевает силами природы на благо трудящихся, и ее открытия и достижения — это достояние миллионов, строящих новую жизнь, новую культуру, новые общественные отношения. Наука ушла в массы, в повседневный труд людей, в быт, в поведение рабочих и колхозников.

А искусство — это уже дыхание масс. Все четыре полосы любой газеты заполнены фактами необычайного культурного роста народа. Для нас, непосредственных участников жизни, эти факты кажутся обычной хроникой, но стоит оглянуться назад, на минувшие три-четыре года, — эти факты вырастают в исторические события. И мы знаем, что ближайшие годы загорят и засверкают тысячами дел и открытий. Свойство свободного человечества — творить чудеса, чтобы неустанно двигаться в будущее. Человек меньше живет прошлым, чем будущим. Потому что прошлое откristаллизовано в настоящем, а будущее — это смелая мечта и вдохновенный план. В этом именно бессмертие человека.

Наш путь в будущее идет не перспективно, суживаясь на горизонте, а беспредельно расширяясь, пылая неугасимой солнечной зарей. И данное нашего настоящего сливается с желаемым и неизбежным грядущего. И мне кажется вполне естественным, а поэтому потрясающе проникновенным, пророчество Белинского: «Завидует внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году, стоящую во главе образованного мира, дающую закон и науку, и искусству и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества». Так мог думать о будущем, мечтая, и мечтать, живя будущим, только глубокий материалист-диалектик — человек, беззаветно любящий свой народ, знающий его.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 456

силы и способности, убежденный в его революционной роли на земле.

Литература — это разящая и утверждающая энергия: она должна бить метко, верно, — так, чтобы каждый ее удар разрушал все то, что враждебно и ненавистно нам. Она обязана создавать и укреплять новое, молодое, яркое, действительное, чудесное, что двигает жизнь вперед. Так именно характеризовал художественное творчество в одном из своих писем ко мне Алексей Максимович Горький. И этот завет наша советская литература обязана хранить и следовать ему постоянно. В этом ее сила и назначение.

★

Но одно дело — завет и путь, указанный нашими классиками и учителями, другое дело — отлично или хорошо выполнять этот завет и шествовать по этому пути, не сбиваясь в стороны, не отставая, не блуждая в одиночестве. У нас есть самый лучший, самый мудрый, самый прозорливый вождь в мире — это наша великая коммунистическая партия. Она хорошо знает, какое место в рядах занимает каждый человек, она освещает путь на далекое расстояние, она умеет влить в каждого энергию, волю и уверенность в своих силах, она у каждого обостряет зрение и возвышает душу. Строгательным вниманием следит она за каждым, кто раскрывает в себе те или иные дары и стремления.

Писатель, как и всякий работник искусства и науки, находится в нашей стране в особо счастливых условиях. Литература — не ремесло, а служение народу. Неверно некоторые литераторы употребляют слово «ремесло» в приложении к поэзии (будь это — стихи или проза). Это слово несет в себе рудиментарное содержание. Ремесло в основе своей имеет узко практическую задачу — задачу выполнения чужого заказа в пределах кустарного опыта. Этот термин был в ходу у так называемого конструктивного искусства. Вот почему лозунг «социального заказа» те же левовцы старались

пропагандировать в литературе, как теорию, и положили его краеугольным камнем своей программы. И до сих пор еще нередко приходится слышать категорические и суровые наказания писателям: «мы требуем...», «мы предъявляем...». У художественной литературы — иные задачи: ее свойство — создавать типические образы, дышать дыханием эпохи. Наша литература — это библия революции, поэма социалистических пятилеток, песнь песней борьбы за коммунизм. И гений нашего искусства (в собирательном смысле) будет тем величественнее и мудрее, чем глубже, жизненнее, типичнее, а главное — мощно, самобытно, с философской глубиной, прозрением, великим сердцем проникнет в самую суть нашей действительности, отразит дух нашего народа, его героев, борцов и мыслителей. Типический, всеобъемлющий образ нашей эпохи — это простая данность наших дней, это — «нетленный», идущий в будущее человек, который по-новому живет в сознании поколений, по-новому волнует их мысли и чувства.

У каждого писателя есть свой круг наблюдений, своя излюбленная сфера творчества, связанная с его судьбой, с его биографией. Для одного художника неисчерпаемым источником вдохновения является, скажем, рабочий класс и интеллигенция, для другого — крестьянство, колхозная деревня, сельская интеллигенция и т. д. И было бы странно требовать от писателя, чтобы он переключался с одного на другое и изображал это в одинаковой степени ярко и сильно. Художник может писать уверенно и правдиво только о том, что он хорошо знает, во что он «вжился».

Когда-то Гончаров ответил своим критикам на вопрос о том, почему он не пишет ничего другого, кроме того, что пишет:

— Не могу, не умею.

И мне думается, что каждый советский художник мог бы ответить то же самое. Навязывать ему темы и сюжеты, рекомендовать ему изобразить тот или иной участок жизни, который ему мало знаком, не только бесполезно, но и вредно. Конечно, писателю необходимо

стремиться к разностороннему знанию жизни, пристально наблюдать и постигать людей различных областей труда, но наша действительность настолько богата и многогранна и настолько глубоко подняты ее пласты, что ни один писатель сейчас не в силах объять необъятное. Нам нужно много писателей различных и разных. Но для советских художников очень важно то, что сближает их и дает единство их произведениям, — коммунистическое миросозерцание. Миросозерцание художника не может быть без ясного отношения к действительности и к конечной цели его творчества. Натуралист тем и отличался от реалиста, что рабски копировал объекты, не проявляя своего отношения к изображаемым им людям и событиям. Он был в стороне от общественных проблем и всяких «проклятых вопросов». Но так как жизнь движется противоречиями, напряженной борьбой классов, то в основе этих противоречий, этой борьбы лежат определенные отношения людей. А отношение — это то самое главное, что является отличительной чертой человеческого бытия. Но миросозерцание — не катехизис, а партийность литературы — не в готовых лозунгах, не в формальной ее тенденциозности. Ленин учил, что «коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Художник только тогда яркий, значительный летописец своей эпохи, когда он находится не только в центре действительности, но и может «встать выше действительности, смеет смотреть на нее, как на сырой материал, и создавать из плохого данного хорошее желаемое. Это позиция истинного революционера и это его право». (Из письма Горького.)

Таким именно художником и был Алексей Максимович: он «жег сердца людей», он потрясал, поднимал, звал, открывал широкие дали. Надо быть истинным творцом — создавать новое, свое, неповторимое, видеть рассвет завтрашнего дня.

Дело не в том, чтобы только писать безупречно с формальной стороны.

Для писателя прежде всего важно, что сказать (он не может молчать), а затем — как сказать. Нельзя отделять мысль от ее выражения: это — единый процесс. Диалектика содержания есть в то же время и диалектика формы. Такой высокий художник, как Флобер, признавался: «Я считаю форму и сущность... двумя сущностями, никогда не существующими одна без другой...». Содержание и форма единственны. Прекрасно нарисовать лицо и нарисовать прекрасное лицо — это различные вещи, говорил когда-то Чернышевский. Разрывать и обособлять то и другое нельзя: надо рисовать прекрасное лицо прекрасно.

Форма должна соответствовать содержанию:

... Силу новую
Благородных юных дней
В форму старую, готовую
Необдуманно не лей...

Форма не есть готовый сосуд: она развивается органически вместе с внутренней сутью искусства. Главная работа художника проходит над воплощением своих образов, и эта работа чрезвычайно трудна и сложна. Это — напряженная и страшная борьба, которая не всегда кончается победой писателя. «Муки слова» — это трагизм художника. И сила писателя измеряется упорством и настойчивостью в преодолении бесконечного ряда величайших препятствий. Надо быть плодотворным работником в нашем искусстве, чтобы каждое слово несло в себе горячую идею, чтобы оно будило мысли и чувства миллионов, чтобы оно заставляло человека передумать всю свою жизнь, чтобы оно способствовало его росту и совершенствованию.

Всё дело в искренности, в душевной чистоте и честности. Глубоко пережитая и прочувствованная мысль воплощается в простом и впечатляющем образе. Простота — это преодоленная сложность: выбрать словесное соответствие — это значит то же, что найти музыкальное звучание для чувства; грубее: это значит промыть горы руды,

чтобы получить щепотку золота. Кто много чувствует и думает, — мало говорит: слово его экономно и многозначительно. Народные пословицы и поговорки живут века, потому что выражают с предельной экономией и глубиной то, что пережито, передумано, выстрадано народом и что находит отклик в последующих поколениях. Удачная афористичность — неплохая вещь у писателя, если это — потребность выразить в категорической форме некую общность. Но простота стиля писателя тем оригинальнее и ярче, чем своеобразнее его душа. Стиль — это отношение художника к действительности. И правда есть первое и необходимейшее условие хорошего стиля. Нет нормы для литературного языка, и требовать этой нормы по меньшей мере смешно. У нас часто серый штамп выдают за образец простоты, а плоскую бытовщину — за подлинную картину нашей жизни. В свое время Лескова очень травили за его необыкновенный дар переплавлять народный склад речи в перлы литературного создания. А Лескова по-настоящему оценил только Горький. Неумение некоторых наших писателей пользоваться народным словом приводит к натуралистическому перенесению в литературу местного языкового сырья.

Поэтому обижаться на здоровую критику не гоже. А обиды есть. Писателю кажется, что он обладает чутким слухом, когда он переносит на бумагу грубый сор, а на самом деле язык, например нашей деревни, становится иным. Языковые пережитки исчезают вместе со старым единоличным бытом. Колхозник стал не только грамотным, но и культурным. Грани между городом и деревней стираются, и город непосредственно входит в жизнь колхозов. Вместе с лаптем уходит и мужицкое слово. Это очень сложный процесс, и его надо изучить и смысл его понять. Надо уразуметь и почувствовать тенденцию этих перемен и услышать заветные слова нового общественного человека: они будут жить вместе с народом, как его творчество. Вот эти самые заветными словами писатели и обязаны оплодотворять литературную речь. Не механически, конеч-

но, а музыку и душу их уловить. Искусство, как выражение народного духа, становится тем мощнее и величественнее, чем глубже уходит оно в недра народных масс, чем ближе оно к источнику «живой воды».

Но прежде всего надо знать, чем живет наша страна, быть в гуще движения миллионов и всей глубиной души чувствовать мудрый голос, мудрую волю нашей великой партии, как единственного вождя народов. Не со стороны, не внешне, а органически надо усвоить гениальное учение Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. Только при этом условии литература социалистического реализма будет подлинным искусством Советской страны. Ведущие писатели прошлого — «властители дум» — были самыми передовыми людьми своего времени, они стояли на вершине знаний современности. Основоположник пролетарской литературы — Максим Горький — изумительный для нас пример: марксист-ленинец, он обладал глубочайшими познаниями, и его творчество, проникнутое революционной философией, знаменует собою большую эпоху в развитии нашего искусства.

Великое счастье для писателя быть глашатаем народа. Талантом надо дорожить: дарование писателя — редкое дарование. Но талант требует большой и длительной обработки: с готовым талантом люди не рождаются. Долгие годы проходят в напряженном труде, полном неудач, пока писатель сможет выступить, как мастер, и сказать свое слово, ярко и сильно выразить волнующие его образы. Истинный художник растет скромно, незаметно: он много думает, мучается, обращается к писателям с конфузливой просьбой сказать ему прямо об его способности писать и обычно сам относится к себе очень критически. Как правило, он присылает и писателям, и в журнал свежие и трепетные вещи. Сразу видно, что его тревожит, что его захватило и поразило, чем занята его мысль и как поет его душа. Таких людей всегда радостно чувствуешь.

Но в среде литературной нам недостает одного очень важного, на мой

взгляд, условия, которое способствовало бы успехам нашего творчества. Содружества настоящего нет, благожелательства, радости от удачи товарища, искренности и живого интереса друг к другу. Не изжиты еще групповые нравы и предубеждения. Стараются выискывать прежде всего худое, отрицательное, забывая или сознательно отвергая главное: что же положительно создано тем или иным литератором. А каждый способный писатель важен для нашей культуры именно своей самобытностью и тем, что дал в своем творчестве хорошего, художественно ценного и, значит, полезного. Кое-кто склонен обособлять художественное и полезное. По-моему, это в корне неверно: нехудожественное не может быть полезно, потому что нехудожественное — неубедительно: оно возбуждает противоположные чувства — недовольство и протест. Нехудожественное — неистинно. Но искать только отрицательное в художественном произведении и вытеснять им положительное, с целью унижить, опорочить писателя, — дело вредное и неблагоприятное, не наше дело.

Человек познается в делах его и в поведении. Товарищеское чувство развить надо, братское стремление к сотрудничеству и соревнованию, дружеский интерес друг к другу. В этом, на мой взгляд, и заключается руководящая роль литературных организаций. Но если нет искренности, если каждый живет сам по себе и смотрит на людей из-за щита, дело нашего литературного служения партии и народу не может дать внушительных результатов. Еще сильны пережитки капитализма в сознании людей, а писатели как-раз и призваны к тому, чтобы бороться с этими пережитками и быть примером в этой борьбе для других. Важно не то, что совершаются большие и маленькие ошибки, важно самокритически замечать их и во-время исправлять. Будем

же борцами за торжество нашей правды и — *vitam impendere vero* — не пожалеем жизни за истину.

Р. С. В «Литгазете» с «новогодними» статейками выступили наши «маститые» критики.

Как завзятые дегустаторы, они небрежно пробуют вино урожая прошлого года, и, как полагается, каждый из них выражает свои личные впечатления на основании своих личных вкусов.

Но, к сожалению, этот их приятельский разговор ни к чему не обязывает и никого не волнует: просто люди пикируются из-за того, что им нравится и что не нравится. Один утверждает, что в книгах наших писателей мало созерцательности, но много действия, и это плохо. Другой, наоборот, недоволен как-раз тем, что в этих книгах избыток созерцательности и отсутствует действие. Это тоже плохо. Третий замечает, что в книгах есть и то, и другое, но нет вдохновения. Выясняется, между прочим, что никто из них не представляет себе ясно, как же создается художественный образ.

Если о вкусах не спорят, то хочется все-таки спросить: чего же эти критики хотят? Куда они стремятся? Какие вопросы жизни волнуют их? Слов нет, люди они остроумные и легко играют красивыми словечками, но не довольно ли заниматься пустяками! Пора же, наконец, приступить к настоящему большому делу творческого жизнестроения! Их личные вкусы нас мало интересуют. Нам важно, чтобы критика выполняла прямую свою задачу — быть партийной публицистикой в искусстве. Работать надо, изучать и строить жизнь и литературу. Они «очень многое не читают и отбрасывают», а репутацию писателей создают по слухам, по всяким посторонним соображениям. Довольно! Критика должна выйти из тупика во что бы то ни стало: она обязана занять подобающее ей место в нашей литературе.

Иван Алексеевич Куратов — поэт народа Коми

(К 100-летию со дня рождения)

ИВАН МОЛЧАНОВ

★

I

В известном стихотворении, посвященном Тютчеву, Фет писал:

У чукчей нет Анакреона,
К вырянам Тютчев не придет...

В этом послании Фет выразил мнение крепостников, считавших, что монопольное право создавать культурные ценности — науку, искусство, литературу — принадлежит дворянству, народ же, тем более стоящий на низкой ступени культурного развития, к этому неспособен.

«У чукчей нет Анакреона», его и не будет, — так надо понимать этот стих. И дело здесь не в чукчах, потому что этот народ взят Фетом лишь, как символ той части человечества, которая якобы самой природой лишена возможности производить культурные ценности. Не все ли равно — чукчи, коми, ненцы или русские мужики: им недоступна культура древней Греции, недоступна культура русского дворянства.

Но, когда Фет писал это стихотворение, он не знал одного весьма небезынтересного явления: у коми был Анакреон! За пятнадцать лет до появления послания к Тютчеву ряд песен Анакреона перевел на язык своего народа поэт Коми И. А. Куратов.

Печальна судьба этого талантливейшего человека, пленника царизма.

На пространстве, где могут свободно разместиться тринадцать современных

Бельгий, среди непроходимых лесов, по берегам больших и малых северных рек — Печоры, Ижмы, Сысолы и др., — раскинулись поселения народа коми, которому великодержавные покорители малых народностей дали презрительную кличку «зыряне».

На протяжении пятисот с лишним лет при помощи креста, нагайки и водки народ коми приводили в подчинение русским князьям и царям. К первой половине прошлого столетия этот народ, казалось, был окончательно подавлен царизмом. Коми не только не имели своей письменности, но и по-русски лишь двадцатая часть их умела читать.

Однако неугасимый творческий дух, который присущ любому народу и который нельзя было истребить и в народе коми, нашел себе выход. Он жил в народных сказках, в песнях, в протяжных свадебных плачах — в устном народном творчестве, над которым была бессильна власть царских сатрапов. Повествовали эти устные сказки и песни о народном горе, о несправии, о кабале. Печальной была поэзия этого народа. И все-таки она существовала. Ни тупоумие царских чиновников, ни колониальный гнет — ничто не могло сломить творческий дух народа коми.

Современник Пушкина, друг Чаадаева, издатель и редактор «Телескопа» Надеждин, как известно, был царским правительством выслан на Север за помещение в своем журнале «Философиче-

ских писем» Чаадаева, а журнал его закрыт. Местом ссылки назначили город Усть-Сысольск (теперешний Сыктывкар — столица автономной советской республики Коми).

Изучив язык, быт и нравы коми, Надеждин с большим усердием записывал и изучал образцы устной поэзии этого народа. В своем очерке Надеждин с восторгом говорит «о поэзии не печатной, даже не писанной, о поэзии, которая не навязывается на чтение, не продается в книжных лавках; о поэзии простой, неправильной, безыскусственной, у которой нет ни школьной сановитости, ни салонного кокетства, нет классического парика, нет и романтической бородки, и, однако, — есть жизнь, есть выражение, есть волшебная, очаровательная прелесть. Такова всегда и везде — поэзия народная...».

О крае, где живет народ коми, в том же очерке Надеждин писал:

«При разделе земного шара между родом человеческим зырянам достался пай, вовсе незавидный: они живут в глубине Севера, среди лесов дремучих, болот топучих, морозов трескучих. Деды наши, хотя и сами не баловни природы, сами дети полночи, взлелеянные на снегах вьюгами, считали зырянский край — тюрьмой...».

Так писал сто лет назад о народной поэзии и народе коми профессор истории и логики, ученый и критик Н. И. Надеждин. Очерк его был напечатан в альманахе «Утренняя заря» в 1839 году.

В этом же году, в июле, в деревне Кибра родился первый поэт народа коми — Иван Алексеевич Куратов.

Отец Ивана Куратова был пономарем, потом дьяконом. Мать была из крестьян. Ивану Куратову прочили духовную карьеру. Когда ему исполнилось шесть лет, умер его отец. Большая семья жила бедно, мать, выбиваясь из сил, старалась дать детям «образование», то-есть определить их куда-нибудь в школу. С котомками за плечами мать и дети направляются в Усть-Сысольск. Здесь пристроить детей в школу не удалось. Отсюда они пешком идут верст за четыреста с лишним в русский город

Яренск. Долго шли. Голодали, холодали. После долгих мытарств и унижений перед царскими чиновниками, матери удалось в Яренске устроить детей в духовное училище.

Отталкиваемой была суровая обстановка духовного училища. За малейшую провинность в яренском училище били. Будущих «пастырей» пороли так, что утром рубаху приходилось отмачивать теплой водой: кровь спекалась... Особенно доставалось ученикам из коренного населения.

Окончив яренское духовное училище. Куратов поступает в вологодскую духовную семинарию. Здесь он тайком знакомится с литературой «гражданской», светской: запоем читает Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Плещеева и других русских поэтов и писателей. Здесь он впервые задумывается над своей судьбой и ожидающим его поприщем. В 1857 г. в тетрадах семинариста появляются первые стихи на языке коми.

Куратова увлекает поэзия. Работая над стихами, он окончательно решает порвать с духовной карьерой и стать народным учителем. Он едет в Москву, чтобы завершить свое образование. Перед ним открыты двери только духовной академии, куда он и поступает. Но в академии Куратов учиться не стал. В 1861 г. он вернулся на родину и до июня 1865 г. работал учителем в усть-сысольской церковно-приходской школе.

Это были самые плодотворные годы недолгой жизни Куратова. Зная латынь, греческий, французский и немецкий языки, Куратов продолжает изучение этих и других языков, начатое еще в семинарии; усердно работает над проблемами родного языка, изучает фольклор, много пишет. Он пишет стихи и песни, которые переходят из уст в уста, их вскоре начинают распевать во многих деревнях коми и в самом Усть-Сысольске.

В эти же годы Куратов заботливо собирает устное народное творчество, пишет ряд сказок. Выступает с едкими памфлетами против уездной верхушки Усть-Сысольска. Один из памфлетов, написанный в это время по-русски, он

так и назвал: «Усть-Сысольск». Уездная верхушка Усть-Сысольска видела в Куратове своего злейшего врага и мстила ему доносами властям вышестоящим. Доносы дали себя знать: в 1865 г. Куратова, как неугодного, убрали из Усть-Сысольска. Он был «определен» в военно-судебные чиновники для производства дел в Средней Азии. Это было не чем иным, как замаскированной высылкой и величайшим издевательством над талантливым поэтом народа коми. Куратова угоняли подальше от родных мест, от языка, на котором он мог и дальше распространять «вредные идеи». С ним разделились за его «народность», за сатиры, за революционные стихи, направленные против царского строя, против Александра II, написанные под влиянием революционных идей.

Году своей высылки — 1865 году — Куратов посвящает гневное стихотворение, в котором, словно предчувствуя свою гибель на чужбине, прощается с родным краем:

Уйди, уйди, проклятый год!
Ты мне принес печаль и горе...
Боль в сердце... Ненависть во взоре...
Уйди, уйди, проклятый год!
Ты землю выбил из-под ног,
Родную, крепкую... Уйди же!
Мне край могилы ныне ближе,
Чем края милого порог...

«Высочайший приказ о гражданских чиновниках военного ведомства» от 11/VII 1865 г. за № 27 был применен к Куратову, несмотря на то, что он и по возрасту, и по здоровью не подходил к несению службы.

Долгие годы разлуки с родиной, с воздухом Пармы, как называют коми свои леса, погубили Куратова. Цель, которую поставили царские прислужники, ссылая Куратова в Среднюю Азию, была достигнута. Куратов умер на чужбине 36 лет от роду.

★

Все творчество Куратова можно разделить на три основных раздела:

Публицистика, публицистическая лирика, в которой он восставал против мрака, тупости, невежества, против тунеядцев разного рода, против ханжества служителей церкви, боролся активным

словом с крепостничеством, «с паразитом, который народом правит».

Во многих стихах этого раздела Куратов откликался на политические события, совершавшиеся тогда в России и на Западе; в области искусства протестовал против формулы «искусство для искусства».

Публицистическая лирика И. А. Куратова представляет одну из самых ярких и сильных струй в творчестве поэта. Она обусловлена и мировоззрением поэта, сложившимся под влиянием писателей-просветителей 40 — 60 годов прошлого столетия, и всего жизненного пути Куратова, проходившего в условиях крепостнической России и косности чиновного мира, в условиях ненависти к «черной силе», как сам Куратов называл духовенство, в моральной борьбе с этой силой.

В эпических произведениях Куратов создает характеры людей, героев, типичные для своего времени и общества. В лирике единственный герой — это сам поэт. И в этом герое преломляются черты характеров, черты его современников.

Творчество Куратова определялось прогрессивными идеями, оно впитало в себя наиболее передовые черты людей прошлого столетия. Отсюда и политическая, публицистическая направленность куратовской лирики.

Еще в юные семинарские годы наряду со стихами о любви (которых, кстати сказать, немного у поэта) Куратов начинает писать стихи, перекликающиеся со своим временем, со своей эпохой. В биографических стихах, далеких от сентиментализма и самолюбования, поэта занимает прежде всего его судьба, как человека в широком, горьковском понятии этого слова. Так, в стихотворении «Жизнь человека», относящемся к раннему периоду творчества Куратова, поэт задумывается над своей судьбой — не как судьбой поэта, а как человека, члена общества, вступающего на путь общественной деятельности.

Ты в метрике марай без правил,
Чиновник бога, хмурый дьяк!
Ты мне семнадцать лет поставил, —
Но это — далеко не так.

Семнадцать лет! Цифирь пустая,
 Ты одного не мог понять:
 И древо также вырастает,
 Коль жизнь на цифры исчислять...
 Что возраст? Пусть иной калека
 Расстет себе, как ель в лесу.
 В семнадцать — званье человека
 Я с честью в этот мир несу.
 Под нами — почва не из пепла,
 И тверд мой шаг, звенит, как жезл;
 Смотри: перо в руке окрепло
 И сила в скромных виршах есть...
 А коль певцом не буду, — лучше
 Возьму топор, протася с пером,
 И уж никак не буду ржущим,
 Рыгающим пономарем!

Это стихотворение, подобно маяку, освещает весь дальнейший путь поэта, несущего в жизнь гордое звание человека.

Эта поэтическая декларация не осталась только декларацией. Поэт, как видно из биографии, не становится на путь «ржущих пономарей», — он идет к народу, чтобы не с церковного амбона, а с учительской кафедры нести в народ просвещение, знания и культуру. Вопросам культуры коми-народа Куратов посвящает много стихотворений, в которых ратует не за узколобую ограниченность буржуазной культуры, а выступает с позиций интернационалиста, борется за гуманистическую, прогрессивную культуру.

Что вы спорите? С испуга
 Фигой дразните друг друга:
 «Коми будет русским коро!».
 Что останется от спора?
 Пусть, представим, будет коми
 Русским, ненцем, хоть суоми, —
 Все равно судьбу мы слоим;
 Об одном мечту лелеем:
 Быть культурней, быть умнее!

Поэт мечтает о культуре, о лучшей человеческой жизни своего народа, о внедрении знаний в свой народ. Куратов считал, что культуру в народ необходимо нести на его родном языке. Он едко высмеивал тех ученых, которые считали, что язык коми — язык вымирающий. В публицистической статье, направленной против современника Куратова — попа Распутина, — поэт логически подтверждает поэтические высказывания о культуре народа коми:

«Много есть зырян, с презрением говорящих о своем родном языке. Это

выражает их безнравственность... Когда есть народ, то ему нужно образование, познания же можно передать ему через его же язык... Что может быть проще того, что русского на первых порах надо учить на русском языке?.. Известно, что зырянский язык не развит, что на нем свою ученость показать нельзя... Им бы (ученым) показать только свою ученость, а народная польза в стороне».

То, что буржуазными националистами было принято в Куратове за «национализм», — на самом деле было рычагом борьбы за прогресс народа, за его высокую культуру. Отсюда и вытекает огромная любовь Куратова к языку родного народа. В стихотворении «Комийзык» Куратов называет этот язык милым, называет его языком мягким, звучным...

Придет время, — говорит он далее в этом же стихотворении, — Коми много хороших песен услышит на этом языке.

Мы знаем, какой беспросветный мрак, мрак крепостнической России окружал поэта, мечтавшего о высокой культуре своего народа, о светлом его будущем.

Юноша Куратов в начале своей литературной работы, гордо провозгласивший свое человеческое «я», свое человеческое достоинство, противопоставляя его «черной силе», — в лирике обрушился на эту черную силу, видя в ней единственное зло человечества. В зрелые годы, испытав на своей спине когти самодержавия, он увидел, что зло не только в «черной силе» служителей культа. Впитав лучшие идеи писателей-просветителей XIX века, борющихся с самодержавием, крепостничеством, Куратов вступает в ряды борцов прогрессивной демократии. Его публицистическая лирика поднимается до уровня ярко выраженного протеста против самодержавия, против существовавшего порядка вещей. В 1866 году он пишет стихотворение «Муза», в котором выражает огромную ненависть к строю, попирающему звание человека, уничтожающему живую человеческую мысль. Поэт говорит, что его «муза не будет продажной»:

Тайком поем вдвоем...
 Может, и сфальшивим, что сказать?
 Кроме нас, никто не будет знать!
 Мы смеемся с ней наедине...
 Синяя тетрадь — сгорит в огне.
 Скоро, верим мы своей надежде,
 Волновать иная будет тема,

И поэма

Нам покажет красочней, чем прежде, —
 Ханжество в монашеской одежде
 Паразита, что народом правит,
 Наш народ своей десницей давит, —
 И людей, чья жизнь — одно несчастье,
 Ждущих после смерти счастья...

Стихотворение «Муза» — есть основание полагать — было направлено непосредственно по адресу царя Александра II.

Ненависть к самодержавию ярко выражена и в другом лирическом стихотворении «Сампсон». Себя и свой народ видел Куратов в образе мифологического Сампсона.

Когда изучаешь произведения Куратова на темы публицистические и произведения на темы народного быта, невольно вспоминается Гоголь. В произведениях его, написанных на темы народного быта, — «Вечера на хуторе близ Диканьки», — видишь одного Гоголя; плавно льется его речь, она полна добродушной иронии; в каждой строчке видна беспредельная любовь к народу, к народным чаяньям, поверьям, преданьям. И другой Гоголь встает перед нами, когда мы читаем его «Мертвые души», его «Ревизора». Каким злым и неприимым становится слово писателя. Оно дышит гневом и желчью, обличая звериные лики крепостников.

И когда читаешь стихи Куратова, разоблачающие тупость уездных чиновников; поповское ханжество, стихи, направленные против «паразита, окрашенного народной кровью», — гнева муза Куратова. И другой Куратов предстает пред нами, когда читаем его стихи, написанные на темы народной жизни, быта людей коми, на которых надето ярмо колониального рабства. С какой теплотой и любовью относится Куратов к этим людям, у которых «жизнь одно сплошное несчастье», к людям, «ждущим после смерти счастья».

В небольшом стихотворении «Закар

Ордын» Куратовым показана целая галерея людей, для которых труд и голод вечные спутники, для которых нет просвета в жизни, нет удовольствий, нет счастья. Показаны бедняки, коми-крестьяне, собравшиеся на скромную пирушку у своего соседа Закара. Знание народного быта, любовь к нему позволили Куратову с предельной ясностью передать нам картину немудрого и редкого веселья бедняков. Вот перед нами охотник Ош-Пи-Макар, который убил на своем веку тридцать медведей, сам же никогда не надевал теплого меха. Вот «мастер на все ноги» Кась-Вась, знаменитый лаптеплет; чудак и враль Петро-Ольш-Герман, которого никто еще не поборол. Рыболов Кольчи-Пи-Тарас: этот всю жизнь ловил рыбу для других, облеплен рыбьей чешуей, как водяной, хотя сам ни одной чашки ухи не попробовал; вот старик Власий: всю жизнь «богачам хоромы строил, а себе на черный час даже гроба не припас».

Все они для Куратова любимы, все близки. Они для него хорошие люди:

Люди хорошие придут,
 Все сегодня будут тут...

Такие же хорошие люди фигурируют и в других произведениях: в стихотворении «Коми-бал», в «Молодом бедняке», в «Снах», в «Песне о молодом охотнике». Куратов в ярких, полных драматизма картинах показывает народное горе. В стихотворении «Сибирская дорога» молодой крестьянин убивает купца. Он не берет добра, которое вез купец, оно ему не нужно. Бедняк берет только несколько кренделей, чтобы принести своему умирающему от голода ребенку. В стихотворении «Коми-баллада» Куратов рассказывает о бедняке-крестьянине, потерявшем силу у мироедов-кулаков, с горя начавшем пить и трагически погибающем.

Во всех стихотворениях этой темы лежит в основе беспредельная любовь к угнетенному народу, к беднякам. Куратов не равнодушный наблюдатель народного горя. Он зовет вперед этих «хороших людей», близких сердцу поэта, подбадривает их своей песней, старается указать путь к лучшему:

Что ж, ребята, песню грянем,
 С ней — на жизнь смелее глянем;
 Долго ль нам в той жизни хныкать,
 Песни нехотя мурлыкать?
 Петь, шуметь не можем, что ли,
 Про леса, про нашу волю,
 Долю наших вод и пашен, —
 В нищете деревни нашей?
 Песню мы споем на-диво
 По лесным своим мотивам...
 Где ж веселье? Поищите.
 Я начну, вы поддержите!

Куратов написал ряд сказок, причем сказка у него не является механическим переложением существующего в народном творчестве сюжета. Сказку Куратов использует в своем творчестве, как средство, как форму для высмеивания тупоумных чиновников: городского головы, станowego пристава, судьи; для высмеивания разного рода захребетников и туеядцев: протопопа, ханжи-попа, мироеда-кулака.

Особенно интересна сказка «Микул». Сюжет этой сказки — так называемый «бродячий сюжет» — есть и в русском фольклоре. В русской поэзии эта сказка встречается у Кюхельбекера. Герой русской сказки, видящий целое состояние в дремлющем зайце, у Куратова поставлен в национальные условия бедноты коми. Микул на языке коми приобретает новую окраску, новое содержание. Микул мечтает об избе «с русскими окнами», «с венскими стульями», мечтает о далеком городе, где он будет «важным фертом», будет говорить «по-благородному», «по-русски», заведет себе красавицу-жену, пригласит в гости протопопа, а на судью и попа даже не взглянет. Купит себе азиям, и цена этому азияму будет миллион. При таком богатстве плюнет даже и на обедню, не пойдет к обедне — и все тут. В общем, не будет зависеть ни от попа, ни от судьи, ни от станowego пристава. В этой сказке опять-таки выражены народные чаяния о лучшей жизни, о свободе, выражена любовь к народу.

И наконец надо остановиться на личной лирике Куратова. Она далека была от лирики идеалистов, от поэтов-лириков, проповедывавших «искусство для искусства». И в этих стихах у Куратова красною нитью проходит отражение беспроектной тьмы, нависшей над миром

обездоленных людей, и отражение воли человека, плывущего в этой тьме против течения.

Быстрине плыву навстречу
 И гребу, гребу я честно!
 Все в работе: руки, плечи,
 Лодка, хоть убей, ни с места.
 Ели все одни и те же...
 Напрягаюсь, ветер свищет.
 Леший, что ли, лодку держит
 В темном омуте за днище?
 Ну-ка, веслам сил избыток
 Весь отдам и с лодкой справлюсь,
 Прибережные ракицы
 Позади себя оставлю,
 Поднажму-ка, поднажму я!..
 Но пока надежда бродит —
 Не назад, как эти струи,
 А вперед кусты уходят.
 Вновь верчусь на месте старом...
 Только ветра волчье пенье,
 Только волны с воем ярым
 Вниз уходят по теченью...

Это противодействие течению сопутствовало поэту даже в самые мрачные моменты его жизни, не покидало его до конца дней.

У Тараса Шевченко по приказу царя отбирали бумагу и карандаш для того, чтобы не писал поэт-бунтарь своих «виршей». У Куратова положение было не лучше: царь отобрал карандаш и бумагу не только у Куратова, а у всего народа коми. Народу запрещалось иметь свою письменность, читать и писать на родном языке, а следовательно, была снята всякая возможность создавать культурные ценности, искусство, литературу.

Надо иметь огромную силу воли и огромную любовь к поэзии и к родному языку, чтобы всю жизнь писать стихи, для которых не было типографии. Куратов не мог не задумываться над тем — дойдет ли его творчество до народа и какими путями дойдет? Он верил в то, что судьба народа коми вечна такой, какова она есть, быть не может, придут лучшие времена, и его песня все-таки дойдет до народа.

Песня моя, песня,
 Пригожий мой, скромный сын...
 Кому тебя отдам,
 Кто тебя поднимет?
 Богомольный поп
 Свирепо на тебя посмотрит,

Многознающий насмешник
 Уже заранее смеется...
 Крестьянину некогда
 Принять тебя к сердцу,
 Его голова занята
 Думой о тяжелых податях.

(Перевод подстрочный.)

«Полно, ты еще не пропадешь» — обращается он к своей собеседнице-песне.

Вот учится, нищенствуя,
 Сирота, сын пономаря.
 Вот босиком прыгает
 По улице Поликарп.
 Кто-нибудь из них, выучась,
 Примет тебя к сердцу.
 Многих умников
 Они еще удивят,
 И тебя, коми-песню,
 Далеко-далеко прославят.

(Перевод подстрочный.)

Так Куратов в подрастающем новом поколении, которое в конце-концов добьется своего раскрепощения, видел и свою судьбу, судьбу певца народа. Надежда на светлое будущее народа проскальзывает и в стихотворении «Коми-язык», упоминавшемся ранее:

Этот язык мягкий, красивый, громкий...
 Сердцем чувствовала я
 Красоту этого языка
 И на нем потихоньку
 Запел свои песни.
 На этом языке другие громче поют,
 И сто двадцать тысяч ушей
 Много хорошего могут тогда услышать.

(Перевод подстрочный.)

Стихи эти написаны в 1857 г. Это были юные годы поэта. В 17 лет, несмотря на тяжелые условия жизни, Куратов пишет оптимистические стихи. В школе и в семинарии, чтобы не быть поротым розгами за любовную лирику, Куратов придумывает мифического юношу Гугова, и в тетрадь Гугова вписывает свои юношеские лирические стихи. По мере роста политического сознания Куратова личная лирика на время как будто исчезает из тетради поэта. Ее заменяют злые эпиграммы на духовенство, которое возненавидел Куратов со школьной скамьи, заменяют размышления о языке народа; поэт занимается внешние и внутренние политические вопросы России дореформенного времени, а в свя-

зи с этим и вопросы, встающие перед народом коми.

Крестьянская реформа 1861 г. не принесла облегчения крестьянам, они отдали были в еще большую кабалу. Куратов знакомится с книгами Чернышевского, разоблачавшего фальшь крестьянской реформы, сам в то время начинает понимать происходящее.

В 1861 г. усилилось гонение на демократическую интеллигенцию; вдохновитель революционных и прогрессивных идей этой интеллигенции Чернышевский очутился в Петропавловской крепости. Все это легло тяжелым камнем на психику поэта. Так, в эти годы появляются некоторые нотки растерянности и в личной лирике Куратова, обусловленной внешними событиями. С горечью пишет Куратов о себе:

Душа молчит, душа черства,
 Рождает мертвые слова!

С 1865 года, года, в который Куратов пришлось покинуть свою родину и взяться за нелюбимое им дело, навязанное «высочайшим приказом», — за обязанности военно-судебного чиновника, — поэт в личной своей лирике много строк посвящает «повязке Фемиды», богини правосудия. Он пишет автобиографическую поэму «Записки слепого», в которой как бы подытоживает свой жизненный путь от дерзаний юноши-семинариста до поэта-борца, сохранившего вопреки всем невзгодам «зрячее» человеческое сердце.

«Пока живы гарпии — не будет счастья на земле» — заявляет Куратов в этих записках, подразумевая под гарпиями произвол русского царизма, творимый над ним, поэтом, и над всем народом в целом.

Перед смертью, на чужбине, в Алма-Ате, вдали от родных мест, от близких людей, Куратов пишет стихотворение, полное тяжкого раздумья:

Скоро в этот угол
 Гроб поставят мой...
 Ляжет в нем неведомый,
 Человек чужой.
 Никого родного...
 Тихо бьют часы,
 И никто у гроба
 Не прольет слезы.

Унесут, зарокот
 В земную утробу...
 Будто не бывало
 Ни меня, ни гроба!

★

Образованнейший человек своего времени, Куратов откликается на самые разнообразные вопросы общественно-политической жизни.

Так, например, по вопросам искусства Куратов разделяет взгляды Чернышевского, становясь на материалистические позиции в вопросах эстетики и осуждая теорию «искусства для искусства».

Материалистические позиции Куратова отразились и в критике им идеалистической философии Шопенгауэра. Он пишет:

«Если идеалистическая философия падает, то уже пора! Надо же и честь знать!».

Куратов разделял взгляды об единстве материи органической и неорганической; об единстве искусства и жизни, становясь и в этом вопросе опять-таки на позиции материализма.

О Милле и Прудоне Куратов делает следующее замечание, близкое к критическим взглядам Чернышевского:

«Милль и Прудон анализируют и критикуют существующие экономические отношения, но не показывают выхода из них».

Куратов всей душой ненавидел какое бы то ни было рабство, называл это явление «мерзостью».

Куратов изучал свой родной язык. Им руководил при этом глубокий интерес ученого-лингвиста. Язык коми был наименее исследован специалистами, изучавшими восточно-алтайские языки.

Написанная по-русски статья Куратова «Зырянский язык», которую печатала

газета «Вологодские губернские ведомости» в №№ 23, 27, 31, 37 за 1865 г., имеет для лингвистов большой интерес и сейчас. По этой статье можно также судить об огромном лингвистическом кругозоре поэта. Куратов пишет о месте языка коми среди других языков, о наречиях в языке и их оттенках; с большим знанием дела разбирает он этимологические и синтаксические формы языка коми, фонетику и логику этого языка.

«Объем чисто зырянского языка чрезвычайно ограничен, причина этой ограниченности заключается в исторических судьбах зырян и в месте, какое они занимают. До принятия христианства (XV век) это был народ патриархального состояния; он не имел государства, законодательства и сколько-нибудь высоко знаменательной религии...

...Утверждают, что греческий язык — самый богатый по числу и свойству глагольных форм; но это утверждают те, кто хорошо и основательно не знает некоторых северных языков...». «Наш язык заботится о сжатости речи, чтобы не терялась сила его...».

Стихи Куратова в формальном отношении верны этому тезису. Они иногда настолько скупы в словах и просторны в содержании, что их трудно перевести даже на богатый наш русский язык.

Прошло сто лет со дня рождения и шестьдесят четыре года со дня смерти певца народа коми Ивана Алексеевича Куратова. Песня его не забыта.

В нашей Советской стране, под счастливым солнцем Сталинской Конституции, свободно развивается народ коми. Он создает искусство, литературу, национальные по форме, социалистические по содержанию, создает новую, великую культуру коммунизма.

Из переписки

А. П. Чехова с Н. А. Лейкиным

(НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА)



Чем дальше идет время, тем больше и больше ценится нами творчество А. П. Чехова, и тем больше притягивает к себе наше внимание обаятельная его личность. С этой стороны особый интерес представляют письма Антона Павловича. Они просветляют в нашем сознании моральный облик большого писателя и человека.

Во времена Пушкина к письмам относились далеко не безразлично: в них видели особый литературный жанр, культивировали его, и тот же Пушкин не сразу писал свои письма, а сначала составлял черновики. Чехов большей частью писал письма прямо на белом, и тем не менее его письма — это сплошь и рядом литературные шедевры; подчас трудно бывает сказать (особенно о некоторых письмах первого тома), где кончается письмо и где начинается художественный юмористический рассказ. Можно, действительно, согласиться с тем, что письма Чехова «памятник литературного значения».

Понятно после этого, какой интерес представляет каждая публикация новых, еще не известных в печати, писем Антона Павловича. К сожалению, таких подарков становится все меньше и меньше. Тем приятнее всякая новая находка. Ниже мы печатаем 22 неопубликованных письма Чехова к Лейкину, редактору-издателю журнала «Осколки», вместе с 16 ответными письмами Лейкина.

Лейкин выступил на писательском поприще в конце 50-х годов и был встречен сочувственно лучшими журналами («Современник», «Искра», «Русское слово») и передовыми писателями того времени (Салтыков, Некрасов, братья Курочкины), но потом он ушел далеко вправо, хотя и уверял себя и других, что он верен традициям 60-х годов и что его «Осколки» — либеральный орган. На самом деле Лейкин, выходец из мелкобуржуазной купеческой семьи, был типичным предпринимателем.

О своем окружении Лейкин рассказывает в своем юношеском дневнике, к сожалению, неопубликованном. Не опубликовано также и несколько томов интересных дневников Лейкина за 90-е и 900-е годы.

Произведения Лейкина не носили боевого характера и только иногда и вскользь затрагивали большие общественные вопросы. Его «Осколки», которые и он, и цензура склонны были считать либеральными, в сущности, мало возвышались над другими юмористическими журналами 80-х годов с их национал-шовинистическими тенденциями и узко мешанской тематикой.

Лейкин сразу угадал в начинающем сотруднике Чехове большую литературную силу и поспешил теснее связать его с «Осколками». Отвечая на письма Чехова, он давал начинающему писателю разные указания. Следивший не только за русской, но и за западноевропейской литературой, Лейкин настойчиво рекомендовал Чехову учиться у Золя широкому охвату жизни. Он советовал Чехову «выгнать из себя ленивого человека». Лейкин подказывал писателю темы для его произведений. При всей своей симпатии и расположении к Чехову Лейкин не раз и не два возвращал ему его неудачные, «невыванцовывавшиеся», как он выражался, произведения, утешая при этом автора тем, что и «печь печет разные хлебы»; такая судьба постигла, например, рассказы Чехова «Беда за бедой», «Княжна Ярыгина» и др.

В других случаях Лейкин (иногда, правда, по соображениям цензурного характера) не стеснялся сокращать и дополнять рассказы Чехова, которые так, с правой Лейкина, печатаются и теперь. «Сократил немножко и рассказ «Сверхштатный блюститель» (в собрании сочинений — «Унтер Пришибеев»). Не удался он Вам и длинен» — пишет Лейкин Чехову в сентябре 1885 г. В следующем году: «Рассказ «Отрава» действительно плоховат, но все-таки он печатается в № 10. Не понимаю даже, при чем тут на-

звание «Отрава». Так же ни к селу, ни к городу там адвокат. Читали мы рассказ с Билибинным и порешили адвоката выхерить. Без адвоката ей-ей лучше, а потому, надеюсь, что Вы на меня не посетуете за самоуправство».

Особенно настойчиво Лейкин рекомендовал Чехову писать коротенькие рассказы, как наиболее соответствующие его таланту.

Переоценная впоследствии значение своих советов для развития творчества Чехова, Лейкин развязно заявлял: «Чехов на мне научился писать свои рассказы...», «Я Чехова родил!». Ценность такого утверждения станет ясна, если его сопоставить со следующими строками из письма Н. К. Михайловского к Чехову: «Я... не знал школы хуже той, которую Вы проходили в «Новом Времени», «Осколках» и пр... Школа сделала, что могла, — приучила Вас к отрывочности и к прогулке по дороге не знаю куда и не знаю зачем...».

Сам Чехов иногда, может быть, из любезности (это было в первые годы его писательства), называл «Осколки» либеральным органом и выделял его из ряда других юмористических журналов, ценил в Лейкине то, что он был «прежде всего литератором», но чем дальше шло время, чем дальше уходил Чехов от «малой прессы», тем отрицательнее становится его отношение к Лейкину. Если в 1883 г. Чехов в письме к брату называет Лейкина «человечиной славной, хоть и скупым» («Письма», I, 73), то в 1886 г. в письме к брату же Чехов говорит, что у Лейкина «сотрудники в силу своей воспитанности — тряпки, и «Лейкин хватает их зубами за икры» (I, 183); в 1888 г. в письме к Суворину Чехов отзывается о Лейкине еще резче: «Это добродушный и безвредный человек, но буржуа до мозга костей... Лисица каждую минуту боится за свою шкуру, так и он. Тонкий дипломат!.. Несчастный хромой мученик!» (II, 218, 219); наконец в письме от конца 1890 г. к тому же Суворину он пишет о Лейкине: «Эта литературная белужина пишет мне: «летом я сбавил себе 16 фунтов веса, пишет про индеек, про литературу и капусту...» (III, 150).

Что касается писем самого Чехова к Лейкину, то они представляют немалый интерес для понимания личности Чехова, истории развития его миросозерцания и роста его творческого дара; особый интерес имеют те из публикуемых писем, которые относятся к первым годам писательской деятельности А. П. Чехова.

Г. Прохоров.

1. Н. А. ЛЕЙКИН — А. П. ЧЕХОВУ

Н. А. Лейкин
С.-Петербург
Угол Николаевской и Свечного пер.
№ 48—15.

9 января 1883 г.

Милостивый государь
Антон Павлович!

Простите великодушно, но на сей раз я должен кое что возвратить Вам из Вашего присыла.

«Гречневая каша»¹ вещичка остренькая, но я не решаюсь ее печатать просто из скромности. Ведь это значит восхвалять себя. У меня, правда, в этом духе проскользнуло несколько строчек в статье И. Грэка², но я потом долго каялся.

Надеюсь, что Вы не посетуете на меня за возврат. Полагаю, что все это у Вас и в Москве уйдет.

Кстати: получили-ли Вы от нас гонорар за статьи, помещенные в прошлогодних номерах? Получаете-ли наш журнал? Я сделал распоряжение о высылке Вам его.

Вещичку Вашу «К сведению трутней»

дал иллюстрировать большим рисунком художнику А. И. Лебедеву³.

Затем будьте здоровы. Ожидаю от Вас рассказцев маленьких. Маленькими рассказами я беден. Помещаю свои, а работать трудно по несколько штук для каждого номера. Беден я и подписями к рисункам. Какие Вы прислали — те воспользовался.

Жду присыла и остаюсь всегда готовый к услугам

Н. Лейкин.

Р. С. Ежели будете посылать чтонибудь срочное к номеру журнала, то адресуйте письма ко мне на квартиру (адрес в заголовке письма). Поспеет в среду поутру Ваше письмо в Питер приехать, то статья может явиться в том №, который выходит в пятницу.

Н. Л.

¹ «Гречневая каша сама себя хвалит» — рассказ, сохранился в незаконченной черновой автографной записи (хранится в отделе рукописей Все-

союзной библиотеки имени Ленина); впервые напечатан в собрании сочинений Чехова (Гиз. 1929, т. IV, стр. 364).

² И. Грэк — Виктор Викторович Билибин (1859—1908), писатель, юморист и водевилист, сначала сотрудник «Стрекозы», а с 1883 г. сотрудник и потом секретарь «Осколков»;

под псевдонимом Диоген печатал фельетоны в «Новостях»; после смерти Лейкина был редактором «Осколков».

³ «К сведению трутней» — эта юмореска была иллюстрирована В. И. Порфирьевым и напечатана в № 13 «Осколков» за 1883 г. (подпись — «Человек без селезенки»).

2. А. П. ЧЕХОВ — Н. А. ЛЕЙКИНУ

[1883] 12/1
[Москва]

Милостивый Государь
Николай Александрович!

В ответ на Ваши любезные письма посылаю Вам несколько вещей. Гонорар получил, журнал тоже получаю (по вторникам); приношу благодарность за то и другое. Благодарю также и за лестное приглашение продолжать сотрудничать. Сотрудничая я в «Осколках» с особенной охотой. Направление Вашего журнала, его внешность и умение, с которым он ведется, привлекут к Вам, как уже и привлекли, не одного меня.

За мелкие вещицы стою горой и я и, если бы я издавал юмористический журнал, то херил бы все продлинновенное. В московских редакциях я один только бунтую против длиннот (что впрочем не мешает мне наделять ими изредка кое кого.. Против рожна не пойдешь!), но в то же время, сознаюсь, рамки «от сих и до сих» приносят мне не мало печалей. Мириться с этими ограничениями бывает иногда очень не легко. Например... Вы не признаете статей выше 100 строк, что имеет свой резон.. У меня есть тема. Я сажусь писать. Мысль о «100» и «не больше» толкает меня под руку с первой же строки. Я сжимаю, елико возможно, процеживаю, херю — и иногда (как подсказывает мне авторское чутье) в ущерб и теме и (главное) форме. Сжав и процедив, я начинаю считать.. Насчитав 100—120—140 строк (больше я не писал в Осколки) я пугаюсь и.. не посылаю. Чуть только я начинаю переваливаться на 4-ю страницу почтового листа малого формата, меня начинают есть сомнения и я... не посылаю. Чаще всего приходится наскоро пережевывать конец и посылать не то, что хотелось

бы.. Как образец моих печалей, посылаю Вам ст. «Единственное средство»¹. Я сжал ее и посылаю в самом сжатом виде, и все таки мне кажется, что она чертовски длинна для Вас, а между тем, мне кажется, напиши я ее вдвое больше, в ней было бы вдвое больше соли и содержания. Есть вещи поменьше — и за них боюсь. Иной раз послал бы и не решаешься..

Из сего проистекает просьба: расширьте мои права до 120 строк.. Я уверен, что я редко буду пользоваться этим правом, но сознание, что у меня есть оно, избавит меня от толчков под руку.

А за сим примите уверение в уважении и преданности покорнейшего слуги

Ант. Чехов.

Р. S. К новому году я приготовил Вам конверт весом в 3 лота. Явился редактор Зрителя² и похитил его у меня. Снять нельзя было: приятель. Наши редакторы читают филиппики против москвичей, работающих и на Петербург. Но едва ли Петербург отнимает у них столько, сколько проглатывают г.г. цензора. В несчастном Будильнике³ зачеркивается около 400 — 800 строк на каждый номер. Не знают, что и делать.

¹ «Единственное средство» за подписью А. Чехова напечатано в № 4 «Осколков» за 1883 г.

² «Зритель» — иллюстрированный юмористический журнал, издававшийся в Москве в 1881—1885 гг. под редакцией В. Давыдова. В течение января 1883 г. в «Зрителе» было напечатано больше 10 юморесок Чехова. В 1881 г. Чехов сотрудничал почти исключительно в «Зрителе».

³ «Будильник» — сатирический журнал с карикатурами, начавший выходить в СПб в 1865 г. под редакцией Н. А. Степанова; с 1873 г. издавался в Москве.

3. Н. А. ЛЕЙКИН — А. П. ЧЕХОВУ

Н. А. Лейкин
С.-Петербург
Угол Николаевской и Свечного пер.
№ 48—15.

Января 20 1883 г.

Милостивый государь,
Антон Павлович!

С особенным удовольствием получил я Ваше милое письмо с приложением рассказцев. Получил и целиком убил все рассказы в № 4 «Осколков». Теперь опять неимущ по части Вашего добра и слезно молю о высылке вновь разных литературных «разностев» к № 5¹.

Вы пишете, что Вас стесняет размер для рассказа 100 строк, но полагаясь на то, что Вы не станете злоупотреблять длиннотами, благославолю Вас и на 120 и на 140 и даже на 150, присылайте только непременно чтонибудь к каждому номеру. Повторяю, что я найду не совсем удобным к печати, то тотчас-же возвращу Вам по почте, что не пройдет в цензуре — вышлю в виде корректурного оттиска обратно, так что у Вас не пропадет ни единая строчка. Прибавлю, что я вообще очень аккуратен и сдерживаю свои обещания.

Вы пишете мне о какой-то робости, что иногда боитесь посылать рассказы... Что Вам робеть? Вы писатель опытный и уже достаточно набили руку. У Вас и литературное чутье есть, Вы чувствуете когда и что именно надо — а это важная вещь. Иногда рассказец и плохенький, но ежели он написан à propos — на него и читатель смотрит иначе. Недостатки скрадываются. Дорого ячичко в Христов день. Вот как я смотрю на дело оком редактора.

Стихотвореньице «Лжепророк» — возвращаю. Посылай не посылай в цензуру — все равно не пройдет. С тех пор

4. Н. А. ЛЕЙКИН — А. П. ЧЕХОВУ

Н. А. Лейкин
С.-Петербург
Угол Николаевской и Свечного пер.
№ 48—15.

Мая 26 1883 г.

как в Главном Управлении по Делах Печати засел Феокистов², то есть правая рука Каткова³, — услужливые цензоры вымарывают отовсюду слова «Катков» и «Москов. Вед.», ежели об них говорится без достождолжного уважения.

Вот времена-то настали! Надо лавировать, лавировать! В № 4 «Осколков» Вы увидите на первой странице портрет И. С. Аксакова, надпись И. С. Аксаков цензура сняла, а вместо слов «Газета Русь» предложила написать «газета Китай».

За темы к рисункам сердечно благодарю, одну из них дал рисовать В. И. Порфирьеву, а другую тему возвращаю Вам обратно, ибо советовался по приятельски с цензором и тот по приятельски сказал мне, что при нынешних порядках рисунок на эту тему не мыслим даже и без всяких надписей. Тему-же о пожаре цирка в Бердичеве постараюсь утилизировать для № 5 моего журнала.

А затем будьте здоровы и примите уверение в моем самом дружественном к Вам расположении.

Н. Лейкин.

Р. С. Рассказов жду с нетерпением. Шлите елико возможно скорее и адресуйте не в редакцию, а по адресу моей квартиры, который имеется в заголовке моего письма.

В № 4 идут три Ваших рассказа.

¹ В № 5 журнала «Осколки» был напечатан рассказ Чехова «Ушла» за подписью А. Чехонте.

² Феокистов Евгений Михайлович (1829—1898) — консервативный писатель, с 1883 по 1896 г. начальник главного управления по делам печати.

³ Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — реакционный издатель «Русского Вестника» и «Московских ведомостей».

Уважаемый
Антон Павлович!

Сегодня получил Ваш конвертик с рассказом «О том как я женился», пометил его для набора и завтра посы-

лаю в типографию. Сердечно благодарю Вас, что не забываете меня Вашими присылами.

Я еще в долгу перед Вами, Антон Павлович. Я обещал Вам выслать несколько моих книг, но все забываю это сделать. Сейчас завязал на память узелок и после завтра, как поеду в город (теперь я живу в Лесном на даче), дам книги артельщику для пересылки их Вам. Это будет тем более кстати, что сегодня у меня вышла в свет новая книга моих рассказов «Караси и Щуки», которую я также присоединю к посылке. Значит, у Вас будет и новинка книжная, а Вы гденибудь, может быть, скажете об этой новинке маленькое печатное словечко и отзоветесь об ней в нескольких строчках¹. Ведь сотрудничаете же Вы гденибудь в московских журналах. А ежели нигде не сотрудничаете, то сделайте отзыв о книжке и передайте его Лиодору Ивановичу Пальмину², а он уж пристроит его куданибудь в газету. Я и ему посылаю новую книжку с просьбой порекламировать ее, но он несколько ленив на писание. Когда еще соберется!

И так будьте здоровы и прощайте. Настоящее письмо пишу с специальною целью, дабы поблагодарить Вас за Ваш неустанный присыл рассказов для «Осколков». Попросил-бы Вас вместе с крупными (относительно говорю) рассказами присылать и меленькие рассказы и анекдотики. Мне легче будет помещать их. А то иногда хочешь поставить в номер два Ваши рассказа — примериваешь, а два-то не входят и поневоле ставишь только один. Так вот этих-то «рассказцев на затычку» присылайте время от времени. Они должны быть строк на 50, 60, 70.

Затем примите уверение в искреннем моем к Вам уважении

Н. Лейкин.

P. S. Из ответа в «Почтовом ящике Стрекозы»³ я вижу, что Вы и в «Стрекозе» собираетесь сотрудничать. Не подавать там, помяните мое слово. Люди тяжелые, люди не ценящие сотрудника.

Я работал в «Стрекозе», так уж знаю. Посылайте-ка лучше ко мне в «Осколки» все что напишете. Ведь Вы, кажется, от меня гостеприимством для Ваших рассказов не обижены.

Н. Л.

¹ В письме Лейкину от июня 1883 г. Чехов сообщает, что «написал я рецензию на Ваших «Карасей и щук», но издатель «Мирского толка» Пушкирев отказался ее напечатать» («Письма», I, 61).

² Иллиодор (или сокращенно Лиодор) Иванович Пальмин (1841—1891) — поэт, переводчик, юморист, сотрудник «Искры», «Осколков» и ряда других журналов. Автор трагедии «Не плачьте над трупами павших борцов...» («Искра», 1865). Собрание его стихов издано было журналом «Русская мысль». Когда Пальмин умер, Лейкин записал в своем дневнике (27 октября 1891 г.): «Пальмин умер в Москве... Еду в Москву на похороны... Это был самый деятельный сотрудник «Осколков», дававший тон своими идейными стихами, которые я помещал всегда в начале номера в виде передовицы. Надо возложить на его гроб венок от редакции «Осколков».

Чехов был в дружеских отношениях с Пальминым: в письме к Л. Н. Трефолеву от 1 марта 1886 г. он называет Пальмина своим «хорошим приятелем» («Чеховский сборник», Москва, 1929 г., стр. 81), а несколько раньше писал Библинну о нем же: «Пальмин — это тип поэта, если вы допускаете существование такого типа. Личность поэтическая, вечно восторженная, набитая по горло темами и идеями... Беседа с ним не утомляет. Правда, беседуя с ним, приходится пить много, но за то можете быть уверены, что за все 3—4 часа беседы Вы не услышите ни одного слова лжи, ни одной пошлой фразы, а это стоит трезвости» («Письма», I, 181).

О Пальмине и Чехове см. С. Д. Балухатый — «Собрание сочинений Чехова», т. II, стр. 353 (Приложение к «Огоньку», 1929 г.).

³ Чехов послал в «Стрекозу» рассказ «Раз в год». Редакция уведомляла Чехова в почтовом ящике журнала в № 20 от 15 мая: «Условия принимаем и просим сотрудничать. «Раз в год» написано очень недурно — с удовольствием напечатается». «Стрекоза» — художественно-юмористический журнал, начавший выходить в СПб в 1875 г. Редактором с 1879 г. был И. Ф. Василевский (псевдоним — Буква).

5. Н. А. ЛЕЙКИН — А. П. ЧЕХОВУ

Н. А. Лейкин
С.-Петербург
Угол Николаевской и Свечного пер.
№ 48—15.

Июня 1 1883 г.

Уважаемый
Антон Павлович!

Сейчас приехал с дачи и увидел у себя в городской квартире Ваше письмо от 28 мая. Я живу на даче под Лесным и в городскую квартиру приезжаю не каждый день.

Гонорар будет Вам выслан по новому адресу в г. Воскресенск (Московской губ.), но вот беда дня три тому назад я послал Вам в Москву по старому адресу (Сретенка, Головин пер., д. Елецкого) письмо и посылку с моими книгами. Благоволите какнибудь распорядиться, чтобы письмо и посыл-

ка не найдя Вас в Москве не были пересланы обратно в Петербург.

Рассказов Ваших имеется у меня всего три, из коих один, — «Ценители» очень испорчен цензурой, так что настоящий смысл и идея утеряны, поэтому благоволите поспешить присылкой новых рассказов. В № 23 поставлю «Герой-барыня»¹ и у меня останутся в запасе два Ваши рассказа. Хотелось бы в № 23 поставить и еще чтонибудь из Вашего, но должен экономить.

Итак, сделайте чтонибудь относительно письма и посылки и присылайте скорей литературного товара.

Затем будьте здоровы, жму Вашу руку

Н. Лейкин.

¹ Рассказ «Герой-барыня» напечатан в № 23 журнала «Осколки» за 1883 г.

6. А. П. ЧЕХОВ — Н. А. ЛЕЙКИНУ

[1883 г., июнь]¹

Уважаемый
Николай Александрович.

Посылаю Вам несколько рассказов. Прислал бы более и написал бы лучше, если бы не разленился. Летом я бываю страшным лентяем; хоть и мечтаю всю зиму о трудовом лете. Ничего с собой не поделаю.

О судьбе Ваших книг и письма не беспокойтесь. Письмо Ваше я получил с оказией, а книги наверное уже получила моя семья и читает. В Москве я живу обстоятельно, семейно. Можете писать туда и посылать, что угодно и я все получу. Впрочем, если посылка ценная, то мне придется самому получить, что произойдет не позднее 10-го Июня. Если будете еще писать, то пишите на Москву. Рецензийку о Ваших книгах напишу и, если сам не сумею где либо тиснуть, отдам Пальмину, дачного адреса которого, кстати сказать, я не знаю.

В Стрекозу я сунулся не впервые. Там я начал свое литературное поприще. Работал я в ней почти весь 1880 год, вместе с Вами и И. Грэкком.

В том же году я бросил работать по причинам, в Вашем письме изложенным. Вы пишете: «каяться будете». Я уже 25 раз каялся, но... что же мне делать, скажите на милость? Если мне присылать в Осколки все то, что мне иногда приходится написать за один хороший зимний вечер, то моего материала хватит Вам на месяц. А я, случается, пишу не один вечер, и написываю целую кучу. Куда же мне посылать всю эту кучу? От Москвы я откrestился, работаю в ней возможно меньше, а в Питере я знаком только с двумя журналами. Volens-nolens приходится писать и туда, куда не хотелось бы соваться. Положение хуже губернаторского. Вы сами работали много и понимаете это положение. Я еще помыслю на эту тему.

Как то мне приходилось подписываться кое где «Крапивой». Заявляю торжественно, что материя, печатающаяся с тем же псевдонимом в Стрекозе, не есть дело рук моих².

Пишет ли Вам Агафопод Единичин³. У меня почти готов для Вас один (относительно) большой рассказ «До 29-го Июня» и скоро будет готов другой

«29-е Июня»⁴. Оба по охотницкой части. Кончу их и пришлю, а пока имею честь быть всегда готовым к услугам и уважающим

А. Чехов.

Кстати. Сделайте распоряжение о высылке в мой счет «Осколок» за сей год по следующему адресу:

«г. Воскресенск (Московск. губ.) Учителю Приходского училища»⁵.

¹ Письмо без даты. Мы относим его к началу июня 1883 г.

² Это письмо Чехова устанавливает, таким образом, еще один псевдоним Че-

хова — «Крапива». К сожалению, других статей с подписью «Крапива» в журналах и газетах 1879 — 1883 гг. нам обнаружить не удалось.

³ Агафопод Единицын—псевдоним Александра Павловича Чехова (1855—1913), старшего брата Антона Павловича. Письма Александра Павловича к А. П. Чехову изданы Всесоюзной библиотекой имени Ленина в 1939 г.

⁴ Рассказов с такими названиями в «Осколках» не появлялось.

⁵ Чехов Иван Павлович (1863—1921), младший брат Антона Павловича, в то время был школьным учителем в г. Воскресенске (теперь Истра). Позже учительствовал в московских школах.

7. Н. А. ЛЕЙКИН — А. П. ЧЕХОВУ

Н. А. Лейкин
С.-Петербург
Угол Николаевской и Свечного пер.
№ 48—15.

Июня 10 1883

Уважаемый
Антон Павлович!

Письмецо Ваше с приложением трех рассказцев получил вчера и приношу сердечную благодарность. Правда, рассказы не совсем вытанцовались (кроме дневника помощ. бухгалтера), но что делать..... Какнибудь сойдет. И печь печет разные хлеба. Вы пишете, что готовите два больших рассказа: «до 29 июня» и «29 июня». Не делайте их пожалуйста через чур длинными. Верите ли как трудно помещать большие рассказы! Надо разнообразить номер, дать статей на все вкусы и не можешь! Приходится волком выть, подчас я и себя даю урезывать секретарю моему Билибину (И. Грэку), дабы в № уместилось возможно большее число статей.

Рассказы жду. На Петров день они могут быть à propos.

Вы спрашиваете: пишет ли Аг. Единицын... До сих пор ничего еще не прислал, кроме той штучки, которая побывала у меня через Ваши руки.

Учителю Приходского училища в г. Воскресенск (Москов. губ.) «Осколки», согласно Вашему желанию, пошлются с № 25 и перешлетя также комплект №№, начиная с № 1.

В заключение маленькое предложение. Не желаете ли Вы принять на себя составление «Осколков Москов. жизни» в моем журнале, то есть московского обозрения? Писать обозрение я Вас попросил-бы два раза в месяц, т. е. через номер и по возможности поюмористичнее. Говорить надо обо всем выдающемся в Москве по части безобразий, вышучивать, бичевать, но ничего не хвалить и ни перед чем не умиляться. «Осколки», как вы видите, не для похвал. Что хорошо, то и пусть будет хорошо. Можно брать факты и из газет, но, разумеется, стараться освещать их по своему. Размер обозрений должен быть от 100 — 120 строк. Гонорар буду считать тот же, что и за рассказы. У меня сначала обзор. писал Герсон¹, но сбежал в актеры и я передал работу А. М. Дмитриеву². Тот занялся делами паровой мельницы и отказался (да и сух он был невозможно) и дело перешло к В. А. Гиляровскому³, но этот начал репортерствовать вместо обозрения, прибирал помойные ямы, хлестал мелких трактирщиков за грязные салфетки на столах, обличал мостовые и в конце концов тоже сбежал из Москвы в актеры. Пальмин, впрочем пишет мне, что Гиляровского выслали из Москвы.

Так вот... не займетесь-ли обозрением-то Московским? Подумайте и дайте ответ. Присылать обозрение нужно по понедельникам, дабы оно попадало в

гстоящийся номер. Это последний срок. Если надумаете, то начинайте с № 26⁴.

Во всяком случае уведомьте.

Затем примите уверение в моем дружественном к Вам расположении.

Н. Лейкин.

¹ Герсон Алд. Максим. (1851—1888) — писатель-юморист и провинциальный актер.

² Дмитриев Андрей Михай-

лович (умер в 1886 г.) — драматург и беллетрист, писавший под псевдонимом «барон И. Галкин».

³ Гиляровский Владимир Александрович (1855—1935) — поэт, беллетрист и драматург, вел скитальческий образ жизни. Его воспоминания о Чехове — в книге «Друзья и встречи». М. 1934.

⁴ Чехов тотчас откликнулся на это предложение и в июне уже послал первое обозрение под псевдонимом «Рубер» (напечатано в № 27 «Осколков» от 2 июля 1883 г.).

8. Н. А. ЛЕЙКИН — А. П. ЧЕХОВУ

Н. А. Лейкин
С.-Петербург
Угол Николаевской и Свечного пер.
№ 48—15.

25 Ноября 1883 г.

Уважаемый Антон Павлович.

Получил Ваше письмо с приложением двух рассказов. Один из них я поместил в № 48, но другой — «Беда за бедою» у Вас совсем не вытанцовался и я его не могу поместить ни в № 49, ни 50 — одним словом ни в Декабре, ни в Январе, так как теперь надо помещать только удачное. Рассказ «Беда за бедою» во-первых, очень воденист, а во вторых, не имеет ни сюжета, ни подкладки. Пусть он полежит до половины Февраля, а Вы к № 49 попробуйте

те написать чтонибудь другое. Может быть и выдет удачнее. Я понимаю, что все это случилось от экзаменов, понимаю насколько они каторжны, но в то же время должен заботиться и о подкраске номеров журнала. Напишите чтонибудь другое.

Пишу это письмо нарочно, чтобы Вы не ждали скорого появления рассказа «Беда за бедою».

Впрочем если у Вас для него есть другое место и вы полагаете его поместить гденибудь поскорее, то черкните и я вам его возвращу.

Затем будьте здоровы. Желаю вам кончить блистательно экзамены.

Уважающий Н. Лейкин.

9. А. П. ЧЕХОВ — Н. А. ЛЕЙКИНУ

[1883 г.] 10/XII
[Москва]

Уважаемый
Николай Александрович.

Псылаю Вам заметки. На сей раз они вышли у меня, говоря искренно, жалки и нищенски тощи. Материал так скуден, что просто руки отваливаются, когда пишешь. Взял я воскресные фельетоны в «Новом времени» (субботний), в Русских ведомостях, вообще во всех московских, перечитал их, но нашел в них столько же нового, сколько можно найти его на прошлогодней афише. Слухов и говорюв никаких. О ерунде же писать не хочется да и не следует.

Вообще не клеится мой фельетон. Не похерить ли Вам Рувера? Руверство от-

нимает у меня много времени, больше чем осколочная беллетристика, а мало вижу я от него толку. Пригласите другого фельетониста. Ищите его и обрящите. Если же не обрящите, то соедините Провинциальные заметки с московскими — не скверно выйдет. Искренно сожалю, что не сослужил своей службы, как надо быть и как бы Вам хотелось. Жалко и 15 целковых, к-рые давали мне каждый месяц мои заметки.

Я крайне утомлен, зол и болен. Утомили меня мои науки и насущный хлеб, к-рый в последний месяц я должен был заработать в удвоенной против обыкновения порции, так как брат художник воротился из солдатчины только вчера. Приходилось работать черт знает где — причина, почему для прошлого номера не дал Вам рассказа. Так записался и

утомился, что не дерзнул писать в Осколки: знал, что напишу чепуху. К утомлению прибавьте геморрой (черти его принесли). Три дня на прошлой неделе провалялся в лихорадке. Думал, что тифом от больных заразился, но славу богу, миновала чаша.

Николай приехал и станет легче.

Рассказ «Беда за бедой» не печатайте. Я нашол ему пристанище в первопрестольном граде¹. Назад тоже не присылайте. Я черновик отдал.

Не писать ли Оск. моск. жизни компанией? Пусть Вам шлют, кто хочет куплеты, а Вы стройте из них фельетоны. Я тоже буду присылать, ежели будет материал.

Отчего Вы в прошлых заметках про Желтова² выкинули? Желтов известен в Москве и настолько, что стоит его

продернуть. Его все знают. Да и вообще я писал о людях, только известных (исключение: Белянкин³) Москве.

И на сей раз не шлю Вам рассказа. 16-го Декабря и 20-го у меня экзамены. Боюсь писать. Не сердитесь. Когда буду свободен, буду самым усерднейшим из Ваших сотрудников. И в голове у меня теперь как то иначе: совсем нет юмористического лада!

Прошу извинения и кланяюсь.

*Ваш покорный слуга
А. Чехов.*

¹ Где именно был напечатан этот рассказ, пока не выяснено.

² Желтов И. М. — книгопродавец, редактор-издатель «Ремесленной газеты».

³ Белянкин Лавр Лаврович — сотрудник юмористических журналов, карикатурист.

10. Н. А. ЛЕЙКИН — А. П. ЧЕХОВУ

Н. А. Лейкин
С.-Петербург
Угол Николаевской и Свечного пер.,
№ 48—15.

23 Декаб. 1883 г.

Уважаемый
Антон Павлович!

Обилие дел не позволило мне отвечать на Ваше письмо от 10 Декабря тотчас-же. Надеюсь, на это Вы на меня очень не посетуете.

Вы пишете относительно московского обозрения: «не похерить-ли Вам Рувера. О ерунде писать не хочется да и не следует. Вообще не клеится мой фельетон».

С этим я не согласен и скажу Вам прямо: как-бы ни был плох Рувер, он всетаки лучше напишет, чем вся московская братия до сих пор писавшая у меня в «Осколках». Да я и не нахожу, чтоб Ваши фельетоны были плохи. Сам себе никто не судья, а я Вашим писаньем доволен.

Высказав это, я усердно прошу Вас продолжать обозрения московской жизни и в будущем году и приготовить обозрение к № 1. № 1 выдет в Петербурге в четверг 5 Января и потому фельетон Вы можете прислать в субботу 31 Декабря и в крайнем случае в воскресенье 1 Января, но так чтоб уж

рукопись была в этот день в Питере. Потом мы сравняемся и рукописи опять могут быть доставляемы ко вторнику, но на сей раз исключение.

Я потому усердно прошу Вас продолжать писать обозрение, что в Москве нет других обозревателей, кроме тех, которые уже пробовали свои силы в «Осколках» до Вас, а им я поручить обозрение не желаю. В крайнем случае я уже сам буду составлять московское обозрение, сидя у себя в Петербурге в кабинете.

Искать? Еще искать человека? Поручить комунибудь незнакомому? Но этого нельзя. Обозрение, где автору дается право «пробирать» кого угодно, должен писать непременно такой человек, которому-бы редактор верил. Вот и поэтому обозрение должны писать Вы.

Я не сомневаюсь, что Вы мне в этом не откажете и смело жду от Вас утвердительного ответа. Ответьте поскорей.

Теперь позвольте на Вас посетовать... Что-же это Вы два №№ оставили меня без рассказов, не прислали даже и рождественского рассказа; не прислали и не уведомили, что не пришлете. А я ждал от Вас, как от постоянного сотрудника, работающего для журнала к каждому номеру.

Грех Вам. Я понимаю, что выпускные экзамены великая вещь, но все-же можно было хоть чтонибудь черкнуть, дабы я не ждал. Пришлите хоть в № 1 чтонибудь новогоднее. Теперь уж экзамены кончились и Вы свободны. Или вырвавшись на волю, начнете кутить.

Ах, да... На Рождестве Вы хотели в Питер? Что-же: приедете или не приедете? Если не приедете, то отпишите мне

о Ваших экзаменах: как, что, благополучно-ли?..

Брат Ваш Александр Павлович прислал два рассказа из Таганрога. Один мне очень понравился и я тотчас-же его поместил в № 51, другой рассказ совсем плох и я ему его возвращаю.

Вот все... Затем поздравляю Вас с праздниками, крепко жму руку и желаю быть здоровым

Н. Лейкин.

11. А. П. ЧЕХОВ — Н. А. ЛЕЙКИНУ

[18]84, IV, 1.
[Москва]

Уважаемый

Николай Александрович!

Шлю Вам обозрение. Понащипал с разных сторон событий и, связав, даю.. Беда мне с этим фельетоном! Написать его для меня труднее, чем вставить буж в застарелую стриктуру или приготовить препарат из половых органов блохи..

Миллион терзаний! Москва точно замерла и не дает ничего оку наблюдателя. Желал бы я посмотреть когонибудь другого на моем месте..

Спешу Вас порадовать.. Вы состоите сотрудником «Новости Дня»¹. Ваши рассказы перепечатываются из «Пет. Газ.» и так ловко, что Вам обижаться нельзя, а читателю трудно догадаться, что это перепечатка.. Ваше имя встречаю я чуть ли не в каждом номере².

Синий кафтан посмотрел на буфетчика и крикнул:

— Дядя Елизар Трифонич, что-ж ты мне за победу стаканчик-то? Цеди! Буфетчик налил.

«П. Г.»

Н. Лейкин.

В другом же месте была поставлена около заглавия микроскопическая звездочка, а внизу петитом «П. Г.» Надо быть специалистом газетчиком, чтобы понять в чем дело, публика же тонкостей этих не понимает и радуется за Новости Дня..

Как зовут редактора «Русской Старины» Семевского? ³.

Пропагандирую среди врачей послать ему коллективное письмо с просьбой напечатать отдельным изданием записки Пирогова⁴, когда они кончатся печатанием в Русской старине. Он сделает это, вероятно, и без просьбы, но поощрение никогда не мешает.. Поздравляю Вас с «Цветами лазоревыми»..⁵ Дай бог, чтобы Вы продали и нажили.. Когда то я издам свои рассказы? Проклятое безденежье всю механику портит.. В Москве находятся издатели-типографы, но в Москве цензура книги не пустит, ибо все мои отборные рассказы по московским понятиям подрывают основы.. Когда то, сидя у Тестова, Вы обещали мне издать мою празу.. Если Вы не раздумали, то Исаяя ликуй, если же Вам некогда со мной возиться и планы Ваши изменились, то возьму весь свой литературный хлам и продам оптом на Никольскую.. Чего ему валяться под тюфяком? На случай, ежели бы Вы когда либо, хотя бы даже в отдаленном будущем, пожелали препроводить меня на эмпирей, то ведайте, что я соглашусь на любые условия, хотя бы даже на ежедневный прием унца касторового масла или на переход в магометанскую веру. Если отбросить все хламовидное и худшее, то лучших рассказов, годных для употребления, наберется листов на 10—15.. Тут я разумею одни только юмористические вещи, за исключением мелочей.. Что книжка моя разоидется видно из того, что даже такая дрянь, как «Сказки Мельпомены»⁶ разошлась. Каждый день порываюсь на Никольскую и все какой то глас с небесе удерживает..

Рассказ по части Кирила и Мефодия⁷ пришлю к след. №.

Трактует он у меня о прошедшем, уже случившемся и неловко печатать его в день юбилея.

На этой неделе, очень может быть, нелегкая унесет меня во Владимирскую губ. на охоту. Дал слово, что поеду. А посему на всякий случай гонорар вышлите по моему адресу на имя сестры Марьи Павловны Чеховой; дабы домаш-

ние во время расплатились с лавочником. Сгодились ли мои подписи к рисункам? Поедете в мае в Финляндию любоваться белыми ночами? Пальмин живет на новой квартире и такой же плохой, как прежняя.. Осенью и я думаю перебраться.. Хочется взять квартиру попросторнее..

Выбраны Вы в гласные?

А за сим кланяюсь Вам и пребываю

А. Чехов

¹ «Новости дня» — ежедневная иллюстрированная газета, выходившая в Москве с 1883 по 1906 г. Редактором-издателем ее был А. Я. Липскеров (1851—1910).

² Далее в письме следует вклеенная вырезка из «Новостей дня».

³ Семевский Михаил Иванович (1837—1892) — редактор-издатель «Русской старины».

⁴ Пирогов Николай Иванович (1810—1881) — знаменитый хирург и педагог.

⁵ «Цветы лазоревые» — сборник юмористических рассказов Н. А. Лейкина.

⁶ «Сказки Мельпомены» — первый сборник рассказов А. П. Чехова (1884 г.).

⁷ Неизвестно, о каком рассказе здесь идет речь. В письме к Лейкину от 22 марта 1885 г. Чехов опять упоминает о Кирилле и Мефодии: «К юбилею Кир. и Мефодия изобразу что-нибудь» («Письма», I, 136).

12. А. П. ЧЕХОВ — Н. А. ЛЕЙКИНУ

[18]84, XII, 10.
[Москва]

Уважаемый
Николай Александрович!

Вот уже три дня прошло, как у меня ни к селу ни к городу идет кровь горлом. Это кровотечение мешает мне писать, помешает поехать в Питер.. Вообще — благодарю не ожидал! Три дня не видал я белого плевка, а когда помогут мне медикаменты, которыми пичкают меня мои коллеги, сказать не могу. Общее состояние удовлетворительно... Причина сидит вероятно в лопнувшем сосудике.

Сегодня была у меня m-me Политковская...¹ Это ужасно! Жаловалась на Вас.. «Он мог бы мои рассказы в фельетоне пустить, если они кажутся ему длинными!».

Почему Рыков вышел у Вас на передовице блондином? Совсем не похож..

Рыковские отчеты для «Пет. Газеты» мною кончены..² Теперь, стало быть, очередь за пнёнзами.. Если будете в редакции, то поторопите высылкой гонорара. Для болящих и ничего не делающих ранняя получка всегда здоровее

поздней. Пальмина не вижу. Николая тоже. Ближние мои оставиша мя.

Спасибо, хоть аптека отпускает лекарства по дешевой цене. Все таки хоть этим утешиться можно..

Надеюсь, что подписка у Вас уже началась и что она хороша.. Желая Вам 20 тыс. подписчиков.

Как на смех у меня теперь есть больные.. Ехать к ним нужно, а нельзя.. Не знаю, что и делать с ними.. Отдавать другому врачу жалко — все таки ведь доход!

Прощайте..

Ваш А. Чехов.

Храните маску Улисса...³ Пальмин, кажется, разболтал в «России»..⁴ Напишите ему, что это не я пишу и пожалуйте, что я в прошлом году отказался... у нас тоже провинция!

Пью бесполезное infusum из спорыньи..

Насчет буд. недели уведомяю своевременно.

¹ Политковская Екатерина Яковлевна — певица и писательница; два сборника ее повестей и рассказа-

зов были изданы. О ней Чехов писал Лейкину 19/XI 1884 («Письма», I, 122—123).

² «Дело Рыкова и комп.» печаталось в «Петербургской газете» в 1884 г., с 24 ноября по 10 декабря. Подпись — Рувейо (дело о крупных хищениях в Скопинском банке).

³ Новый псевдоним Чехова вместо Рувейо под «Осколками московской жиз-

ни». 19 февраля 1884 г. Лейкин писал Чехову: «Ну-с, псевдоним Ваш под московским обозрением я переменяю. Буду держать в тайне, что Вы обозрение пишете. Стреляйте только направо и налево и подстреливайте всех нещадно».

⁴ «Россия» — журнал художественной литературы, преобразованный из журнала «Спутник». Издавался в Москве в период 1883—1890 гг.

13. Н. А. ЛЕЙКИН — А. П. ЧЕХОВУ

Н. А. Лейкин
С.-Петербург
Угол Николаевской и Свечного пер.
№ 48—15.

Декабря 14 1884.
Полночь

Любезнейший
Антон Павлович!

Урвал свободный часок и отвечаю Вам на Ваше письмо от 10 Дек. Только сегодня успел побывать в редакции Пет. Газ. и сказать, чтобы Вам выслали гонорар за статьи. По всем вероятностям не замедлят. Надо бы Вам было им счет послать, тогда дело ладнее-бы было. В газетах это всегда так делается: сотрудник присылает счет — и ему уплачивают по счету деньги.

Скорблю о Вашей болезни и скорблю не ложно. Жаль мне Вас, да жаль и «Осколки». Слово фатум какой тяготет — над «Осколками» перед Рождеств. праздниками! И это каждый год! Как перед новым годом — сотрудники перестают писать и приходится отдуваться мне и Билибину. Посмотрите на № 50. Кроме Вашей статьи да стихов, весь номер состоит из моих да Билибина статей. Выпускать-бы усиленные, полуторные номера, а я этого не могу, не в силах. Так было в 82 году, так было в 83 году, так и ныне в 84 году. Два года перед рождественскими праздниками Вы не писали по случаю экзаменов, ныне не пишете по случаю болезни. А других прозаиков нет, я их разогнал своим строгим выбором статей, а строгий выбор статей потому делал, что уповал на получение от Вас статей, моего постоянного сотрудника, которого считал «прилепившимся» к «Осколкам», как к жене своей. Я рассуждал так: зачем я буду брать сомнительные, не вполне юмористические статьи от слу-

чайных сотрудников, если у меня есть постоянный сотрудник Чехов который к тому же и юморист? Надо ему место оставить, надо его усиленным гонораром покормить. А вот теперь и близок локоть, да его не укусишь.

Надеюсь, что Ваше кровохарканье пустое, что оно появилось от повреждения самого плечевого сосудика, который давно уже закупорился, но если Вы все еще продолжаете быть больным и не можете ничего прислать к № 51, то есть к вторнику, то убедительно прошу телеграфировать мне сейчас-же на счет редакции. Тогда нужно самому садиться писать усиленно и Билибина засадить.

Вы спрашиваете о подписке. Нет, я не доволен подпиской. Она не хуже 1884 года, но я не того ожидал. Я загубил 3 000 р. на объявления, стало быть вправе ждать чего нибудь лучшего. Разве только вторая половина Декабря удивит?

Ваш брат Ник. Пав.¹ прислал мне письмо, где пишет, что прибавка гонорара (16 р. за страницу) настолько его окрылила, что это придало ему особенную силу и охоту работать для «Осколков». Это, впрочем, он только пишет. На деле я не замечаю. Около двух недель уже прошло, как я получил от него письмо с этими уверениями, но рисунков от него до сих пор все еще нет.

Скорблю, что Вы не можете приехать в Питер. А на праздниках погуляли-бы. У меня пара лошадей. Съездили бы и во все загородные вертепы, в которых я, к слову сказать, и сам уже давно не бывал. Живу словно улитка. Кабинет и дума, кабинет и школы. Разве в субботу часа на два выедешь вечером в Пушкинский кружок. Впрочем, я бываю на представлении всех новых русских льес

в Александринском театре. Теперь меня экзамены городских ремесленных школ одолели. В четверг сидел с 12 часов до 6½ часов в саложно-портной школе и выслушивал ответы о Ное, о Адаме, о имени существительном, о именованных чйслах и пр. и пр. Завтра буду сидеть в женской ремесленной школе и буду с 12 ч. до 6 выслушивать портних и белошвеек.

Вы просите, чтобы я написал Пальмину про псевдоним «Улисса». Не могу. Сердит я на Пальмина. Долго не буду в состоянии ему писать. Перо не пишет. Он не сдержал своего слова. Только что я прибавил ему гонорар за то, чтобы он не писал в «Развлечении»², он дал мне слово и вдруг, не предварив меня, посылает туда два стихотворения, которые и напечатаны. Даже псевдоним «Трефовый король» туда отдал, который всецело подарил «Осколкам», Положим, что это вздор, но я не люблю кто не умеет держать своего слова. Пальмин писал мне, что он потому дал стихи в «Развлечение», что хочет уйти из помойной ямы (подлинные его слова), именуемой Москов. Листком³ (это его оправдание), но между прочим, в Москов. Листке, в этой помойной яме, так и жарит стихи чуть не каждый день.

Пустое дело, повторяю, а горько и я сержусь. И пусть-бы он начал работать в «Развлечении» в феврале, а то ведь

прорвало перед подпиской. Они, разумеется, сейчас и фамилию его выставили в числе постоянных сотрудников. Посмотрим, долго ли они его продержат постоянным сотрудником! Ведь им он оказался нужным только перед подпиской.

Будьте здоровы. Поправляйтесь.
Н. Лейкин.

Медведев⁴ прислал еще стихи. Три пьески взял и помещу в сокращении. Плохенькие.

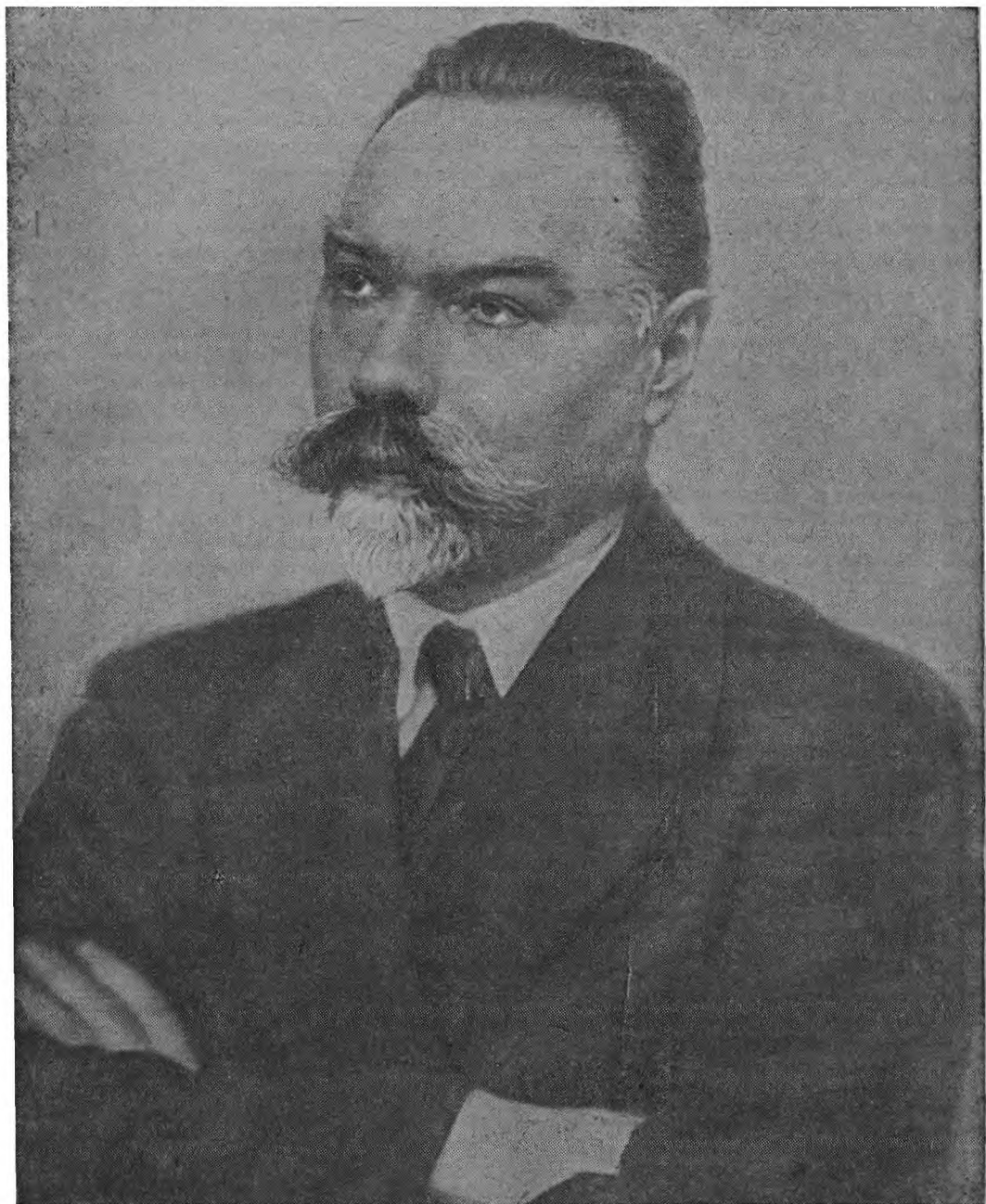
¹ Чехов Николай Павлович (1858—1889) — брат Антона Павловича, талантливый художник, сотрудник иллюстрированных и юмористических журналов; умер от чахотки.

² «Развлечение» — еженедельный юмористический журнал, старейший из юмористических журналов (начал выходить в Москве в 1859 г.); основан был поэтом-переводчиком Ф. Б. Миллером.

³ «Московский Листок» — бульварная газетка, издавалась с 1881 г. Редактором-издателем был Н. И. Пастухов.

⁴ Медведева Льва Михайловича (1865—1904) рекомендовал Лейкину Чехов. («Есть в Москве такой поэт Медведев... Ему я дал записочку к Вам...». «Голоден и холоден. Студент...» — из писем Чехова к Лейкину от 11 и 16/XI—1884.) Впоследствии Медведев — сотрудник «Русских ведомостей», «Русской мысли», «Русского богатства»; отдельно изданы книги его стихов, рассказов, очерков.

(Окончание следует.)



Валерий Брюсов (Снимок 1923 года.)

движение льдов (третья глава). Главное в поэме — борьба человека с природой — заканчивается гибелью человека, героя поэмы Свена Краснозубого и «похвалбой стихий» (земля, вода, огонь, воздух), каждая из которых торжествует свою победу, ибо считает

себя главной. Свен погиб — и поэт горестно восклицает:

Может быть, где отдых сладок,
Обретет душа твоя
Мир от тягостных загадок,
Вечных в бездне бытия.

Но сам Брюсов не знал отдыха от «тягостных загадок». И он верил, что Северный полюс будет разгадан и завоеван. «Царю Северного Полюса» — поэма, состоящая из непохожих друг на друга по ритмическим и другим своим особенностям глав — завершается такими строками:

Но, вадргнув, как от страшных снов,
Пойми — все тайны в нас!
Где думы нет, там нет веков,
Там только свет, где глаз.

Стихий бессильна похвальба,
То — мрак души земной.
К победе близится борьба,
Дышу, дышу весной!

И что в былом свершилось раз,
Тому забвенья нет.
Пойми — весь мир, все тайны в нас,
В нас Сумрак и Рассвет.

Особое звучание приобретает поэма Брюсова сейчас, когда мечта поэта сбылась: Северный полюс, мы знаем, завоеван народом, сыном которого был Брюсов, завоеван большевиками.

В 1908 году — в то время аэроплан был новинкой — Брюсов написал «Первым авиаторам» — стихотворение, в котором выразил свою веру в стремительный рост авиации:

Так! мы исполним завещанье
Великих предков. Шар земной
Мы полно примем в обладанье,
Гордясь короной четверной.

Пусть, торжествуя, вихрь могучий
Врезают крылья корабля,
А там, внизу, в прорывах тучи,
Синеет и скользит земля!

Брюсов не мог бы написать и «Царю Северного Полюса», и «Первым авиаторам», если бы он был не передовым человеком своего времени, заглядывающим в будущее, а только поэтом, который воспекает тысячи раз воспетые уже события и чувства и не вносит при этом в их изображение ничего нового.

Однообразие — это бич поэзии. Монета, слишком часто бывающая в употреблении, стирается, тускнеет. Ходовые метафоры, эпитеты и возгласы подобны такой монете. Между тем, многие современные поэты предпочитают пользоваться ими в неограниченном количе-

стве, поэтому нередко стихотворение, посвященное волнующему всех событию, неспособно сколько-нибудь взволновать: в нем есть пересказ, но нет замысла, есть возгласы, но не чувствуется вдохновения. Много ли можно назвать ярких стихотворений, — таких, чтоб запомнились, — посвященных столь замечательным событиям, как завоевание Северного полюса большевиками или многочисленные победы советских авиаторов? Написана на эти темы масса, пожалуй, произведений, но жизнеспособными оказались лишь те стихи, в которых ощущается новизна замысла, оригинальность истинно-поэтического освоения темы.

Чувство нового было очень сильно развито у Брюсова во всем. Может быть, поэтому он говорил, что, будучи символистом, «никогда ничего туманного в этой поэзии, в этих символах не видел, не знал и не хотел знать». Но остаться в символизме значило для Брюсова погрязнуть в узко литературных интересах, отстать от жизни; «этот самый символизм, — говорил Брюсов, — благополучно умер от естественной дряхлости».

Каждая книга для Брюсова — это не случайный сборник стихотворений, а этап, который надо было пройти, но повторять который нельзя.

Как известно, Валерий Брюсов вошел в литературу книжкой «Русские символисты» (написана в сотрудничестве с А. Миропольским) в 1894 году. О первых своих книгах Брюсов вскоре вспоминает, как о далеком прошлом. В 1899 г. он говорил в стихотворении «По поводу сборников «Русские символисты»:

Мне помнятся и книги эти,
Как в полусне недавний день.

Далеко первая ступень, —
Пять беглых лет, — как пять столетий

В 1900 г. в стихотворении «По поводу «Me eum esse» («Это — я»), сугубо индивидуалистического сборника, Брюсов писал:

«О, эти звенящие строки!
Ты сам написал их когда-то!»
— Звенящие строки далеки,
Как призрак умершего брата.

Брюсов провозглашал в ряде стихотворений уход от действительности. («Презрение — бесстрашие — нежность — эти три, — вот дорога твоя. Хорошо, уносясь в безбрежность, за собою видеть себя».) Но он был слишком «земным» поэтом для того, чтобы долго оставаться на этом пути. Он всегда, в сущности, страстно любил жизнь и не мог поэтом равнодушно взирать на события, которые происходили вокруг. В эпоху развития капитализма в России и роста пролетариата, роста революционного движения, Брюсов поет гимн труду. Он выковывает стихи, поражающие своей мудрой простотой и великолепной чеканностью. Вот начало стихотворения «Работа» (1901 г.):

Здравствуй, тяжкая работа,
Плуг, лопата и кирка!
Освежают капли пота,
Ноет сладостно рука!

Прочь венки, дары царевны,
Упадай порфира с плеч!
Здравствуй, жизни повседневной
Грубо кованая речь!

Я хочу изведать тайны
Жизни мудрой и простой.
Все пути необычайны,
Путь труда, как путь иной.

А вскоре (1902 г.) Брюсов написал знаменитого «Каменщика», являющегося образцом реалистической поэзии, — стихотворение и по смыслу, и по стилю своему глубоко народное. «Каменщик» заканчивается многозначительными словами рабочего-каменщика:

— Эй, берегись, под лесами не балуй...
Знаем все сами, молчи!

Эти слова были угрозой старому миру и предвидением его гибели.

Брюсов, который говорил юному поэту: «...никому не сочувствуй, сам же себя полюби беспредельно», написал накануне революции 1905 г. «Кинжал» (1903—1904 гг.), который закончил такой стремительной строфой:

Кинжал поэзии! Кровавый молний свет,
Как прежде, пробежал по этой верной
И снова я с людьми, — затем, что я ^{стали,}
Затем, что молнии сверкали. ^{поэт,}

Знаменательно, что подавление революции 1905 г. Брюсов воспринял отнюдь не как полное ее поражение.

Славя город, поэт обнажал противоречия капитализма, которые должны привести капитализм к гибели:

Коварный змей с волшебным взглядом!
В порыве ярости слепой,
Ты нож, с своим смертельным ядом,
Сам поднимаешь над собой!
(«Городу».)

Вечные поиски нового, любовь к жизни в движении этой жизни — существенные черты Брюсова и его многосторонней темпераментной поэзии.

Будучи сам молодым, 23-летним поэтом, Валерий Брюсов пишет свое обращение к «Юному поэту» (1896 г.). Пусть в этом стихотворении он проповедует индивидуализм и отрешение от мира — он озабочен судьбами поэзии и потому думает о поэте, который придет ему на смену. Когда Брюсов развенчал свой индивидуалистический идеал («никому не сочувствуй, сам же себя полюби беспредельно»), он обратился уже с другим девизом к народу: «песня с бурей вечно сестры». Знаменательно стихотворение «Братьям соблазненным» (1899 г.), в котором брюсовское ненасытное стремление вперед нашло недвузначительное и блестящее выражение:

Светлым облаком плененные,
Долго мы смотрели вслед.
Полно, братья соблазненные!
Это только беглый свет.

Жизнь не в счастье, но в искании,
Цель — не здесь, вдали всегда!
Славьте, славьте неустанно
Подвиг мысли и труда!

«Подвиг мысли и труда» — это не случайная тема для Брюсова. Он часто возвращается к ней на протяжении всей своей жизни. В 1902 г. он пишет стихотворение «В ответ», в котором встречаются такие строки:

Вперед, мечта, мой верный воля!
Неволей, если не охотой!
Я близ тебя, мой кнут тяжел,
Я сам тружусь, и ты работай!

Критики типа Айхенвальда думали, что подобные «признания» (мечта и вол) дают им основания утверждать: Брюсов не поэт с прирожденным талантом, а только трудолюбивый стихотворец. На самом же деле, приведенные стихи были лишь нарочито подчеркнутым протестом поэта против возведения творчества в некое таинственно-мистическое священнодействие.

Высокое вдохновение и всепоглощающая страсть отличают стихи Брюсова, к какой бы теме ни обращался поэт, — будь это исторический сюжет или лирико-любовное стихотворение.

★

Валерий Брюсов был в числе тех интеллигентов, которые пошли на службу к советской власти сразу же после Великой Октябрьской социалистической революции. И для Брюсова это было столь же естественно, столь же органически-закономерно, как для профессора Тимирязева, как для профессора Полежава, которого замечательно показал Н. К. Черкасов в кинофильме «Депутат Балтики». Это аналогия и в самом прямом смысле, — известно, что В. Я. Брюсов был депутатом Московского Совета.

В послеоктябрьских своих стихах Брюсов выступает, как поэт, для которого интересы революции выше всего. Понятно, что те интеллигенты, которые навсегда связали свою судьбу с буржуазией, злобствовали и отшатнулись от Брюсова. Они не понимали или не хотели понять, что в приходе Брюсова к большевизму не было ничего неожиданного — это был органический путь.

Брюсов принес в советскую литературу свой огромный культурный багаж, свой живой ум и яркий темперамент. Октябрьская революция была для Брюсова богатым источником творчества. Чувство истории подсказало Валерию Яковлевичу, что февральская революция — это не социалистическая революция. Наряду со стихотворением «Освобожденная Россия», выражающим бурный восторг поэта, он пишет «В

мартовские дни» (март 1917 г.). Здесь нет уже безудержного ликования, присутствующего «Освобожденной России»:

Приветствую Свободу... Чего ж еще хотеть!
Но в золотое слово влита, я знаю, медь:
Оно, звуча, не может, как прежде, мне
звонеть!

(«В мартовские дни».)

Беспредельная вера в Октябрь, который преобразит страну, беспредельная вера в силы народа характерна для книги «В такие дни», в которой собраны стихи Брюсова 1919—1920 гг.

Эта книга глубже, чем только злободневный отклик на события, на гражданскую войну. Картина нужды и голода, мастерски запечатленная в стихотворении «Третья осень», не вызывает отчаяния или уныния поэта. Сквозь голод и нищету Брюсов видит преображение своей родины, которая «идет к заповедным победам, которая «за собой все властней, все державней земные ведет племена».

В стихотворении «К русской революции» поэт приветствует ее «торжествующий топот».

Ломая кольцо блокады,
Бросая обломки ввысь,
Все вперед, за грань, за преграды,
Алым всадником — мчись!

Там, взывав, там, кляня свой жребий,
Встречает в смятенной земле
На рассветном пылающем небе
Красный призрак Кремля.

Замечательно стихотворение «Парки в Москве». Парки — судьба в образе античной мифологии — неожиданно появились в Москве в октябрьские дни «Парки «в толпе выискивали всей народной жизни нить»:

Чтоб страна, борьбой измученная,
Встать могла, бодря, легка,
И тянулась нить, рассученная
Вновь на долгие века!

Послеоктябрьские стихи Брюсова — это не поверхностное славословие революции, а мужественная поэзия борьбы. Личность Брюсова не раздваивалась; он не был среди тех интеллигентов, для которых вопрос о «принятии» советской

власти становился сложной и мучительной проблемой. Он чувствовал себя бойцом, готовым перенести лишения во имя победы пролетариата. При этом Брюсов отдавал себе ясный отчет в том, что борьба сурова и требует жертв.

Крестят нас огненной купелью,
Нам проба — голод, холод, тьма,
Жизнь вокруг свистит ледяной метелью,
День к дню жмет горло, как тесьма.

Что ж! Ставка — мир, вселенной судьбы!
Наш век с веками в бой вступил.
Тот враг, кто скажет: «Отдохнуть бы!»
Лжец, кто, дрожа, вздохнет: «Нет сил!»

Кто слаб, в работе грозной гибни!
В прах, в кровь топчи любовь свою!
Чем крепче ветер, тем многозыбней
Поэт в пристань пронесет ладью.
(«Нам проба».)

Понятно, что с презрением и сарказмом отнесся Брюсов к «мечтателям», болтунам из интеллигентского лагеря: они не прочь были пофантазировать, когда революция воспринималась ими, как утопия, уходящая в весьма далекое будущее, но они отшатнулись от народа, лишь только революция совершилась.

То, что мелькало во сне далеком.
Воплощено в дыму и в гуле...
Что ж вы коситесь неверным оком
В лесу испуганной косули?

Что ж не спешите в вихре событий
Упитаться бурей, грозно-странной,
И что ж в былые с тоской глядите,
Как в некий край обетованный?

Иль вам, фантастам, иль вам, встетам.
Мечта была мила, как дальность,
И только в книгах да в лад с поетом
Любили вы оригинальность?
(«Товарищам интеллигентам».)

Эти строки относятся к 1919 г. Они прозвучали, как открытый вызов изменникам, бежавшим от народа в час испытаний. Когда поэт говорит о «буре грозно-странной», он явно использует лексикон декаданса, отражающий расплывчатость мечтаний «товарищей интеллигентов». Инвектива «Товарищам интеллигентам» — едкое, саркастическое стихотворение — выглядит, как поимка с поличным; приведены вещественные

доказательства преступления «фантастов» и «эстетов» перед народом. И уж в инвективе-то нет никакой расплывчатости, она весьма конкретна и попала прямо в цель. Неудивительно, что писателям-белоэмигрантам, предававшим анафеме Брюсова — советского поэта и коммуниста — приведенные стихи не пришлись по вкусу.

Патриотизм Брюсова был глубоким и органическим. В победе Октября Брюсов видел победу русского народа, сыгравшего в революции ведущую роль. И чем больше страданий было у этого народа («ведь века над ним владыки простирали тяжкий гнет»), тем радостней его победа. В стихотворении «Только русский» (1919 г.) выражено исполнение заветных мечтаний поэта:

Только русский, знавший с детства
Тяжесть вечной духоты,
С жутью взявший, как наследство
Дедов страстные мечты;

Тот, кто выпил полной чашей
Нашей прошлой правды муть, —
Без притворства может к нашей
Новой вольности примкнуть.

Полюби ж в толпе вседневной
Шум ее, и гул, и гам,
Даже грубый, даже гневный,
Даже с бранью пополам!

Но не только о русском народе пел Брюсов. Посвящая стихотворение созданию ЗСФСР, поэт привлек историческое прошлое закавказских народов, чтобы воскликнуть:

Путь один держат к свету из древних пещер
и трясин —
Абхазец и тюрк, армянин и грузин!
(«З.С.Ф.С.Р.», 1924 г.)

Создание Союза Советских Социалистических Республик вызывает такое задорное обращение поэта к Европе:

Эй, Европа, ответь: не комете ль
Ты подобна в огнях наших сфер?
Не созвездье ль Геракла наметила
Мы, стяг выкинув — Эс-эс-эс-эр?

Поэт, великолепно знавший историю, неоднократно возвращается к прошлому народов, к образам мировой литерату-

ры. Он показывает преемственность исторических событий, чтобы ослепительнее засверкало настоящее. Брюсов вспоминает «зной над Помпеями», Трои, «палящие полотна да-Винчи», «мечты Геракла», он обращается к Фаусту («мы с Фаустом поспорим в переронке сфер»). Он обращается к «календарю столетий», чтобы запечатлеть наиболее значительные даты, — и это вовсе не было бегством в прошлое. Это было лишь средством для утверждения величия настоящего, величия Октября. В книге «Миг» (стихи 1920 — 1921 гг.) есть превосходное стихотворение «Октябрь 1917 года». Поэт вспоминает «виды марта, когда последний римский вольнолюбец тирану в грудь направил свой клинок», вспоминает декабристов, революции во Франции для того, чтобы обратиться к своей стране, к 1905 и 1917 годам:

Но выше всех над датами святыми,
Над декабрем, чем светел пятый год,
Над февралем семнадцатого года,
Сверкаешь ты, слепительный октябрь,
Преобразивший сумрачную осень
В ликующую силами весну,
Зажегший новый день над дряхлой жизнью...

Брюсов разнообразен в своих послеоктябрьских стихах. Его гимн революции каждый раз приобретает новое выражение, новую литературную форму, новый ритм. Четвертую годовщину Октября поэт встречает стихотворением «Оклики». Своеобразно, молодо и задорно пишет Брюсов о том, как страна, вышедшая победительницей из гражданской войны, побеждала и хозяйственную разруху, как плохо пришлось спутникам нужды и смерти — коршуну, волку, ветру и зиме. Вот начало «Окликов» («Четвертый Октябрь»):

Окликаю Коршуна в пустыне:
— Что летишь, озлоблен и несмел?
— «Кончен пир мой! более не стынет
Труп за трупом там, где бой гремел».

Окликаю Волка, что поводит
Сумрачно зрачками: — Что уныл?
— «Нет мне места на пустом заводе,
Утром колокол на нем звонил...».

Окликаю Ветер: — Почему ты
Вои вьдешь на сумрачных ладах?
— «Больше мне нельзя в годину смуты
Раздувать пожары в городах».

Окликаю Зиму: — Эй, старуха!
Что твоя повисла голова?
— «Плохо мне! Прикончена разруха,
Всюду мне в лицо трещат дрова!»

Это стихотворение было злободневным откликом, но злободневность не повлекла за собой, как это часто, к сожалению, бывает у ряда поэтов, легковесности и примитивности поэтического выражения. Прочитанные сейчас, стихи Брюсова о «четвертом Октябре» звучат в полную силу, хотя написаны они более чем восемнадцать лет тому назад.

Последняя книга стихов Брюсова, собранная самим поэтом, но изданная уже после его смерти (1924 г.), называется «Меа» («Спешу»). И Брюсов действительно спешил поделиться с читателем своими образами, мыслями, чувствами и знаниями. Эта заключительная книга охватывает чрезвычайно широкий круг тем, среди которых для Брюсова нет запретных. Обладая огромной эрудицией чуть ли не во всех областях человеческого знания, Брюсов пишет стихи о теории относительности Эйнштейна, об электронах, об атавизме, о машинах, о планетах и т. д. Брюсов справедливо говорил при этом в примечаниях к сборникам «Дали» и «Меа»: «...поэт должен, по возможности, стоять на уровне современного научного знания и в праве мечтать о читателе с таким же мирозерцанием. Было бы несправедливо, если бы поэзия навеки должна была ограничиться, с одной стороны, мотивами о любви и природе, с другой — гражданскими темами». Брюсов говорил далее, что «писал для читателя, который знает столько же, сколько он сам, и не настолько нескромен, чтобы считать такое требование преувеличенным». Книга «Меа» (которую Брюсов снабдил все же объяснениями малоизвестных слов) представляет большую познавательную ценность и прежде всего характеризует самого поэта, до конца дней своих одержимого великой жаждой знаний.

Стихи Брюсова последних лет согреты высоким поэтическим чувством; он не был ученым, оберегающим свои знания, как неприкосновенную собственность, — ни в поэзии, ни в иной общественной деятельности. Товарищи, которым посчастливилось быть учениками Валерия Яковлевича Брюсова, когда он был ректором и профессором созданного им Высшего литературно-художественного института, хорошо помнят, как вдохновенно читал Брюсов курс энциклопедии стиха и лекции о римской и греческой литературе, как в свободные часы без всякой специальной подготовки приходил он в аудиторию и увлекал слушателей лекциями о высшей математике. Работать холодно, относиться к делу формально было не в его натуре. Когда однажды Валерий Яковлевич дал труднейшее задание классу стиха написать вариацию на тему «Медного всадника», сам он первый (и чуть ли не единственный) выполнил — в срок и блестяще — это задание. Как любил Брюсов читать свои стихи молодежи и как воспитывал молодых поэтов, бережно отбирая все лучшее и сурово критикуя негодное!

Молодежь и молодая литература всегда привлекали к себе Брюсова. «Насколько в самый первый период моей жизни кругом меня я видел среди товарищей людей старше меня, Мережковского, Сологуба, Бальмонта, настолько скоро это переменялось; постепенно я видел, как старшие со товарищи меня оставляют и вокруг меня группируются все более молодые поколения, и от десятилетия к десятилетию я вижу около себя все более и более молодые лица» — говорил Брюсов.

Естественно, что с особой любовью и заботливостью относился Брюсов к новой, советской молодежи, к молодой советской литературе. Чувство нового подсказывало ему правду, которой он был верен до конца жизни. Девиз «иди неустанно вперед и вперед» был девизом всей жизни Брюсова. На своем 50-летнем юбилее Валерий Брюсов сказал: «Итти вперед можно, только опираясь на... молодежь; насколько я могу, я стремлюсь это делать, мое самое боль-

шое стремление — быть с молодыми и понять их. Это не значит всегда с ними соглашаться, может быть, молодежь и неправа, но в ней есть правда и истина, которую мы, старики, должны понять, чтобы оценить и правильно критиковать взгляды и тех, и других».

Роль Брюсова в советской литературе исключительно велика. Работа Брюсова по собиранию и воспитанию молодого поколения писателей не нашла еще оценки. Не нашли оценки еще и многочисленные критические статьи Брюсова, советская критика как-то забыла о них. Да и о Брюсове, замечательном русском поэте, мы вспоминаем, к сожалению, изредка, главным образом в юбилейные даты. При этом слишком много внимания уделяется символизму, между тем пора заговорить о Брюсове — поэте-реалисте, о Брюсове — советском поэте, который своим творчеством и сегодня участвует в строительстве коммунизма.

Брюсов смело выдвигал молодежь, воспитывал новую советскую интеллигенцию из среды рабочих и крестьян. Он радовался успеху какого-нибудь талантливого юноши, как своей собственной удаче. Эта сторона брюсовской деятельности принесла свои плоды: среди бывших учеников Брюсова немало известных советских писателей, научных работников и педагогов.

★

Поэзия Брюсова отличается цельностью. Между лирикой и гражданскими мотивами в поэзии Брюсова нет разрыва, характерного для некоторых современных советских поэтов. В этом смысле немало общего между Брюсовым и Маяковским. Хотя поэзия Маяковского и родилась, как известно, в борьбе с символизмом, Брюсов с величайшим вниманием следил за работой Маяковского, прислушивался к его языку, к новым ритмам и словообразованиям. Брюсов, сразу разглядевший в русском футуризме серьезное новое литературное явление, выделял среди футуристов Маяковского и писал о нем, как о крупной поэтической индивидуально-

сти, у которой «есть свое восприятие действительности». («Русская мысль», май 1914 г.).

В большом обзоре «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии» («Печать и революция», 1922 г., кн. 7) Брюсов писал о Маяковском, как о самом выдающемся поэте революции, и чрезвычайно метко определял политическую сущность поэзии Маяковского и ее художественную силу. Брюсов писал: «Маяковский сразу, еще в начале 10-х годов, показал себя поэтом большого темперамента и смелых мазков. Он был один из тех, кто к Октябрю отнесся не как к внешней силе, прежде всего мешающей самой работе поэта (отношение очень многих, несмотря на стихи, где революция воспевается), но как к великому явлению жизни, с которым он сам органически связан». Брюсова не могли обмануть кабинетно-формалистические упражнения некоторых поэтов, выдаваемые часто за новое слово в литературе, — вот почему именно в Маяковском он увидел преобразователя и вдохновителя новой, советской поэзии. «Стихи Маяковского, — писал он, — принадлежат к числу прекраснейших явлений поэзии: их бодрый слог и смелая речь были живительным ферментом нашей поэзии». Брюсов говорил также о том, что Маяковский «нашел и свою технику, — особое видоизменение «свободного стиха», не порывающего резко с метром, но дающего простор ритмическому разнообразию; он же был одним из творцов новой рифмы, ныне входящей в общее употребление... Наконец, в сфере языка Маяковский, с умеренностью применяя принципы Хлебникова, нашел речь, соединяющую простоту со своеобразием, фельетонную хлесткость с художественным тактом». Брюсов констатировал, что в пятилетие 1917 — 1922 «влияние Маяковского на молодую поэзию было очень сильно», и здесь же говорил: «К сожалению, ему чаще подражали по внешности, без его силы, без его одушевления, без четкости его речи и богатства его словаря». Это тонкое и правильное замечание Брюсова не потеряло своего значения и теперь.

Рецензируя в «Печати и революции» (№ 3 за 1923 г.) «Письма о русской поэзии» Н. Гумилева, Брюсов возмущался тем, что в этой книге «ни разу (курсив Брюсова) не назван В. Маяковский. Между тем до 1915 г. им уже было издано несколько особенно характерных для него произведений...». Брюсов уже тогда считал, что писать о русской поэзии, игнорируя Маяковского, хотя бы и раннего, невозможно.

Можно было бы доказать, что некоторые стихи Брюсова (например, написанные в 1922 г. — «Сегодня», «Стихи о голоде», «Молодость мира» и др.) лишены влияния Маяковского.

Брюсов не был консерватором ни в чем, ему чужд был и консерватизм формы. Все новое, способное обогатить поэзию, он принимал и переносил в свою творческую лабораторию. При этом он умел отличать истинное новаторство от оригинальничанья, от словесной эквилибристики. Вспоминается литературный вечер в Московском доме печати. Выступали поэты различных направлений; Валерий Яковлевич, председательствовавший на вечере, внимательно и, казалось, хладнокровно слушал каждого поэта. И только однажды не выдержал: слушая А. Крученых, читавшего стихотворение, в котором фигурировало слово «юйца» (в переводе на нормальный русский язык «юйца» — это яйца), Валерий Яковлевич отрицательно и энергично закачал головой. Подобного «новаторства» и «словотворчества» Брюсов не мог перенести, — они были за пределами поэзии.

Нет сомнения в том, что реалистическая поэзия Брюсова — ее широкий диапазон, богатый оттенками язык, — оказала известное влияние на советскую поэзию, первые всходы которой видел и возвращал Брюсов.

Такие мастера советской поэзии, как Н. Асеев или П. Антокольский, — поэты старшего поколения, поэты различных литературных традиций и различных темпераментов, — не могли пройти мимо некоторого влияния Брюсова, который примером своим показал, что творчество — это упорные, неутомимые искания. Тематическое разнообразие

разие стихов Асеева, Антокольского, привлекающих к своей современной теме материалы и образы истории, — стиль этих поэтов связан с положительным влиянием и Брюсова.

Жаль, что многими поэтами, особенно молодежью, Брюсов забыт, что они не учатся у него смело и подлинно новаторскому подходу к современной теме и к форме поэтического произведения¹. Не секрет, что кругозор ряда поэтов — об этом говорят их стихи — узок, что в этих стихах мало поэтической конкретности; в них больше риторики, если речь идет, скажем, о политических событиях. А лирические стихи зачастую представляют собой бесконечные перепевы много раз слышанных мотивов, написаны они в убаюкивающем монотонном ритме. Разве редко мы встречаем в журналах и газетах подобные лирические стандарты? Они, быть может, не всегда бесполезны, но обогащают ли они по-настоящему поэзию, обогащают ли читателя?

Любопытные метафоры и поэтические детали сами по себе недорого стоят, если они становятся самоцелью, а не являются средством, подчиненным своеобразно разработанной теме. У большого поэта новизна метафоры связана с новизной и оригинальностью общего замысла, которому подчинены поэтические детали. Истинное поэтическое про-

изведение всегда заставляет нас вновь с новой силой пережить то, что было уже пережито, если это произведение является не поверхностным описанием события и собранием поэтических возгласов, а своеобразным освещением события. Стихотворение Маяковского «Товарищу Нетте» посвящено было всем известному трагическому событию: убийству советского диктатора. Стихотворение это отличалось злободневностью, но оно и увековечило образ товарища Нетте, потому что во встрече Маяковского с Нетте-человеком и Нетте-пароходом своеобразно выражены и личные переживания поэта, и общественный смысл события.

«Страна Муравия» А. Твардовского не была бы прекрасным поэтическим произведением, — как ни хороши сами по себе стихи в поэме, — если бы приключения Моргунок стали самоцелью, а не средством для выражения общей темы зажиточности колхозной жизни. К сожалению, мы часто встречаем стихи, являющиеся стихотворным пересказом газетной статьи, стихи, в которых есть рифмы, но нет творчества.

Брюсова упрекали в том, что его стихи перегружены историческими, географическими и прочими сведениями, что они непонятны широкому кругу читателей (любопытно, что и Маяковский упрекали в непонятности, хотя Маяков-

¹ Когда «Заметки» были уже набраны, выяснилось, что есть критики, которые считают: «В наши дни, пятнадцать лет спустя после смерти Брюсова, звучали бы, пожалуй, несколько беспредметно советы учиться писать у него, каким бы совершенным и безукоризненным мастером он ни был. Сегодняшний день требует другой поэзии, — более напряженной, взволнованной, страстной». Эти возмутительные строки принадлежат анонимному автору противоречивой, безответственной статьи «В. Я. Брюсов», напечатанной, к сожалению, в № 19 «Литературного обозрения» за 1939 год. В подтверждение «парнасского холодка» Брюсова берутся слова А. М. Горького (из письма к Брюсову): «...А вы — лучше ваших стихов, — пока». Но безвестный автор статьи скрывает от читателя, что Горький писал это в 1900 г., что и тогда он отмечал в «Нижегородском листке» (№ 313 за 1900 г.) «Сказание о разбойнике» Брюсова, как «вещь оригинальную и даже крупную», хвалил поэта «со стороны чувства меры и чутья к прекрасному». А в 1917 г. (23 февраля) Горький писал Брюсову

про «Египетские ночи»: «...эта вещь мне страшно понравилась! Читал и радостно улыбался». И тут же Горький делает общий вывод: «Вы — смелый и вы — поэт божий милостью, что бы не говорили и не писали люди «умственные» (письмо напечатано в журнале «Печать и революция», № 5 за 1928 г., стр. 60). А «Литературное обозрение» считает, видите ли, поэзию Брюсова не напряженной не взволнованной, не страстной — и беззастенчиво ссылается при этом на Горького.

Автор-инкогнито из «Литературного обозрения» расшаркивается перед Брюсовым за «критический строй мышления», «за понимание писательского труда, как подвига», говорит что обозначение — «один из самых выдающихся поэтов» — было бы неполным, и тут же зачеркивает Брюсова: Брюсов-поэт ничему пожалуй, научить не может, от его строф, как правило, «музеум... веет». Непонятно, в таком случае, почему «Литературное обозрение» в то же время считает, что «Брюсов принадлежит в большей степени нашей современности, чем той эпохе, современником которой был он сам».

ский и Брюсов — совершенно разные поэтические индивидуальности). Верно, что среди стихов Брюсова есть вещи, трудные для восприятия, но эти стихи — только неизбежный накладной расход художника, который пролагал в поэзии новые пути.

Привлекая многочисленные исторические события, многочисленные ассоциации, Брюсов осмысливал прошлое народов, тема Брюсова приобретала большую перспективу.

Брюсов написал несколько стихотворений о Ленине. Каждое из них — это взгляд в прошлое и взгляд в будущее. Даже только название «От Перикла до Ленина» (1921 г.) показывает, какие серьезные задачи ставил перед собой поэт. А ведь стихотворение по размеру небольшое: в нем всего 24 стиха; Брюсов экономно, подчас даже слишком скуп, расходовал слова и строки. Стихотворение «После смерти В. И. Ленина» (1924 г.) — это глубоко личное выражение скорби поэта и это выражение скорби народов всего мира. Вместе с тем это стихотворение — зоркий и стремительный взгляд в будущее, во имя которого жил и боролся Ленин, это призыв к дальнейшей борьбе за коммунизм:

Но не умалим дела дел!
Завета трудного не сузим!
Как он в грядущее глядел,
Так мир сплотим и осоюзим!

В стихотворении «Ленин» (1924 г.) — также нет узости в изображении величайшего вождя человечества. Ленин — это «земной Вожатый народных воль, кем изменен путь человечества...». Вместе с тем, стихи Брюсова о Ленине очень человечны, лиричны:

Мир прежний сякнет, слаб и тленен;
Мир новый, — общий океан, —
Растет из бурь октябрьских: Ленин
На рубеже, как великан.

Земля! зеленая планета!
Ничтожный шар в семье планет!
Твое величье — имя это,
Меж слав твоих — прекрасней нет!

Брюсов оставил нам несколько небольших, но значительных стихотворений о Ленине, он не успел уже вернуться к теме, которая, нет сомнения, продолжала бы его волновать.

Молодым поэтам следует учиться у Брюсова разнообразию поэтических форм. Достаточно проследить за одной только строфикой Брюсова, чтобы увидеть, как виртуозно владел он четверостишьем с перекрестной или смежной рифмой и пятистишьем, и любой другой строфой. Хотелось бы напомнить стихотворение 1917 г. «Работа» (тема труда занимает в творчестве Брюсова особо большое место), в котором Брюсов достиг редкой художественной простоты и музыкальности. «Работа» не названа песней, но в ней есть то, чего недостает многим современным песням. Кстати, почему о Брюсове забыли советские композиторы? Думается, не одно стихотворение Брюсова, переложенное на музыку, имело бы заслуженный широкий успех.

Жизнь Валерия Яковлевича оборвалась, когда поэт был в расцвете творческих сил, когда он находил все более яркие и простые слова для выражения своих новых мыслей и чувств.

Выдающийся поэт и переводчик, он был и отличным прозаиком, и драматургом, и теоретиком стиха, и критиком литературоведом, и историком литературы, и просто историком.

Брюсов не любил, когда его превозносили за то, что он уже создал, особенно за его заслуги в дореволюционной русской литературе. Верный своему девизу: «Иди неустанно вперед и вперед». Валерий Брюсов и на склоне лет был полон новых замыслов, новых исканий. И не напрасно в день своего пятидесятилетия он вспомнил следующие строки Фета:

Покуда на груди земной
Хотя с трудом дышать я буду,
Весь трепет жизни молодой
Мне будет внятн отовсюду.

БИБЛИОГРАФИЯ

Л. ВАЙСЕНБЕРГ. «СЕМЬ РАССКАЗОВ».
Гослитиздат, Ленинград, 1938 г., стр. 330. Ц. 3 р. 50 к.

★

Рассказы Льва Вайсенберга, несомненно, найдут своего читателя; в них есть простота и убедительность, заставляющая заинтересоваться книгой. «Секрет», которым автор завоевывает внимание читателя, заключается в том, что автор написал эти рассказы о жизни людей нашего времени со знанием дела. Знание дела — это не поверхностный, а внимательный подход к труду людей, к оценке этого труда, одновременно это попытка нелюдски разбраться в духовной жизни современного человека. В своих произведениях Вайсенберг переносит нас с траулера Баренцова моря в Азербайджан, на берег Каспия, из больницы палаты — на фарфоровый завод, из семьи бедного еврейского мальчика, живущего в небольшом приморском городке, — в комнату журналиста в Ленинграде. И всюду действительность, подмеченная взглядом художника, раскрыта им без ложной патетики и ненужного сентиментализма. Автор любит жизнь, любит людей и подходит к их жизни, как к сложному явлению, полному подчас еще неясных отношений. Он пытается осмыслить эту жизнь и показать ее в художественных образах.

Вайсенберг не навязывает читателю своих взглядов; он раскрывает их в своих рассказах без особого «нажима». И это хорошо. Художник фарфорового завода Волков говорит своей ученице Елене Боргман:

«Вообразите, что скачет конница. Что должен знать художник? Не только, кто эти всадники, не только, куда и зачем они скачут. Этого мало. Художник хорошо должен знать, что думает каждый из всадников, кто друг и кто враг, каждого из них в отдельности. Он должен знать, сыты ли кони, скачут ли они за победой или за гибелью. Он должен уметь представить себе их после жаркого боя: пьют ли они воду ручья или птицы клюют им глаза. Он должен верить в дело всадников и сам незримо скакать вместе с ними; или он должен ненавидеть их дело и преграждать им путь. Иначе всадники будут опереточные. Созданное художником должно жить, должно влечь к себе всех, должно указывать путь». Это положение органически вплетено в ткань

интересного рассказа «Хозяйка» и, вместе с тем, это взгляды автора на природу искусства

Если не считать стоящего несколько особняком рассказа «Боги» — о жизни еврейского мальчика в старой гимназии — остальные произведения посвящены нашим дням, таковы: «Черный платок» — об освобождении женщины-азербайджанки от паранджи и о ломке старого бытового уклада; «Хозяйка» — о прочности семейных связей двух молодых людей; «Подруги» — о скромности и героизме простой фабричной работницы Варвары, у которой личное «счастье» трижды оборачивалось несчастьем и которая нашла себе и подругу, и приемную дочь в лице девочки Лизы; «Лечение руки» — о товариществе и дружбе матроса Гудя и рыбоведа-ихтиолога Бажанова на траулере в Баренцовом море.

Мы отмечаем диапазон рассказчика, как одно из положительных явлений журналиста-литератора наших дней. Чтобы удовлетворить поистине ненасытное желание читателя нашей страны, любящего и изучающего свою необъятную родину, писателю надо много знать. Вайсенберг внимательно вглядывается в окружающую действительность, и его рассказы в данном случае имеют эту познавательную ценность. Автор идет от журналистики, от очерка к художественному рассказу. Его книжка несет на себе следы очерка, обычно так богатого фактической стороной дела, и, вместе с тем, дает нам представление о сюжетном рассказе.

Не все одинаково удалось автору. В этой книжке лучше других рассказы: «Хозяйка», «Часы» и «Подруги». Удача кроется прежде всего в том, что Вайсенберг идет к психологическому раскрытию характеров людей. В данном случае нас интересует не столько вопрос взаимосвязи и взаимодействия характеров и обстоятельств, сколько вопрос о том, что неудачи писателей в показе духовной жизни людей кроются, на наш взгляд, в недостаточном проникновении в природу сложившихся и складывающихся характеров. Важно не только, что «общественное бытие определяет сознание», не только уровень, характер и содержание «бы-

тия», но особенно уровень и характер сознания, раскрывающего все многообразие нашей действительности. Это важно еще и потому, что социалистическая действительность повысила роль человека, субъекта, во всех областях жизни, а, следовательно, обязывает писателя являться духовной стороной его жизни, записать его взглядов и этических норм, определяющих поведение человека, его деятельность.

Шаг за шагом советское социалистическое общество идет к чистоте, ясности, прозрачности отношений, что отнюдь не исключает их исторического своеобразия, глубины и сложности современной действительности. Автор ищет новое в отношениях людей и свою позицию в этом вопросе находит в убедительной реплике: «Незачем человеку без особого умысла скрывать свою жизнь».

Сюжетом рассказа «Хозяйка» взята драма в семье. Елена Боргман, молодая девушка, вышедшая замуж за демобилизованного красноармейца, все свои силы кладет на организацию домашнего уюта. Елена Боргман подменила любовь к людям любовью к вещам. Карточный домик счастья, построенный на такой суженной основе, естественно разлетелся при первом соприкосновении с жизнью. Счастье оказалось призрачным. Старые взгляды и способы жизнеустройства оказались непригодными. Только поняв всю иллюзорность своих прежних взглядов, Елена Боргман находит личное счастье. В данном случае в качестве учениц-художницы по фарфору, она вновь обретает и свежесть восприятия действительности, и радость обновленных человеческих отношений, и чувство гордости за других людей.

Наряду с простым литературным языком, с удачными сравнениями — «легко перелетал через заснеженную реку чугун черных мостов», «ветреное февральское солнце» — автор в этом рассказе явно злоупотребляет неоправданной неожиданностью событий. Так «неожиданно» для себя Петр — герой рассказа, — попал после демобилизации из армии в Ленинград, хотя ничего неожиданного в этой поездке нет; ему, Петру, и некуда было ехать, кроме Ленинграда; другого места и не намечалось развитием рассказа. Накануне свадьбы, будучи, как друзья, неразлучны в течение месяца, Елена и Петр также «неожиданно» зарегистрировались. Как видит читатель, эта «неожиданность» не так неожиданна. Количество изречений и поговорок в трагическом рассказе «Черный платок» дано автором настолько обильно, что оставляет чувство назойливости. И это не единственный недостаток, присущий только данному рассказу. Найдя хорошее сравнение о «февральском ветреном солнце», автор буквально через десять строк неоправданно повторяет его вновь. То же в рассказе «Часы» На стр. 307 мы чи-

таем: «Сон пеленал его жестоко и туго, как несмышлениша». Перевернув страницу, мы вновь находим: «И сон спеленал его, как несмышлениша». Что это — бедность языка или потерь чувства меры?

Хорошо обрисован в рассказе «Лечение руки» матрос Гуцай — первый в счастливом почете рыбной ловли и последний в резерве при неудаче. Пробавлявшийся на досуге враньем и насмешкой над окружающими, Гуцай становится с «рыбным доктором», ихтиологом Бажановым, который, помимо своей работы, ведет на корабле еще стенную газету. Автор шаг за шагом показывает, как Гуцай, будучи вначале враждебно настроен к ихтиологу, становится его помощником и другом. Наряду с лечением руки, терпеливо и настойчиво Бажанов воспитывает Гуцаю, и этому веришь, так как автор показал основные черты характера Бажанова, в котором сочетались «Правда врача-диагностика, охотничья хитрость следователя, негодование проповедника». В своих рассказах Вайсенберг не чурается авторских ремарок, которые звучат, как необходимые краткие обобщения. Так, в рассказе «Часы», — интересной своей идеей о необходимости организованного труда даже такого маленького коллектива, как коллектив двух молодых людей, только-что составивших семью, — автор правильно подмечает, что эти трудовые связи в семейной ячейке крепки только тогда, когда они обусловлены идейной близостью этих людей и хорошо организованы, т.е. слажены во времени. Эту слаженность во времени, организованность труда человеческого коллектива автор показывает в пастушьем рожке, в крике летуха, в фабричном гудке, в трубе война, в колоколе пожара и в барабане шагающей армии.

В своей литературной работе Вайсенберг правильно поступает, когда он знакомит читателя с технологическими вопросами труда своих героев. Да и как в наше исключительно трудовое время не говорить о труде во всей его совокупности, в том числе и о технологической его стороне! Без этого нельзя познать законы и тайны природы вещей и явлений. В наш век новаторства и современной техники нельзя оставить в стороне эти вопросы. Они заполняют собою духовный мир героев. Если психология человека, нормы его общественного и личного поведения, его думы и поступки определяются в первую очередь трудом, коллективом, связью с ним, необходимо показывать этот труд во всем его многообразии. Книжка «Семь рассказов» в этом отношении интересна, как довольно удачная попытка автора вскрыть содержание труда и с этой стороны.

В. Соболев

М. ЗОЩЕНКО — РАССКАЗЫ
 Детиздат. Стр. 184. Тираж — 25 000 экз. Ц. 3 р. 40 к.



Что детям надо давать книги веселого, бодрого, жизнерадостного содержания, — вопрос бесспорен.

Но писать веселые книги для ребят надо культурно, без вывертов, а главное — не забывать воспитательных целей литературы.

Нам кажется, что Детиздат оказал плохую услугу М. Зощенко, выпустив его старые рассказы для взрослых в издании для детей.

Рассказы эти не пригодны для детского чтения, и не только потому, что приучают ребят к грубым, пошлым и блатным выражениям, с которыми приходится вести борьбу и в школе, и в семье.

Возьмем, например, из этой «детской» книга — она лежит перед нами — рассказ «Няня»:

«... Тут такие супруги Фарфоровы имели няню. Они взяли ее до своего ребенка. Они сами не могли своему ребенку обеспечить уход и ласку. Они оба два служили на производстве. Сам Серега Фарфоров служил. И она служила. Он рублей, может, полтора стабрал. И она не меньше ста огребала¹. И вот при такой ситуации у них происходит рождение ребенка...».

Смысл рассказа в том, что поступившая к Фарфоровым нянька под видом прогулок с ребенком собирала с ним по углам милостыню.

Что занимательного для ребят в этом рассказе? И кто дал право детскому издательству воспитывать в детях отношение к труду родителей, как к огребанию денег?

Рассказ «Аристократка» полон такими выражениями: «Я, братцы, не люблю баб, которые в шляпках...». «Такая аристократка мне и ее баба вовсе, а гладкое место». «Гляжу — стоит этакая фря... и ни мур-мур больше... и вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет» и т. д., и т. п.

В рассказе «История моей болезни» больной брюшным тифом попал в больницу и, недозволенный царящими там порядками, «...хотел с этим фельдшером сжестниться...».

В рассказе «Монтер» электрик, обиженный, что ему не дали контрамарок, выключил свет

в театре: «А бродяга, главный оперный тенор, привыкший всегда сыматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенором» И... «гут, конечно», монтер сжестнулся с тенором».

«Докторша, утомленная высшим образованием» в рассказе «Операция» говорит так: «Ну, валяй скорей. Время дорого». «А сама сквозь зубы хохочет...».

Исторические рассказы написаны в том же стиле. Перечислять их нет смысла. Приведем только два примера: Нерон задумал убить свою мать и заставил архитектора соорудить в комнате матери механизм, при помощи которого потолок мог бы обрушиться. Приводим разговор Нерона с архитектором:

«— Не извольте беспокоиться, — говорил подрядчик. — Потолок сделаем — просто красота. Ай, ей-богу, интересно вы придумали, ваше величество!»

— Да гляди, труху у меня не клади, — говорил Нерон. — Гляди, клади что-нибудь потяжелше. Легкая труха ей ничо чем. Знаешь, какая у меня мамаша» и т. д.

В рассказе «Славный философ Диоген» — встреча Александра Македонского с Диогеном описывается на таком диалекте: «Твой ум, папаша, меня восхищает...». «Проси, дурак, загородную дачу, — шепчет философу адъютант Александра Македонского. — Скажи, у меня мамаша слепая. Или проси колесницу с лошаадью. Ой, какая разня!.. Да говори же ты толком, олух царя небесного...», и т. д.

Единственно, что неплохо в этой книге, — это исторический очерк о том, как доставали со дна Черного моря затонувший корабль «Черный принц». Этот очерк и можно было бы дать ребятам, выкинув все остальное.

Книга иллюстрирована художником Радловым. Рисунки, может быть, и неплохи для журнала «Крокодил», но не могут служить украшением детской книги.

Следует посоветовать М. Зощенко, если он действительно хочет, чтобы его книги читались детьми, серьезно подумать о значении языка и содержания своих рассказов для юного читателя.

¹ Разрядка наша. — А. Т.

А. Титова

Редколлегия: Ф. В. Гладков
 Л. М. Леонов
 В. П. Ставский
 М. А. Шолохов

Ответственный редактор В. П. Ставский

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5.
 Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»

Учхоз. Главлита А—22742. Сдано в набор 28.XII—39 г. Подписано к печати 4.II—1940 г. 16 лещ. листов. Тираж 80.000. Зак. 337. Технический редактор И. К. Костяков.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 6

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КУРСЫ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Москва, Кузнецкий мост, 3, тел. К 3-90-42

П Р И Е М

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА НА ОТДЕЛЕНИЯ

АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ

И НА ПЕРВЫЙ КУРС

ФРАНЦУЗСКОГО

Имеется специальное переводческое отделение.

Программа первых двух курсов соответствует программе по языку полной средней школы. Программа трех курсов — программе вузов и вузов.

Окончившим выдаются соответствующие свидетельства.

Проспект высыпается за 60 коп. почтовыми марками 10 и 20 коп. достоинства.

Справки с 10 до 18 часов ежедневно, кроме общевыходных. Ленинградское отделение Курсов: Ленинград, Апраксин пер., 2.

ДОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ КНИГИ МОГИЗа
Москва, ул. Горького, 51.

ИЗУЧАЙТЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ КНИГИ:

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК:

Курс фонетики немецкого языка на граммпластинках. 2 пластинки. Ц. 11 р.
Курс немецкого языка на граммпластинках. 14 пластинок. Ц. 77 р.

ПОСОБИЯ

К ГРАММПЛАСТИНКАМ:

КАМИНСКАЯ Л. Вводный фонетический курс. Ц. 1 р. 40 к.
РИВКИНА Л. Курс немецкого языка. Ц. 4 р. 30 к.

СЕРИЯ ЛЕГКОГО ЧТЕНИЯ СО СЛОВАРЕМ:

Приключения барона Мюнхгаузена. Ц. 30 к.
Тиль Уленшпигель. Ц. 70 к.
АНДЕРСЕН. Три сказки. Ц. 60 к.
ЛЕЯТНЕР. Женщина путешествует. Ц. 30 к.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:

РОТШТЕЙН Н. Русско-английский словарь. Для средней школы. Ц. 4 р. 50 к.
СМИРНИЦКИЙ А. Хрестоматия по истории английского языка. (С VII по XVII век). Ц. 1 р. 15 к.
ГРУЗИНСКАЯ И. Методика преподавания английского языка. Ц. 3 р. 75 к.
Курс английского языка на граммпластинках. 16 пластинок. Ц. 88 р. Поступит в январе.

СЕРИЯ ЛЕГКОГО ЧТЕНИЯ СО СЛОВАРЕМ:

По МАЙН-РИДУ. Рассказы об охоте. Ц. 50 к.
По ДЖ. ЛОНДОНУ. Два рассказа о собаках. Ц. 45 к.
По ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМУ. Юмористические рассказы. Ц. 45 к.
В. ШЕКСПИР. Гамлет. Полный текст со словарем и комментарием. Ц. 4 р. 20 к.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК:

ЛЮБАРСКАЯ А. Методика преподавания французского языка. Ц. 3 р. 10 к.
ПОТОЦКАЯ В. Французско-русский словарь. (Липидут) 10 000 слов. Ц. 5 р.
ПОТОЦКАЯ В. Французско-русский словарь. Для средней школы. 20 000 слов. Ц. 5 р.
Сост. КОЛПИНСКАЯ А. Французская буржуазная революция 1789—1794 гг. Историко-литературный сборник. Со словарем. Ц. 3 р. 25 к.
О. БАЛЬЗАК. Гобсек. Ц. 1 р. 50 к.

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК:

ИГНАТОВ С., КЕЛЬДИН Ф. Испанорусский словарь. 30 000 слов. Ц. 5 р. 10 к.
МАРШИПШЕВСКАЯ К. Испано-русский словарь. (Липидут). 10 000 слов. Ц. 5 р.

КНИГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ.

При заказе на граммпластинки требуется задаток — 25 руб. за комплект.